179595

Новый мир.
1944г.
N.N. 4-5.

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1944 г. *№ 4—5* *Год издания XXI*

17.05.54

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АНТОН БРАЕВИЧ — Мой голубь, *поэма. Перевод с белорусского Дмитрия Осина*	2
С. МАРШАК — Двенадцать месяцев, *драматическая сказка*	10
АЛИШЕР НАВОИ — Лейли и Меджнун, *глава из поэмы. Перевод Семена Липкина*	38
КОНСТ. ФЕДИН — Свидание с Ленинградом, *записки 1944 года*	41
ВЕРА ПОТАПОВА — Приснись ему, *стихотворение*	53
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Пушки выдвигают, *исторический роман; Продолжение*	54
ГУРГЕН БОРЯН — Камни безмолвные, *стихотворение. Перевод с армянского Бориса Серебрякова*	96
И. ЕФРЕМОВ — Семь румбов, *научно-фантастические рассказы*	97
ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ — Возвращение, *черноморская легенда*	137
ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ — Стихотворения	144
П. К. ИГНАТОВ — Записки партизана	146

К сорокалетию со дня смерти великого русского писателя Антона Павловича Чехова

В. ЕРМИЛОВ — А. П. Чехов, *творческий портрет*	195
Неопубликованное письмо А. П. Чехова	217

А. МАКАРОВ — «Емельян Пугачев»	218
В. ЩЕРБИНА — «Морская душа», *заметки о творчестве Л. Соболева*	224

МОИ ГОЛУБЬ

Поэма

АНТОН БЕЛЕВИЧ

Перевод с белорусского Дмитрия Осина

★

I

Звездой ли упал он залетной,
бездомный ли аист болотный
принес, услыхав его, к нам?
Не знаю я сам.

А, может, бродя по лесам,
услышали люди тот сказ
в горький час?
А, может, летунья-сорока
его на беду издалека
тайком занесла к нам в село?
А дальше — пошло:

— Ворвались немецкие танки
за Брестом в село спозаранку,
побили его,
подожгли,
и к Минску пошли.

И два самолета по лядам,
стреляя,
носились за стадом —
пока пастуха не убило,
пока не забилось оно
в болотце одно
и темень его не укрыла.

Ночи июньские жарки,
сбились коровы,
ревут;

утро пришло:
а доярки —
их не зовут,
не идут.

Дымом, пожарищем, пеплом
тянет весь день над землей,
заволоклось и ослепло
солнце:
— Пора им домой.

Смотрят коровы вокруг:
— Где он, пастух?

От деревни родимой
только и следу —
что дымный
столб над сосновою чащей,
гарь по лесам волочащий
и не до них,
не до них —
тем, кто остался в живых.

Вдаль,
из дубровы в дуброву
двинулись молча коровы
по травам богатым,
по ржам перемятым,
их ноги распухли,
их судна набухли,
и вдвое уменьшилось стадо:
идет, как идет
без пригляда.

Дороги и села пустые,
леса и болота чужие...

II

Лисицею сказ тот бежал
и Корчик его услыхал.

Обход обыскал,
воротился он в дом:
— Не там ли и наша с телком?

В лесу,
в обомшелой сторожке
с женою Маланьей он жил,
с концами концы понемножку
умело в хозяйстве сводил,
исправно нес службу,

с сельчанами дружбу
водил,
не жалел ничего,
и звери, и птица,
луга и криницы —
все было в руках у него.

И вдруг:
словно буря — война,
и все замутила до дна.
Войска потянулись,
и люди
зловещие громы орудий
ловили с тоской:
— Боже мой!..
А с Немана, с Черного Яра
шли бои,
полыхали пожары.

И вставал ночью Корчик,
и слушал:
— Война!..
— А может, пройдет стороною она?

На восток уходили раскаты,
день, другой,
и четвертый,
и пятый.
А Корчик:
— Прошла стороною она,
война!
И надо опять
итти мне — корову искать.

III

Кошель потуже завязал,
собрался Корчик,
до реки
дошел тропинкой,
постоял,
взглянул вокруг из-под руки
и к лесу взял.

И вслед ему с речной луки,
встречая солнце, ветряки,
скрипя, махнули:
— В добрый час,
Афанас!

Идет он час,
идет другой
лесами, стежкой луговой:
людей не видно в деревнях,
рыжеет сено на лугах,
и рожь шумящею стеной
стоит — по грудь,
стоит, купая колос свой
в пыли дорожной, полевой,
и будто шепчет,
шепчет в зной:

—В добрый путь!

и где то стадо,
где тот бык —
никто не знает.

Наугад
и день, и два,
и три под ряд
идет лесник:
— А, может, к речке повернуть?
— А, может, в бор мне заглянуть?
— Где ближе путь?

Кошель домашний развязал,
сухарь последний он достал,
и сел под елкой отдохнуть:
— Где ближе путь?

Басистый гуд вели
шмели,
дергач в кустарнике скрипел:
но вдруг —
шатнулся бор вдали
и глухо, тяжко загудел,
как будто в бурю.

И с земли
вскочил лесник:
— Воруют лес?

А гул и гром идет окрест.

И молча кинулся лесник
лощинкой в чащу напрямик.

Крест-на-крест ясень на сосну
кладут под ряд,
бревно к бревну,
бревно к бревну,
комель к комелю в накат.

И тонкий лес,
и толстый лес
идет в навал, как мост,
через болото,
и окрест —
пни на порубках в рост.

Лежат такие кругляки,
кряжи такие, —
от тоски
шатнулся Корчик:

— Боже мой,
еще ни разу лесники
такой
не видели разбой!

К одной сосне,
к другой сосне,
кидался Корчик, как в огне:

Они высокие костры
жгли из березовой коры,
и лес валили.

И на них
пошел он чащей напрямик,
и в гневе с губ сорвался крик:

— Кладите в кучу топоры!
— Здесь я лесник...

— А это что там за чудак? —
спросил ефрейтор.

И солдат
узнал вдруг Корчик:
и назад,
за куст, за дуб,
в болото, в мох:
— Дай ноги, бог!

Кричали сзади — не слыхал,
стреляли немцы — не видал,

все дальше,
дальше он бежал
болотом тряским,
через лог,
чащобой, глушью,
без дорог.
— Дай ноги, бог!

IV

Не раз с ружьем он тут бродил,
тетеревов весною бил,
зимой в яру следил лисиц,
ловил куниц,
любую тропку знал в бору
и лаз любой;

и дальше, дальше,
сам не свой,
через болото, целиной
идет по мшистому ковру,
идет и слышит Корчик:
— Стой!
— Куда идешь? И кто такой?

И видит:
в каске со звездой
боец тропинкою лесной —
ему навстречу:
— Кто такой?

— Лесник я, брат...

Но по всему
вдруг видит Корчик, что ему
не верят вроде:

— Так . . . лесник?
— Лесник, — а как же, голубь мой!

— А документы есть с собой?

И ртутной каплей огневой
поблёскивает, как живой,
на солнце штык.

— Есть, почему же им не быть.
Вот документы, голубь мой, —
а нет ли закурить?

И раз,
и два прочел боец:

— Лесник?

— Лесник я. . .

Наконец,
как будто сдался он:
— А всё ж, —
откуда ты? Куда идешь?

— Иду я, брат. . .

— Постой, постой, —

подчаска вызвал часовой;

кивнул боец:
— Идем со мной!

И стороною,
в штаб полка
тропинкой вывел лесника:

— Тебя полковнику я сдам;
проверят там!

В кустах,
укрывшись на полянке,
орудия, машины, танки,
готовясь к бою спозаранку,
стояли в ряд.

И видел Корчик:
по приказу
заговорят они все сразу
и тягачи, прибавив газу,
рванутся из засад.

В штабной землянке над рекой
допрос был короток и строг.

Спросил полковник:
— Кто такой?

— Лесник . . . лесник я, видит бог!
Иду . . .

— Куда?

— В Медынский лог,
коров искать . . .

И тот же час
всё рассказал им Афанас.

— Вот здесь наводят немцы мост,
дубы и сосны валят в рост,
и тонкий лес,
и толстый лес
кладут под ряд, как гать,
и к ним вот так, наперерез —
рукой подать!

Полковник молча трубку снял:
то звал он Солнце,
то Кинжал,
а Корчик ждал;

ходил волной в землянке дым,
а Корчик думал и молчал . . .

И из дивизии за ним
прислал связного генерал:

— Какой там мост?
— Какая гать?

— Да вот в лесу: рукой подать!

И ожил бор,
и срок настал:

и Солнцу дал приказ Кинжал,
запели провода;
и встал,
задумался тогда
над картой генерал.

И понял Корчик:
поворот
другой всё приняло;
в поход
бойцы собрались,
и вперёд
он их чащобою ведёт
в ночной
лесной
и тесный бой;
и шепчет,
шепчет сам с собой,
грозясь:

— Разбой . . .
Такой разбой!
— Дождались вы поры:
бросайте топоры!

V

Немало есть в родном краю
просёлков, стёжек и дорог;

но всюду стёжечку свою
найти, бывало,
Корчик мог.

Вот так же в небе по весне
гусиный с юга тянет клин
в ночной бездонной глубине;

и путь на север по звезде,
и как лететь,
и сесть им где —
вожак лишь чувствует один.

И Корчик путь далёкий свой
знал так же сердцем и душой.

И лишь лесной
утихнул бой, —
своею двинулся тропой.

Уж недалёко:
на яру,
по тайным тропам, по кустам
коровы травы мнут в бору;
то ветка хрустнет поутру,
то колокольчик слышен там . . .

И в брод,
болотом, целиной
идет, а спросят:
— Кто такой?

Помедлит Корчик
и в ответ:

— А вот он, документ!

Придумал всё,
позаучил,
то пошутить, то срезать мог.

Одним ответит:
— Обручи
иду по сёлам набивать . . .

Другим:
— От счастья я ключи
тут потерял,
и только бог
один, наверно, может знать —
где их искать!

Чащобой, глушью,
кое-как
перемогаясь, лез он, лез:

— На полоз нужен мне дубняк.
— Сосед, где тут
Медынский кут,
Медынский лес?

Другого встретит:
— Добрый день!

Кресало вытащит, кремень:
— Огонь, брат, мой,
а твой табак . . .
Живётся как?

— А так . . .

И слово за слово,
и вновь
умело спросит про коров:

— Скажи-ответь ты, голубь, мне,
что это может быть?
Нето — все вьявь,
нето — во сне:
проходит, будто в стороне
на зорьке стадо Неман пить?

И каждый вечер,
каждый день
до брода бык его ведёт.

А где тот след?
А стёжка где?
Заснуть мне сон тот не даёт!

И тот ответит,
хмур и строг:
— Иди, лесник, в Медынский лог.

Всё дальше,
дальше он идёт,
через дорогу тень кладет;

и уж повсюду неспроста
встречает знаки:
то бычок
о сосны тёрся,
то в кустах
рыжеет шерсть;

еще, еще.
еще верста:

вот след копыта на песке,
вот словно топот вдалеке.

И сам не знает:
— Верить, нет?

А след всё к лесу,
к лесу — след.

VI

Всё ниже солнце,
муравьи
снуют под старою сосной,
малиной спелой пахнет бор,
шумит трава,
тетерева
ведут дремотный разговор,
смолою тянет от хвои;

и у опушки,
как-нибудь
до завтра лег он отдохнуть:
— Далекий путь!

Вечерний ветер на сосне
колышет ветки в вышине,
кружит с берез листву;

а Корчик дремлет,
и во сне
все то же видит в тишине,
чем бредит на яву.

Коса звенит невдалеке,
журавль курлычет на реке.

— Откуда звон?

Из-за куста
поднялся он;
глядит:
шагают в три следа
косцы в лощине за рекой,
а под косой —
трава волной.

Глазам не верит он:
— Война!
Но им и горя нет.
Как будто не была она,
да и не будет тут сто лет.

Поднялся, вышел:
— Добрый день!

Сошлись,
косясь чуть-чуть.

Кресало Корчик им,
кремень:
— Закурим! Нет ли завернуть?

— Откуда ты?
— И кто такой?

— Издалека...

— Издалека?

— Иду,
корову и телка́
ищу повсюду, голубь мой,—

и Корчик дым пустил волной
и замолчал, махнув рукой:
— Прощайте, мол, пока!

— А как у вас?
— Германец был?

— Да стороною проходил...

Стоят косцы;
дымят:
нето — косцы,
нето — бойцы,
как братья все под ряд.

И подивился Корчик:
— Ну,
косить вы — молодцы!

— А вы слыхали ль про войну,
косарики-косцы?

— А вы видали ль,
как идет
война та до Москвы?

— А вы слыхали ль самолет?
А как германский пулемет
не косит — жнет
видали ль вы?

— Вы мне годитесь в сыновья,
и не косить,
скажу вам я,
не косы отбивать, —
а с немцем воевать!

Попризадумались косцы,
попрятали глаза.

А старший стиснул косовье,
как бы казенное свое
оружие боец:

— Я от границы отступал,
я Брест четыре дня держал,
я в плен два раза попадал
и все видал,
отец...

— А что ж вы здесь? Чего к своим
не подаетесь?..
Корчик им.

— Похоже — наш, —
сказал один.

— Похож, —
кивнул другой.

А третий к лесу проводил
его тропой
в траве густой:

— Держи правее, через лог.
Там наши, батя...
— А телок?
— Там сыщешь и телка́.
Увидимся... Пока!

VII

Упало солнце на траву
и осветило неба край.
— Что это?
Сон иль на яву?

Медынский лог.
а может, — рай?

Забылся Корчик,
сам не свой:
а лес, не тронутый войной,
стоит над Неманом-рекой,
как в сказке — глух и тих.

У шалашей кипят котлы,
поют в рябиннике щеглы
и белки скачут на дубах,
и винный,
солнечный,
хмельной,
грибной,
медовый,
боровой,
густой-густой
стоит настой
и тает на губах.

Стоит,
забылся под сосной,
вздыхает Корчик, как хмельной:
— Как в сказке край,
не лес, а рай.

Коровы бродят у реки,
любую выбирай;
и в темной чаще слышит он
забытых струн певучий звон;
глядит,
глядит из-под руки,
дивится Корчик:
— Расспрошу
людей: откуда этот сон?

А за березкою стоит,
стоит, глядит
пастух-старик.
Сошлись поближе:
— Добрый день!
Скорее Корчик за кремень:
— Огонь, брат, мой,
а твой табак...
И слово к слову:
— Так и так, —
садятся оба в мох,
и пес у ног.
Вздохнул пастух:

— Ты кто такой?
— Лесник. Лесник я, голубь мой;
корову потерял...

— Три дня ходил, пока напал
на след:
косцы сказали — здесь!

— Так, так... лесник?
Взглянул старик:
— Похоже; верю я.
Гляди:
скота тут много есть,
прибилась, может, и твоя.

VIII

Дремучий шопот боровой,
луга рыжеют за рекой
и винным духом от земли
в оврагах тянет,
журавли
скрипят вдали.

Назад, назад
в полдневный жар
идут коровы в Черный Яр.

И словно горе всей земли
в себя вобрали их глаза;
казалось, если бы могли
они сказать
откуда и куда зашли,
то навернулась бы слеза
не раз опять.

Дорогой длинною лесной
идут коровы день, другой:
побитый лес
стоит окрест,
легли завалы на пути,
нарыты рвы —
и за колючкой не пройти,
не смять травы.
Пора доить — не доят их,
набухли вымена.
— Война!
— Война!

С дорог больших
им пыль пылит:
— Война!..

Дубы побиты до вершин,
деревня сожжена.
И не пробраться из-за мин:
— Война!
— Война!
— Война!

Все дальше,
дальше гонит их
дорогой Корчик день за днем;
нето осунулся, притих,
нето, как в кремне,
горе в нем
вдруг искру высекло:
и гнев,
на миг в душе оцепенев,
огнем зажег ее, огнем.

Сурово молча он идет.
знакомых мест не узнает:
— Не та как будто сторона
и лес не тот.
Как буря, здесь прошла война,
и моровая тишина
легла среди болот.

Кусты, поляна,
лес, ручей,
а не найдет впотьмах своей
сторожки Корчик:

— Голубь мой,
да что такое вдруг со мной?
Глядит,
не видит ничего,
и только дрожь трясет его.
Нащупал стежечку:
— Она!

И тот же грунт
и тот залом;
такая легкая одна
среди других
лесных
слышна,
одна ведет в родимый дом.

Двором в потемках он идет,
нащупал тын,
у тына — клен:
— А хата где?

Стоит и ждет,
в окошко хочет стукнуть он, —
но нет ни стекол, ни окон.

Не пахнет сеном под стрехой,
сухой трестою и пенькой,
не слышен шорох сонных лип,
лишь ветра всхлип
да щебня скрип.
Наткнулся лбом на острый рог,
пощупал:

— Печь...
— Не может быть?
Дверей я не успел открыть
и не успел переступить
порог...

И вдруг все понял он:
и стал,
очнулся в тишине,
и под луною, как во сне,
на черной спаленной сосне
Маланью увидал.

Висит,
глядит она во тьму,
как будто хочется к нему
сойти ей:
— Господи, — пришел?

Обнял впотьмах шершавый ствол,
И на коленях под сосной
склонился Корчик пред женой:

— Сойди на стежечку,
взгляни:
стежинка просит ног твоих,
черника спелая в тени
давно заждалась рук твоих,
грибы поспели,
не могу
сказать, как пусто стало тут;
взгляни:
коровы на лугу
доиться ждут,
стоят, ревут...
Видать, я бога прогневил,
ушел в чужую сторону...

Поднялся,
сук он обрубил
и снял покойницу-жену.

IX

Летучий пепел,
холодок,
горелой хвои бормоток.
Копает яму под сосной
и шепчет Корчик в тишине
жене:
— Голубка, лягу я с тобой,
засыплю очи я землей!

Зачем мне жить?
Кого мне ждать?
С кем горе коротать?

Копал,
не видел за сосной
соседа с крышкой гробовой:
— Несчастье, кум, у нас..

Журавль тоскливо за рекой
трубил над полем,
и с тоской,
смахнув не раз
слезинки с глаз,
услышал Корчик страшный сказ:

— Беспутной собачьею свадьбой
ворвалися немцы в усадьбу
на танке
к полесской крестьянке
июльскою раннею ранью:

— Ты Корчик Маланья?
— Маланья.
— А муж твой — лесник?
— Большевик?

Суровая, немолодая,
стоит она, шепчет:
— Не знаю.
— Где муж мой, не знаю, не знаю,
под небом я вам присягаю.
Вторая неделя идет,
как сердце томится и ждет.

А староста вьется,
как бес:
— Ушел с партизанами в лес!

Дорогой лесной спозаранку
везут ее немцы на танке:
везут они к штабу
раздетую бабу;
и люди в тревоге
глядят по дороге:
— Маланья... Маланья...
— Она!
— Она, лесникова жена!

У штаба, на школьной полянке,
сидела Маланья на танке.

А немцы стояли,
молчали:
чем душу потешить не знали,
не знали — что делать им с ней,
как выдумать смерть похитрей.
Погожею раннею-ранью
сказали солдаты Маланье:

— Неси эту свечку домой...
— Если дойдешь,
донесешь, —
останешься, матка, живой.
— А не дойдешь — берегись!
И взяв автоматы,
зловеще солдаты
глазами в Маланью впились.

Туманною раннею-ранью
идет по деревне Маланья:
как звездочку, — свечку несет;
и смотрит народ
у каждых ворот:
— А, может, бог даст — донесет?

Глядят,
затаили дыханье:
идет осторожно Маланья,
свернула с дороги,
разутые ноги
в кустах исколола, идет:
— А, может, бог даст — донесет?

А ветер текучий от речки
волной наплывает на свечку,
и свечка мигает, мигает...
И еле Маланья ступает,
ладонью огонь заслоняет:
— Ой, ветер!
Ой, ветер крылатый!
Мне близко осталось до хаты.
Прошу я:
утишься, мой любый, —
шептала,
кусала иссохшие губы
и ветер глотала.
Как звездочка, свечка, как зорька.
мелькает меж сосен под горкой;
идет, затаивши дыханье,
к родимому дому Маланья,
к крыльцу осторожно идет;
и липы у старых ворот
стоят, не шелохнут:
— Пришла!..
И немцы глядят из села:
— Донесла?

Июльскою раннею ранью
три пули догнали Маланью:
упала она, поползла,
и кровь огонек залила.
И еле живую под сосной
палач удавил ее в петле тугой.

За речкою в роще укромной
отпела и стихла желна;
а Корчик бездомный
в тоске неуёмной
с соседом сидел дотемна.
Сидел он у свежей могилы
унылый,
и словно с женой схоронил
все-все, чем до этого жил.

X

Поют в рябиннике щеглы,
у шалашей кипят котлы,
винтовки в козлах под сосной,
вокруг костров — народ лесной.
И Корчик на посту
стоит с винтовкой боевой,
и от куста бродя к кусту,
припоминает дом родной.
И словно видит в полумгле
родные стены —
все в смоле,
в морщинках трещин и сучках,
и красный угол — в образах.
Сидит он,
как мечтал сидеть:
неторопливо вяжет сеть,
Маланья у окна прядет,
и ветерок в лицо идет
с веретена:
бежит оно,
воркует, как коловорот,
а лунный серп глядит в окно,
и ночь, и спать пора давно...

И дум послушный хоровод:
— Вот встала в смертной тишине
жена из петли на сосне,
сошла на землю
и бредет тропинкой в поле,
в белый свет,
огонь, как звездочку, несет
и люди смотрят ей во след.
Идет,
и все село ведет
Маланья Корчик за собой.

Идут ребята, мужики,
детишки, бабы, старики,
идут подростки и девчата:
горят их хаты,
горит земля, леса с травой,
огонь гуляет круговой,
поля пылают:
— Боже мой!
— Огонь, как мост,
встает до звезд!
Месть, месть
на бой их подняла;
и от села и до села
встает народ:
оставил пахарь свой загон
и плот покинул плотогон;
кто — цеп схватил,
а кто — топор,
а кто — с винтовкою идет,
спешит народ в Медынский бор,
и всех сурово их ведет
Маланья Корчик за собой —
в смертельный бой.
Идет,
поднялся весь народ;
редеет тень,
рассветный ветер тучи рвет,
яснеет день,
искрится день.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Драматическая сказка *

С. МАРШАК

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Старуха.
Дочка.
Падчерица.
Королева — девочка четырнадцати-пятнадцати лет.
Гофмейстерина — высокая, тощая старая дева.
Учитель королевы — профессор арифметики и чистописания.
Канцлер.
Начальник королевской стражи.
Офицер королевской стражи.
Королевский прокурор.
Посол западной державы.
Посол восточной державы.
Главный садовник.
Садовники.
Старый солдат.
Молодой солдат.
Волк.
Старый ворон.
Заяц.
1-я белка.
2-я белка.
Двенадцать месяцев.

*

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Зимний лес. Укромная полянка. Никем не потревоженный снег лежит волнистыми сугробами, покрывает деревья пушистыми шапками. Очень тихо. Несколько мгновений на сцене пусто, даже как будто мертво. Потом солнечный луч пробегает по снегу и освещает белесо-серую волчью голову, выглянувшую из чащи, ворона на сосне, белку, примостившуюся в развилине ветвей у дупла. Слышится шорох, хлопанье крыльев, хруст сухого дерева. Лес оживает.

Волк. У-у-у! Поглядишь, будто нет никого в лесу, будто пусто кругом, глухо. Да меня не надуешь! Я чую — и заяц тут, и белка в дупле, и ворон на суку, и куропатка в сугробе. У-у-у! Так бы всех и съел!

Ворон. Карр, карр! Врешь, — всех не съешь!

Волк. А ты не каркай. У меня с голодухи брюхо свело, зубы сами щелкают.

Ворон. Карр, карр! Иди, бррат, своей дорогой, никого не тррогай. Да смотри, как бы тебя не тронули. Я — ворон зоркий, за тридцать верст с дерева вижу.

Волк. Ну, что ж ты видишь?

Ворон. Карр, карр! По дороге солдат идет. Волчья смерть у него за плечами, волчья гибель на боку. Карр, карр! Куда ж ты, серый?

Волк. Скучно слушать тебя, старого! Побегу туда, где тебя нет. (Убегает.)

Ворон. Карр, карр, убрался серый во-свояси, струсил. Поглубже в лес — от смерти подальше. А солдат-то не за волком, а за елкой идет.. Санки за собой тянет. Праздник нынче — новый год. Недаром и мороз ударил новогодний, трескучий. Эх, расправить бы крылья, полетать, согреться — да стар, я, стар. Карр, карр! (Прячется среди ветвей.)

(На полянку выскакивает заяц. На ветвях рядом с прежней белкой появляется еще одна.)

Заяц (хлопая лапкой о лапку). Холодно, холодно, холодно! От мороза дух захватывает, лапы на бегу к снегу примерзают. Белки, а белки, давайте играть в

* В основу этой пьесы положены мотивы славянских (словацкой, чешской) сказок о братьях-месяцах.

горелки, солнце окликать, весну зазывать.

Белка. Давай, заяц. Кому первому гореть?

Заяц. Кому выпадет. Считаться будем.

Белка. Считаться, так считаться.

Косой, косой,
Не ходи босой,
А ходи обутый,
Лапочки закутай,
Если будешь ты обут,
Волки зайца не найдут,
Не найдет тебя медведь,
Выходи — тебе гореть!

(Заяц становится впереди. За ним — две белки.)

Заяц. Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо,
Птички летят,
Колокольчики звенят!

1-я белка. Лови, заяц!

2-я белка. Не догонишь! (Бегут.)

(Белки, обежав зайца справа и слева, мчатся по снегу, заяц — за ними. В это время на полянку выходит девушка-падчерица. На ней большой рваный платок, старая кофта, стоптанные башмаки, грубые рукавицы. Она тянет за собой санки, за поясом у нее топорик. Девушка останавливается между двумя деревьями и смотрит на зайца и белок. Те так заняты игрой, что не замечают ее. Белки с разгона взбираются на дерево.)

Заяц. Вы куда, куда! Так нельзя, это нечестно! Я с вами больше не играю.

1-я белка. А ты, заяц, прыгни, прыгни!

2-я белка. Подскочи, подскочи!

1-я белка. Хвостом махни — и на ветку!

Заяц (пытаясь прыгнуть, жалобно). Да у меня хвост короткий!

(Белки смеются. Девушка тоже. Заяц и белки быстро оглядываются на нее и исчезают.)

Падчерица (вытирая слезы рукавицей). Ох, не могу! До чего смешно! На морозе жарко стало... Хвост, говорит, у меня короткий. Так и говорит. Не слыхала бы своими ушами — не поверила бы! (Смеется.)

(На полянку выходит солдат. К поясу у него привешен топор. Он тоже тянет за собой санки. Солдат — усатый, бывалый, не слишком молодой.)

Солдат. Здравия желаю, красавица! Ты чему же это радуешься — клад нашла или хорошую новость услыхала?

(Падчерица машет рукой и смеется еще звонче. Солдат, глядя на нее, тоже улыбается.)

Да ты скажи, с чего тебя смех разбирает. Может, и я посмеюсь с тобой вместе.

Падчерица. Да вы не поверите!

Солдат. Отчего же? Мы, солдаты, на своем веку всего наслышались, всего нагляделись. Верить — верим, а в обман не даемся.

Падчерица. Тут заяц с белками в горелки играл, — вот на этом самом месте!

Солдат. Ну?

Падчерица. Чистая правда! Вот как наши ребятишки на улице играют: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»... Он за ними, а они от него, — по снегу да на дерево. И еще дразнят: подскочи, подскочи, подпрыгни, подпрыгни!

Солдат. Так, по-нашему, и говорят?

Падчерица. По-нашему.

Солдат. Скажите на милость!

Падчерица. Вот вы мне и не верите!

Солдат. Как не верить! Нынче день-то какой — старому году конец, новому начало. А я еще от деда своего слыхал, будто его дед ему рассказывал, что в такой день всякое на свете бывает — умей только подстеречь да подглядеть. Это ли диво, что белки с зайцами в горелки играют! Под Новый год и не такое случается.

Падчерица. А что же?

Солдат. Да так ли, нет ли, а говорил мой дед, что в самый канун Нового года довелось его деду со всеми двенадцатью месяцами встретиться.

Падчерица. Да ну?

Солдат. Чистая правда! Круглый год старик разом увидал — и зиму, и лето, и весну, и осень. На всю жизнь запомнил, сыну рассказал и внукам рассказать велел. Так до меня оно и дошло.

Падчерица. Да как же это можно, чтобы зима с летом и весна с осенью сошлись! Вместе им быть никак нельзя.

Солдат. Ну, что знаю, про то и говорю, а чего не знаю, того не скажу. А ты зачем сюда в такую стужу забрела? Я человек подневольный, меня начальство сюда отрядило, а тебя кто?

Падчерица. И я не своей волей пришла.

Солдат. В услужении ты, что ли?

Падчерица. Нет, дома живу.

Солдат. Да как же тебя мать отпустила?

Падчерица. Мать бы не отпустила, а вот мачеха послала хворосту набрать, дров нарубить.

Солдат. Вон как. Значит, ты сирота? То-то и амуниция у тебя второго сроку. Верно, насквозь тебя продувает. Ну, давай, я тебе помогу, а потом и за свое дело примусь.

(Падчерица и солдат вместе собирают хворост и укладывают его на санки.)

Падчерица. А у вас какое дело?

Солдат. Елку мне нужно вырубить самую лучшую в лесу, — чтобы и выше ее не было, и стройней не было, и зеленей не было.

Падчерица. Это для кого же такая елка?

Солдат. Как для кого? Для самой королевы. Завтра у нас гостей полон дворец будет. Вот и надо нам всех удивить.

Падчерица. А что же у вас на эту елку повесят?

Солдат. Что все вешают, то и у нас повесят. Всякие игрушки, хлопушки да побрякушки. Только у других вся эта канитель из бумаги золотой, из стекляшек, а у нас из чистого золота и алмазов. У других куклы и зайчики ватные, а у нас атласные.

Падчерица. Неужто королева еще в куклы играет?

Солдат. Отчего же ей не играть? Она хоть и королева, а не старше тебя.

Падчерица. Да я-то уж давно не играю.

Солдат. Ну, тебе, видать, некогда, а у нее время есть. Над ней-то ведь никакого начальства нет. Как померли ее родители — король с королевой, — так и осталась она полной хозяйкой и себе и другим.

Падчерица. Значит, и королева у нас сирота?

Солдат. Выходит, что сирота.

Падчерица. Жалко ее.

Солдат. Как не жалко, некому поучить ее уму-разуму. Ну, твое дело сделано. Хворосту на неделю хватит. А теперь пора и мне за свое дело приниматься, елочку искать, а то попадет мне от нашей сироты. Она у нас шутить не любит.

Падчерица. Вот и мачеха у меня такая... И сестрица вся в нее. Что ни сделаешь, — ничем им не угодишь, как ни повернешься — все не в ту сторону...

Солдат. Погоди, не век тебе терпеть. Молода ты еще, доживешь и до хорошего. Уж на что наша солдатская служба долгая, а и ей срок выходит.

Падчерица. Спасибо на добром слове, и за хворост спасибо. Быстро я нынче управилась, солнце еще высоко стоит. Дайте-ка я вам елочку одну покажу. Не подойдет ли она вам? Уж такая красивая елочка, веточка в веточку.

Солдат. Что ж, покажи. Ты, видно, здесь в лесу своя. Недаром белки с зайцами при тебе в горелки играют.

(Падчерица и солдат, оставив санки, скрываются в чаще. Мгновение сцена пуста. Потом ветви двух старых заснеженных елей раздвигаются и на поляну выходят два высоких старика — Январь месяц и Декабрь месяц. Январь — в белой шубе и шапке, Декабрь — в белой шубе с черными полосами и в белой шапке с черной опушкой.)

2-й старик (в полосатой шубе). Вот, брат, принимай хозяйство. Как будто, все у меня в порядке. Снегу нынче довольно: березкам — по пояс, соснам — по колено. Теперь и морозцу разгуляться можно, беды уж не будет. Мы свое время за тучами прожили, вам и солнышком побаловаться не грех.

1-й старик (в белом). Спасибо, брат. Видать, ты славно поработал. А что у тебя на речках да на озерах крепко лед стал?

2-й старик. Ничего, держится. А не мешает еще подморозить.

1-й старик. Подморозим, подморозим. За нами дело не станет. Ну, а народ лесной как?

2-й старик. Да, как полагается. Кому время спать, — спит, а кто не спит, тот прыгает да бродит. Вот я их созову, сам погляди.

(Хлопает рукавицами. Из чащи выглядывают волк и лисица. На ветвях появляются белки. На середину полянки выскакивает заяц. За сугробами шевелятся уши других зайцев. Волк и лисица нацеливаются на добычу, но старик в белой шубе грозит им пальцем.)

1-й старик. Ты что, рыжая? Ты что, серый? Думаете, для вас мы зайцев сюда созвали? Нет, уж вы сами для себя промышляйте. А нам всех лесных жильцов посчитать надо — и зайцев, и белок, да и вас, зубастых.

(Волк и лисица притихают. Старики неторопливо считают зверей.)

1-й старик. Ну, вот и ладно. Все вы пересчитаны. Можете итти по своим домам, по своим делам.

(Звери исчезают.)

А теперь, братец, пора нам к нашему празднику приготовиться — снег в лесу обновить, ветви посеребрить. Махни-ка рукавом — ты ведь еще здесь хозяин.

2-й старик. А не рано ли? До вечера то еще далеко. Да вон и санки чьи-то стоят, — значит, люди по лесу бродят. Завалишь тропинки снегом, — им отсюда и не выбраться.

1-й старик. А ты полегоньку начинай. Подуй ветром, помети метелью — гости и догадаются, что домой пора. Их не поторопишь, так они до полуночи шишки да сучья собирать будут. Всегда им чего-нибудь надо. На то они и люди.

2-й старик. Ну что ж, начнем помаленьку.

Верные слуги —
Снежные вьюги!
Заметите все пути,
Чтобы в чащу не пройти
Ни конному, ни пешему,
Ни леснику, ни лешему!

(Начинается вьюга. Снег густо падает на землю, на деревья. За снежной завесой почти не видно стариков в белых шубах

и шапках. Их не отличить от деревьев. На поляну возвращаются падчерица и солдат. Они идут с трудом, вязнут в сугробах, закрывают лица от вьюги. Вдвоем они несут большую елку.)

Солдат. Метель-то какая разыгралась — прямо сказать, новогодняя! Не видать ничего. Где мы тут с тобой санки оставили?

Падчерица. А вон два бугорочка рядом — это они и есть. Подлиннее да пониже — это ваши санки, а мои повыше да покороче. (Веткой обметает сани.)

Солдат. Вот елочку привяжу и тронемся. А ты не жди меня — иди себе домой, а то замерзнешь в своей одежонке, да и метелью тебя заметет. Смотри ты, какая завируха поднялась!

Падчерица. Ничего, мне не в первый раз. (Помогает ему привязать елку.)

Солдат. Ну, готово. А теперь шагом марш, в путь-дорогу! Я вперед, а ты за мной, по моим следам. Так-то тебе полегче будет. Ну, поехали!

Падчерица. Поехали. (Вздрагивает.) Ох!

Солдат. Ты чего?

Падчерица. Поглядите-ка. Вон там, за теми соснами два старика в белых шубах стоят.

Солдат. Какие еще старики? Где? (Делает шаг вперед. В это время деревья сдвигаются и старики исчезают за ними.)

Солдат. Никого там нет, померещилось тебе. Это сосны.

Падчерица. Да нет, я видела. Два старика — в шубах, в шапках.

Солдат. Нынче и деревья в шубах и шапках стоят. Идем-ка поскорее, да не гляди по сторонам, а то в новогоднюю метель да еще в лесной глуши и не такое привидится!

Падчерица и солдат уходят. Из-за деревьев опять появляются старики.

1-й старик. Ушли?

2-й старик. Ушли. (Смотрит вдаль из-под ладони). Вон уж они где, — с горки спускаются.

1-й старик. Ну, видно, это последние твои гости. Больше в нынешнем году людей у нас в лесу не будет. Зови братьев новогодний костер разводить, смолы курить, мед на весь год варить.

2-й старик. А кто дров припасет?

1-й старик. Мы — зимние месяцы.

2-й старик. А кто огоньку принесет?

Голоса из чащи. Весенние месяцы!

2-й старик. Кто будет жар раздувать?

Голоса. Летние месяцы!

2-й старик. Кто будет жар заливать?

Голоса. Осенние месяцы!

(В глубине чащи в разных местах мелькают чьи-то фигуры. Сквозь ветви светятся огни).

1-й старик. Что ж, брат, как-будто все мы в сборе — весь круглый год. Запирай лес на ночь, чтобы ни хода, ни выхода не было.

2-й старик. Ладно, запру.

Вьюга белая — пурга,
Взбей летучие снега!
Ты курись,
Ты дымись,
Пухом на̀ землю вались,
Кутай землю пеленой,
Перед лесом стань стеной!
Вот ключ,
Вот замок,
Чтоб никто пройти не мог!

(Стена падающего снега закрывает лес.)

КАРТИНА ВТОРАЯ

Дворец. Классная комната королевы. Школьная доска в роскошной золотой раме. Парта из розового дерева. На бархатной подушке сидит и пишет длинным золотым пером четырнадцатилетняя королева. Перед ней седобородый профессор арифметики и чистописания, похожий на старинного астролога. Он в мантии, в докторском причудливом колпаке с кистью.

Королева. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах.

Профессор. Вы совершенно правы, ваше величество. Это весьма неприятное занятие. Недаром древние поэты обходились без письменных приборов, почему произведения их отнесены наукой к разряду устного творчества. Однако же осмелюсь попросить вас начертать собственной вашего величества рукой еще четыре строчки.

Королева. Ладно уж, диктуйте.

Профессор. Травка зеленеет,
Солнышко блестит.
Ласточка с весною
В сени к нам летит.

Королева. Я напишу только: «Травка зеленеет». (Пишет.) Трав-ка зе-ле...

(Входит государственный канцлер.)

Канцлер (низко кланяясь). Доброе утро, ваше величество. Осмелюсь почтительнейше просить вас подписать один рескрипт и три указа.

Королева. Еще писать! Хорошо. Но уж тогда я не буду дописывать «зеленеет». Дайте сюда ваши бумажки! (Подписывает бумаги одну за другой.)

Канцлер. Благодарю вас, ваше величество. А теперь я позволю себе попросить вас начертать...

Королева. Опять начертать?..

Канцлер. Только вашу высочайшую резолюцию на этом ходатайстве.

Королева (нетерпеливо). Что же я должна написать?

Канцлер. Одно из двух, ваше величество: либо «казнить», либо «помиловать»...

Королева (про себя). По-ми-ло-вать... Каз-нить... Лучше напишу «казнить». Это короче.

(Канцлер берет бумаги, кланяется и уходит.)

Профессор. Осмелюсь спросить, ваше величество, сколько будет семью восемь?

Королева. Не помню что-то... Это меня никогда не интересовало... А вас?

Профессор. Разумеется интересовало, ваше величество!

Королева. Вот удивительно!.. Ну, прощайте, наш урок окончен. Сегодня, перед Новым годом, у меня очень много дела.

Профессор. Как угодно вашему величеству. (Грустно и покорно собирает книги. Королева ставит локти на стол и рассеянно следит за ним.)

Королева. Право же, хорошо быть королевой, а не простой школьницей. Все меня слушаются, даже мой учитель. Скажите, а что бы вы сделали с другой ученицей, если бы она отказалась ответить вам, сколько будет семью восемь?

Профессор. Не смею сказать, ваше величество.

Королева. Ничего, я разрешаю.

Профессор (робко). Поставил бы в угол.

Королева. Ха-ха-ха. (Указывая на углы.) В тот или в этот?

Профессор. Это все равно, ваше величество.

Королева. Я бы предпочла этот—он как-то уютнее. (Становится в угол.) А если она и после этого не захотела бы сказать, сколько будет семью восемь?

Профессор. Я бы... Прошу прощения у вашего величества, я бы оставил ее без обеда.

Королева. Без обеда? А если она ждет к обеду гостей, например, послов какой-нибудь державы или иностранного принца?

Профессор. Но ведь я говорю не о королеве, ваше величество, а о простой школьнице.

Королева (притягивая в угол кресло и садясь в него). Бедная простая школьница! Вы, оказывается, очень жестокий человек. А вы знаете, что я могу вас казнить? И даже сегодня, если захочу!

Профессор (дрожа). Ваше величество!

Королева. Да, да, могу. Почему бы нет?

Профессор. Но чем же я прогневал ваше величество?

Королева. Ну, как вам сказать... Вы очень своенравный человек... Если я напишу что-нибудь, — вы говорите: не верно. Отвечу вам что-нибудь, — вы говорите: не так. А я люблю, когда со мной соглашаются.

Профессор. Ваше величество, клянусь жизнью, я больше не буду с вами спорить, если это вам не угодно.

Королева. Клянетесь жизнью? Ну, хорошо. Тогда давайте продолжать наш урок. Спросите у меня что-нибудь! (Садится за парту.)

Профессор. Сколько будет шестью шесть, ваше величество?

Королева (смотрит на него, склонив голову набок). Одиннадцать.

Профессор (грустно). Совершенно верно, ваше величество. А сколько будет восемью восемь?

Королева. Три.

Профессор. Правильно, ваше величество. А сколько будет...

Королева. Сколько да сколько! Какой вы любопытный человек. Спрашивает, спрашивает... Лучше сами расскажите мне что-нибудь интересное.

Профессор. Рассказать что-нибудь интересное, ваше величество? О чем же? В каком роде?

Королева. Ну, не знаю. Что-нибудь новогоднее. Ведь сегодня канун Нового года.

Профессор. Ваш покорный слуга! Год, ваше величество, состоит из двенадцати месяцев...

Королева. Вот как? В самом деле?

Профессор. Совершенно точно, ваше величество. Месяцы называются январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль...

Королева. Вон их сколько! И вы знаете все по именам? Какая у вас замечательная память!

Профессор. Благодарю вас, ваше величество. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Королева. Подумать только.

Профессор. Месяцы идут один за другим. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И никогда еще не бывало, чтобы февраль наступил раньше января, а сентябрь раньше августа.

Королева. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил апрель?

Профессор. Это невозможно, ваше величество!

Королева. Вы опять?..

Профессор (умоляюще). Это не я возражаю вашему величеству. Это наука и природа!

Королева. Скажите, пожалуйста! А если я издам такой закон и поставлю большую печать?

Профессор (беспомощно разводит руками). Боюсь, что и это не поможет. Но вряд ли вашему величеству понадобятся такие перемены в календаре. Ведь каждый месяц приносит нам свои подар-

ки и забавы. Декабрь, январь и февраль — катанье на коньках, новогоднюю елку, масленичные балаганы, в марте начинается снеготаяние, в апреле из-под снега выглядывают первые подснежники...

Королева. Я хочу, чтобы уже был апрель, я очень люблю подснежники! Я их никогда не видала.

Профессор. До апреля осталось совсем недолго, ваше величество, всего каких-нибудь три месяца, или девяносто дней.

Королева. Девяносто? Я не могу ждать и трех дней. Завтра новогодний прием, и я хочу, чтобы у меня на столе были эти... как вы их там назвали?.. подснежники.

Профессор. Ваше величество, но законы природы!..

Королева (перебивая его). Я издам новый закон природы!.. (Хлопает в ладоши.) Эй, кто там? Пошлите ко мне канцлера. (Профессору.) А вы садитесь за мою парту и пишите. Теперь я вам буду диктовать. (Задумывается.) Ну! «Травка зеленеет, солнышко блестит». Да, да, так и пишите: «Травка зеленеет, солнышко блестит, а в наших королевских лесах распускаются весенние цветы. Посему всемилостивейше повелеваем доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски»... — Что бы им такое пообещать? Погодите, это писать не надо. Ну, вот, придумала. Пишите: «Мы дадим ему столько золота, сколько поместится в его корзине, пожалуем ему бархатную шубу на седой лисе и позволим участвовать в нашем королевском новогоднем выезде». Ну, написали? Как вы медленно пишете!

Профессор. ...на седой лисе..: Я давно уже не писал диктанта, ваше величество!

Королева. Ну, хорошо, теперь дайте мне перо, я начертаю свое высочайшее имя. (Быстро ставит закорючку и машет листком, чтобы чернила скорее высохли. В это время в дверях появляется канцлер.) Ставьте печать сюда и сюда! И позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали мой указ.

Канцлер (быстро читает глазами). К этому — печать?! Воля ваша, королева!

Королева. Да, да, воля моя, и вы должны ее исполнить!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Маленький домик на окраине города. Жарко топится печка. За окнами метель. Сумерки. Старуха раскатывает тесто. Дочка сидит перед огнем. Возле нее на полу несколько корзинок. Она перебирает корзинки. Сначала берет в руки маленькую, потом побольше, потом самую большую.

Дочка (держа в руках маленькую корзинку). А что, мама, в эту корзинку много золота войдет?

Старуха. Да, не мало.

Дочка. На шубку хватит?

Старуха. Что там на шубку, доченька. На полное приданое хватит — и на шубки, и на юбки. Да еще на чулочки и платочки останется.

Дочка. А в эту сколько войдет?

Старуха. В эту еще больше. Тут уж и на дом каменный хватит, и на коня с уздечкой, и на барашка с овечкой.

Дочка. Ну, а в эту?

Старуха. А уж тут и говорить нечего. Купишь и дом, и дачу, и жениха впридачу!

Дочка (вздыхая). Одна беда — подснежников не найти. Видно, посмеяться над нами захотела королева.

Старуха. Молода, вот и придумывает всякую всячину.

Дочка. А вдруг кто-нибудь пойдет в лес да и наберет там подснежников? И достанется ему вот этакая корзина золота!

Старуха. Ну, где там — наберет! Раньше весны подснежники и не покажутся. Вон сугробы-то какие намело — до самой крыши.

Дочка. А может, под сугробами-то они и растут себе потихонечку? Надену-ка я свою шубейку да попробую поискать.

Старуха. Что ты, доченька! Да я тебя и за порог не выпущу. Погляди в окошко, какая метель разыгралась. А то ли еще к ночи будет!

Дочка (хватает самую большую корзину). Нет, пойду — и все тут. В кои-то веки во дворец попасть случай вышел, к самой королеве на праздник. Да еще целую корзину золота дадут.

Старуха. Замерзнешь в лесу!

Дочка. Ну, так вы сами в лес ступайте. Наберите подснежников, а я их во дворец отнесу.

Старуха. Что ж тебе, доченька, родной матери не жалко?

Дочка. И вас жалко, и золота жалко, а больше всего себя жалко! Ну, что вам стоит? Эка невидаль — метель! Закутайтесь потеплее и пойдите.

Старуха. Нечего сказать, хороша дочка! В такую погоду хозяин собаки на улицу не выгонит, а она мать гонит.

Дочка. Как же! Вас выгонишь! Вы и шагу лишнего для дочки не ступите. Так и просидишь из-за вас весь праздник на кухне у печки. А другие с королевой в серебряных санях кататься будут, золото лопатой огребать. (Плачет.)

Старуха. Ну, полно, доченька, полно, не плачь. Вот съешь-ка горяченького пирожка. (Вытаскивает из печки железный лист с пирожками.)

Дочка (сквозь слезы). Не надо мне пирожков, дайте мне подснежников. Ну, если сами итти не хотите и меня не пускаете, так пусть хоть сестра сходит. Вот придет она из лесу, а вы ее опять туда пошлите.

Старуха. А ведь и правда. Отчего бы ее не послать? Лес — недалеко, сбегать недолго. Наберет она цветочков — мы с тобой их во дворец снесем, а замерзнет... Ну, значит, такая ее судьба. Кто о ней плакать станет?

Дочка. Да уж, верно, не я. До того она мне надоела, сказать не могу. За ворота выйти нельзя — все соседи только про нее и говорят. «Ах, сиротка несчастная!» «Работница — золотые руки!» «Красавица — глаз не отвести». А чем я хуже ее?

Старуха. Что ты, доченька, по мне ты лучше, а не хуже. А только не всякий это разглядит. Ведь она хитрая — подольститься умеет. Тому поклонится, этому улыбнется. Вот и жалеют ее все. Сиротка да сиротка. А чего ей, сиротке, нехватает? Платок свой я ей отдала, совсем хороший платок, и двух лет его не гроносила, а потом только квашню укутывала. Башмачки твои прошлогодние донашивать ей позволила, жалко, что ли? А уж хлеба сколько на нее идет. Утром кусок, да за обедом краюшка, да вечером горбушка. Сколько это в год-то выйдет — посчитай-ка. Дней-то в году много! Другая бы не знала, как отблагодарить, а от этой слова не услышишь.

Дочка. Какую же ей корзинку с собой дать? Дадим вот эту — самую большую!

Старуха. Что ты, доченька, эта корзина новая, недавно куплена. Ищи ее потом в лесу. Вот эту дадим, и пропадет, так не жалко.

Дочка. Да уж больно мала!

(Входит падчерица. Платок ее весь засыпан снегом. Она снимает его с себя и стряхивает, потом подходит к печке и греет руки.)

Старуха. Что, на дворе метет?

Падчерица. Так метет, что ни земли, ни неба не видать. Словно по облакам идешь. Еле до дому добралась.

Старуха. На то и зима, чтобы метель мела.

Падчерица. Нет, такой вьюги за целый год не было. Да и не будет.

Дочка. А ты почем знаешь, что не будет?

Падчерица. Да ведь нынче последний день в году.

Дочка. Вон как! Видно, ты не очень замерзла, если загадки загадываешь. Ну, что, обогрелась? Надо тебе еще кое-куда сбегать.

Падчерица. Куда же это? Далеко?

Старуха. Не так уж близко, да и не далеко.

Дочка. В лес.

Падчерица. В лес? Зачем? Я хворосту много привезла, на неделю хватит.

Дочка. Да не за хворостом, а за подснежниками!

Падчерица (смеясь). Вот разве что за подснежниками! В такую вьюгу! А я-то сразу и не поняла, что ты шутишь. Испугалась, нынче и пропасть не мудрено, — так и кружит, так и валит с ног.

Дочка. А я не шучу. Ты что — про указ не слыхала?

Падчерица. Нет.

Дочка. Ничего-то ты не слышишь, ничего не знаешь. По всему городу про это говорят. Тому, кто сегодня подснежников наберет, королева целую корзину золота даст, шубку на седой лисе подарит и в своих санях по городу прокатит.

Падчерица. Да какие же теперь подснежники — ведь зима...

Старуха. Весной-то за подснежники не золотом платят, а медью!

Дочка. Ну, что там разговаривать! Вот тебе корзинка.

Падчерица (смотрит в окно). Темнеет уж.

Старуха. А ты бы еще дольше за хворостом ходила — так и совсем бы темно стало.

Падчерица. Может, завтра с утра пойти? Я пораньше встану, чуть рассветет.

Дочка. Тоже придумала — с утра! А если ты до вечера цветов не найдешь? Станут нас во дворце дожидаться! Ведь цветы-то к празднику нужны.

Падчерица. Никогда не слыхала, чтоб зимой цветы в лесу росли. Да разве что разглядишь в такую темень?

Дочка (жуя пирожок). А ты пониже наклоняйся да получше гляди.

Падчерица. Не пойду я!

Дочка. Как это не пойдешь?

Падчерица. Неужели вам меня совсем-совсем не жалко? Не вернуться мне из лесу.

Дочка. А что же — мне вместо тебя в лес итти?

Падчерица (опустив голову). Да ведь не мне золото нужно.

Старуха. Понятно, тебе ничего не нужно. У тебя все есть, а чего нет, то у мачехи да у сестры найдется.

Дочка. Она у нас богатая, от целой корзины золота отказывается! Ну, пойдешь или не пойдешь? Отвечай прямо. Не пойдешь? Где моя шубейка? (Со слезами в голосе.) Пусть она здесь у печки греется, пироги ест, а я до полуночи по лесу ходить буду, в сугробах вязнуть... (Срывает с крючка шубку и бежит к дверям. Старуха ловит ее за подол.)

Старуха. Ты куда? Кто тебе позволил? Садись на место, глупая! (Падчерице.) А ты — платок на голову, корзину в руки и ступай. Да смотри у меня: если узнаю, что ты у соседей где-нибудь просидела, в дом не пущу, — замерзай на дворе!

Дочка. Иди и без подснежников не возвращайся!

(Падчерица закутывается в платок, берет корзину и уходит. Молчание.)

Старуха (оглянувшись на дверь). И дверь-то за собой как следует не прихлопнула. Дует как! Закрой хорошенько, доченька. И собирай на стол. Ужинать пора.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Лес. На землю падают крупные хлопья снега. Густые сумерки. Падчерица пробирается через глубокие сугробы. Кутается в рваный платок. Дует на замерзшие руки. В лесу все больше и больше темнеет. С верхушки дерева шумно падает ком снега.

Падчерица (вздрагивает). Ох, кто там? (Оглядывается). Снеговая шапка упала, а мне уж почудилось, будто на меня кто-то с дерева прыгнул... А кому быть здесь в такую пору? Звери — и те по своим норам попрятались. Одна я в лесу. (Пробирается дальше. Спотыкается, запутывается в буреломе, останавливается). Не пойду дальше. Тут и останусь. Все равно, где замерзать. (Садится на поваленное дерево.) Темно-то как. Рук своих не разглядишь. И не знаю, куда я зашла. И днем-то здесь заблудиться немудрено, а уж ночью и подавно. Ни вперед, ни назад дороги не найти. Вот и пришла моя смерть. Мало я хорошего видела, а все-таки страшно помирать... Разве закричать, на помощь позвать? Может, услышит кто — лесник или дровосек запоздалый, или охотник какой? Ау! Помогите! Ау! Нет, никто не отзывается. Что же мне делать? Так и сидеть здесь, пока конец не придет? А ну как волки набегут? Ведь они издали человека чуют. Вон там хрустнуло что-то, будто крадется кто. Ох, боюсь! (Подходит к дереву, смотрит на толстые, узловатые, покрытые снегом ветви.) Взобраться что ли? Там они меня не достанут. (Взбирается на одну из ветвей и усаживается в развилине. Начинает дремать. Некоторое время в лесу тихо. Потом из-за сугроба выглядывает волк.)

Волк. У-у-у, человечьим духом в лесу запахло. Будет мне к новому году пожива, будет мне ужин!

Ворон (с верхушки дерева). Карр, карр! Берегись, серый. Не про тебя добыча!.. Карр, карр...

Волк. А, это опять ты, старый колдун? Утром ты меня обманул, а уж теперь не надуешь. Чую добычу, чую!

Ворон. Ну, а коли чуешь, так скажи, что у тебя справа, что слева, что прямо.

Волк. Думаешь, не скажу? Справа — куст, слева — куст, а прямо — лакомый кус.

Ворон. Врешь, брат! Слева — ловушка, справа — отрава, а прямо — волчья яма. Только и осталось тебе дороги, что обратно. Куда же ты, серый?

Волк. Куда захочу, туда и поскачу, а тебе дела нет!.. (Исчезает за сугробом.)

Ворон. Карр, карр, удррал серый. Стар волк, да я старее, хитер — да я мудрее. Я его, серого, еще не раз проведу. А ты, красавица, проснись, нельзя на морозе дремать — замерзнешь!

(На дереве появляется белка и сбрасывает на падчерицу шишку.)

Белка. Не спи, замерзнешь!

Падчерица. Что такое? Кто это сказал? Кто здесь, кто? Нет, видно, послышалось мне. Просто, шишка с дерева упала и разбудила меня. А мне что-то хорошее приснилось, и теплее даже стало. Что же это мне приснилось? Не вспомнишь сразу. Ах, вон оно что! Будто мать моя по дому с лампой идет, и огонек прямо мне в глаза светит. (Подымает голову, стряхивает рукой снег с ресниц.) А ведь и правда, что-то светится — вон там далеко. А вдруг это волчьи глаза? Да нет, волчьи глаза зеленые, а это золотой огонек. Так и дрожит, так и мерцает, — будто звездочка в ветвях запуталась. Побегу! (Соскакивает с ветки). Все еще светится. Может, тут и в самом деле избушка лесника недалеко или дровосеки огонь развели. Итти надо. Надо итти. Ох, ноги не идут — окоченели совсем. (Идет с трудом, проваливаясь в сугробы, перебираясь через бурелом и поваленные стволы.) Только бы огонек не погас!.. Нет, он не гаснет, он все ярче горит. И дымком теплым как-будто запахло. Неужто костер? Так и есть. Чудится мне или нет, а слышу я, как хворост на огне потрескивает.

(Идет дальше, раздвигая и приподнимая лапы густых высоких елей. Все светлее и светлее становится вокруг. Красноватые отблески перебегают по снегу, по ветвям. И вдруг перед девушкой открывает-

ся небольшая круглая поляна, посреди которой жарко пылает высокий костер. Вокруг костра сидят люди, кто поближе к огню, кто подальше. Их двенадцать: трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое — совсем еще юноши. Молодые сидят у самого огня, старики поодаль. На двух стариках белые длинные шубы, мохнатые белые шапки, на третьем — белая шуба с черными полосами и на шапке черная опушка. Один из пожилых — в золотисто-красной, другой — ржаво-коричневой, третий — в бурой одежде. Остальные шестеро — в зеленых, разного оттенка, кафтанах, расшитых цветными узорами. У одного из юношей поверх зеленого кафтана — шубка внакидку, у другого — шубка на одном плече. Девушка останавливается между двух елок и, не решаясь выйти на поляну, прислушивается к тому, о чем говорят двенадцать братьев, сидящих у костра.)

Январь (бросая в огонь охапку хвороста).

Гори, гори ярче —
Лето будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.

Все. Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Июнь. Гори, гори с треском!
Пусть по перелескам, —
Где сугробы лягут,
Будет больше ягод.

Май. Пусть несут в колоду
Пчелы больше меду.

Июль. Пусть в полях пшеница
Густо колосится.

Все. Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

(Девушка сначала не решается выйти на поляну. Потом, набравшись смелости, медленно выходит из-за деревьев. Двенадцать братьев, замолчав, поворачиваются к ней.)

Падчерица (поклонившись). Добрый вечер.

Январь. И тебе вечер добрый.

Падчерица. Если не помешаю я вашей беседе, позвольте мне у костра погреться.

Январь (братьям). Ну, как, братья, по-вашему? Позволим или нет?

Февраль (качая головой). Не бывало еще такого случая, чтобы кто-нибудь, кроме нас, у этого костра сидел.

Май. Не бывать-то не бывало. Это правда. Да уж если пришел кто на огонек наш, так пусть греется.

Апрель. Пусть греется. От этого жару в костре не убавится.

Январь. Ну, подходи, красавица, подходи, да смотри, как бы не сгореть тебе. Видишь, костер у нас какой — так и пышет.

Падчерица. Спасибо, дедушка. Я близко не подойду. Я в сторонке стану. (Подходит к огню, стараясь никого не задеть и не толкнуть, и греет руки.) Хорошо-то как! До чего огонь у вас легкий да жаркий. До самого сердца тепло стало. Отогрелась я. Спасибо вам.

(Недолгое молчание. Слышно только, как трещит костер.)

Январь. А что это у тебя в руках, девушка, корзинка никак? За шишками ты, что ли, пришла под самый Новый год, да еще в такую метелицу?

Февраль. Лесу тоже отдохнуть надо — не все же его обирать!

Падчерица. Не по своей воле я пришла, и не за шишками.

Август (усмехаясь). Так уж не за грибами ли?

Падчерица. Не за грибами, а за цветами. Прислала меня мачеха за подснежниками.

Март (смеясь и толкая в бок Апрель-месяц). Слышишь, братец, за подснежниками! Значит, твоя гостья, принимай!

(Все смеются.)

Падчерица. Я бы и сама посмеялась, да не до смеху мне. Не велела мне мачеха без подснежников домой возвращаться.

Февраль. На что же ей среди зимы подснежники понадобились?

Падчерица. Не цветы ей нужны, а золото. Обещала наша королева целую корзину золота тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. Вот меня и послали в лес.

Январь. Плохо твое дело, голубушка. Не время теперь для подснежников — надо апреля месяца ждать.

Падчерица. Я и сама знаю, дедушка. Да деваться мне некуда. Ну, спасибо вам за тепло да за привет. Если помешала, не гневайтесь. (Берет свою корзину и медленно идет к деревьям.)

Апрель. Погоди, девушка, не спеши!

(Падчерица останавливается.)

Апрель (подходит к январю и кланяется ему). Братец Январь, уступи мне на час свое место.

Январь. Я бы уступил, да не бывать Апрелю прежде Марта-месяца.

Март. Ну, за мной дело не станет. Что ты скажешь, братец Февраль?

Февраль. Ладно уж, и я уступлю, спорить не буду.

Январь. Если так, будь по-вашему! (Ударяет в землю своим ледяным посохом.)

Не трещите морозы,
В заповедном бору,
У сосны, у березы
Не грызите кору:

Полно вам воронье
Замораживать,
Человечье жилье
Выхолаживать!

(В лесу становится тихо. Метель улеглась. Небо покрылось звездами.)

Январь. Ну, теперь твой черед, братец Февраль! (Передает свой посох лохматому и хромому Февралю.)

Февраль (ударяет посохом о землю).

Ветры, бури, ураганы,
Дуйте что есть мочи.
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи.

В облаках трубите громко,
Вейтесь над землею,
Пусть бежит в полях поземка
Белою змеею!

(В ветвях гудит ветер. По поляне бежит поземка, крутятся снежные вихри.)

Теперь твой черед, братец Март!

(Март берет посох, и посох в его руках превращается в большую ветку, покрытую почками.)

Март. Снег теперь уже не тот,
Потемнел он в поле, —
На озерах треснул лед,
Будто раскололи.

Облака бегут быстрей,
Небо стало выше.
Зачирикал воробей
Веселей на крыше.

Все чернее с каждым днем
Стежки и дорожки,
И на вербах серебром
Светятся сережки.

(Снег вокруг темнеет и оседает. Начинается капель. На деревьях, как и на посохе, появляются почки.)

Март. Ну, теперь ты бери посох, братец Апрель.

(Апрель берет посох. На нем сразу распускаются молодые зеленые листья. Апрель прикладывает к губам пастушескую дудку — что-то вроде свирели, играет на ней короткую, задорную песенку, а потом говорит звонко, во весь мальчишеский голос.)

Апрель.

Разбегайтесь, ручьи,
Растекайтесь, лужи,
Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи!

Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.

(В лесу и на поляне все меняется. Тает последний снег. На кочках, под деревьями появляются голубые и белые цветы. Кругом капает, течет, журчит. Падчерица стоит, оцепенев от удивления.)

Апрель. Что ж ты стоишь? Торопись. Нам с тобой всего один часок братья подарили.

Падчерица. Да как же все это случилось? Неужто ради меня весна среди зимы настудила? Глазам своим поверить не смею.

Апрель. Верь — не верь, а беги скорей подснежники собирать. Нето вернется зима, а у тебя еще корзинка пустая.

Падчерица. Бегу, бегу!

(Девушка исчезает за деревьями.)

Январь (вполголоса). Я ее сразу узнал, как только увидел. И платочек на ней тот же самый дырявый, и сапожонки худые, что днем на ней были. Мы, зимние месяцы, ее хорошо знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. И всегда она веселая, приветливая, идет себе — поет. А нынче приуныла.

Июнь. Да и мы, летние месяцы, ее не хуже знаем.

Июль. Как не знать! Еще и солнце не встанет, она уже на коленях возле грядки, — полет, подвязывает, гусениц обирает. В лес придет — зря ветки не сломит. Спелую ягоду возьмет, а зеленую на кусте оставит — пусть себе зреет.

Ноябрь. Я ее не раз дождем поливал. Жалко, а ничего не поделаешь — на то я осенний месяц!

Февраль. Ох, и от меня она мало хорошего видела. Ветром я ее пробирал, стужей студил. Знает она Февраль-месяц, да зато и Февраль ее знает. Такой, как она, не жалко среди зимы весну на часок подарить.

Апрель. Отчего же только на часок? Я бы с ней целый век не расстался.

Сентябрь. Да, хороша девушка. Лучшей хозяйки нигде не найдешь.

Апрель. Ну, если по нраву она вам всем, так подарю я ей свое обручальное колечко!

Январь. Что ж, дари. Дело твое молодое.

(Из-за деревьев выходит падчерица. В руках у нее корзина, полная подснежников.)

Январь. Уже полную корзину набрала? Проворные у тебя руки.

Падчерица. Да ведь их там видимо-невидимо. И на кочках, и под кочками, и в чащах, и на лужайке, и под камнями, и под деревьями. Никогда я столько подснежников не видала. Да какие все крупные, стебельки пушистые, точно бархатные, лепестки будто хрустальные. Спасибо вам, хозяева, за доброту вашу. Если бы не вы, не видать бы мне больше ни солнышка, ни подснежников весенних. Сколько ни проживу на свете, а все благодарить вас буду — за каждый цветочек, за каждый денечек. (Кланяется Январю-месяцу.)

Январь. Не мне кланяйся, а брату моему младшему, Апрелю-месяцу. Он за тебя просил, он и цветы для тебя из-под снега вывел.

Падчерица (оборачиваясь к Апрелю-месяцу). Спасибо тебе, Апрель-месяц! Всегда я тебе радовалась, а теперь, как в лицо тебя увидела, так уж никогда не забуду.

А п р е л ь. А чтобы и в самом деле не забыла, вот тебе колечко на память. Смотри на него да вспоминай меня. Если случится у тебя беда, брось его на землю, в воду или в снежный сугроб и скажи:

Ты катись, катись, колечко,
На весеннее крылечко,
В летние сени,
В теремок осенний,
Да по зимнему ковру
К новогоднему костру!

Мы и придем к тебе на выручку. Запомнила?

П а д ч е р и ц а. Запомнила. (Повторяет.)

...Да по зимнему ковру
К новогоднему костру!

А п р е л ь. Ну, прощай, да колечко мое береги. Потеряешь его — меня потеряешь.

П а д ч е р и ц а. Не потеряю. Я с этим колечком ни за что не расстанусь. Оно мне всего на свете дороже будет.

Я н в а р ь. А теперь послушай, что я скажу! Довелось тебе нынче, в последнюю ночь старого года, в первую ночь нового года встретиться со всеми двенадцатью месяцами разом. Когда-когда еще Август-месяц наступит, а вот он перед тобою стоит. Когда еще расцветут апрельские подснежники, а у тебя уж корзина полна. Ты к нам по самой короткой дорожке пришла, а другие идут по длинной дороге — день за днем, час за часом, минута за минутой. Так оно и полагается. Ты этой короткой дорожки никому не открывай, никому не указывай. Дорога эта заповедная.

П а д ч е р и ц а. Умру, а не укажу.

Я н в а р ь. То-то же. Помни, что я тебе сказал, и что ты мне ответила. Да беги поскорее домой, пока я метель свою на волю не выпустил.

П а д ч е р и ц а. Прощайте, братья-месяцы!

М е с я ц ы. Прощай, сестрица!

(Падчерица убегает.)

А п р е л ь. Братец Январь, темно ей в пути будет. Попроси месяц небесный посветить ей.

Я н в а р ь (подымая голову). Ладно, попрошу. А куда только он девался? Эй, тезка, месяц небесный! Выгляни-ка из-за тучи!

(Месяц появляется и останавливается над поляной.)

Сделай милость, проводи нашу гостью по лесу, чтобы ей поскорей до дому добраться.

(Месяц плывет по небу в ту сторону, куда ушла девушка. Некоторое время тишина.)

Д е к а б р ь. Ну, брат Январь, конец зимней весне приходит. Бери свой посох.

Я н в а р ь. Погоди маленько. Еще не время.

(На поляне снова светлеет. Из-за деревьев возвращается месяц и останавливается прямо над поляной.)

Довел, значит. Ну, спасибо! А теперь, брат Апрель, давай-ка мне посох. Пора!

Из-за северных
Морей,
Из серебряных
Дверей,
На приволье, на простор
Выпускаю трех сестер.

Буря, старшая сестра,
Ты раздуй огонь костра.
Стужа, средняя сестра,
Скуй котел из серебра —
Соки вешние варить,
Смолы летние курить.

А последнюю зову
Метелицу-куреву.
Метелица-курева
Закурила, замела,
Запылила, завалила
Все дорожки, все пути —
Не проехать, не пройти!

(Он ударяет посохом о землю. Начинается свист, вой метели. По небу мчатся облака. Снеговые хлопья закрывают всю сцену).

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Домик старухи. Старуха и дочка наряжаются. На скамейке стоит корзина с подснежниками.

Д о ч к а. Говорила я вам, дайте ей большую новую корзину. А вы пожалели. Вот теперь и пеняйте на себя. Много ли золота в эту корзинку влезет: горсточка — другая, и уж места нет!

С т а р у х а. А кто ж ее знал, что она живая вернется, да еще с подснежниками? Это дело неслыханное!.. И где она их разыскала, ума не приложу.

Д о ч к а. А вы у нее не спрашивали?

С т а р у х а. И спросить толком не успела. Пришла она сама не своя, будто не из лесу, а с гулянья, — веселая, глаза блестят, щеки горят. Корзинку на стол, и сразу к себе за занавесочку. Я только глянула, что у нее в корзинке, а она уже спит. Да так крепко, что и не добудишься. Уж и день на дворе, а она все спит. Я сама и печку растопила, и пол подмела.

Д о ч к а. Пойду-ка я ее разбужу. А вы пока возьмите большую новую корзину и переложите в нее подснежники.

С т а р у х а. Да ведь корзина-то пустовата будет.

Д о ч к а. А вы пореже да попросторнее уложите, так она и будет полная. (Кидает ей корзину.)

С т а р у х а. Умница ты моя!

(Дочка уходит за занавеску. Старуха перекладывает подснежники.)

Как же это их уложить, чтобы корзина полная была? Землицы разве подсыпать? (Берет цветочные горшки с подоконника, высыпает из них в корзину землю, потом укладывает подснежники, а по краям украшает корзину зелеными листьями из горшков.) Вот и ладно. Цветочки — они землю любят. А уж где цветочки, там и листики. Дочка-то, видно, в меня пошла. Обеим нам ума не занимать стать.

(Дочка выбегает на цыпочках из-за занавески.)

Полюбуйся, как я подснежники-то уложила!

Дочка (негромко). Что там любоваться! Вы полюбуйтесь.

Старуха. Колечко! Да какое! Откуда оно у тебя?

Дочка. То-то откуда! Зашла я к ней, стала ее будить, а она и не слышит. Схватила я ее за руку, разжала кулак, глядь — а на пальце у нее колечко светится. Я потихоньку колечко стянула, а будить больше не стала — пускай себе спит.

Старуха. Ах, вон оно что! Так я и думала.

Дочка. Что думала?

Старуха. Не одна она, значит, в лесу подснежники собирала. Кто-то ей помогал. Ай да сиротка! Покажи колечко, доченька. Так и блестит, так и играет. В жизни своей такого не видала. Ну-ка, надень на пальчик.

Дочка (стараясь надеть кольцо). Не лезет!

(Из-за занавески выходит падчерица.)

Старуха (тихо). В карман, в карман положи!

(Дочка прячет кольцо в карман. Падчерица, глядя себе под ноги, медленно идет к скамейке, потом к дверям, выходит в сени.)

Старуха. Заметила пропажу!

(Падчерица возвращается. Подходит к корзине с подснежниками, роется в цветах.)

Ты зачем цветы мнешь?

Падчерица. А где та корзинка, в которой я подснежники принесла?

Старуха. Тебе на что? Вон она стоит.

(Падчерица шарит в корзинке.)

Дочка. Да ты чего ищешь-то?

Старуха. Она у нас мастерица искать. Слыханное ли дело, среди зимы столько подснежников разыскала.

Дочка. А еще говорила, зимой не бывает подснежников. Ты где их набрала?

Падчерица. В лесу. (Наклоняется, смотрит под лавку.)

Старуха. Да скажи толком, что ты все шаришь?

Падчерица. А вы тут ничего не находили?

Старуха. Что же нам находить, коли мы ничего не теряли.

Дочка. Это ты, видно, что-то потеряла. А что, — сказать боишься.

Падчерица. Ты знаешь, видела?

Дочка. Откуда мне знать. Ты ничего мне не рассказывала и не показывала.

Старуха. Вот ты скажи, что потеряла, — может, мы и поможем тебе найти.

Падчерица (с трудом). Колечко у меня пропало.

Старуха. Колечко? Да у тебя его никогда и не было!

Падчерица. Я его вчера в лесу нашла.

Старуха. Ишь ты, счастливица какая! И подснежники нашла, и колечко. Я ж и говорю, мастерица искать. Ну, вот и поищи. А нам с дочкой во дворец итти пора. Закутайся потеплее, доченька. Мороз-то большой.

(Одеваются, прихорашиваются.)

Падчерица. Зачем вам мое колечко? Отдайте мне его!

Старуха. Ты что, ума лишилась? Откуда же нам его взять?

Дочка. Мы его и в глаза не видели!

Падчерица. Сестрица, милая, у тебя мое колечко! Я знаю. Ну, не смейся надо мной, отдай мне его. Ты во дворец идешь. Тебе там целую корзину золота дадут — чего хочешь, того и накупишь себе, а у меня только и было, что это колечко.

Старуха. Да что ты привязалась к ней? Видать, колечко-то это не найденное, а дареное. Память дорогая!

Дочка. А скажи, кто тебе его подарил?

Падчерица. Никто не дарил. Нашла.

Старуха. Ну, что легко найдено, то и потерять не жаль. Ведь не заработанное. Бери корзинку, доченька. Во дворце-то нас, небось, заждались! (Уходят.)

Падчерица. Погодите! Матушка! Сестрица! И слушать даже не хотят. Что же мне делать теперь, кому пожаловаться? Братья-месяцы далеко, не найти мне их без колечка. А кто еще заступится за меня? Разве во дворец пойти, королеве рассказать? Ведь это я для нее подснежники собирала. Солдат говорил, она — сирота. Может, сирота сироту пожалеет... Да нет, не пустят меня к ней с пустыми руками, без подснежников моих! (Садится перед печкой, смотрит в огонь.) Вот будто и не было ничего. Будто приснилось все. Ни цветов, ни колечка. Только хворост и остался у меня — из всего, что я из лесу принесла. (Бросает в огонь охапку хвороста.)

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

(Пламя светло вспыхивает, трещит в печи.)

Ярко горит, весело! Словно я опять в лесу, у костра, среди братьев-месяцев... Прощай, мое новогоднее счастье. Прощайте, братья-месяцы!.. Прощай, Апрель!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Зал королевского дворца. Посреди зала — высокая, пышно разукрашенная елка. Перед дверью, ведущей во внутренние королевские покои, стоит в ожидании королевы много разряженных гостей. Среди них — посол Западного королевства и посол Восточного королевства. Музыканты играют туш. Из дверей выходят придворные, потом королева в сопровождении канцлера и высокой, худой гофмейстерины. За королевой — пажи, несущие ее длинный шлейф. За шлейфом скромно семенит профессор.

Все в зале. С Новым годом, ваше величество! С новым счастьем!

Королева. Счастье у меня всегда новое, а Новый год еще не наступил.

(Общее удивление.)

Канцлер. А между тем, ваше величество, сегодня первое января.

Королева. Вы ошибаетесь. (Профессору.) Сколько дней в декабре?

Профессор. Ровно тридцать один, ваше величество!

Королева. Значит, сегодня тридцать второе декабря.

Гофмейстерина (послам). Это прелестная новогодняя шутка ее величества!

(Все смеются.)

Начальник королевской стражи. Очень острая шутка, острее моей шпаги — неправда ли, господин королевский прокурор?

Королевский прокурор. Высшая мера остроумия!

Королева. Нет, я вовсе не шучу. (Все перестают смеяться.) Завтра будет тридцать третье декабря, послезавтра — тридцать четвертое декабря. Ну, как там дальше? (Профессору.) Говорите вы!

Профессор (растерянно). Тридцать пятое декабря... Тридцать шестое декабря... Тридцать седьмое декабря... Но это невозможно, ваше величество!

Королева. Вы опять?

Профессор. Да, ваше величество, опять и опять! Вы можете отрубить мне голову, можете посадить меня в тюрьму, но тридцать седьмого декабря не бывает. В декабре тридцать один день. Ровно тридцать один. Это доказано наукой. А семью восемь, ваше величество, пятьдесят шесть, а восемью восемь, ваше величество, шестьдесят четыре! Это тоже доказано наукой, а наука для меня дороже собственной головы!

Королева. Ну, ну, дорогой профессор, успокойтесь. Я вас прощаю. Я слыхала где-то, что короли иногда любят, когда им говорят правду. А все-таки декабрь не кончится до тех пор, пока мне не принесут полной корзины подснежников.

Профессор. Как вам угодно, ваше величество, но их не принесут!

Королева. Посмотрим!

(Общее замешательство.)

Канцлер. Осмелюсь представить вашему величеству прибывших к нам чрезвычайных послов дружественных нам держав — посла Западного королевства и посла Восточного королевства.

(Послы выходят и кланяются.)

Западный посол. Его величество король моей страны поручил мне принести вам новогодние поздравления.

Королева. Поздравьте его величество, если у него уже наступил Новый год. У меня, как видите, в этом году Новый год запоздал.

(Западный посол, высокий, лысый, бритый, грациозно, но растерянно кланяется и отступает.)

Восточный посол (небольшого роста, тучный, с длинной черной бородой. Он кланяется королеве). Мой господин и повелитель приказал мне приветствовать ваше величество и поздравить вас...

Королева. С чем?

Восточный посол (минуту помолчав). С цветущим здоровьем и великой мудростью, такой необыкновенной в столь нежном возрасте!

Королева (профессору). Вы слышите? А вы все еще собираетесь меня чему-то учить!

Профессор. Мудрые, ваше величество, учатся всю жизнь.

Королева. Им, должно быть, делать больше нечего. А у королей и без того очень много забот.

(Профессор вздыхает и кланяется. Королева садится на трон и движением руки подзывает канцлера.)

Королева. А все-таки почему до сих пор нет подснежников? Все ли в городе знают мой указ?

Канцлер. Ваше желание, королева, исполнено. Цветы будут сейчас повергнуты к стопам вашего величества! (Машет платком.)

(Двери широко открываются. Входит целая процессия садовников с корзинами, вазами, букетами самых разнообразных цветов. Главный садовник, важный, с баккенбардами, подносит королеве огромную корзину роз. Другие садовники ставят у трона тюльпаны, нарциссы, орхидеи, гортензии, азалии и другие цветы.)

Гофмейстерина. Какие прелестные краски!

Западный посол. Это настоящий праздник цветов!

Восточный посол. Роза среди роз!

Королева. А есть тут подснежники?

Канцлер. Весьма вероятно.

Королева. Отыщите мне их, пожалуйста.

Канцлер (наклоняется, надевает очки и подозрительно разглядывает цветы в корзинах. Наконец, вытаскивает пион и гортензию). Я полагаю, что один из этих цветов — подснежник.

Королева (профессору). А вы что скажете?

Профессор. К сожалению, я знаю только латинские названия растений. Это, насколько я помню, — пеония альбифлора, а это — гидрангиа опулоидес.

(Садовники отрицательно и обиженно качают головами.)

Королева. Опулоидес? Ну, это скорей похоже на название какой-то опухоли. (Садовникам.) Говорите вы, что это за цветы!

Садовник. Это гортензия, ваше величество, а это пион, или, как говорят в простом народе, марьин корень, ваше величество.

Королева. Мне не нужно никаких марьиных корней. Я хочу подснежников. Есть тут подснежники?

Садовник. Ваше величество, какие же подснежники в королевской оранжерее?.. Подснежник — цветок дикий, можно сказать, сорная трава.

Королева. А где же они растут?

Садовник. Где им и полагается, ваше величество. (Презрительно.) Где-нибудь в лесу, под кочками.

Королева. Так принесите мне их из лесу, из-под кочек!

Садовник. Слушаю, ваше величество. Только сейчас их нет и в лесу. Они не появятся раньше апреля месяца.

Королева. Вы что, сговорились все? Апрель да апрель! Слышать я этого больше не хочу! Если у меня не будет подснежников, у кого-то из моих подданных не будет головы. (Прокурору). Как вы полагаете, кто виноват в том, что у меня нет подснежников?

Прокурор. Я полагаю, ваше величество, главный садовник.

Главный садовник. Ваше величество, я отвечаю головой только за садовые растения! За лесные отвечает главный лесничий!

Королева. Очень хорошо. Если не будет подснежников, я прикажу обоих (пишет в воздухе рукой) каз-нить! Канцлер, велите приготовить приговор!

Канцлер. О, ваше величество, у меня все готово. Надо только вписать имя и приложить печать.

(В это время открывается дверь. Входит офицер королевской стражи. За ним — старуха и дочка с корзинкой в руках.)

Офицер королевской стражи. Ваше величество, по королевскому указу, эти женщины принесли во дворец целую корзину... (пауза) подснежников!

Королева (приподнимаясь). Ах! Дайте их сюда! (Подбегает к корзине и срывает с нее скатерть.) Так это и есть подснежники!

Старуха. Да еще какие, ваше величество! Свеженькие, лесные, только-что из-под сугробов! Сами рвали!

Королева (вытаскивая полными горстями подснежники). Вот это настоящие цветы, не то, что ваши — как их там! — опулоидес или марьин корень! (Прикалывает к груди букет.) Пусть сегодня все проденут в петлицы и приколют к платью подснежники. Я не хочу никаких других цветов. (Садовникам.) Уходите!

Главный садовник (обрадованно). Благодарю вас, ваше величество!

(Садовники с цветами уходят. Королева раздает всем гостям подснежники.)

Гофмейстерина (прикалывая цветы к платью). Эти милые цветочки напоминают мне те времена, когда я была совсем маленькая и бегала по дорожкам парка.

Королева. Вы были маленькая и даже бегали по дорожкам парка? (Смеется.) Это, должно быть, было очень смешно! Как досадно, что меня тогда еще не было на свете!

Начальник королевской стражи (принимая от королевы подснежник). Это мой новый орден, ваше величество. Жаль только, что он так скоро увянет. Я предпочитаю ордена, которые держатся дольше.

Королева. У вас их и так много. Смотрите, как бы они тоже не завяли. А это вам, королевский прокурор. Приколите к своей черной мантии — на вас будет немного веселее смотреть.

Королевский прокурор (прикалывая к своему одеянию подснежник). Это лучший новогодний подарок, ваше величество.

Королева. Хорошо, я каждый год буду дарить вам по цветку. В будущем году — незабудку, потом маргаритку, потом анютины глазки. Ну что, все прикололи цветы? Все? Очень хорошо. Значит, теперь Новый год наступил и в моем королевстве. Декабрь кончился. Можете меня поздравлять!

Все. С Новым годом, ваше величество! С новым счастьем!

Королева. С Новым годом, с Новым годом! Зажигайте елку! Я хочу танцовать!

(Играет музыка. Западный посол почтительно и торжественно кланяется королеве. Она подает ему руку. Начинаются танцы. Королева танцует с Западным послом, гофмейстерина — с начальником королевской стражи. За ними следуют другие пары.)

Королева. Дорогой посол, не можете ли вы подставить ножку моей гофмейстерине? Было бы так весело, если бы она растянулась посреди зала.

Западный посол. Простите, ваше

величество, я, кажется, вас не совсем понял.

Королева. Я спрашиваю, нравится ли вам мой дворец. Вы знаете, он очень древний. Его построили еще тогда, когда моя гофмейстерина была совсем маленькой.

Западный посол. Вот как! Я очень люблю древности.

Королева. А я не очень. У меня их слишком много — дворец, всякие развалины в парке, статуи, гофмейстерина, канцлер, начальник королевской стражи...

Гофмейстерина (танцуя). Вы что-то про меня сказали, ваше величество?

Королева. Не всегда же вам говорить про меня.

Гофмейстерина. О ком же нам и говорить, как не о вашем величестве? (Начальнику стражи, постепенно удаляясь в танце от королевы.) Ах, я ужасно боюсь, как бы наша королева не затеяла сегодня какой-нибудь сумасбродной шалости. От нее всего можно ожидать. Это такая невоспитанная девчонка!

Начальник королевской стражи. Однако она ваша воспитанница, госпожа гофмейстерина!

Гофмейстерина. Ах, что я могу с ней поделать! Она вся в отца и в мать. Капризы матери, причуды отца. Зимой ей нужны подснежники, а летом понадобится снег!

Королева. Мне надоело танцовать!

(Все сразу останавливаются. Королева идет к своему трону.)

Старуха. Ваше величество, позвольте и нам поздравить вас с Новым годом!

Королева. А, вы еще здесь?

Старуха. Здесь покуда. Так и стоим со своей корзиночкой.

Королева. Ах, да. Канцлер, прикажите насыпать в их корзину золота!

Канцлер. Полную корзину?

Старуха. Как обещано, ваша милость. Сколько цветочков, столько и золота!

Канцлер. Но, ваше величество, у них в корзинке земли было гораздо больше, чем цветов!

Старуха. Без земли цветы вянут, ваша милость.

Королева (профессору). Это правда?

Профессор. Сущая правда, ваше величество.

Королева. Заплатите золотом за подснежники, а земля в моем королевстве и так принадлежит мне. Неправда ли, господин королевский прокурор?

Королевский прокурор. Сущая правда, ваше величество.

(Канцлер берет корзину и уходит.)

Королева (разглядывая букетик подснежников). Итак, апрель-месяц еще не наступил, а подснежники уже расцвели. Что вы теперь скажете, дорогой профессор?

Профессор. Я и теперь считаю, что это неправильно.

Королева. Неправильно?

Профессор. Да, ваше величество, так не бывает!

Западный посол. Это и в самом деле, ваше величество, чрезвычайно редкий и замечательный случай. Было бы весьма любопытно узнать, где и как нашли эти женщины в самую суровую пору года такие прелестные весенние цветы.

Восточный посол. Я весь превратился в слух и жду удивительного рассказа!

Королева (старухе и дочке). Рассказывайте, где вы нашли цветы.

(Старуха и дочка молчат.)

Королева. Что же вы молчите?

Старуха (дочке). Говори ты.

Дочка. Сами говорите.

Старуха (выступает вперед, откашливается и кланяется). Рассказывать-то, ваше величество, дело нетрудное. Труднее было подснежники в лесу отыскать. Как услышали мы с дочкой королевский указ, так и подумали обе: живы не будем, замерзнем, а волю ее величества исполним. Взяли мы по метелке да по лопатке и пошли себе в лес. Метелками перед собой тропинку расчищаем, лопатками сугробы разгребаем. А в лесу-то темно, а в лесу-то холодно. Идем мы, идем — краю леса не видать. Смотрю я на дочку свою, а она вся окоченела, руки-ноги трясутся. Ох, думаю, пропали мы обе...

Королева. Ну, а дальше что было?

Старуха. Дальше, ваше величество, было еще хуже! Сугробы все выше, мороз все крепче, лес все темнее. И вдруг видим — две тропинки протоптаны, а кто их протоптал — не угадаешь: может, волк, может, медведь, а может, и неведомо какой зверь. Ну, говорю я дочке: чему быть — того не миновать.

Гофмейстерина (всплескивая руками). Ах, как страшно!

Королева. Не перебивайте, гофмейстерина. Рассказывай дальше.

Старуха. Слушаю, ваше величество. Вот и пошли мы, я — по левой тропинке, она — по правой, а пришли обе в одно место. И уж такое чудесное место, что и рассказать нельзя. Сугробы стоят высокие, выше деревьев, а посередке озеро — круглое, как тарелочка. Вода в нем не мерзнет, по воде белые уточки плавают, а по берегам цветов видимо-невидимо...

Королева. И все подснежники?

Старуха. Всякие цветы, ваше величество. Я таких и не видывала.

(Канцлер вносит корзину золота и ставит ее рядом со старухой и дочкой.)

Старуха (поглядывая на золото). Будто ковром цветным вся земля устлана!

Гофмейстерина. О, это должно быть прелестно! Цветы, птички!

Королева. Какие птички? Про птичек она не рассказывала.

Гофмейстерина (застенчиво). Уточки.

Королева (профессору). Разве утки — это птицы?

Профессор. Водоплавающие, ваше величество!

Начальник королевской стражи. А грибы там тоже растут?

Дочка. И грибы.

Прокурор. А ягоды?

Дочка. Земляника, малина, черника, голубика.

Западный посол. И сливы есть?

Восточный посол. И орехи?

Дочка. Все есть!

Королева. Вот замечательно! Сейчас же ступайте в лес и принесите мне оттуда земляники, орехов и слив.

Старуха. Ваше величество, помилуйте!

Королева. Что такое? Вы не хотите итти?

Старуха (жалобно). Да ведь дорога туда очень дальняя, ваше величество!

Королева. Какая же дальняя, если вчера только я указ подписала, а сегодня вы мне цветы принесли?

Старуха. Это верно, ваше величество, да уж очень мы замерзли в пути.

Королева. Замерзли? Ничего, я велю дать вам теплые шубы. (Слугам.) Принесите две шубки, да поскорей!

Старуха (дочке тихо). Что же нам делать-то?

Дочка (тихо). Ее пошлем.

Старуха (тихо). А найдет она?

Дочка (тихо). Она найдет.

Королева. О чем вы там шепчетесь?

Старуха. Советуемся, ваше величество, по какой тропинке итти — по правой или по левой...

Королева. Да вы же говорили, что обе тропинки в одном месте сходятся.

Старуха. Сходятся, ваше величество, сходятся. Так прикажите нам по шубке выдать. Мы и пойдем себе. (Берет корзину с золотом.)

Королева. Шубки вам сейчас дадут, а золото пока оставьте. Когда вернетесь, получите сразу две корзины.

(Старуха ставит корзину. Канцлер торопливо убирает ее подальше от них. Старуха и дочка недовольны.)

Королева. Да поживее возвращайтесь. Земляника, сливы и орехи нужны нам сегодня к новогоднему обеду!

(Слуги подают старухе и дочке шубы. Они одеваются, оглядывают друг друга.)

Старуха. Спасибо, ваше величество, за шубки. В этаких и мороз не страшен. Они хоть и не на седой лисе, а теплые. Прощайте, ваше величество, ждите нас с орешками да с ягодками. (Кланяются и торопливо идут к дверям.)

Королева. Стойте! (Хлопает в ладоши.) Подайте-ка и мне шубку! Всем подавайте шубы! Да велите закладывать лошадей.

Канцлер. Куда вы изволите ехать, ваше величество?

Королева (чуть не прыгая). Мы едем в лес, к этому самому круглому озеру и будем собирать там на снегу землянику! Это будет вроде земляники с мороженым. Едем! Едем!

Гофмейстерина (тихо). Так я и знала... (вслух) Какая прелестная затея!

Западный посол. Лучшей новогодней забавы и не придумаешь!

Восточный посол. Эта выдумка достойна самого Гарун аль Рашида!

Дамы (кутаясь в меховые накидки и шубы). Как хорошо! Как весело!

Королева. Этих двух женщин посадить в передние сани. Они будут показывать нам дорогу.

(Все собираются в путь.)

Дочка. Ай!

Старуха. Ваше величество!

Королева. Что тебе?

Старуха. Не спешите, ваше величество, позвольте мне словечко сказать.

Королева. Какое словечко?

Старуха. Нельзя вашему величеству ехать!

Королева. Это еще почему?

Старуха. А сугробы-то в лесу — ведь ни пройти, ни проехать!

Королева. Ну, уж если вы метелкой да лопаткой тропинку себе расчистили так для меня и широкую дорогу проложат. (Начальнику королевской стражи.) Прикажите полку солдат отправиться в лес с лопатами и метлами!

Начальник королевской стражи. Будет исполнено, ваше величество!

Королева. Ну, все готовы? Едем!

Старуха. Ваше величество!..

Королева. Слушать вас больше не хочу. Ни слова — до самого озера. Показывать дорогу будете знаками!

Старуха. Какую дорогу? Ваше величество! Ведь озера-то этого нет.

Королева. Как это нет?

Старуха. Нет и нет. Еще при нас его льдом затянуло.

Дочка. И снегом засыпало!

Гофмейстерина. А уточки?

Старуха. Улетели.

Начальник королевской стражи. Вот вам и водоплавающие!

Западный посол. А земляника, сливы?

Восточный посол. Орехи?

Старуха. Все как есть снегом замело!

Начальник королевской стражи. Но грибы-то, по крайней мере, остались?

Королева. Сушеные! (Грозно — старухе.) Я вижу, вы смеетесь надо мной.

Старуха. Да разве мы смеем... Ваше величество!

Канцлер. Этих обманщиц, ваше ве-

личество, следует заковать в цепи и посадить в тюрьму. Я сразу понял, что они попросту хотят выманить у нас корзину золота.

Гофмейстерина. И я, ваше величество, сразу догадалась, что эти плутовки нас обманывают. Разве на свете бывают такие ягоды, как черница и голубица? Я никогда не слыхала ничего подобного!

Профессор. Черника и голубика, госпожа гофмейстерина, это дикорастущие ягодные. Они встречаются в лесах, но, разумеется, летом, а не зимою. Прошу не гневаться на меня, ваше величество, но я уже докладывал вам, что ни ягод, ни орехов, ни подснежников в нашем климате среди зимы не бывает!

Королева (срывая с груди букет). А это что?

Профессор (упавшим голосом). Подснежники!..

Старуха и дочка. Подснежники, ваше величество, подснежники! Свеженькие, лесные!

Королева (усаживаясь на трон и закутываясь в шубку). Ну, так вот. Если вы не скажете, где вы их взяли, вам завтра же отрубят головы. Нет, сегодня. Сейчас. (Профессору.) Как вы это говорите — не надо откладывать на завтра...

Профессор. То, что можно сделать сегодня, ваше величество.

Королева. Вот именно. (Старухе и дочке). Ну, отвечайте. Только правду! А то плохо будет!

(Начальник королевской стражи берется за эфес шпаги.)

Старуха (плача). Мы и сами не знаем, ваше величество!

Дочка. Ничего не знаем!

Королева. Как же это так? Нарвали целую корзину подснежников и не знают где!

Старуха. Не мы рвали!

Королева. Ах, вот как?! Не вы рвали? А кто же?

Старуха. Падчерица моя, ваше величество. Это она, негодница, за меня в лес ходила. Она и подснежники принесла...

Королева. В лес — она, а во дворец — вы? Почему же вы ее с собой не взяли?

Старуха. Дома она осталась, ваше величество. Надо же кому-нибудь и за домом присмотреть.

Королева. Вот вы бы и присматривали за домом, а негодницу бы сюда прислали.

Старуха. Как ее во дворец пошлешь! Она у нас людей боится, будто зверюшка лесная.

Королева. Ну, а дорогу-то в лес, к подснежникам, ваша зверюшка показать может?

Старуха. Да, уж, верно, может. Если один раз нашла дорогу, так и в другой раз найдет. Только вот захочет ли?

Королева. Как это не захочет, если я ей прикажу?

Старуха. Ох, ваше величество, упрямая она...

Королева. Ну, я тоже упрямая! Посмотрим, кто кого переупрямит!

Дочка. А если она вас не послушает, ваше величество, прикажите ей голову отрубить. Вот и все!

Королева. Я сама знаю, кому рубить голову. (Встает с трона.) Ну, слушайте. Мы все едем в лес собирать подснежники. А вам дадут самых быстрых лошадей и вы вместе с этой вашей зверюшкой догоните нас.

Старуха и дочка (кланяясь). Слушаем, ваше величество. (Хотят итти).

Королева. Погодите! (Начальнику королевской стражи.) Приставьте к ним двух солдат с ружьями, нет, четырех, чтобы эти лгуньи не вздумали от нас улизнуть.

Начальник королевской стражи. Будет исполнено, ваше величество. Уж они у меня узнают, где растут сушеные грибы!

Королева. Очень хорошо. Принесите нам всем по корзинке. Самую большую для моего профессора. Пускай он увидит, как в моем климате цветут в январе подснежники!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Лес. Круглое озеро, затянутое льдом. Посреди него темнеет прорубь. Высокие сугробы. На ветвях сосны и ели появляются две белки.

1-я белка. Здравствуй, белка!

2-я белка. Здравствуй, белка!

1-я белка. С новым годом!

2-я белка. С новым счастьем!

1-я белка. С новой шубкой!

2-я белка. С новой шерсткой!

1-я белка. Вот тебе к новому году сосновая шишка! (Бросает).

2-я белка. А тебе — еловая! (Бросает.)

1-я белка. Сосновая! (Бросает.)

2-я белка. Еловая! (Бросает.)

1-я белка. Сосновая!

2-я белка. Еловая!

Ворон (сверху). Карр! Карр! Здравствуйте, белки!

1-я белка. Здравствуй, дедушка, с новым годом!

2-я белка. С новым счастьем, дедушка! Как поживаешь?

Ворон. По-старрому.

1-я белка. Дедушка, а сколько раз ты новый год праздновал?

Ворон. Полторраста.

2-я белка. Вон как! А ведь ты, дедушка, старый ворон!

Ворон. Помиррать порра, да смерть проворронила!

1-я белка. А правда, что ты все на свете знаешь?

Ворон. Прравда.

2-я белка. Ну, так расскажи нам про все, что видал.

1-я белка. Про все, что слыхал.

Ворон. Долго ррассказывать!

1-я белка. А ты покороче расскажи.

Ворон. Покорроче? Карр!

2-я белка. А ты подлиннее!

Ворон. Карр, карр, карр!

1-я белка. Мы по-вашему, по-вороньему, не понимаем.

Ворон. А вы учитесь иностранным языкам. Берите урроки!

1-я белка. Да уж больно много у нас в лесу народу, и все по-своему разговаривают.

2-я белка. По-заячьи я немножко болтаю, по-волчьи понимаю, а вот по-медвежьи и по-барсучьи ни за что не выучусь.

Ворон. А вы старрайтесь!

(На поляну выскакивает заяц.)

1-я белка. Здравствуй, куцый! С новым годом!

2-я белка. С новым счастьем!

1-я белка. С новым снегом!

2-я белка. С новым морозцем!

Заяц. Какой там морозец! Мне жарко стало. Снег под лапами тает... Белки, а белки, вы нашего волка не видали?

1-я белка. А на что тебе волк?

2-я белка. Зачем ты его ищешь?

Заяц. Да не я его ищу, а он меня! Где бы мне спрятаться?

1-я белка. А ты полезай к нам в дупло — у нас тут тепло, мягко и сухо, — и волку не попадешь в брюхо.

2-я белка. Прыгни, заяц, прыгни!

1-я белка. Подскочи, подскочи!

Заяц. Не до шуток мне. Волк за мной гонится, зубы на меня точит, съесть меня хочет!

1-я белка. Плохо твое дело, заяц. Уноси-ка отсюда ноги. Вон там снег сыплется, кусты шевелятся — верно, и вправду волк.

(Заяц скрывается, из-за сугроба выбегает волк.)

Волк. Чую, тут он, ушастый, тут! Не уйдет он от меня, не укроется. Белки, а белки, вы куцего не видали?

1-я белка. Как не видать! Он тебя искал, искал, весь лес обежал, всех про тебя спрашивал: где волк, где волк?

Волк. Ну, я ему покажу, где волк! В какую он сторону ушел?

1-я белка. А вон в ту.

Волк. А почему след не туда ведет?

2-я белка. Да он нынче со следом своим разошелся. След пошел туда, а он сюда.

Волк. У-у, я вас, щелкуньи, вертихвостки! Будете у меня зубы скалить!

Ворон (с верхушки дерева). Карр, карр, не брранись, серый, лучше удиррай по добрру, по здоррову!

Волк. Не испугаешь, старый плут. Два раза обманул, в третий не поверю...

Ворон. Верь — не верь, а сюда солдаты идут, лопаты несут!

Волк. Других обманывай. Не уйду отсюда, зайца стеречь буду!

Ворон. Целая р-рота идет!

Волк. И слушать тебя не хочу!

Ворон. Да не рр-рота, а брр-ригада!

(Волк поднимает голову и нюхает воздух.)

Ну, чья прравда. Теперь веришь?

Волк. Не тебе верю, а носу своему верю. Ворон, а ворон, старый дружище, где бы мне укрыться?

Ворон. Пррыгай в проррубь!

Волк. Утону.

Ворон. Туда тебе и доррога!

(Волк через всю сцену ползет на брюхе.)

Ворон. Что, брррат, страшно! На брюхе теперь ползешь?

Волк. Никого не боюсь, а людей боюсь. Не людей боюсь, а дубины, не дубины, а ружья!

(Волк исчезает. Некоторое время на сцене совсем тихо. Потом раздаются шаги, голоса. С крутого берега прямо на лед скатывается начальник королевской стражи. Он падает. За ним скатывается профессор.)

Профессор. Вы, кажется, упали?

Начальник королевской стражи. Нет, я просто прилег отдохнуть. (Кряхтя встает, потирает колени). Давно не случалось мне с ледяных гор кататься. Лет шестьдесят, по крайней мере. Как по-вашему, дорогой профессор, это озеро?

Профессор. Вне всякого сомнения, это какая-то водная котловина. По всей вероятности, озеро.

Начальник королевской стражи. И при этом совершенно круглое. Вы не находите, что оно совершенно круглое?

Профессор. Нет, вполне круглым его назвать нельзя. Скорее оно овальное, или, вернее сказать, эллипсообразное.

Начальник королевской стражи. Не знаю, может быть, с научной точки зрения. Но, на простой взгляд, оно круглое, как тарелка. Знаете, я полагаю, что это то самое озеро! (Кричит наверх.) Эй, вы там, доложите ее величеству, что мы нашли озеро, круглое, как тарелка!

Профессор (кричит наверх). Эллипсообразное!

Офицер королевской стражи (сверху). Какое? Псообразное?

Профессор. Эллипсообразное!

Офицер. Попробую доложить.

Начальник королевской стражи. Докладывайте, как я приказал. Круглое, точно тарелка. Пусть немедленно расчищают сюда дорогу!

(Появляется стража с лопатами и метлами. Солдаты быстро расчищают спуск к озеру и стелют ковровую дорожку. По дорожке спускается королева, за ней гофмейстерина, послы и другие гости.)

Королева (профессору). Вы говорили мне, что в лесу водятся звери, а я не вижу здесь ни одного! Где же они? Покажите мне их.

Профессор. Я полагаю, они спят, ваше величество.

Королева. Но ведь сейчас еще совсем светло. Разве они так рано ложатся спать?

Профессор. Многие из них ложатся еще раньше, ваше величество,—осенью, и спят до самой весны, пока не растает снег.

Королева. Здесь столько снега, что он, пожалуй, никогда не растает. Я и не думала, что на свете бывают такие высокие сугробы. Мне это нравится! (Гофмейстерине.) А вам?

Гофмейстерина. Я в восторге от нашей поездки, ваше величество!

Королева. А между тем, у вас совершенно синий нос. Вам надо пробежаться по льду. Вы согреетесь. Пробегитесь, пробегитесь!

Гофмейстерина (закрывая нос муфтой). Если вы разрешаете, ваше величество, я с удовольствием. (Неловко бежит, скользя и теряя равновесие.)

Начальник королевской стражи. Берегитесь! Прорубь! .

Гофмейстерина (на бегу). Что? Что такое прорубь?

Начальник королевской стражи. Стойте! Потом скажу!

Гофмейстерина (чуть не падает в прорубь. Ее подхватывают начальник королевской стражи и Западный посол). Ах! Благодарю вас. Я чуть не утонула.

Западный посол. О, этого бы мы никогда не допустили! Каждый из нас готов пожертвовать жизнью ради такой прекрасной дамы.

Гофмейстерина. Я уверена в этом. Но почему, однако, эту яму не заделали до сих пор льдом? Это непростительная небрежность!

Профессор. Напротив, госпожа гофмейстерина, я полагаю, что и на этом месте был крепкий лед толщиной не менее двух футов, но его прорубили сознательно.

Гофмейстерина. Злоумышленники?

Профессор. О, нет, по всей вероятности, рыбаки.

Королева (хлопая в ладоши). Ах, как это замечательно! Скорей, скорей поймайте мне рыбку! Живую!

Начальник королевской стражи. Но, ваше величество, я, к сожалению, не захватил с собой удочки.

Королева. Какой вы легкомысленный человек! Ехать к озеру, и не захватить с собой удочки!

Начальник королевской стражи. Простите, ваше величество. Даю вам слово, я больше никуда не двинусь без удочки. А пока я хотел бы обратить ваше милостивое внимание на то, что это озеро круглое, как тарелка!

Профессор. Эллипсообразное!

Начальник королевской стражи. Это неважно. Озеро затянуто льдом, засыпано снегом, а по берегам высокие сугробы.

Королева. Ну, и что же?

Начальник королевской стражи. Значит, именно здесь должны быть подснежники.

Королева (оглядываясь по сторонам). Так собирайте же их поскорее!

Начальник королевской стражи. Но их нет, ваше величество.

Королева. Ищите под снегом. Недаром же их зовут подснежниками!

Начальник королевской стражи. Очистить берега от снега!

(Солдаты принимаются работать метлами и лопатами. Все внимательно смотрят на их работу. Потом мороз берет свое. Все начинают ежиться, переступать с ноги на ногу, поднимать воротники, прятать лица в мех, тереть носы, щеки. Гофмейстерина дышет в муфту. Начальник королевской стражи хлопает руками, как извозчик. Профессор складывает ладони лодочкой и дует в них.)

Королева (нетерпеливо). Ну, что? Нашли хоть один подснежник?

Начальник королевской стражи. Пока нет, ваше величество.

Королева. Пусть роют скорее! А мне принесите еще одну шубу.

Начальник королевской стражи.Ройте скорее!

Гофмейстерина. Подайте ее величеству еще одну шубу! И мне меховую накидку.

Гости (один за другим). И мне! И мне, пожалуйста!

(Стража налегает на лопаты. Снег летит вверх столбом. Один из солдат сбрасывает с себя сначала плащ, потом куртку с меховой опушкой. Его примеру следуют еще двое солдат. В это время королеве, ее придворным и послам приносят шубы и накидки. Все кутаются.)

Королева (профессору). Объясните мне, что это значит. Я надела вторую шубу, и мне все еще холодно, а эти люди сбросили с себя даже свои куртки.

Профессор (дрожа). В-в-в... Это вполне объяснимо, ваше величество. Движение способствует кровообращению.

Королева. Я ничего не поняла! Кровообращение, движение... Позовите сюда вот этих солдат.

(Подходят два солдата — один пожилой, уже известный зрителю, другой — совсем молодой, безусый. Молодой быстро вытирает со лба пот и вытягивает руки по швам.)

Королева. Почему ты вытер лоб?

Солдат. Виноват, ваше величество!

Королева. Нет, почему?

Солдат. По неразумию, ваше величество! Не извольте гневаться!

Королева. Да я совсем на тебя не сержусь. Отвечай смело. Почему?

Солдат (смущенно). Взопрел, ваше величество!

Королева. Как? Что это значит — взопрел?

Старый солдат. Так уж у нас говорят, ваше величество, — жарко ему стало.

Королева. И тебе жарко?

Старый солдат. Еще бы не жарко!

Королева. Отчего?

Старый солдат. От лопаты, ваше величество.

Королева. Дайте мне сейчас же лопату. Всем дайте!

(Все принимаются неловко копать. Солдаты надевают куртки и, стоя поодаль, смотрят, как копают господа. Через несколько времени они начинают топать ногами от холода. Начальник королевской стражи копает с азартом.)

Начальник королевской стражи. Госпожа гофмейстерина, разрешите показать вам, как надо держать лопату. А копают вот так, вот так!

Гофмейстерина. Благодарю вас. Я очень давно не копала.

Королева (опираясь на лопату). А разве вы когда-нибудь копали?

Гофмейстерина. Да, ваше величество. У меня было прелестное зеленое ведерко и совочек.

Королева. Почему же вы их мне никогда не показывали?

Гофмейстерина. Ах, ваше величество, я потеряла их в саду, когда мне было три года...

Королева. Вам — три года? Ха-ха-ха! (Копает.) А ведь и в самом деле от этого становится теплее. Неправда ли, господин посол?

Западный посол. О, я всегда был любителем спорта, ваше величество.

Восточный посол. У нас в стране таким спортом занимаются рабы!

Королева. В самом деле? Значит, они никогда не мерзнут?

Восточный посол. Никогда, ваше величество. Отчего им мерзнуть? У нас всегда жарко.

Королева. И снега у вас нет?

Восточный посол. Совсем нет, ваше величество.

Королева. Так что же вы не копаете? Дома вам уж не придется этим заниматься!

(Все молча копают. Королева сбрасывает меховую верхнюю накидку, за ней сбрасывают и все другие. Копают.)

Королева. Ух, взопрела!

(Все от потрясения опускают лопаты.)

Королева. Разве я не так сказала?

Профессор. Нет, вы сказали совершенно правильно, ваше величество, но, осмелюсь заметить, что выражение это не вполне светское, а, так сказать, народное.

Королева. Ну, что ж, королева должна знать язык своего народа! (Бросает лопату.) Мне надоело копать.

(Все с облегчением втыкают в снег лопаты.)

Королева (начальнику королевской стражи). Где же ваши подснежники? Вы, кажется, хотите, чтобы я перекопала весь лес?

Начальник королевской стражи. Если это будет угодно вашему величеству!

Королева. Мне не угодно больше ни копать, ни ждать. Куда девались эти женщины, которые должны показать нам дорогу?

Королевский прокурор. Я опасаюсь, ваше величество, что эти преступницы обманули стражу и скрылись.

Королева. Вы отвечаете за них головой, начальник королевской стражи... Если их не будет здесь через минуту...

(Звон колокольчика. Ржание лошадей. Окрик кучера: «Стой!» Выходят старуха и дочка. За ними падчерица. По бокам стража. Когда девушка проходит мимо старого солдата, он смотрит на нее с удивлением, потом отдает ей честь. Девушка кивает ему головой.)

Начальник королевской стражи. Они здесь, ваше величество!

Королева. Наконец-то!

Старуха. Вот она, моя падчерица, ваше величество! Привезли мы ее, не извольте гневаться!

Королева. Так вот она какая, эта лесная зверюшка! Ну, подойди сюда поближе, подойди, не бойся.

Падчерица. Я не боюсь.

Королева. Я думала, что ты какая-нибудь мохнатая, косолапая, а ты, оказывается, очень красивая. Если тебя одеть понаряднее, ты будешь не хуже меня, а может быть, и лучше. (Канцлеру.) Как вы находите?

Канцлер. В присутствии моей королевы я никого не вижу!

Королева. Ах, я и забыла, что вы близоруки. (Профессору.) А вы что скажете?

Профессор. Я полагаю, что приличный наряд украшает женщину. Однако, мне кажется, что эта девушка не столько нуждается в украшениях, сколько в шубе и теплом платке.

Королева. На этот раз вы правы. Дайте ей шубку и теплый платок!

(Падчерицу одевают.)

Королева. Вот ты какая стала. Тебя и не узнаешь. Ну, что, тепло тебе?

Падчерица. Тепло, ваше величество.

Королева. А скажи-ка, это ты для меня подснежники собирала?

Падчерица. Да, я.

Королева. Значит, ты получишь сегодня же корзину золота. Полную корзину, понимаешь? А если захочешь, я дам тебе еще двенадцать платьев — шелковых и бархатных. И еще атласные башмачки на серебряных каблуках, с бриллиантовыми пряжками, по браслету на каждую руку и по кольцу на каждый палец. Хочешь?

Падчерица. Спасибо за вашу доброту. Рада я, что понравились вам мои цветочки... А только вот что я сказать хочу. Не дарите мне ни платьев, ни браслетов, ни колец на каждый палец. Ничего этого мне не надо!

Королева. А чего же тебе надо?

Падчерица. Нужно мне всего одно колечко.

Королева. Какое колечко?

Старуха. Не слушайте ее, ваше величество!

Дочка. Она сама не знает, что говорит!

Падчерица. Нет, знаю. Было у меня колечко, а вы его взяли и отдать не хотите.

Дочка. А ты видела, как мы его брали?

Падчерица. И не видела, а знаю, что оно у вас!

Королева (старухе и дочке). Дайте-ка мне сюда это колечко!

Старуха. Ваше величество, нет его у нас!

Дочка. Никто его у нас не видал, ваше величество.

Королева. А сейчас увидят. Давайте колечко, а то плохо будет!

Начальник королевской стражи. А ну, поскорее, ведьмы! Королева гневается.

(Дочка, взглянув на королеву, вынимает из кармана кольцо.)

Падчерица. Я так и знала!

Старуха. Ах, доченька! Зачем же ты чужое кольцо спрятала?

Дочка. Да вы же сами сказали — в карман положи, коли на палец не лезет!

(Все смеются.)

Королева. Красивое колечко. Такого и у меня, пожалуй, нет. (Падчерице.) Ну, что ж, бери его, если оно твое.

Падчерица. Вот спасибо. Уж так я рада, и слов не найду... (Протягивает руку.)

Королева. Нет, постой. Колечко я тебе отдам, но сначала ты мне скажешь, где нашла подснежники.

Падчерица (отступая). Не спрашивайте меня об этом лучше.

Королева. Это еще почему?

Падчерица. Потому что я все равно не отвечу.

Королева. Не ответишь? Мне? Да ты понимаешь, что я — королева и что я хочу собирать подснежники? Это мои подснежники! Они растут в моем королевстве, в моем лесу, на моей земле. (Топает ногой.) А я до сих пор не знаю, где они растут. Ну, говори, где! Не хочешь сказать? Подумай. Я могу тебя наградить, а могу и казнить!

Старуха. Да ты что, смерти не боишься? Не жалко помирать из-за подснежников?

Падчерица. Вы бы меня вчера про это спросили, когда в такую стужу, в метель, ночью посылали в лес подснежники собирать. Сами-то вы дома сидели, а я от смерти недалеко была.

Королева. Ах, вот что! Видно, вчера ночью ты сильно перепугалась в лесу, потому и теперь боишься итти. Так ты не бойся! Мои солдаты будут перед нами дорогу расчищать, а когда стемнеет, я прикажу им светить нам фонарями и факелами. Мы быстро доедем. Ехать — это не то, что пешком итти.

Падчерица. Я и сама это знаю. А только не поедете вы по той дорожке, по какой я вчера пешком шла. Обещала я никому дорогу туда не показывать и не покажу.

Королева. Кому обещала?

Падчерица. Не скажу.

Канцлер. Это неслыханно!

Гофмейстерина. Какая дерзость!

Королевский прокурор. Оскорбление величества!

Старуха. И вправду, оскорбление. А какие мы от нее оскорбления терпим — и рассказать нельзя!

Королева. Снимите с нее шубу и платок!

Дочка. Пусть мерзнет!

Старуха. Так ей и надо!

(С падчерицы снимают шубу и платок. Она остается в одном платьице и в рваном платке.)

Канцлер. Ваше величество, а не пора ли нам вернуться во дворец?

Начальник королевской стражи. Скоро стемнеет, ваше величество. И мороз все сильней.

Гофмейстерина. Я боюсь, вы простудитесь, ваше величество. Да и мы тоже.

(Во время этого разговора старый солдат незаметно накидывает на падчерицу свой солдатский плащ.)

Королева. Нет, мы еще будем сегодня собирать в лесу подснежники. Вот проберет ее мороз, она и скажет, где они растут. Ну, что, холодно тебе?

Падчерица. Нет еще, ваше величество.

Королева (оглянувшись на падчерицу). Это кто же накинул на нее плащ?

Говорите. (Молчание). Ну, видно, на нее плащи сами с неба валятся! (Оглядывается и замечает солдата без плаща.) А, вижу. Подойди-ка сюда. Это ты отдал ей свой плащ?

Старый солдат. Я, ваше величество.

Королева. Как же ты посмел?

Старый солдат. Да мне, ваше величество что-то опять жарко стало. Взопрел, как говорится у нас в простом народе. А плащ девать некуда...

Королева. Смотри, как бы тебе еще жарче не стало! (Падчерице.) А ты сейчас же отдай ему плащ и говори, где подснежники. Скажешь? Нет? А ты забыла про свое колечко? Не будет у тебя его. Сейчас я его брошу в воду, в прорубь. Жалко? Мне и самой жалко, а ничего поделать не могу. Говори же скорее. Раз... Два... Три!.. (Замахивается и бросает.)

Падчерица (закрывает лицо руками). Колечко мое! (Плачет).

Королева. Думаешь, я бросила? Нет, вот оно еще здесь, у меня в руке. Скажи только, где подснежники, и бери свое колечко. Мы наберем всего одну корзинку и сразу же поедем в город. Я велю закутать тебя в самую теплую шубку, посажу тебя в свои санки рядом с собой, повезу к себе во дворец. Ну, будешь упрямиться? Выбирай: скажешь — отдам колечко, будешь молчать — брошу в прорубь, на самое дно!.. Ну. что?

(Минутное молчание.)

Падчерица. Бросайте!

Королева. Вот как? Хорошо же! Я брошу в прорубь и колечко твое, да и тебя вслед за ним... Хватайте ее! (Сразмаху бросает колечко в воду.)

Падчерица (рванувшись вперед — к проруби.)

Ты катись, катись, колечко,
На весеннее крылечко,
В летние сени,
В теремок осенний,
Да по зимнему ковру,
К новогоднему костру!

Королева. Что? Что такое она говорит?

(Поднимается ветер, метель. Вкось летят снежные хлопья. Королева, придворные, старуха с дочкой, солдаты, стараются укрыть головы, защитить лица от снежного вихря. Сквозь шум вьюги слышен бубен Января, рог Февраля, мартовские бубенчики. Вместе со снежными вихрями проносятся какие-то белые фигуры. Может быть, это метели, а может быть, и сами зимние месяцы. Кружась, они на бегу увлекают за собой падчерицу. Она исчезает.)

Королева. Ко мне! Скорее!

(Ветер кружит ее и всех на сцене. Люди падают, поднимаются, наконец, ухватившись друг за друга, превращаются в один клубок.)

Голос гофмейстерины. Держите меня!

Голос старухи. Доченька! где ты?

Голос дочки. Сама не знаю где... Пропала я!

Разные голоса. Домой! Домой! Лошадей! Где лошади? Кучер, кучер!

(Все, приникнув к земле, замирают. В шуме бури все чаще слышны мартовские бубенчики, а потом апрельская свирель. Метель утихает. Становится светло, солнечно. Чирикают птицы. Все поднимают головы, с удивлением смотрят вокруг.)

Королева. Весна наступила.

Профессор. Не может быть!

Королева. Как это не может быть, когда на деревьях распускаются листья!

Западный посол. В самом деле, листья. А это что за цветы?

Королева. Подснежники! Все вышло по-моему! (Быстро взбегает на пригорок, покрытый цветами.) Стойте! А где эта девушка? Куда девалась твоя падчерица?

Старуха. Нет ее, убежала негодая!

Королевский прокурор. Ищите ее!

Королева. Мне она больше не нужна. Я сама нашла подснежники. Посмотрите, сколько их!

(В это время лед на озере трескается.)

Начальник королевской стражи. Лед тронулся...

Гофмейстерина. Я плыву!

Старуха. Спасите!

Дочка. Тонем!

(Королева хлопает в ладоши и смеется. Начальник королевской стражи с помощью солдат помогает всем перебраться на берег.)

Королева. Собирайте же подснежники!

Канцлер. Я их не вижу. Где они, ваше величество?

Королева. Исчезли.

Начальник королевской стражи. Зато появились ягоды!

Старуха. Ваше величество, извольте поглядеть: земляника, черника, голубика, малина — все, как мы вам рассказывали!

Гофмейстерина. Голубица, земляница! Ах, какая прелесть!

Дочка. Сами видите, мы правду говорили.

(Солнце светит все ослепительнее. Слышно стрекотанье кузнечиков. Кукует кукушка, жужжат пчелы и шмели. Лето в разгаре. Издали слышны гусли июля.)

Начальник королевской стражи (отдуваясь). Дышать не могу! Жарко! (Распахивает шубу.)

Королева. Что это — лето?

Профессор. Не может быть!

Канцлер. Однако, это так. Настоящий июль месяц!

Западный посол. Знойно, как в пустыне.

Восточный посол. Нет, у нас прохладнее.

Все сбрасывают шубы, обмахиваются платками, в изнеможении садятся на землю.)

Гофмейстерина. Кажется, у меня солнечный удар... Воды, воды!

Начальник королевской стражи. Воды гофмейстерине!

(Удар грома. Ливень. Летят листья. Наступает мгновенная осень.)

Профессор. Дождь!

Прокурор. Какой же это дождь? Это ливень!

Старый солдат. Вот вода для госпожи гофмейстерины.

Гофмейстерина. Не надо воды! Я и так вся вымокла!

Солдат. И то верно.

Королева. Подайте мне зонтик!

Начальник королевской стражи. Откуда же я возьму зонтик, ваше величество, когда мы выехали в январе, а сейчас (оглядывается), должно быть, октябрь месяц...

Профессор. Не может быть!

Королева (гневно). Никаких месяцев в моем королевстве больше нет и не будет!.. Я запрещаю!..

Канцлер. Слушаю, ваше величество.

(Становится темно. Поднимается невообразимый ураган. Ветер валит деревья, уносит брошенные шубы и шали.)

Начальник королевской стражи. (гонится за шубой). Держите!

(Ветер раздувает пышное платье гофмейстерины, и она, едва касаясь ногами земли, несется вслед за листьями и шубами.)

Гофмейстерина. Спасите меня! Я лечу!

(Тьма еще больше сгущается.)

Королева (ухватившись руками за ствол дерева). Сейчас же во дворец! Лошадей! Да где же вы все? Едем!

Канцлер. Как же нам ехать, ваше величество! Ведь мы в санях, а дорогу размыло.

Начальник королевской стражи. По такой грязи только верхом и ускачешь.

Королевский прокурор. В самом деле — верхом! (Бежит. За ним бегут послы, канцлер, начальник королевской стражи.)

Королева. Стойте! Куда же вы? Да стойте же!

Канцлер (оборачиваясь и прижимая руку к груди). Не гневайтесь, ваше величество, у меня неотложные государственные дела. Я должен немедленно приложить печать к четырем вашим рескриптам!.. (убегает.)

Королева. Я издам пятый рескрипт и прикажу вас всех казнить! (Никто ее не слушает.)

Западный посол (на бегу). Простите, ваше величество, но меня может казнить только мой король!

Восточный посол. А меня — султан! (Убегает.)

Голос прокурора (за сценой). Посадите меня на лошадь! Я не умею ездить верхом.

Голос начальника королевской стражи. Научитесь!

(Топот копыт. На сцене только королева, профессор, старуха с дочерью и старый солдат. Ливень прекращается. По сцене летят белые мухи.)

Королева. Смотрите — снег! Опять зима...

Профессор. Вот это весьма вероятно. Ведь теперь январь месяц.

Королева (ежась). Подайте мне шубу. Холодно.

Солдат. Еще бы не холодно, ваше величество. Хуже нет — сначала промокнуть, а потом замерзнуть! Да только шубы-то ветром унесло, они ведь у вас легонькие, на пуху, а вихрь был сердитый.

Королева. А это что? Разве не шуба?

Солдат. Шуба, ваше величество! (Подходит к старухе и дочке.) А ну, отдавайте казенное добро!

Старуха. Было казенное, а стало наше!

Солдат. А теперь опять казенное. Ну, что вцепились? Отдавайте!..

Дочка. Не отдам!

(Дочка и старуха тянут шубу за рукава. Замерзшие рукава с треском отламываются. Они хватаются за полы, и полы ломаются.)

Солдат. Ишь ты! Будто стеклянная стала—разбилась. Вот это мороз, так мороз. (Подходит к королеве.) Виноват, ваше величество, эту шубку не то что надеть, а и собрать нельзя. Вдребезги!

Профессор. Это следствие обледенения.

Королева. Я и сама скоро обледенею. Велите подать сани. Ведь теперь зима, мы опять можем ехать в санях!

Профессор. Совершенно правильно, ваше величество, зимой люди ездят в санях.

(Солдат уходит.)

Старуха. Говорила я вам, ваше величество, не надо вам ехать в лес.

Дочка. Подснежников ей захотелось!

Королева. А вам золото понадобилось! (Помолчав.) Да как вы смеете со мной так разговаривать?

Дочка. Ишь ты, обиделась!..

Старуха. Мы ведь не во дворце, ваше величество, а в лесу!

Солдат (возвращается и тянет за собой сани). Вот они, сани, ваше величество. Садитесь, ежели угодно, а только ехать не на ком.

Королева. А лошади где же? Обледенели или растаяли?

Солдат. Вернее сказать, растаяли, ваше величество. Господа на них ускакали.

Королева. Ну, покажу я этим господам, если только до дворца доберусь! А вот добраться-то как? (Профессору.) Ну, говорите, как?.. Вы же все на свете знаете!

Профессор. Нет, ваше величество, к сожалению, далеко не все.

Королева. Да ведь мы пропадем здесь. Мне холодно, мне больно. Я скоро промерзну вся насквозь и сломаюсь, как эта несчастная шуба. Ах, мои уши, мой нос! У меня все пальцы свело.

Солдат. А вы, ваше величество, снегом ушки и носик потрите, а то, неровен час, и в самом деле отморозите.

Королева (трет уши и нос снегом). И зачем только я этот дурацкий указ подписала!

Дочка. И правда, дурацкий! Не подписали бы вы его, сидели бы мы сейчас дома, в тепле, новый год праздновали бы. А теперь замерзай тут, как собака.

Королева. А вы чего всякого дурацкого указа слушаетесь? Кататься с королевой захотелось?.. (Прыгает то на одной ноге, то на другой.) Ой, не могу больше, холодно! (Профессору.) Да придумайте же что-нибудь!

Профессор (дуя на ладони). Это трудная задача, ваше величество. Вот если бы можно было в эти сани кого-нибудь запречь...

Королева. Кого же?

Профессор. Ну, лошадь, например, или хотя бы дюжину ездовых собак.

Солдат. Да где же в лесу собак найдешь? Как говорится, хороший хозяин в такую погоду собаки не выгонит.

(Старуха и дочка садятся на поваленное дерево.)

Старуха. Ой, не выйти нам отсюда!

Дочка. Ой, пропали мы!

Старуха. Ой, ножки мои!

Дочка. Ой, ручки мои!

Солдат. Да замолчите вы! И без вас тошно.

Старуха. А чего молчать! Завезла нас сюда да и заморозила!

Дочка. Заморозила!..

Солдат. Тише вы! Идет кто-то...

Королева. Это за мной.

Старуха. Как бы не так! Только о ней все и беспокоются.

(На сцену выходит высокий старик в белой шубе. Он по-хозяйски оглядывает лес, постукивает по стволам деревьев. Из дупла высовывается белка — он грозит ей пальцем, она прячется. Он замечает незваных гостей и подходит к ним.)

Старик. Вы зачем сюда пожаловали?

Королева. За подснежниками.

Старик. Не время теперь для подснежников.

Профессор (дрожа). Совершенно правильно.

Ворон (с дерева). Правильно!

Королева (испуганно поглядев наверх, потом на старика). Я и сама вижу, что мы не во-время приехали сюда! Научите нас, как отсюда выбраться.

Старик. Как приехали, так и выбирайтесь.

Солдат. Извините, старичок, на ком приехали, тех и на крыльях теперь не догнать. Без нас ускакали. А вы, видать, здешний?

Старик. Зимой здешний, а летом чужедальний.

Королева. Помогите нам, пожалуйста. Я вас награжу по-королевски. Хотите золота, серебра — я ничего не пожалею!

Старик. А мне ничего не надо, у меня все есть. Вон сколько серебра — вы столько и не видывали! (Поднимает руку. Весь снег вспыхивает, освещается серебряными и алмазными искрами.) Не вы меня, а я вас одарить могу. Говорите, кому что к Новому году надобно, у кого какое желание.

Королева. Я одного только хочу — во дворец, да только ехать не на чем.

Старик. Будет на чем ехать! (Профессору.) Ну, а ты чего хочешь?

Профессор. Я бы хотел, чтобы все спять было на своем месте и в свое время: зима — зимой, лето — летом, а мы — у себя дома.

Старик. Исполню. (Солдату.) А тебе чего, служивый?

Солдат. Да чего мне! У костра погреться, и ладно будет. Замерз больно.

Старик. Погреешься. Тут костер недалёко.

Дочка. А нам обеим по шубке!

Старуха. Да погоди ты! Куда торопишься?

Дочка. А чего там ждать! Хоть какую ни на есть шубку, хоть на собачьем меху, да только сейчас, поскорее!

Старик (вытаскивая из-за пазухи две шубы на собачьем меху). Держите!

Старуха. Простите, ваша милость, не надо нам этих шубок, она не то сказать хотела!

Старик. Что сказано, то сказано. Надевайте шубы. Носить вам их — не сносить!

Старуха (держа шубу в руках). Дура ты, дура! Уж если шубу просить, так хоть соболью.

Дочка. Сами вы дура! Говорили бы во-время.

Старуха. Мало что себе собачью шубу раздобыла, еще и мне навязала!

Дочка. А коли не нравится, вы и свою мне отдайте, теплее будет. А сами замерзайте тут под кустом, не жалко!

Старуха. Так я и отдала! Держи карман шире! (Обе быстро одеваются, переругиваясь.) Поторопилась! Собачью шубу выпросила!

Дочка. Вам собачья-то как раз к лицу! Лаетесь, как собака!

Старуха. Сама ты собака!

(Их голоса постепенно превращаются в лай и обе они, надев собачьи шубы, превращаются в собак — старуха в гладкую черную с проседью, дочка — в мохнатую, рыжую.)

Королева. Ой, собаки! Держите их! Они искусают нас!

Солдат (отламывая ветку). Не беспокойтесь, ваше величество. У нас говорят — собака палки боится.

Профессор. Собственно говоря, на собаках можно отлично ездить. Эскимосы совершают на них дальние путешествия.

Солдат. А и то правда. Запряжем-ка их в сани, — пускай везут. Жалко, что мало их. Дюжину бы надо!

Королева. Эти собаки целой дюжины стóят. Запрягайте скорей!

(Солдат запрягает. Все садятся.)

Старик. Вот вам и новогоднее катанье. Ну, счастливого пути! Трогай, служивый. Правь на огонек. Там костер горит. Доедешь — погреешься!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Поляна в лесу. Вокруг костра сидят все месяцы. Среди них — падчерица. Месяцы по очереди подбрасывают в костер хворост.

Январь. Ты гори, костер, гори
От заката до зари,
Воробьев и снегирей,
Зимней ночью обогрей,
Волка на дороге,
Бурого в берлоге,
Горностая и лису,
И сыча в ночном лесу!

Все. Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Апрель. Ты гори, костер, гори,
Смолы вешние вари.
Пусть из нашего котла
По стволам пойдет смола,
Чтобы вся земля весной
Пахла елкой и сосной!

Все. Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Январь (падчерице). Ну, гостья дорогая, подбрось и ты хворосту в огонь. Он еще жарче гореть будет.

Падчерица (бросает охапку сухих веток).
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Январь. Хорошо сказала! Теперь уж не погаснет. Небось, жарко тебе? Вон как щеки у тебя разгорелись!

Февраль. Мудрено ли, прямо с мороза, да к такому огню. У нас и мороз, и огонь жгучие, один другого горячей. Не всякий вытерпит.

Падчерица. Ничего, я люблю, когда огонь жарко горит.

Август. Это мы знаем. Потому и пустили тебя к нашему костру.

Падчерица. Спасибо вам. Два раза вы меня от смерти спасли.

Январь. В первый раз нам тебя жалко стало, мы и позволили тебе погреться, а второй раз ты сама этого заслужила.

Октябрь. Ты свое слово сдержала, и мы свое сдержали.

Апрель. Угадай-ка, что у меня в руке!

Падчерица. Колечко!

Апрель. Угадала. Бери свое колечко. Хорошо, что ты его не пожалела. А то не видать бы тебе больше ни кольца, ни нас. Носи его, и всегда тебе тепло и светло будет — и в стужу, и в метель, и в осенний туман. Хоть и говорят, что Апрель-месяц обманчивый, а никогда тебя апрельское солнце не обманет.

Падчерица. Вот и вернулось ко мне мое счастливое колечко. Было оно мне дорого, а сейчас еще дороже будет. Только страшно мне с ним домой вернуться, — как бы опять не отняли...

Январь. Нет, больше не отнимут. Некому отнимать. Поедешь ты к себе домой и будешь полной хозяйкой. Теперь уж не ты у нас, а мы у тебя гостить будем.

Май. Все поочереди перегостим. Каждый со своим подарком придет.

Сентябрь. Мы, месяцы, народ богатый. Умей только подарки от нас принимать. Будут у тебя в саду такие деревья, такие цветы, ягоды и яблоки, каких еще и на свете не бывало!

Январь. А пока вот тебе этот сундук. Не с пустыми же руками возвращаться тебе домой от братьев-месяцев.

Падчерица. Не знаю уж, какими словами и благодарить вас.

Февраль. А ты сначала открой сундук да посмотри, что в нем. Может, мы тебе и не угодили!

Апрель. Вот тебе ключ от сундука. Открывай!

(Падчерица поднимает крышку и перебирает подарки. В сундуке — шубы: соболья, беличья, лисья; платье, вышитое серебром; серебряные башмачки и еще целый ворох ярких, пышных нарядов.)

Падчерица. Ох, и глаз не оторвать! Видела я сегодня королеву, а только и у нее не было ни таких платьев, ни такой шубки.

Январь. А ну, примерь обновки!

(Месяцы обступают ее. Когда они расступаются, падчерица оказывается в новом

платье, в новой шубке, в новых башмачках.)

Апрель. Ну и красавица же ты! И платье тебе к лицу, и шубка. Да и башмачки впору.

Февраль. Жаль только в таких башмачках по лесным тропинкам бегать, через бурелом перебираться. Видно, придется нам и санки тебе подарить. (Хлопает рукавицами.) Эй, работнички лесные, есть ли санки расписные, соболями крытые, серебром обитые?

(Несколько лесных зверей — лисица, заяц, белки выкатывают на сцену белые санки на серебряных полозьях.)

Ворон (с дерева). Хорроши санки, прраво хорроши!

Январь. Верно, старик, хороши санки. В такие не всякого коня запряжешь.

Май. За конями дело не станет. Дам я коней не хуже саней. Кони мои сыты, в золоте копыта, гривы блещут серебром, топнут о земь — грянет гром! (Ударяет в ладоши.)

(Появляются два коня.)

Март. Эх, что за кони! Тпрру! Славно ты прокатишься, да только без колокольчиков и бубенчиков ездить невесело. Так и быть, подарю я тебе свои бубенчики. Звону много — веселей дорога!

(Месяцы окружают сани, запрягают коней, ставят сундук. В это время откуда-то издалека доносится хриплый лай, рычанье грызущихся собак.)

Голос солдата. Но, но! Чего стали, собачьи дочки! Довезете — косточек дам. Да не грызитесь вы! Цыц, окаянные!

Голос профессора. Поскорее бы! Холодно!

Голос королевы. Гони что есть духу! (Жалобно.) Я совсем замерзла!

Голос солдата. Да не тянут!

Падчерица. Королева! И учитель с ней, и солдат... Откуда только у них собаки взялись?

Январь. Погоди — узнаешь! А ну, братья, подбросьте в костер хворосту. Посулил я солдату этому отогреть его у нашего костра.

Падчерица. Отогрей, дедушка. Он мне и хворост собирать помог, и одёжу свою дал, когда мне холодно было.

Январь (братьям). А вы что скажете?

Декабрь. Если посулил, так тому и быть.

Ноябрь. Только ведь солдат-то не один едет.

Март (глядя сквозь ветви). Да, с ним старичок, девочка и две собаки.

Падчерица. Старичок этот тоже добрый, — шубку для меня выпросил.

Январь. И вправду, безобидный старичок. Можно его пустить. А с другими как же быть? Девка-то будто злая.

Падчерица. Злая-то злая, да, может, злость у нее на морозе уже вымерзла. Вон какой у нее голосок жалобный стал!

Январь. Ну, что ж, поглядим. А чтоб дороги они к нам в другой раз не нашли, мы там для них тропу проложим, где раньше ее никогда не было, да и потом не будет!

(Ударяет посохом. Деревья расступаются, и на поляну выезжают королевские сани, запряженные собаками. Собаки грызутся между собой и тянут сани в разные стороны. Солдат погоняет их. Собаки всей повадкой напоминают старуху и дочку. Их легко узнать. Сани останавливаются, не доезжая до костра, у деревьев.)

Солдат. Вот и костер! Не обманул меня тот старик. Здравия желаю всей честной компании. Разрешите погреться?

Январь. Подсаживайся да грейся!

Солдат (узнав его). А, хозяин! Здорово! Веселый у тебя огонек. Только уж разреши мне и седоков моих к теплу пристроить. Наше солдатское правило такое: сперва начальство расквартируй, а потом и сам на постой определяйся.

Январь. Ну, если у вас такое правило, так по правилу и поступай.

Солдат. Пожалуйте, ваше величество! (Профессору.) Пожалуйте, ваша милость!

Королева. Ох, пошевелиться не могу!

Солдат. Ничего, ваше величество. Отогреетесь. Вот я вас сейчас на ножки поставлю. (Вытаскивает ее из саней.) И учителя вашего. (Кричит профессору.) Разомнитесь, ваша милость! Привал!

(Королева и профессор нерешительно подходят к костру. Собаки, поджав хвосты, идут за ними.)

Падчерица (королеве и профессору). А вы поближе подойдите, — теплее будет. (Солдат, королева и профессор оборачиваются к ней и удивленно смотрят на нее. Собаки, заметив падчерицу, так и оседают на задние лапы. Потом начинают по очереди лаять, будто спрашивая друг у друга: «Она?» — «Неужто она?» — «Она!.»)

Королева (профессору). Смотрите, ведь это та самая девушка, что подснежники нашла! Только какая она нарядная стала!

Солдат. Так точно, ваше величество, они самые. (Падчерице.) Добрый вечер, сударыня! Вот и опять довелось нам свидеться — в третий раз. Только теперь вас и не узнаешь. Чисто королева!

Королева (стуча зубами от холода). Что ты такое говоришь?

Солдат. Виноват, ваше величество, к слову пришлось. Да вы грейтесь, а то у вас зуб на зуб не попадает. Обогреемся малость, и дальше поедем потихоньку... Трюх-трюх... (Оглядывается и замечает белых коней, запряженных в сани.) Ох, и кони же знатные! Я и в королевской конюшне таких не видывал. Чьи ж это?

Январь (указывая на падчерицу). А вон хозяйка сидит!

Солдат. Честь имею поздравить с покупкой.

Падчерица. Не покупка это, а подарок.

Солдат. Оно еще и лучше. Дешевле досталось — дороже будет.

(Собаки бросаются на лошадей и лают на них.)

Цыц, зверюги! На место! Давно ли собачью шкуру надели, а уж на лошадей бросаются!

Падчерица. Лают-то как сердито! Словно ругаются, — только что слов не разобрать. И что-то кажется мне, будто я уже слышала где-то этот лай, а где — не припомню.

Январь. Может, и слышала.

Солдат. Как не слыхать! Ведь они с вами, кажись, в одном доме жили.

Падчерица. У нас собак не было.

Солдат. А вы поглядите на них получше, сударыня. Не признаете ли?

(Собаки створачивают от падчерицы головы.)

Падчерица (всплеснув руками). Ах! Да быть не может!

Солдат. Может—не может, а так оно и есть.

(Рыжая собака, скуля, подходит к падчерице и ласкается к ней. Черная пытается лизнуть руку.)

Королева. Берегись, укусят!

(Собаки ложатся на землю, виляют хвостами, катаются по земле.)

Падчерица. Нет, они, видно, теперь ласковее стали. (Месяцам.) Да неужто им так до смерти собаками и оставаться?

Январь. Зачем? Пусть они у тебя три года поживут, дом и двор сторожат. А через три года, если станут они посмирнее, приведи их под новый год сюда. Сниму я с них собачьи шубы.

Профессор. Ну, а если они и через три года еще не исправятся?

Январь. Тогда через шесть лет.

Февраль. Или через девять.

Солдат. Да ведь собачий-то век недолог. Эх, тетки! Не носить вам, видно, больше платочков, не ходить на двух ногах!

(Собаки бросаются на солдата с лаем.)

Сами видите! (Отгоняет собак палкой.)

Королева. А нельзя ли и мне привезти сюда под новый год своих придворных собак? Они у меня смирные, ласковые, умеют ходить на задних лапках. Может быть, они тоже станут людьми?

Январь. Нет, уж если они на задних лапках ходят, так из них людей не сделаешь. Были собаками, собаками и останутся. А теперь, гости дорогие, пора мне своим хозяйством заняться. Без меня и мороз не по-январски трещит, и ветер не так дует, и снег не в ту сторону летит. Да и вам пора в путь-дорогу собираться — вон уж месяц высоко поднялся. Он вам посветит. Только езжайте быстрей — поторапливайтесь!

Солдат. Мы бы и рады поторопиться, дедушка, да лошадки наши мохнатые больше лают, чем везут. На них и к будущему году до места не дотащишься. Вот если бы нас на тех, на белых конях подвезли!

Январь. А вы попросите хозяйку, — может, она вас и подвезет.

Солдат. Прикажете попросить, ваше величество?

Королева. Не надо!

Солдат. Ну, делать нечего... Эй, вы, лошадки вислоухие, полезайте опять в хомут! Хочешь — не хочешь, а придется нам еще покататься на вас.

(Собаки жмутся к падчерице.)

Профессор. Ваше величество!

Королева. Что?

Профессор. Ведь до дворца еще очень далеко, а мороз, простите, январский, суровый. Не доехать мне, да и вы без шубки замерзнете.

Солдат. А, ваше величество?

Собаки. Гау?

Королева (глядя в сторону). Как же я ее просить буду? Я еще никого никогда ни о чем не просила. А вдруг она скажет — нет?

Январь. А почему бы — нет? Может, и согласится. Сани у нее просторные, на всех места хватит.

Королева (опустив голову). Не в том дело!

Январь. А в чем?

Королева. (насупившись). Да ведь я с нее шубку сняла, утопить ее хотела, колечко ее в прорубь бросила... Да и не умею я просить, меня этому не учили. Я умею только приказывать. Ведь я — королева!

Январь. Вон оно что! А мы и не знали!

Февраль. Ты нас в глаза не видала, и мы тебя не видали. А это кто, учитель твой, что ли?

Королева. Да, учитель.

Февраль. (учителю). Что же вы ее такому простому делу не выучили? Приказывать умеет, а просить не умеет. Где же это слыхано!

Профессор. Ее величество учились только тому, чему им угодно было учиться.

Королева. Ну, уж если на то пошло, так за сегодняшний день я многому научилась! Больше узнала, чем у вас за три года! (Падчерице.) Послушай-ка, милая, подвези нас, пожалуйста, в своих санях. Я тебя за это по-королевски награжу!

Падчерица. Спасибо, ваше величество. У меня все есть.

Королева. Вот видите — не хочет. Я же говорила!

Февраль. Ты, видно, не так просишь!

Королева. А как же надо просить? (Профессору.) Разве я не так сказала?

Профессор. Нет, ваше величество, с точки зрения грамматики вы сказали совершенно правильно.

Солдат. Уж вы меня простите, ваше величество. Я человек неученый — солдат, в грамматике мало смыслю. А позвольте мне на этот раз поучить вас.

Королева. Ну, говори.

Солдат. Вы бы, ваше величество, не обещали ей больше никаких наград, — довольно уж было обещано! А сказали бы попросту: «Подвези, сделай милость!» Вы ведь не извозчика, ваше величество, нанимаете!

Королева. Кажется, я поняла. (Падчерице.) Подвези нас, пожалуйста! Мы очень замерзли.

Падчерица. Как же не подвести! Конечно, подвезу! Я вам сейчас и шубы дам, и учителю вашему, и солдату. У меня в сундуке их много.

Королева. Ну, спасибо тебе! За эту шубку ты получишь от меня двенадцать..:

Профессор (испуганно). Вы опять, ваше величество!

Королева. Не буду, не буду!

(Падчерица достает шубы. Все, кроме солдата, закутываются.)

Королева (солдату). А ты что же не одеваешься?

Солдат. Не смею, ваше величество, шинелка-то не по форме — не казенного образца.

Королева. Ничего, у нас сегодня все не по форме. Одевайся!

Солдат (одеваясь). Дозвольте мне на облучке пристроиться. С лошадками управляться — это не то, что с собаками. Дело знакомое.

Январь. Садись, служивый. Вези седоков. Да смотри, шапку в дороге не потеряй. Кони у нас резвые, минутки обгоняют, — не оглянетесь, дома будете!

Падчерица. Прощайте, братья-месяцы! Не забуду я вашего новогоднего костра.

Королева. И я не забуду!

Солдат. Желаю здравствовать, хозяева! Счастливо оставаться!

Весенние и летние месяцы. Добрый путь!

Зимние месяцы. Зеркалом дорога!

(Сани уносятся. Собаки с лаем бегут за ними следом.)

Падчерица (оборачиваясь). Прощай, Апрель-месяц!

Апрель. Прощай, милая! Жди меня в гости!

(Долго еще звенят колокольчики, потом стихают. Светлеет.)

Январь. Догорай, костер, дотла.
Будет пепел и зола.
Разлетайся, синий дым,
По кустарникам седым,
До вершин окутай лес,
Поднимайся до небес!

Все месяцы. Догорай, костер, дотла.
Будет пепел и зола!

Апрель. Тает месяц молодой,
Гаснут звезды чередой,
Из распахнутых ворот
Солнце красное идет.
Солнце за руки ведет
Новый день и Новый год!

Месяцы (повернувшись к солнцу).
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Январь. Без коней, без колеса
Едет вверх на небеса
Солнце золотое,
Золото лигое.
Не стучит, не гремит,
Не копытом говорит!

Месяцы. Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Конец

ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН

Глава из поэмы

АЛИШЕР НАВОИ

★

Автор поэмы «Лейли и Меджнун», Алишер Навои, — один из замечательнейших людей своего времени. Близкий по духу выдающимся людям возрождения, он напоминает их и по разностороннему дарованию: крупный государственный деятель, художник, архитектор, музыкант, лингвист, философ, — он является гениальным узбекским поэтом, родоначальником узбекской литературы.

Алишер Навои родился в 1441 году в Герате, ставшем в эпоху тимуридов центром культуры и искусства для всей Средней Азии. «Другого такого города, как Герат, нет во всем населенном мире», — писал современник Навои — основатель империи Великих Моголов Бабур.

Благодаря своему уму, образованности и таланту Алишер Навои становится признанным главой и руководителем поэтов и художников Герата. Он создает свою «Пятерицу» («Хамса»), в которую входят поэмы «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь планет», «Стена Искандера», «Изумление мудрых». Эти поэмы, четыре дивана (сборника) стихов, замечательное «суждение о двух языках» делают Навои одним из выдающихся поэтов мирового значения.

Алишер Навои — величайший гуманист Востока. Идеи добра, справедливости и разума противопоставляет он мрачным идеалам средневековья. Он первый порвал с традицией придворных поэтов, писавших по-персидски, и стал творить на языке народа, на чагатайском (древне-узбекском) языке.

Вторую из своих поэм, «Лейли и Меджнун», Навои написал в 1483 году. В основу ее положена восточная легенда о юноше Кайсе, из-за своей возвышенной и несчастной любви к Лейли прозванном Меджнуном, безумным. Эта тема вдохновила многих поэтов Востока — великого азербайджанца Низами, индоперсидского поэта Эмира Хосрова, Джами и других. Навои превратил древнее предание в страстный протест против феодализма, против средневековых воззрений на женщин, как на товар, на рабынь.

В этой поэме родоначальник узбекской литературы становится основоположником реалистического творчества на Востоке. Не чуждаясь поэтики своих предшественников, «восточной пышности», Навои стремится к реализму, и не только в обрисовке характеров, в развитии сюжета, но и в описаниях природы. До Навои природа была для поэтов только символом. Навои во многом следует излюбленным образцам, но уже оживает на его страницах яркая природа Востока.

Стих Навои — образный, музыкальный, остроумный — до сих пор пленяет слух. Великий поэт близок народной душе и своим глубоким патриотизмом. «Пока в груди истинного человека теплится жизнь, он будет сражаться за свою родную землю» — эти вещие слова Алишера Навои близки всем свободолюбивым воинам нашей страны, сражающимся за родную, советскую землю.

С. ЛИПКИН.

★

Кто эту быль узнал из первых рук,
Свои слова в такой замкнул он круг:
И вот Меджнун скитается в горах,
В глухих степях, где зноем выжжен прах,
Куда идет? Не скажет, не поймет, —
Толкает сила некая вперед!
У слабого покоя боле нет,
Желанья нет и доброй воли нет.
Измученный, бредет в жару, в пыли,
Одно лишь слово говорит: «Лейли!»
Окинет землю с четырех сторон, —
Одну Лейли в сиянье видит он.
Вообразит он только лик ее, —
И стройный стан уже возник ее.
И думает тогда Меджнун: хвала!
На кипарисе роза расцвела!
Он о Лейли слагает сто стихов,
Сто редкостных газелей*-жемчугов,
Всем рифмам — красота Лейли дана,
Лейли во всех редифах** названа!
И в каждом слове страсть к Лейли звенит.
И в каждом звуке — власть любви пьянит.
И строчек падает жемчужный ряд, —
Они обрадуют и огорчат:
Для горя — сладость: вспомнить о Лейли,
Рыдает радость, вспомнив о Лейли.
И каждый стих — великий чародей,
Смятенье сеет он среди людей,
Унылому дарит надежду вновь,
Вселяет в равнодушного любовь.
Когда блеснет в мозгу Меджнуна свет, —
Он дивных слов кудесник, он поэт,
Войдет безумие в свои права, —
Он говорит нелепые слова.
Бессмысленно другим внимает он
И сам себя не понимает он.
Испепелен тоской великой он
И как бы стал пустыней дикой он.
Рыдает горько без кручины он,
Смеется звонко без причины он.
Опомнится на миг Меджнун, — и страх
Войдет в него, он завопит: «Аллах!»
Но странника спасительный испуг
Бесстрашная любовь прогонит вдруг...
Он плакал, как ребенок, он кричал,
И долго отгул в горной мгле звучал.
В песках он высохшим растеньем был,
Отца и мать забыл, себя забыл.
Он муку сделал спутницей своей
И скуки не знавал он без людей.
Он яства и питье забыл давно,
Он самоистязанья пил вино.
Он шел, и шел, куда — не зная сам:
Подобен путь безудержным слезам.
Людей чуждался в страхе странном он,
Пугливым сделался джейраном он.
Он жил в степи, животных не губя:
Природу пса он вырвал из себя.

И вот газельи дружат с ним стада
Он окружен газелями всегда,
Он с ними разговаривает вслух, —
Газелей диких он теперь пастух.
Газелей на руки порой берет,
Одну целует в лоб, другую в рот.
Дика пустыня, и земля тиха,
И волки, как собаки пастуха.
И гибель ожидала бы его,
Но бог услышал жалобы его.

★

В пустыне пребывал глава племен.
Был Науфаль и честен, и умен.
Среди арабов редкостью он был.
Повсюду славен меткостью он был.
Владел он луком и мечом владел,
Расширил он земли своей предел...
Охотился однажды Науфаль.
Попали ловчие в глухую даль.
Охота всю пустыню потрясла:
Газелям вкруг Меджнуна нет числа,
И всякая спешит к Меджнуну дичь,
Охотничий заслышав страшный клич.
Пернатых стаи и стада зверей
Меджнуна просят их укрыть скорей.
«От гибели спаси ты!» — просят все,
Убежища, защиты просят все...
И странным происшествием таким,
Противным всем обычаям людским,
Был Науфаль безмерно удивлен.
«Что это означает? — молвил он, —
Я, кажется, в своем уме вполне!
Благоговение внушает мне
Событие, украсившее свет!
Вы тоже это видите, иль нет?»
И несколько нашлось людей таких,
Которые слыхали от других,
Какая губит юношу печаль.
Их выслушав, заплакал Науфаль:
И он путем любви когда-то шел,
И он блуждал в пустыне бед и зол!
Границ не видит горю своему,
Охота опротивела ему,
Сказал: «О, дивный элексир — любовь!
Ты молнией ворвалась в мир — любовь!
Когда ты сердце жертвой изберешь,
Войти не смеет в это сердце ложь.
Вот рядом — человек и дикий зверь,
И зверь к нему ласкается теперь.
Любовь! Столь чистым сделало твое
Могущество — Межнуна бытие,
Что звери в нем не видят свойств людских!
Избавился Меджнун от свойств дурных,
Лишился человеческого зла, —
И сразу дикость у зверей прошла!
Друзья! Не будем обижать зверей,
И лук, и стрелы бросим поскорей,
Собачьих свойств довольно в нас и так, —
Покрепче привяжите всех собак!»
И Науфаль, такой отдав приказ,
К несчастному приблизился тотчас.
Хотя в стада животных страх проник,
Меджнун остановился все ж на миг,

* Газель — особая стихотворная форма.
** Редиф — слово, повторяющееся в двух или нескольких строках после рифмы.

Приязнью к неизвестному влеком
Как будто был он с ним давно знаком.
И Науфаль сказал ему: «Привет!»
И поклонился юноша в ответ
И молвил: «О, таким же будь и впредь!
Благословенье — на тебя смотреть.
И весь ты — солнце дружбы и любви,
Сияют верностью глаза твои!
Но странно мне: в довольстве ты
живешь,
С толпой невежественной ты не схож,
Ты сыт и людям голод не грозит,—
Зачем твоя стрела зверей разит?
Или других не знаешь ты забав,
Или мучений требует твой нрав?
Кто вправе кровь напрасную пролить
Лишь для того, чтоб душу веселить?
Наступишь на колючку в поле ты,
И закричишь от сильной боли ты,
Зачем же натянул обиды лук?
Зачем готовишь зверям столько мук?
Животным тоже душу дал Аллах,
Дыханье бога есть и в их телах!»
И Науфаль, услышав эту речь,
Пред ним не постыдился наземь лечь,
И молвил так, поцеловав песок:
«О ты, чей дух воистину высок,
Ты, не похожий на других людей,—
Моей душой отныне ты владей!
Я понимаю все твои слова
И принимаю все твои слова.
Не буду я преследовать стада:
Себя — убью, а зверя — никогда!
И речь твоя в душе моей жива,
Но выслушай теперь мои слова».
Сказал Меджнун: «О чистый свет зари,
Благословенный свыше,— говори!»
И Науфаль ответствовал: «О ты,
Кто стал примером вечной чистоты,
О ты, кто показал мне правый путь,
Сказав: «вражду к беспомощным
забудь»,
Ты покорил мой разум навсегда,
Беспомощным не причиню вреда.
И я стремлюсь к сиянью твоему,
Но я дивлюсь деянью твоему.
Наперекор обычаям, пойми,
Живешь среди зверей, порвав с людьми.
Ласкаешь ты зверей, людей боясь.
Ужель тебе с людьми противна связь?
Творения светило — человек,
Предвидения сила — человек!
Напуганный породою людской,
Ужель среди зверей обрел покой?
Я знаю, по какой причине ты
Покинул мир, живешь в пустыне ты:
Одной розовощекой ты смущен,
Одной огненноокой ты сожжен.
Но если так,— прошу тебя: покинь,
На время некое, зверей пустынь,
И погуляй со мною в тех местах,
Где ты навек запутался в сетях,
Где дни твои в силке любви прошли!
Хочу с тобой соединить Лейли;
Благословит судьба такую цель,—
В одну вас положу я колыбель.
Нам не помогут просьбы и казна,
Поможет нам священная война.
Подарки, деньги могут всех привлечь.
Чего не скажет злато, скажет меч.
Поможет нам небес круговорот,—
Найду я деньги, соберу народ,
Все мыслимые средства приложу,
Но этот узел бедствий развяжу.
А если будет против нас господь, —
Твою беду сумею побороть:
Тогда я сыном сделаю тебя,
Твой светлый ум и сердце возлюбя.
Но только ты друзей своих оставь,
Животных диких и ручных оставь!
Одной породы — люди все, поверь,
Природы разной — человек и зверь!..
Коль встреча с ней желание твое,
Так приложи старание твое!»
При слове «встреча» задрожал Меджнун,
И слез горячих побежал Джейхун*,
От радости страдалец ослабел,
От слабости скиталец онемел,
Улыбка на устах, в глазах вода...
И так заговорил Меджнун тогда:
«На все твои слова, мой старший друг,
Был у меня готов ответ, но вдруг
Ты слово «встреча» произнес, и мне
Все чуждым стало в дикой стороне,
И в мыслях отошел я от всего.
О, если обещанья твоего
Тебе не даст исполнить рок людской, —
Пусть служит голова моя ногой
Прославленному твоему коню,
Лицом своим — копыто заменю!»
И так друг другу выказав почет,
И видя, как друг к другу их влечет,
Обрадовались близости своей.
Один другого полюбил сильней,
И тот, кто подал о свиданьи весть,
Меджнуна взять с собой почел за честь...
О ты, кто в жертву дал себя принесть
Разлуке! Слышишь о свиданьи весть?
Пусть не дождется встреч твоя душа,
Но даже весть о встрече — хороша!

* Река Аму-Дарья.

Перевод Семена ЛИПКИНА

СВИДАНИЕ С ЛЕНИНГРАДОМ

(Записки 1944 года)

КОНСТ. ФЕДИН

1. ПАРТИЗАНЫ НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Псковские земли — древнейшие славянские земли. История русских заселений в этой стране озер, рек и болот уходит в давность на тысячелетие. Старшие по родам русские князья и первые русские города-республики — Новгород и Псков — защищали в старину этот край от нападений с запада — Ливонии и немцев. Почитаемый нами князь Александр Невский был сыном псковитянки и прославлен летописью за разгром рыцарей немецкого ордена Меченосцев в 1245 году на льду самого большого из псковских озер — на Чудском озере.

История не умирает. История живет. И псковские земли хранят священную память о верности родине наших далеких предков. Нынче псковские земли входят в Ленинградскую область. Псковичи и ленинградцы в Отечественной войне против гитлеровской Германии прошли путь двух родных братьев и, вспоминая прошлое своей семьи, отстояли от немцев Неву и Ленинград.

В глубоких лесах, среди рек и болот, в треугольнике Псков—Порхов—Луга, действовали более двух лет наши партизаны в тылу немецких войск. Все эти долгие месяцы нещадной борьбы с врагом, в морозы и снежные метели, в весенние разливы, когда вода, словно выступая из недр почвы, обращала сушу в озера, в любое время года, каждую неделю был у партизан один день, и в этот день — один час, который ожидался ими с нетерпением и любовью. День этот был вторник, час — девять вечера. По вторникам в девять вечера осажденный Ленинград говорил со своими лесными братьями в псковских лесах. В землянках и блиндажах, в бараках и деревенских избах раздавался неколебимый голос призыва: «Партизаны, держитесь, Ленинград никогда не сдастся, победа идет, победа близка!» Пелись песни, играл оркестр, читали стихи поэты, диктор сообщал новости. Ленинград жил и суровая, трудная жизнь его питалась только страстною волей—разбить врага.

И вот воля эта восторжествовала: блокада рухнула, немцы отброшены за псковские озера, город распрямился во весь рост, раскрыв объятия всем, кто помогал ему в обороне и прежде всего — братьям-партизанам псковских земель.

Есть что-то приподнятое в небольших толпах людей на остановках трамвая в Ленинграде. Еще недавно таких скоплений избегали, как избегали выхода на улицы города, который обстреливался немцами из орудий так, как обстреливаются траншеи передовых позиций. Сейчас ленинградцы наслаждаются пребыванием на улицах, они чувствуют себя заново рожденными к городской жизни, они вольны передвигаться как хотят, когда хотят, вольны стоять на перекрестках, говорить спокойно со знакомым встречным, переходить неторопливо большие площади или гулять в саду. Какое счастье, что улица перестала быть запретной, опаснейшей зоной, зоной варварского огня! И можно выпускать на прогулки детей, и карапузы выходят опять, под надзором воспитательниц, цепочками,, пара за парой, взявшись за руки и болтая друг с другом на своем потешном языке. И все кругом дивятся: откуда взялось столько детей, где они были до сих пор, почему мы их не видали? И все слышат в ответ на свое изумление счастливый внутренний голос: ах, да, ведь блокада снята, улица безопасна от немецких снарядов!

Тем более отрадны были улицы для ленинграда, когда они сделались ареной еще невиданного торжества: в город вступали партизаны, приходившие маршем из лесных глубин области. Вот они — девушки и женщины, старики,

безусые юноши и бородатые мужчины, — люди, помогавшие Ленинграду спасать его свободу, с оружием, которым беспощадно уничтожались немцы, со знаменами, над которыми произносилась клятва: победить или умереть! Музыкой, пением, барабанами, криками встречал их город. С благодарностью и слезами произносились речи на митингах, с волнением вручались ордена и медали, заслуженные подвигами на псковских землях, в тылу врага.

День за днем входили через заставы отряды партизан, и победители-горожане приветствовали победителей-лесовиков. Вскоре на каждом шагу попадались люди в папахах и мерлушковых шапках с пришитыми к ним наискосок красными полосками. Среди закаленных этих богатырей находились такие, которые по два года не ночевали под крышей: кровлей их было звездное небо да грозовые тучи, да хмурая шапка сосны.

Я встретил на городской окраине горстку партизан человек в пятнадцать. С мешками, сумками, закатанными шинелями через плечо они веселым приступом атаковали трамвай. Когда кондукторша попросила их взять билеты, они начали переглядываться и шарить по своим карманам. Она терпеливо, но строго ждала. Наконец, они смущенно признались, что денег ни у кого нет. Нашелся смельчак, который сказал:

— Ну, говорят тебе, нет! Вот получим сразу за два года жалованье, тогда заплатим.

— Сразу мне не надо, за два года,— эпически ответила кондукторша. — Мне давай сейчас по 15 копеек с человека.

— Да ты пойми, откуда у нас деньги,— мы прямо из лесу!

— А все равно; цена одна из лесу или еще откуда.

— Да ты пойми, мы — партизаны!

Кондукторша подумала и попрежнему эпически ответила:

— Так и надо говорить: мы есть партизаны.

И она отошла на свое место...

В мастерских ленинградских художников я познакомился с командиром Пятой ленинградской партизанской бригады Карицким и комиссаром бригады Сергуниным. Командира лепил скульптор, комиссара писал живописец.

Карицкий улыбнулся и вдруг вспыхнул, когда я спросил его — как ему нравится позировать:

— Воевать легче . . .

Улыбка его была обаятельна молодостью и чистотою, и весь он показался мне очень красивым — мужской, строгой красотой, которая проявляется во внезапной застенчивости, если речь заходит о чем-то далеком от привычного дела. Я легко понял, как располагал к себе этот человек своих подчиненных. Родом он из донецких шахтеров, к началу войны был кадровым командиром в Красной армии и добровольно вызвался итти в тыл противника. Там он пробыл два года и три месяца, образовав из красноармейцев и местных жителей бригаду числом в 7.200 бойцов, вооружив ее, главным образом, отбитым у немцев оружием. Именно эта бригада и действовала в треугольнике Псков. Порхов-Луга.

Иван Сергунин — другого склада. Он уроженец Павлова, знаменитого города кустарей-металлистов на Оке, отец его делал бритвы, а ему самому уже пришлось учиться в Военно-политической академии. Он суховат, серьезен, экономен в речи, без порывистости и крутых поворотов. Обстоятельно и неторопливо он показывает мне газету, издававшуюся партизанами в лесу. Газета называется «Партизанская месть», размер ее равен одному листку настольного блокнота. Но это — настоящая периодическая газета, напечатанная в походной типографии, с хроникой, информацией и с передовой статьей.

Вот передовая под названием: «Укреплять органы Народной власти».

— Да — говорит Сергунин, — мы много сил отдали, чтобы в тылу у немцев упрочить советскую власть. Там, откуда мы выгоним немца, там у нас и хозяйственная работа ведется среди населения, и военная. Крестьяне запасы семенные делали, чтобы, как придет Красная армия, — сразу засеять поля. Видите, вот статья: «Беречь сельхозмашины». Мы потому и продержались так долго, что народ был с нами. У нас в лесу и ремонтные мастерские имелись. Мы даже собрались сами оружие делать. Но тут Красная армия пришла . . .

Рассказы Карицкого и Сергунина о партизанских делах красочны, а сами дела не перестают изумлять. Вот один из рассказов:

— Был в одном нашем отряде священник из деревни Видони, шестидесяти восьми лет. Помогал нам в разведке. Две дочери у него, и тоже с нами работали, одна — разведчицей (отец ее каждый раз благословлял, когда она шла в разведку), другая была метеорологом: погоду из немецкого тыла Красной армии сообщала. Ну, вот стало известно что немцы священника заподозрили, и мы говорим ему, чтобы он бросил разведку. А тут, когда Красная армия начала наступать, немцы издали приказ об угоне всего населения. Текста приказа у нас не было. Тогда священник вызвался его раздобыть, — пойду, говорит, в город, спишу приказ и принесу. Мы отговаривали, старик не послушал-

ся, пошел и не вернулся. Потом, когда мы заняли город Уторгош, узнали, что старика немцы поймали. Начали пытать, вырезали ему крест на груди, он плюнул в лицо немецкому лейтенанту и тот застрелил его из парабеллума. Хороший был старик. Дочка его одна с нами в Ленинград пришла, а другая опять в тыл к немцам отправилась.

Из людей, подобных этому старику-отцу и его дочерям, состояло большинство бригады Карицкого и Сергунина. А этот партизанский командир и его комиссар показались мне наиболее красочными участниками нашей Отечественной войны из тех, которых я до сих пор встретил. Когда я говорил с ними перед мольбертом художника и у станка скульптора, ни Карицкий, ни Сергунин еще не знали, какая награда их ожидает. Потом это стало известно: обоим им присвоено звание Героев Советского Союза...

Ленинградцы пригласили своих гостей на концерт радиостудии. Люди в шапках и папахах явились в тот зал, который они могли видеть только в воображении или во сне. Отсюда, из этой высокой комнаты в сукнах, занавесах и коврах, несся к ним, в недосягаемые углы псковских земель, голос Ленинграда: «Держитесь, победа близка!» и вот не во сне, а наяву, воочию партизаны видят оперных актеров, музыкантов, хористов из хора моряков-балтийцев — и, слушая этих бесконечно-знакомых, почти родных певцов, воображают другую картину: где-то в глубине лесов, в землянках, далеко на запад от псковских озер, сейчас, во вторник, в девять часов вечера, такие же партизаны, прильнув к наушникам, слушают радиоконцерт и, как во сне, видят этот зал в сукнах и занавесах с толпою слушателей-партизан, уже освобожденных Красной армией. И сердце каждого здесь, в зале, и там, в землянках, бьется в такт песням: держитесь, братья, победа близка...

После концерта гости радиостудии выходят на главную улицу города — на прославленный Невский проспект, еще затемненный, но дышащий всей грудью, величественный и фантастичный, с разноцветными огнями светофоров, автомобилей и трамваев, — с огнями Ленинграда, во имя которого дрались и отдавали жизни партизаны псковских земель.

★

2. ЖИВЫЕ СТЕНЫ

Если исключить из своих наблюдений человека, то-есть главное (потому что без ленинградца не было бы Ленинграда), то стены города расскажут о пережитом своим молчаливым языком. Завтра рука истории сотрет с домов летопись блокады, но сегодня гордые стены еще говорят с вами застывшими жестами и незалеченными ранами участников войны.

Город в целом стоит, как прежде, памятники архитектуры сохранились, его воспетые русской поэзией набережные, каналы дышат своим необъяснимым обаянием. Но к прежнему достоинству зданий, мне кажется, прибавилась возвышенность. Они преодолели осаду — самое великое испытание времен.

Я видел десятки европейских городов и жил в восьми столицах. Чувство гармонии, которое мне дается Ленинградом, нигде не повторялось. И сейчас ко мне возвращается давно знакомое ощущение равновесия и сосредоточенности: да, Ленинград остался нерушимым, со своим единством прошлого и настоящего, старый и вечный город.

Но прикоснемся к его ранам.

Во время блокады умер один мой давнишний друг. Я решил навестить его жилье. С улицы я не заметил особых перемен в доме и вошел через тунель ворот во двор.

Плотно осевший чистый снег лежал на дне кубического двора-колодца, и узенькие, в человеческую стопу, тропинки были протоптаны в снегу по диагоналям. В тишине я расслышал спокойное журчание воды. Я обернулся и увидел прозрачную струю, бежавшую из крана в снежное углубление, обледенелое по краям. Отсюда брали воду — видны были следы ведер вокруг естественного ледяного водоема. Я прошел тропинкой к входной двери, поднялся на четвертый этаж, нажал кнопку звонка. Ясно, сильно прозвучал его голос и резко оборвался. Я позвонил еще раз, долго вслушивался в безответное молчание, потом спустился вниз. На дворе я поднял голову и осмотрел высокие фасады дома. Все окна были заколочены досками фанеры. Я рассчитал, где должно находиться жилище, которое не отозвалось на мой звонок. Окна его были закрыты глухими ставнями. Вдруг одна ставня начала медленно отворяться. Я ждал, что кто-нибудь выглянет из окна. Но за ставней открылась черная пустота: ветер гулял по квартире, сквозняк лениво распахнул ставню.

Я уже собрался уходить, когда на дворе появилась девочка. Оказалось, раненый дом не был брошен, кое-где еще ютились люди, и девочка проводила меня к своей старшей сестре.

В тесной кухне женщина разводила в плите огонь, его вялый свет чуть озарял строгое лицо. На мои расспросы она отвечала одной фразой:

— Это все было той первой зимой...

— А вы не знаете, что сталось с библиотекой моего друга? У него была хорошая библиотека.

— Вы про книги? Может быть, которые ценные взяли жильцы. А вообще ведь книги опасны в пожарном отношении. Вряд ли что сохранилось после той первой зимы.

И женщина приникла к топке, раздувая огонь — самое драгоценное достояние человеческого жилья.

Покидая дом, я еще раз поднял голову и взглянул на распахнутую ставню. Она слабо качнулась, словно былое обиталище друга в последний раз приветствовало меня, как могло...

У домов, стен, вещей — то же разнообразие судеб, что у людей. Я встретил дочь известного среди коллекционеров собирателя русского фарфора.

— Ну, как ваш фарфор?

— Цел и невредим.

— До последней фигурки?

— До последней фигурки. И даже ничего с места не сдвинулось.

— Как? Вы не укладывали коллекции в ящики?

— Зачем? От попадания не спасет никакой ящик. Мы верим в судьбу...

Иногда кажется, что слово «судьба» — не что иное, как псевдоним оптимизма. Верят только в хорошую судьбу. А вера в хорошее побеждает.

Я был в одном районном Совете, в центре города. Он занимает один из тех барских особняков, какими славился старый Петербург. Роскошная лестница ведет из вестибюля в зал, который служит приемной. Все вокруг наполнено наивным кокетством лепки, росписью и багетами излюбленного восемнадцатым веком рококо. Кабинет председателя хранит неприкосновенные гобелены. Полы из мозаичного паркета бережно прикрыты коврами. Идет размеренная, оживленная работа, памятная этим стенам по мирному времени, — доклады, приемы, совещания.

И вдруг, выйдя на улицу, я вижу другой флигель дворца. Он разрушен авиабомбой. Стены его исковерканы, на их остатках висят ленты и клочья шелковых гобеленов.

— Судьба, — улыбнувшись, сказал мне председатель Совета, и я понял: он думает о той судьбе, которая вывела город из испытаний в новую жизнь, о том крыле дворца, который уцелел, рядом с тем, который разрушен. Это была улыбка оптимизма.

Еще не сочтены раны, нанесенные великим стенам на протяжении двадцати семи месяцев блокады. Подсчеты разрушений займут обширные, тяжелые книги. Это будут обвинительные акты против кровожадных истязателей города, бивших из дальнобойных орудий по прохожим на улицах, по детям и женщинам в жилых домах, по трамваям с пассажирами, по госпиталям с больными. Суд истории предъявит эти акты немцам. Но еще не написанная книга обвинений хранится ленинградцем в его душе, и огненные слова книги вспыхивают в ней, едва он видит незабываемую надпись на стене — белыми буквами по синему полю:

«Граждане!
При артобстреле
эта сторона улицы
наиболее опасна».

Тысячи таких надписей словно ведут за собой по стенам нескончаемые вереницы плакатов, листовок, афиш, цветных литографий. Множество предупреждений об опасности пожаров рассеяны не только в картинных изображениях, но и в макетах. Я видел около пожарной части макет, показывающий правильную кладку временной печурки и примерную проводку железных труб. Раскрашенные по трафарету рисунки учат обращению с лампами, керосинками, печами, светильниками. На каждой двери начертаны лаконичные сообщения: «Есть ход на чердак» или «Нет хода на чердак». На огромных плакатах разъясняются правила тушения зажигательных бомб. К парапетам набережных приставлены вывески, указывающие проруби-водоемы в каналах и реках.

Весь быт блокадной эпохи встает перед вами за этими стенными летописями. И понемногу развертывается необъятный масштаб организации сопротивления врагу, масштаб титанический, небывалый. Миллионы усилий были сложены в одно целое и образовали волю, выраженную, пожалуй, ярче всего огромным плакатом, стоящим в центре Ленинграда, поблизости от Публичной библиотеки: на плакате высится молодой человек, широко и прочно расставивший ноги, с автоматом в руке, и на плакате начертано:

«Русский народ никогда не будет
стоять на коленях».

Многие раны города останавливали мое внимание, и я подолгу думал о них. Но одна малоприметная картина особенно запечатлелась у меня в памяти сердца.

Есть в Ленинграде церковь Пантелеймона. Так как она перестроена из деревянной петровского времени, то на ней впоследствии были увековечены даты эпохи Петра двумя мемориальными мраморными досками на наружной сте-

не, как сказано золотом букв: «Благодарение богу за победу» — при Гангуте в 1714 году и Гренгаме в 1720 году. В первой из этих битв Петр разбил шведскую эскадру, взяв в плен ее командира, во второй — русский гребной флот одержал победу над шведским парусным.

Артиллерийский снаряд гитлеровцев нанес мрамору досок глубокие щербины. Мрамор искрошен и поцарапан осколками. Сама церковь тоже пострадала. Но памятник сохранился наперекор вражескому беспощадному огню.

Немцы повсюду, откуда их изгоняет советское оружие, превращают в руины русские памятники. Они хотели бы умертвить нашу историю, стереть в воспоминании нашего народа дела и славу отцов.

Но нашу историю умертвить нельзя. Она живет, и Ленинград продолжает свершать ее, глядя вперед прямым, бесстрашным взглядом. Враг угрожал отнять у него прошлое, лишить его настоящего и будущего — Ленинград поверг врага.

Даже стены этого города, как живые, провозглашают: я был, есть и буду!

★

3. ВО ВРЕМЕНА БЛОКАДЫ

Город воды, каналов, мостов — город невских островов в тягостные годы блокады слился в единый, нераздельный остров. Берега острова были неприступны — орды немцев не могли их залить. Ощущение островитянина, которого отделяет от прочего мира стихия, у ленинградца было полным, и он стал называть отрезанную от него фронтом страну, как островитянин — материк: Большой землей.

На Большую землю ленинградцу попасть было немыслимо. За воссоединение с нею он должен был биться, полагаясь прежде всего на свои силы, подобно защитнику осажденной крепости. И, собирая силы, он обратил на борьбу с блокадой каждый атом города-острова.

Исчезла карамель в пестрых бумажках с названиями «Мечта» и «Лотос», «Альпинист» и «Сливочная». Женщинами забыта была коробка с любимым набором духов и одеколона, мыла и пудры под ленинградской этикеткой «Белая ночь». Еще вчера мирные машины сегодня начали выпускать осколочные гранаты из сталистого чугуна, взрыватели, запалы, динамитный глицерин, реактивы для противохимической обороны. В производственных планах кондитерских предприятий рубрика шоколада заменилась концентратами супов из гороха, чечевицы, сои. Лютый союзник врага — голод — потребовал предельной изобретательности в борьбе с собой и сейчас, когда легендарный период блокады кажется сном, отчеты столовых, ресторанов, хлебозаводов заговорили языком, бесстрастие которого будет положено историком в основу ленинградского эпоса.

Сейчас городом открыта небывалая по историко-военному и психологическому значению выставка — «Героическая оборона Ленинграда». Потрясающим документом выставки является отдел «Голодная блокада Ленинграда», сосредоточивший в себе экспонаты и статистические материалы, которые рисуют условия жизни ленинградца в самую тяжелую пору. Я рассматривал сухие колонки цыфр и сердце мое томилось болью за человека, его страдания, сокрытые этими цифрами.

Вот состав хлеба, который выдавался в зиму 1941—42 года жителям Ленинграда в количестве 125 грамм в день на человека: дефектная ржаная мука — 50%, солод и жмыха — по 10%, соевая мука, обойная пыль, отруби — по 5%, целлюлоза 15%. Вот меню крупнейших столовых города: суп дрожжевой, содержащий в одной порции на человека дрожжей — 50 грамм, картофеля — 7 грамм, соли — 5 грамм; суп из альбумина, содержащий в порции на человека альбумина — 10 грамм, соли — 5 грамм, лаврового листа — 4 грамма. По данным Главного управления ленинградских столовых Народного комиссариата Торговли общий вес всех продуктов, отпускавшихся столовыми на едока в течение месяца, равнялся в январе 1942 года — 920 граммам. Сюда входили жиры, мясо, крупы, кондитерские изделия. Это был худший месяц блокады. С февраля норма была удвоена, то-есть доведена до 60 грамм в день. Среди заменителей продуктов в то время фигурировали мука из кокосовой и хлопковой жмыхи, желатин, корьевая мука, столярный клей.

Человек, питавшийся такими продуктами, в таких рационах, на протяжении такого длительного времени, человек, живший без топлива, в неслыханные даже у нас, в России, морозы, продолжал трудиться, обстреливаемый беспрерывным артиллерийским огнем врага.

Я был на одном заводе, принимавшем лобовые удары немецкой дальнобойной

артиллерии. На его пространную территорию за время блокады упало более 1700 снарядов. Был день, когда осиротевшие из-за бесплодности своих усилий немцы обрушили на рабочие районы города огромную массу огня. Тогда на один этот завод упало больше двух сотен фугасных бомб и множество бомб термитных. Я прошел несколько цехов завода и всюду видел точную налаженность работы. О былых ранах завода я мог судить только по фотографиям, которые мне показал директор.

Главный инженер завода — человек уютного спокойствия, в меховой курточке домашнего покроя, говорил мне тихим голосом и с улыбкой удивления о пережитом:

— После обстрела выйдешь, кажется — все пропало. Даже руки опустятся. А к концу дня — цеха уже в порядке и работа идет везде.

— Великая сила — народ, — поддержал его директор завода. — Под огнем немца мы построили новую котельную. Одни кирпичи разлетались в пыль и крошку, другие складывались в новую стену. Инженеры набирали учеников и сами становились за станки. Из этих учеников нынче вышли квалифицированные рабочие. Про них действительно скажешь — закалены огнем. Некоторые машины мы с ними теперь изготовляем в два с половиной раза быстрее, чем до войны.

— Да, — снова, как будто удивляясь, сказал инженер, — нам теперь ничего не остается, как расти. Иначе скажут: что же это, с блокадой справились, а программу не увеличиваете? Разве для ленинградца есть невозможное?..

И правда, иногда кажется, что для человека, пережившего блокаду, не существует невозможного. Ленинградец преодолел не только жестокость физических испытаний, он выдержал нещадно-суровую нравственную школу.

Молодая женщина рассказала мне такую историю.

— Я бежала от немцев из Петергофа. Специальность моя во время войны не так нужна: я — музейный работник. А к тому же я — беженка. И я пошла в почтальоны. Это был не простой и не легкий труд во время блокады, вы представляете себе. Я разносила телеграммы. Ходить по обмерзшим лестницам, подымаясь то на шестой, то на восьмой этаж, — чего я только не видала — каких людей, — и чего я только не приносила людям своими телеграммами! Как-то я пришла в одну квартиру, постучала — не отвечают, смотрю — дверь не заперта. Вошла, окликнула — кто дома? Молчание. Стала заглядывать в комнаты, везде пусто, но видно, что люди живут, или по крайней мере — жили. Наконец, слышу чей-то слабый голос. Отворяю дверь — на кровати женщина. Подхожу к ней, вижу — дело плохо. Больны? — спрашиваю. Нет, говорит, ослабла, легла, да, видно, больше не встану. Начинаю ее расспрашивать, оказывается — телеграмма, которую я принесла, адресована ей. Распечатайте, — говорит, — прочитайте, может от моей дочки, дочку, говорит, мою эвакуировали и не знаю я, не умерла ли она в дороге. И представьте, какое счастье: дочь телеграфирует ей, что жива, здорова, хорошо устроилась в деревне. Страшно разволновалась больная, заплакала, спасибо, говорит, вы мне жизнь принесли, теперь я могу спокойно умереть. Тут я на нее крикнула: как — умереть! Вы же говорите, что я вам жизнь принесла, а сами умирать собираетесь! Силы у меня, говорит, уходят последние, ослабла. А вы не смейте лежать, отвечаю ей, нельзя лежать. Видите, я вот хожу с телеграммами, этим и держусь, а буду лежать — так же ослабну, как вы. Вставайте сейчас же, делайте что-нибудь, вот возьмите щетку, подметите комнату. И с этими словами поднимаю ее, буквально ставлю на ноги, беру из угла щетку и даю ей, — ну, — говорю, начинайте мести. Она плачет, чем, говорит, вас отблагодарить, не курите ли вы, спрашивает, у меня хороший табачек есть. Я обрадовалась, свернула папиросу, задымила и говорю: дайте мне слово, что не будете лежать. Она дала слово. А я пошла разносить телеграммы. Она так и осталась стоять, оперевшись на щетку, все лицо в слезах... Ну, вот прошло два года и я давно бросила свое блокадное занятие. Иду недавно по улице, как раз уборка снега шла, и вдруг меня останавливает женщина-дворник. Смотрит на меня долго и говорит: извините за вопрос, — не вы ли в нашем районе в первую блокадную зиму телеграммы разносили? Да, отвечаю я. Она ко мне кидается, — позвольте, говорит, поцеловать вас. Вы меня не узнаёте? Помните, говорит, вы меня заставили встать на ноги с кровати. Тут я вспомнила, — как же, отвечаю, вы меня еще табачком тогда угостили! Ну, вот, говорит, кому — что, кому табачек, а кому жизнь: ведь вы мне жизнь спасли. Я тогда, говорит, как вы ушли, начала комнату прибирать, и так, с того дня, из последних сил перемогалась, все чего-нибудь делала, чтобы не лежать, а потом вот и на работу нанялась, дворничаю. Кабы вы меня тогда не подняли, так бы я и отошла на тот свет. А дочка, спрашиваю, у вас ведь дочка есть? Как же, говорит, она скоро возвращается из эвакуации. Позвольте ваш адресок, — как она приедет, так сейчас и зайдет к вам, поблагодарить, что вы

меня от смерти избавили. Обняла она меня, спасибо, говорит. Поцеловались мы. Спасибо и вам, говорю я, за табачек. Хороший был табачек, никогда не забуду...

Есть что-то фронтовое, солдатское в отношениях ленинградцев друг к другу. Они прошли вместе сквозь голод, нужду и огонь и знают великую цену суровости и нежности человеческого сердца. И поэтому так понятна была радость освобождения города от долгой, жестокой блокады.

Я провел с ленинградцами праздничный вечер, устроенный в Выборгском Доме культуры для молодежи — первый открытый вечер за все время войны. Этим торжественным актом знаменовалось полное воссоединение города с Большой землей. Студенты и студентки высших школ, не прекращавших занятия в течение блокады — кораблестроители, педагоги, инженеры транспорта, а вместе с ними — молодые летчики и танкисты, офицеры Красной армии — около трех тысяч человек собрались под одной кровлей. Я видел их лица, слышал рокот голосов, веселый смех. Они как будто не верили, что возможна такая жизнь — шумная, залитая светом электричества, с музыкой, танцами, пением целую ночь напролет. Они глядели друг на друга, точно не узнавая самих себя: неужели это — мы, люди боевых ночей Ленинграда, бойцы осажденного острова? Да, да — отвечали они себе сверканием молодых своих глаз, страшный сон позади, утро приветствует наше пробуждение. Времена блокады отошли в прошлое безвозвратно.

★

4. РАССКАЗ О ДВОРЦЕ

Перед своим отъездом из Москвы я встретил композитора Попова, который, тяжело больным, был эвакуирован из осажденного Ленинграда, поправился и нынче снова сочиняет музыку. Мы были с ним соседями, когда жили в городе Пушкине, он — в так называемом Полуциркуле, я — в Зубовском флигеле Екатерининского дворца.

— Знаете, — сказал мне Попов, — если будете в Пушкине, поглядите, что осталось от моего жилья. Говорят, немцы утащили оба моих рояля к себе в блиндажи, на позиции. Может быть, найдутся какие следы?

Я обещал . . .

Лет десять назад я занял летнюю квартиру в жилом Зубовском флигеле с той стороны, которая обращена в парк. Из окон был виден фонтан белого мрамора, чудесные по живописному подбору расцветок деревья, кусты старых подстриженных сиреней, веселые дорожки между газонов. Мне показалось, что в отдохновенном этом углу недостает цветов и я решил поставить на балкон ящик с душистым горошком и петуньями. Одному из хранителей дворца, строгой женщине, не понравилась моя затея.

— Надо убрать ящик, — заметила она, — он портит фасад. На другом балконе ящика нет. Видите? Это ассиметрично и нарушает стройность архитектурных линий.

Она была права, в сущности, хотя речь шла не о главных дворцовых фасадах, и только строгий глаз мог осудить появление чужеродной общему виду детали. Но когда цветы распустились, мне стало жалко убрать ящик и сама хранительница с ним примирилась, вероятно, потому, что в цветах есть большая сила убеждения, они уместны даже там, где их не ожидают встретить.

Царскосельские парки созданы для того, чтобы человек покорялся природе, которой рука художника помогла раскрыть все свои волшебные свойства в одном легко обозримом месте. Тот, кто прошел по этим аллеям в осенний день, когда пруды упоенно повторяют в своих неподвижных стеклах все краски мира и на мостах через каналы лежат первые опавшие листья клена, тот запомнит этот день, как счастливейший в жизни. У меня таких дней было много, я накопил их, как богач копит драгоценности, и в моей памяти, не умирая, хранятся червонные купола дворцовой церкви, сияющие в закатный час, и в тот же час, тем же червонным золотом облитые осенние парки.

Ночами, когда поперек аллей ложились черные тени двухсотлетних екатерининских лип и окаменелые парки состязались с музейным молчанием дворцов, мне казалось, что камни зданий и мрамор статуй неразъемлемо объяты, окованы поясами аллей и я блуждал, точно лунатик, и тишина была для меня слаще всех земных звуков.

Все пронизано здесь историей, ее дыхание явственно ощущаешь, и вдруг, когда увидишь из-за дерева какой-нибудь обелиск, или какую-нибудь колонну, живой голос Пушкина, неотделимый от Царского Села, раздастся у тебя в ушах:

«Садятся призраки героев
«У посвященных им столпов . . .

О призраках героев, бродя по парку, я часто говорил с соседом — композитором Поповым. Идешь иногда мимо

приземистого Полуциркуля, приближаешься к позолоченным кружевным воротам дворца, слышишь — рояль. Если Попов не сочинял, то играл классику, и свободный удар его пальцев быстро уводил меня в стихию, которая однажды возникла в прошлом и вечно живет в будущем.

В маленькой комнате рояль занимал половину всей площади, а в смежной комнате, такой же маленькой, стоял другой рояль — жены композитора, тоже пианистки, и стена между комнат была затянута мягкой обивкой, чтобы музыканты не слишком мешали друг другу.

Перед низким окном простирался парадный двор и стоял дворец, протяженный в длину на триста метров, с его колоннами и согбенными под их тяжестью атлантами, все в лепке орнамента и вензелей — пышное, празднично-веселящее создание Растрелли. Музыка как будто объясняла его возникновение, переплеталась с его каменной гармонией, жила одной с ним природой.

Потом, оставив рояль, мы шли бродить, и разговор продолжал мысли, возбужденные музыкой.

Однажды, мы долго стояли у Церковного флигеля дворца под большим деревом, протянувшим сильный, прямой сук к невысокой крыше Полуциркуля, и в тени дерева говорили о русской музыке, о единстве культур, о связях и различиях великих человеческих целей. Я помню, как назывались в тишине имена Михаила Глинки, Мусоргского, Скрябина, Себастьяна Баха, Иосифа Гайдна, классическую форму которого не затмили Бетховен и Моцарт. Это был хороший разговор. Его питал город искусств, город муз — Пушкин...

И вот два года этот город был во власти немцев. И я пришел через обожженную огнем и кровью землю, пришел в город муз, чтобы увидеть, как обошелся с ним кратковременный его хозяин.

Все, что хранилось великой кровлей дворца, исчезло. Исчезла и сама кровля. Стены протяженностью в триста метров, как грандиозный старый издырявленный сундук без крышки, содержат в себе обломки убранств, полов и потолков, обугленные пожарами кучи сора. Нет и следов картин, мебели, нет и следов сотен зеркал и жирандолей, тысяч орнаментальных украшений из мраморов, серебра, фарфора, золоченых багетов. Все, что немец успел похитить, он похитил. Все, что не успел, предал топору. Остатки тканей на уцелевших простенках, остатки бронзы на сорванных дверях и окнах только утверждают, что погром произведен тотальный и что здесь воздвигнута вечная память немецкому позору. И точно для того, чтобы весь мир видел, что здесь хозяйничал вор, мрачно чернеют когда-то сверкавшие купола и кресты Церковного флигеля: золото слизано с них тщательно и жадно.

Я стал обходить дворец, подолгу вглядываясь в его смертельные раны. Сквозь зияющие оконные проемы я посмотрел в комнаты Зубовского флигеля, где жил, кажется, целую вечность назад. Исковерканные массы каких-то нагромождений тянулись там к небу, будто взывая о возмездии.

И вдруг я увидел на балконе цветочный ящик. Сизый от времени, он висел на прежнем месте. Взрывы, сотрясения, огонь, бушевавшие внутри дворца, не тронули его своим неистовством, он остался неприкосновенным. Тогда в моей памяти с живостью возник укоризненный голос:

— Надо убрать ящик. Он портит фасад. На другом балконе ящика нет. Это ассиметрично.

Да, как и прежде, на другом балконе не было никакого ящика. В этой ассиметрии, хотя и мало заметной, был виноват я, и может быть в свое время мне следовало послушаться строгого хранителя дворца. Теперь было странно, что никчемный ящик оказался единственным предметом, уцелевшим во всем дворце после немцев. С горечью удивляясь этому, я двинулся дальше в свой круговой обход.

Разгромленный Полуциркуль, как согнутая рука скелета, все еще обнимал Парадный двор. Солнце освещало снеговые сугробы на месте былых комнат и коридоров. Вот — груды камня и кровельного железа, обнаженные от снега вольным ветром, провалившиеся в коробку здания. Здесь я слушал музыку, глядя через окно на застывшие светотени дворцового фасада, отсюда отправлялись мы в наши блуждания по аллеям парков — я и мой сосед, композитор.

Я обернулся и, сквозь поломанную решетку, взглянул на парк. Некогда дружные толпы деревьев рассеялись и в широких просветах пустот, вместо лип, кленов и вязов, росших здесь веками, торчали пни, валялись перепиленные стволы и обрубки сучьев.

И я пошел дальше и скоро кончил свой обход, вернувшись к Церковному флигелю. Там, у подъезда, я вспомнил ночной разговор с композитором, после музыки, — о единстве культур, о связях великих человеческих целей, вспомнил имена, которые тогда назывались, имена Мусоргского и Скрябина, Баха и Гайдна. Я вспомнил, что мы стояли тогда под большим деревом, протянув-

шим сильный, прямой сук к невысокой крыше Полуциркуля. Я осмотрелся и узнал это дерево.

Я узнал его и увидел, что прямой, сильный его сук оголен от мелких веток и с него свешиваются четыре веревки, слегка расплетенные на концах и чуть-чуть колеблемые слабым ветром. Я не двигался и не отрывал глаз от веревок. Мне казалось, своим мерным покачиванием они говорили о себе все, что я должен был знать. Но я чего-то не понимал и не мог от них оторваться. Тогда неожиданно раздался спокойный голос:

— Интересуетесь, гражданин?

Позади меня стоял милиционер.

— Немецкая виселица, — пояснил он.— Немец тут четырех советских граждан повесил. Наши пришли — сняли.

Я молчал. Он тоже помолчал, потом спросил:

— Дворец осматривать будете? Или уже познакомились?

— Познакомился, — ответил я, — познакомился.

Мы еще немного помолчали и расстались.

Когда я опять встречу композитора Попова, я прочитаю ему этот рассказ.

*

5. ДЕНЬ НЕМЦА В ГАТЧИНЕ

Культура не строит свое отношение к историческим памятникам по признаку симпатии и антипатии. Наша революция сохраняла все царские дворцы вокруг Ленинграда. Она сохраняла и Гатчинский замок, в окнах которого витали тени Павла I и Николая I, Александра II и Александра III. Гатчина бывала излюбленной резиденцией Романовых в самые мрачные периоды господства этой династии над Россией. Гатчинский дворец хмур, тяжел и бесстрастен. Это именно замок — нелюдимый, холодный, серый. Никакой другой императорский дворец не заключал в себе так много самовластной сущности русской монархии. И потому гатчинский замок был незаменимым материальным памятником нашей истории. Прошлое не только глядело с высоты двух его башен, не только таилось по его галереям, лестницам, залам, нет, оно самообъяснялось всем духом памятника.

Вот я поднимаюсь, с каждым шагом все медленнее, по винтовой лестнице на замковую башню. С вершины ее привольно раскрывается английский парк и заключенные в его неправильные планы озера, холмы, острова. Стоячие воды необъяснимо богаты красками. В одном озере они легки и жизнерадостны, как будто предвосхищают изумрудные, перламутровые, небесные переливы наступающей весны. В другом — они печальны и скорбны, точно берега озера никогда не видали ни света, ни пестрой листвы, ни серебряного облачка. Они и названы цветными именами: «Белое озеро», «Черное озеро», «Глухое озеро».

Я опускаю глаза и прямо под своими ногами вижу законченно-симметричный план замка: главный корпус с башнями, на одной из которых я нахожусь, два полуциркуля и два грандиозных каре — Арсенальное и Кухонное.

Но я вижу именно план, только план замка, обозначенный наружными стенами, а внутри стен, там, где обреталось все драгоценное содержание исторического дворца, глаз мой не находит ничего, кроме хаотических гор железного мусора, изогнутых стальных рельсов и каменных обломков. Вон громоздятся закопченные до-черна недогоревшие балки. На этом месте была пятиугольная Башенная комната, в которой сто сорок лет хранились личные вещи Павла, рисовавшие образ жизни мистика, солдата, любителя искусств и парадов. Вон зияет провал, заглатывающий остатки порфировой лестницы. Она вела к Ружейному арсеналу, в галерее которого размещались, с пола до потолка, великолепные коллекции оружия — холодного и огнестрельного — всех государств Европы и Востока, начиная с XVI века. Вон просвечивают сквозь кучу обломков следы росписи,—это были создания Бренны, украсившего стены Тронной комнаты золочеными орнаментами и гобеленами, которые являлись гордостью Гатчины. Велико было различие между сверканием внутреннего убранства замка и его неприступно-хмурым внешним видом, и в этом была особенность царского поместья-усадьбы в Гатчине.

Но обо всех богатствах гатчинских коллекций и убранств отныне мы будем говорить только в прошедшем времени: это было, но этого нет. Гитлеровская армия изувечила великолепный памятник русской истории. Несмотря на быстроту, с какой немцы бежали из города от Красной армии, они нашли время закончить продолжавшееся два года разграбление замка и поджечь его. Один из богатейших дворцов Европы сгорел.

Мое восхождение на башню дало мне много. Когда я пробирался грудами кам-

ня, баррикадами из согнутых в крючья железных стропил, я лицезрел следы пребывания во дворце офицерства и солдат немецких авиационных частей, стоявших в Гатчине. Не все немецкие следы исчезли под развалинами. Некоторые уцелели в нишах стен, под лестницами, под сводами коридоров, куда пламя не нашло доступа. Тут валялись осколки фарфоровых ваз, куски мраморных изваяний, полуразбитые деревянные ящики, клочья упаковочной стружки, стекло, проволока, гвозди, бумага. На ящичных досках повторялся адрес Гатчины и адреса отправителей. Ящики слались в Гатчинский дворец не военными заводами, и товары, которые прибывали сюда, были не военным снаряжением и не боеприпасами. Нет, отправителями были винодельческие фирмы и товаром были вина.

Отсюда на замковый плац, вдоль Полуциркуля и Арсенальского каре, тянулся нескончаемый склад винных бутылок. Это было все, что немцы оставили после себя взамен дворцовых собраний живописи и скульптуры, оружия и фарфора. Вся подневольная немцам Европа слала в Гатчину свой ясык. Венгрия—свой токай, Франция — шампанское, Италия — вермут, Испания — малагу, Голландия — амстердамские ликеры.

Тогда перед моим взором возник будничный день немца в Гатчине.

Я увидел, как желтоволосый лейтенант с проборчиком, приклеенным к темени блестящей помадой, сняв мундир и немного ослабив розовые подтяжки, укладывает в ящик из-под мозельвейна восточные пистолеты. Он долго выбирал хорошую пару пистолетов на стенах Арсенала, чтобы отправить подарок домой. Наконец он облюбовал превосходные экземпляры, отделанные цветным золотом, перламутром и кораллами. И он тщательно обматывает рукоятку бумагой, чтобы в пути не поцарапалась бесценная инкрустация, расстилает на дне ящика стружки и поет себе под нос привычную песенку:

Eine Tu, eine Ru,
Eine Tuturu-tutu,
Eine Tu-ute,
Eine Ru-ute...

К сожалению, он должен прервать мирное занятие: его вызывают на аэродром. Он показывает денщику, как следует окончить упаковку ящика и садится в мотоцикл.

На аэродроме он получает приказ вылететь в разведку. Он отрывается от земли. В голове его еще мелькают обрывки песенки — Eine Tu-te, eine Ru-te. Он беспокоится — не поцарапает ли денщик рукоятки пистолетов гвоздями. Но надо набирать высоту — виден Ленинград. Виден не только Ленинград, виден какой-то самолет. Возможно — советский. Да, конечно. Советский истребитель прорвался через облака и мчится навстречу. Надо принимать удар. Уходить поздно. Лейтенант прячется за облака. Истребитель оказывается над ним. Лейтенант ныряет вниз и поворачивает назад. Истребитель опять летит навстречу и открывает бой. У лейтенанта ноет рука. С подачей бензина плохо. Чорт побери, неужели — конец? Надо уходить. Неужели ящик с пистолетами останется в Гатчине? Какие кораллы, какое золото! Ходу, ходу! Вот они, спасительные облака. Ходу! Вот уже гатчинский аэродром. Вот немецкие машины. Чертовски ноет рука! Внимание. К посадке, к посадке. Внимание. Земля. Пистолеты спасены. Надо сегодня же отправить ящик в Германию. Пробита пулей рука. Пробит один бак на машине. Чорт! Eine Tu, eine Ru, eine Tuturu-tutu...

Вечером лейтенант сидит опять во дворце. Правая рука его забинтована. Желтые волосы туго припомажены к темени и блестят. Он держит в левой руке бокал итальянского чинцано. Какой букет у этого вермута! Как он золотист! Соки Европы, соки Европы, отжатые гитлеровской армией. У лейтенанта мутится взгляд.

Лейтенант смотрит за окно. Всходит луна. Тень Павла едва намечается на снежном поле плаца. Да, Павел, — думает лейтенант, — он как-раз действовал так, как мы, немцы. Он говорил: «девять убей — десятого выучи». Это — как-раз наш новый порядок ... Не выпить ли немного рейнвейна? Или, может быть, французского деми-сека? Французы, эти канальи, великолепно понимают в вине. А пистолеты, пистолеты уже поехали в Германию ... Тень Павла растет и все больше чернеет на снегу. У лейтенанта рябит в глазах. Он дремлет. Он храпит...

Так проводило время гитлеровское офицерство в гатчинском дворце. И здесь нет ни капли фантазии: сами немцы, оставленными в замке следами, рассказали о себе подробно и бесстыдно.

Красная армия выбросила их из Гатчины. Она выбросит их отовсюду где им не следует быть. Немцы доживают последние дни в чужих дворцах.

★

6. ЛЕНИНГРАДСКАЯ НАТУРА

Давным-давно, кажется — бесконечно давно, когда немцы еще вели свой дикий обстрел жилых кварталов Ленинграда, мне вручили самое удивительное приглашение из всех, которые я когда-либо получал. На литографированном билете с натюрмортом сообщалось, что Управление по делам искусств при Ленинградском Совете и Всероссийская Академия Художеств устраивает на квартире художника В. М. Конашевича осмотр его работ и что после осмотра художник прочитает две главы из своих воспоминаний. В ту минуту я много дал бы, чтобы очутиться в Ленинграде и последовать приглашению этого билетика с букетом цветов.

В темном, промерзшем городе, среди вспышек разрывов, выбирая те тротуары, которые «при артобстреле наименее опасны», несколько художников и любителей искусства торопятся на Моховую улицу. В маленькой квартире, ставшей прибежищем Конашевича, после того, как он должен был бежать из занятого немцами Павловска, горстка людей рассматривает пейзажи, книжные иллюстрации, зарисовки блокадного быта и героики, сделанные замечательным мастером. Грохот обстрела то приближается, то пропадает где-то во мраке, отделенном непроницаемыми занавесками на окнах. Листы акварелей медленно раскладываются на рояле. Красочными отражениями проходят перед зрителями события, участниками которых эти зрители были и продолжают быть там, за пределами комнаты художника, и здесь, в этой комнате, потому что события не останавливаются ни на одну долю секунды, бой идет, люди отдают свой труд, свое искусство, свою кровь защите Ленинграда.

Мне пришлось видеть десятки работ ленинградских художников, посвященных эпопее блокады и у меня нет сомнения, что будущее получит памятники, достойные и как художественные воплощения пережитого и как свидетельские показания об исторических фактах. Собирая иногда последние угасавшие силы, ленинградские художники не выпускали из рук кисти. Вода замерзала в их жилищах, они отогревали ее на убогих очагах, чтобы развести акварель. Масляные краски стыли. Они размягчали тюбики своим дыханием, чтобы положить на полотно нужный мазок. Сейчас эти художники носят на груди зеленые ленточки медалей за оборону Ленинграда. И они ревниво берегут память о друзьях, которые, проявив самоотверженную любовь к своему искусству и своему городу, отдали им свою жизнь.

Патриотизм ленинградцев изумляет даже тогда, когда хорошо знаешь этот особый род патриотов. Город, со времен Петра I обладавший необычайно последовательной традицией в искусстве, литературе, науке, промышленности, за годы Отечественной войны прошел испытание огнем. Это — не поэтический образ: огнем опален каждый его камень, каждый его житель.

Распространенное представление о русском характере, исполненном широты воображения, горячности, которая соединяется с мечтательностью и с пренебрежением внешними формами — такое представление о русской натуре ленинградец дополнял и, по виду, даже опровергал устойчивостью вкусов, предпочтением строгих форм, дисциплиной, исполнительностью, почти педантизмом. Он, конечно, тоже был русской натурой, однако, он доказывал, что рядом с широтою этой натуре свойственна целеустремленность, рядом с мечтательностью — самодисциплина, рядом с горячностью — постоянство привязанностей. Ленинградец расширял своею сущностью понятие о русском. Многого нельзя было бы уяснить в нашем характере без того, чем проявился он в петербургской, ленинградской культурно-исторической оправе.

Существо ленинградского патриотизма раскрылось в том, что он оказался глубоко русским и в то же время советским. Ленинград дал пример того, как бьется русский за землю отцов и как защищает советский человек родину своих революционных идей, свою новейшую историю. Строгий, дисциплинированный, суховатый, почти педантичный ленинградец в войне против немцев показал себя горячей, кипучей, фантастической натурой. Страсть — вот что обнаружил ленинградец прежде всех своих иных качеств — страсть человека, от природы лишенного способности покориться воле врага. Пройдя огонь испытаний, патриотизм Ленинграда не утратил особой ленинградской окраски, но раскрыл свою природу как одну из самых страстных черт русского характера — готовность на любые жертвы ради отчизны...

Мое свидание с Ленинградом подходило к концу и я был рад, что в последний день пребывания там встретился с человеком, которого я мог бы назвать абсолютным ленинградцем.

Это была молодая женщина, главный хранитель Петергофских дворцов-музеев. Чуть-чуть посмеиваясь над собою и одновременно с пылким порывом она рассказала мне о своем первом посещении Петергофа, после того, как оттуда были изгнаны немцы.

Сначала ее никто не хотел брать туда, где только-что было поле кровавого боя, — зачем? Зачем ехать к месту прорыва фронта беззащитной, невоенной и никому неизвестной женщине? Кому охота брать на себя ответственность за какую-то судьбу, когда в военном деле за каждый шаг спрашивают ответа? Но, в конце концов, упорной, не отступающей ни перед чем женщине удается уговорить каких-то офицеров, что именно ей необходимо раньше всех приехать в Новый Петергоф и немедленно увидеть дворцы, которым она отдавала себя целиком, которые она любила больше, чем собственность, чем близких, чем самое себя. Эй говорят, что машина не пойдет в Петергоф, а направляется в Гатчину, куда отодвинулся фронт. Она отвечает — это по-пути. Ее нельзя переубедить. Она ничего не хочет слышать. Она уже сидит в машине.

Ее довозят до развилки дорог Гатчина-Петергоф. Автомобиль уходит. Она остается одна в необъятном снежном поле, рябом от взрытой снарядами земли. Она оглядывается. Исковерканные грузовики, разбитая пушка, зарядные ящики колесами вверх. Вон лежит убитый немец лицом в грунт. Ветер шевелит отросшими волосами на его шаровидном затылке. Проходит машина, другая, третья — все на Гатчину. В Петергоф не едет никто; это — тыл, оказавшийся в стороне от главной дороги войны. Вчера он был центром сражения, сегодня он никому не нужен. Женщина идет пешком, считая убитых немцев. Внезапно позади нее раздается грохот. Она видит — мчится танк. Она останавливает его, подняв руки. Танкист, выглянув из люка, долго не может понять, что ей нужно. Неужели эта одержимая и правда надеется найти следы своего музея? Потом он говорит, что ему не по-пути, он сейчас свернет в сторону. А, впрочем, — залезай на танк! Женщина взбирается на холодный, ледяной горб чудовища и, обняв замерзшими руками ствол орудия, трясется по рытвинам дорожной обочины. Этому счастью скоро приходит конец: танк сворачивает на проселок, танкист машет из люка черной кожаной рукавицей. До свидания, смешная женщина, давай бог разыскать тебе твой музей! Женщина идет пешком. Она уже перестала вести счет убитым, она не глядит на них. Необходимо дойти засветло — вот ее цель. Ей везет: лошаденка, запряженная в сани, бойко выезжает из-за обгорелых домов поселка. Но надежда рушится так же быстро, как возникает: кучер, конечно, подвез бы женщину, но сани идут не в ту сторону, — это остатки имущества полевого госпиталя, который догоняет фронт. Надо маршировать дальше, обходя воронки, перелезая через траншеи.

— Эй-э-й, — кричит ей кучер. — А насчет мин соображаете? Тут кругом минные поля.

Она просто не думала о каких-то минных полях, она идет напрямик. Не возвращаться же назад, когда она уже отшагала километров двенадцать и впереди чернеет длинная прямая полоса петергофского парка.

И вот она у цели. Она стоит на площади перед Большим Петергофским дворцом. Она смотрит на дворец. Нет, это неверно: она стоит, закрыв лицо ладонями. Ветер бьет ее, поземка крутится вокруг ее ног. Она покачивается, не сходя с места. Потом, когда она отрывает от лица застывшие мокрые пальцы, она уже чувствует себя другим человеком. Все, что она знала о своем Петергофе, существовало только в ее памяти. Перед ней лежали руины, из которых возвышались стены, напоминавшие что-то знакомое. Что можно сделать из этих дорогих камней? Что еще сохранилось в этих свалках щебня?

Она бежит по парку, в Нижний сад. Всюду она встречает разрушения — в голландских домиках Петра — Марли и Монплезир, в Эрмитаже и на месте былых фонтанов. Все кажется ей сном и, как во сне, все начинает исчезать в темноте зимнего вечера.

Она не узнаёт парка: дорожки и аллеи под снегом, деревья обезличены ночью. Только теперь усталость оковывает ее по рукам и ногам. Она насилу тащится глубокими сугробами, помня одно — что надо итти в гору. И вдруг она слышит голоса из-под земли.

— Да, представьте,— смеется эта женщина, дойдя до неожиданного поворота рассказа. — Представьте мое состояние: я — в снегу по колено, кругом тьма, я боюсь шагнуть, потому что уже понимаю, что меня хранит чудо, и в этот миг под землей раздаются голоса. Я осмотрелась, вижу — светится щель. Подошла. Оказывается—землянка, блиндаж. И оттуда несется самый что-ни-на-есть морской разговор. Я так обрадовалась! Отворила дверь. Четверо балтийских матросов, на корточках, вокруг какой-то коптилки режутся в карты. Ну, конечно, вскочили они, схватились за автоматы. Потом — ничего, видят—женщина. Проверили документы, разговорились, как же, спрашивают, вы уцелели, парк ведь не разминирован. А почем я знаю, как уцелела? Ведь вот разве я могла ждать, что в немецком блиндаже встречу наших балтийцев за картами? Мы, говорят, из охранения, сменились и вот отдыхаем. Ах, вы из охранения? Подсела я с ними к коптилке и начала им рассказывать, как было в Петергофе

до войны, какое преступление совершили немцы, уничтожив наши памятники, и каким будет Петергоф, когда мы его восстановим.

— Восстановим? — перебил я.

— А вы думаете — нет? — воскликнула она. — Матросы ни на минуту не усомнились, что восстановим. Мы целую ночь проговорили с ними—как лучше взяться за восстановление. И, знаете, они теперь мои самые верные помощники по охране дворцов. Они собирают в парке всякие пустяки, осколки, обломки...

— Вот такие осколки? — опять перебил я ее, взяв со стола кусок позолоченной деревянной резьбы, который я подобрал в развалинах Екатерининского дворца, в Пушкине.

Взглянув на меня испытующе и помолчав, она выговорила притихшим голосом:

— Самые вредные для нас, музейных работников, люди — это туристы. Зачем вы увезли обломок? На таких кусочках мы будем строить всю работу по реставрации. Я внушаю это сейчас всем и каждому. Мы, как пчелы, соберем наши дворцы из пыли. Мы возродим их из праха.

— Как только начнутся восстановительные работы,— сказал я, — я пошлю этот осколок, по месту принадлежности, завернув его в вату.

Она опять поглядела на меня, точно испытывая — не шучу ли я, потом улыбнулась, поняв, что уколола меня словом «туристы».

— Мы немедленно возьмемся за восстановление. Конечно, это будет не легко. Я считаю, что настоящие испытания только теперь начнутся для нас, ленинградцев. Но вот я вам даю слово, что мы восстановим наш Петергоф так, что там не останется даже духа немецкого пребывания!..

Я пожал ей руку с восхищением и благодарностью. Я был убежден, что она дает слово не напрасно. Верность слову составляет нераздельную часть ленинградского патриотизма.

ПРИСНИСЬ ЕМУ

ВЕРА ПОТАПОВА

★

Приснись ему на солнечном пороге,
У входа в легкий деревянный дом,
Куда ведут веселые дороги,
Где хвоей пахнет и сухим теплом.

Там по траве перебегают тени,
Шурша, сбегают листья на скамью.
Пусть он взойдет на шаткие ступени,
Сжимая руку теплую твою.

Нет, лучше ты приснись ему не дома,
Не в этом опадающем саду.
В огнях зарниц,
В сухих раскатах грома
Приснись ему
в пороховом чаду.

Бок-о-бок с ним сражаясь на пригорке
Под ураганным вражеским огнем,
В застиранной линялой гимнастерке,
Солдатским перетянута ремнем.

Как трудно спится на переднем крае...
Смыкаешь веки — и уже рассвет.
...Приснись ему желанная, живая
В дрожащем свете мертвенных ракет.

ПУШКИ ВЫДВИГАЮТ

*Исторический роман**

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

★

Глава четвертая

ПРОЛОГ ТРАГЕДИИ

1.

Звонким косым дождем летели на тротуары стекла из яростно разбиваемых окон... В окна вылетали здесь и там на улицы обломки мебели, разорванные книги, клочья картин... Энергичные крики избивающих, вопли избиваемых, револьверные выстрелы с обеих сторон... Полиция усиленно делала вид, что она заботится о порядке и тишине, а беспорядок и крики, и вопли нарастали с каждым часом.

Улицы гремели, а между тем это были улицы патриархально-провинциального некрупного города Сараево. Такими они были 16 (29) июня 1914 года, в полдень.

«Взрыв народного возмущения леденящим душу злодеянием» подготовлен был в полицейских участках Сараева наспех, но для того, чтобы толкнуть людей на разбой, достаточно бывает только иметь под руками тех, кто к этому делу способен, и дать им оружие и приказ.

Громили дома сербов.

Кто покушался на жизнь наследника австрийского престола и, наконец, убил его? — Два серба, которых схватили, которые сидят под арестом и нагло отвечают на допросах.

Один из них — Неделько Габринович, по профессии типографский наборщик, 20 лет; другой — гимназист восьмого класса Гаврило Принцип, 19 лет. Первый бросил в автомобиль Франца-Фердинанда бомбу, но не рассчитал скорости хода машины, и бомба, брошенная им, разорвалась в промежутке между машиной эрцгерцога и другой, с его адъютантами.

Машина эрцгерцога не пострадала; была несколько попорчена другая, и в ней ранен один из адъютантов. Габринович бросился бежать к реке Милячке, но не успел перебраться на другой берег, был задержан стражниками. Он заявил на допросе, что бомбы получил от белградских анархистов, — значит, нить покушения вела в столицу Сербии.

Франц-Фердинанд приехал из Вены в Сараево по серьезному делу, — это был вообще деловой человек, получивший воспитание строго военное. Император Вильгельм очень ценил его и называл своим другом, не скрывая в своем интимном кругу сожаления о том, что Франц-Иосиф слишком зажился и не дает возможности проявить себя Францу-Фердинанду, гораздо более одаренному, но достигшему уже 53 лет в ожидании, когда же, наконец, освободится для него трон.

Серьезное дело, по которому приехал эрцгерцог, был конечно, смотр сил, подготовляемых Австро-Венгрией к борьбе за Балканы, — маневры в пограничной с Сербией полосе.

С кем именно затевалась эта борьба? — В первую голову с Сербией, которую правительство Австрии решило проглотить вслед за Боснией и Герцеговиной. Это был шаг, на который Франц-Фердинанд получил уже согласие своего коронованного друга Вильгельма. Но за спиною Сербии стояла Россия, правительство которой считало своей исторической миссией покровительствовать балканским славянам, так что война против Сербии неизбежно должна была привести к войне с Россией.

Однако неизбежно ли? Этот вопрос задавали себе политические деятели Австро-Венгрии, а в их числе и эрцгерцог Франц-Фердинанд, но успокаивали себя тем, что сказал в совете министров России тут же после аннексии Боснии и Герцеговины тогдашний премьер министр Столыпин, а он сказал так:

---

* Продолжение. Начало см. «Новый Мир» № 1—2, 1944 г.

«Министр иностранных дел ни на какую поддержку для решительной политики рассчитывать не может. Новая мобилизация в России придала бы силы революции, из которой мы только-что начинаем выходить... В такую минуту нельзя решаться на авантюры или даже активно проявлять инициативу в международных делах... Иная политика, кроме строго оборонительной, была бы в настоящее время бредом ненормального правительства, и она повлекла бы за собою опасность для династии».

С точки зрения правительства Австро-Венгрии внутренняя жизнь России в 1914 году мало изменилась сравнительно с осенью 1908 года, когда правительство ее должно было дать совет Сербии не бряцать оружием, так как притти ей на помощь оно не может: революционное движение в 1914 году не прекращалось, и «опасность для династии» оставалась в прежней силе.

Вместе с тем, учитывая свои силы, правительство Австро-Венгрии находило их достаточными, имея в виду огромные силы своего союзника — Германии. Правда, у России тоже был союзник—Франция, но Франц-Фердинанд был посвящен в план войны Германии на двух фронтах,—западном и восточном,—план грандиозный: сначала германские войска обрушивались на Францию и с быстротою, невиданной еще в истории войн, выводили ее из строя, затем перевозились на восточный фронт, против России, которая к тому времени никак не могла бы успеть отмобилизоваться. Нападение на русские войска должно было ошеломить их своей стремительностью и доставить Германии и Австрии решительную победу в кратчайший срок.

Ближайшее будущее страны, трон которой он должен был занять, рисовалось Францу-Фердинанду вполне ясно. Приобретая Сербию, он думал ввести в своей империи федеративный строй, хотя и знал, что эти замыслы его не нравятся ни его дяде — Францу-Иосифу, ни политическим деятелям Венгрии, опасавшимся потерять тогда часть своего веса в общегосударственных делах. Но с мнением древнего старца, своего дяди, он не считал нужным соглашаться, а венгров он вообще не любил, что мешало ему овладеть мадьярским языком, хотя он и пытался что-нибудь из него усвоить.

Он приехал в Сараево со своей морганатической супругой, герцогиней Софией Гогенберг, бывшей графиней Хотек, чтобы доставить ей развлечение этой поездкой. Он имел от нее несколько детей, но прямым наследником его, когда он занял бы престол, считался его племянник, двадцатисемилетний Карл, полковник одного из гвардейских драгунских полков.

Когда взорвалась бомба, брошенная Габриновичем, — стеклянная банка, начиненная гвоздями и кусками свинца, — и ранила, кроме одного из адъютантов поручика Мерицци, еще и несколько человек из публики, густо запрудившей набережную реки Милячки, эрцгерцог приказал остановить свою машину и вышел из нее. Убедившись, что поручик Мерицци был ранен, хотя и в голову, но неопасно для жизни, он приказал отвезти его в больницу на перевязку, а сам направил свой автомобиль к ратуше, где его уже ожидали представители города и наместник края Патиорек, ничего не знавшие пока о покушении.

Его приготовились встречать речами, и ратуша была декорирована национальными и государственными флагами, а он вошел в нее, взбешенный тем, что здесь так чинно и торжественно в то время, как на его жизнь только-что покушались.

— В меня бомбы на улице бросают, а вы... — закричал он.

Это произвело должное впечатление. Герцогиня принялась успокаивать супруга, и это ей удалось. Франц-Фердинанд обратился к городскому голове:

— Вы, кажется, хотели произнести речь? Можете начинать!

Обескураженный голова едва обрел дар слова. Гораздо более речиста была уличная толпа: в ней нашлись, как всегда, очевидцы, утверждавшие, что эрцгерцог убит. Тысяча человек собралась перед ратушей, чтобы убедиться в этом. Когда Франц-Фердинанд вышел на балкон, и его узнали, раздалось громовое «Hoch».

На балконе стоял наследник австрийского престола подруку со своей супругой. Он был предметом внимания толпы, вселившего в него самонадеянность. Что может случиться скверного с тем, которого, очевидно для всех, хранит провидение, которого так боготворят завтрашние подданные? — «Ничего не может случиться скверного», — только так и мог бы ответить себе едва ли не всякий на месте эрцгерцога. И когда Патиорек посоветовал Францу-Фердинанду провести остаток дня в ратуше, пока полиция очистит улицы и допросит бомбометчика, эрцгерцог высокомерно сказал на это:

— Какие пустяки!.. И как вы смеете думать, что я — трус?

Патиореку оставалось только просить извинения за свою неразумную заботливость, а шоферу приказано было везти высокого гостя в госпиталь, где он хотел узнать о здоровье раненного поручика.

Конечно, совершенно не нужно было ехать в госпиталь и узнавать лично о том, что могло быть известно от врачей просто по телефону, тем более, что рана

не была опасной для жизни. Но когда перст провидения чудесно для людей отвел занесенную для рокового удара руку, нужно же показаться толпе не только с высоты балкона ратуши, но и в окне медленно катящейся мимо нее машины.

Толпу не приказано было убирать с улиц, по которым должен был проехать Франц-Фердинанд. Но зато Патиорек, чувствуя ответственность, которая падет на него, если что-нибудь еще случится с высочайшей особой, сел рядом с шофером, а один из офицеров свиты эрцгерцога, граф Гаррах, стал на подножку машины.

— Как же и чем думаете вы защитить меня, граф? — спросил, улыбаясь, эрцгерцог.

— Своим телом, ваше высочество! — ответил доблестный граф.

Машина тронулась по набережной, а так как шофер не знал, как ему ехать к госпиталю, то Патиорек объяснял ему, что надо повернуть с набережной направо, на улицу Франца-Иосифа, говоря это очень громко, так как толпа кричала «Hoch».

Казалось бы все пошло как нельзя лучше, и вдруг из толпы, теряясь в реве голосов, раздались один за другим два выстрела. Они именно затерялись и настолько, что ни шофер, ни Патиорек не различили их, а граф Гаррах не с той стороны, откуда стреляли, а с другой — едва различил, едва уловил не столько выстрелы, сколько удары пуль в обшивку автомобиля, и начал кричать шоферу: «Стой!.. Стой!»

Ему не пришлось защитить своим телом ни эрцгерцога, ни его супругу: стрелявший в упор Гаврило Принцип не мог не попасть в тех, на кого покушался, но могла быть счастливая для них случайность, — они могли бы отделаться не слишком тяжелыми ранами, хотя бы такими, как у поручика Мерицци. Однако рука провидения на этот раз не отвела пуль, и одна из них пробила тело герцогини в подвздошной области, другая — перебила сонную артерию эрцгерцога.

Обе раны оказались безусловно смертельными, хотя Патиореку, обернувшемуся на крики Гарраха, почудилось, что ничего страшного не случилось: чета сидела так же, как и раньше, разве что герцогиня слегка склонилась к плечу супруга. И только когда увидал он кровь на ее платье, то испуганно приказал шоферу ехать в конак, который был гораздо ближе, чем госпиталь.

Когда открыли дверцу автомобиля, то увидели, что оба без сознания и уже при смерти. Через несколько минут они скончались, и тела их были положены в зале конака.

Гаврило Принцип был схвачен тут же, как произвел свои роковые выстрелы. Он держался, как удачливый стрелок на охоте. Он говорил, что давно уж мечтал убить кого-нибудь из высокопоставленных особ, и вот ему так замечательно повезло, как очень редко бывает в жизни. Его спросили о сообщниках, но он решительно заявил, что никаких сообщников не имеет.

Черная туча забот свалилась на головы Патиорека и всех предержащих властей Сараева и края. Был июнь, время цветов, и корзины их, и венки из них, один другого пышнее, появились около тел, лежавших в конаке. Но тела, конечно, нужно было отправить в Вену после вскрытия их местными врачами, а когда именно и как, и каким путем отправить, на это нужно было получить точные приказы правительства.

Одна за другой писались и отправлялись телеграммы в Вену, откуда, в свою очередь, шли телеграммы во все концы мира.

Кроатская молодежь приступила было к разгрому двух редакций местных сербских газет в тот же день вечером, но это был самочинный порыв, ему только на другой день решено было дать законченную форму.

Погода стояла жаркая. Из Вены пришел приказ набальзамировать тела, и получен был точный маршрут, каким нужно было отправить в столицу останки погибших. Колокола протяжно звонили в Сараеве, и никто не догадался в тот день, что похоронный звон этот — не только по эрцгерцогской чете, но и по всей многовековой разноязычной монархии Габсбургов!

2.

Несмотря на праздничный день, экстренные выпуски газет в Вене вышли в день убийства наследника престола: слишком важна и мрачна была новость.

Так как «природа тел не терпит пустоты», то 84-летний монарх Австро-Венгрии распорядился о том, чтобы на утренний прием 17 (30) июня явился к нему эрцгерцог Карл, которого необходимо было объявить наследником.

Так как, кроме Карла, в это утро были приняты и министры-президенты двуединой монархии — австрийский — граф Штюргк и венгерский — граф Тисса, а также министр иностранных дел — граф Берхтольд, то Францу-Иосифу указано было на то, что крайне подозрителен день, выбранный для покушения на наследную чету: 15 (28) июня национальный праздник сербов в память сражения на Коссовом поле; отмечено было также и то, что сербская газета в Сараеве «Народ» ни одним словом, совершенно демонстративно, не обмолвилась о том, что в город приехал наследник австрийского престола.

Об этом были получены телеграфные донесения в Вене, и это связывалось в них с разгромом как этой редакции, так и гостиницы «Европа», принадлежавшей тестю сербского посланника в Петербурге Сполайковича: в кафе при этой гостинице собирались обыкновенно сербские политики националисты. Гостиница была разгромлена так, что не осталось ни одного целого зеркала, ни одной люстры, ни одного окна и поломана была вся мебель.

О погромах сербов получены были в Вене сообщения и из Загреба, и из нескольких других городов: отсюда делали выводы, что даже все несербское население Боснии и Герцеговины возмущено и стремится всех сербов вообще сделать виновниками в убийстве того, кто был главным деятелем аннексии этих двух провинций.

Вена стала в центре внимания всех стран Европы: телеграммы о соболезновании шли к Францу-Иосифу от всех дворов, от всех правительств. Все крупнейшие газеты посвящали убийству в Сараеве большие статьи, мельчайшие подробности этого события печатались и обсуждались. Как будто сознательно гигантскими мехами раздували два роковых выстрела девятнадцатилетнего анархиста в пламя широкого пожара.

Замечено было приближенными к Францу-Иосифу, что первое сообщение о смерти своего племянника и его морганатической супруги древнейший в мире монарх принял довольно спокойно. Однако это спокойствие раскачивалось с каждым часом: нельзя было оставаться спокойным, когда все кругом — ближние, средние, дальние. самые дальние настойчиво требовали возмущения!

Закономерно угасающую по причине редкой маститости жизнь императора, свидетеля еще венгерского восстания 48 года, старались со всех сторон омолодить, представляя действия каких-то сербов, уроженцев Боснии, выполнением планов, задуманных в Белграде, столице Сербского королевства.

Идея триединой монархии — австрийско-венгерско-славянской, — так лелеянная погибшим эрцгерцогом, бурно рвалась наружу теперь после его смерти. Веселый, певучий город Вена, родина оффенбаховских опереток, приняла воинственную позу: смерть наследника престола должна быть отомщена. И мерой за меру во всех пивных и кафе признавалось только одно. Следовало, конечно, двинуть, не долго думая, мощную армию на Белград и дальше, в глубь Сербии, — вплоть до ее восточных и южных границ. Пусть оккупация Сербии будет объявлена сначала временной: при поддержке Германии она может стать и, разумеется, станет такою же аннексией, как Боснии и Герцеговины несколько лет назад.

Свыше шести десятков лет просидевший на троне Франц-Иосиф не мог, конечно, забыть, как в 1853 году содействовал он возникновению первой после европейской войны, названной впоследствии Восточной или Крымской. Теперь были Балканы, а впереди рисовалось подобное этому старому возможное новое столкновение с Россией.

Ни при одном из монархов Европы не наблюдались так правила чопорного этикета, как при Франце-Иосифе: казалось, энергия всей его жизни ушла только на одно это кропотливое обдумыванье поведения всех больших и малых чинов его двора и формы присвоенной им одежды для разных случаев их чрезвычайно сложного существования.

Однако позаботились при венском дворе и о высокопоставленных покойниках. В порядке чрезвычайной спешности, но тем не менее пунктуально был разработан весь ритуал перевозки их тел из Сараева в Вену. Особенно пышно предначертано было путешествие набальзамированных тел по воде, от побережья Далмации.

Гробы, покрытые эрцгерцогскими штандартами, плыли на яхте «Далмат», утопающие в цветах, доставленных прибрежным населением. В гавани Метковичи, откуда отошла яхта, не только все дома выставили черные флаги, но и уличные фонари были окутаны черным флером. Впереди яхты двигался миноносец, на котором оркестр непрерывно исполнял траурный марш. В скорбных молитвенных позах, становясь на колени, должны были встречать и провожать глазами медленно двигавшиеся суда прибрежные жители, понесшие столь великую потерю, вознаградить которую могла бы только всю целиком это строптивое государство Сербия, прибранное к австрийским рукам.

Конечно, в австровенгерском генеральном штабе давно уж были разработаны и планы вторжения в Сербию, и планы войны с Россией при содействии Германии. Конечно, все военные заводы, начиная с завода Шкода в Пильзене, давно уж были загружены заказами на орудия, пулеметы, винтовки, боезапасы. Конечно, все тактические задачи, которыми занимались офицеры в полках, решались на картах русского Полесья, Волыни, Подолии.

Много лет готовилась война, нужен был только повод для ее начала.

Костер давно уже был подготовлен и сложен, гигантский костер, который должен был охватить, запылав, своим заревом все небо над полушарием Старого света; оставалось только бросить в него зажженный смолистый факел.

Этот зажженный факел — История — передавала уже в дряблые руки Франца-Иосифа. Но надобно было оглядеться, в последний раз и особенно зорко, по сторонам: в сторону Берлина первый поворот головы, в сторону Петербурга — второй, в сторону Парижа — третий, в сторону Лондона — четвертый, — полный румб. Звенья цепей, сковывавших Вену с Берлином, были прочны, но ведь не менее прочны, пожалуй, были звенья других цепей, связавших Францию с Россией.

Союз России с Францией, кроме золотых займов, был скреплен еще и жизненной необходимостью обезопасить себя от агрессивных австро-германских соседей.

План Германии, в случае открытия военных действий на два фронта, напасть сначала на Францию и, только молниеносно разгромив ее, перебросить всю армию против России, был, конечно, известен Францу-Иосифу под названием «плана графа Шлиффена», но на Австро-Венгрию падала при этом серьезная задача: начать наступление, против русских армий, в крайнем случае сдержать их напор.

А между тем ничего ведь не может быть легче, как переоценить свои силы. Как будет вести себя армия, состоящая из швабов, венгров, чехов, словаков, кроатов, хорватов, босняков-мусульман, итальянцев, поляков, украинцев, евреев, цыган, — для которых единственным связывающим цементом может явиться только офицерский командный состав, впрочем тоже разноплеменный? Маленький старичок с висячими белыми бакенами, выслушивал в эти слишком насыщенные жгучим содержанием дни многих, на кого он мог положиться, и однообразно кивал головой. Он был похож в эти дни на маленького паучка, широко раскинувшего кругом свою паутину, и в то же время исполненного тайного страха перед тем, что добыча, какую ему хочется поймать, не только разорвет всю его паутину, но сдернет и его самого наземь.

А пока что, в ожидании тел своего бывшего наследника и его супруги, вырабатывал он совместно с мастерами этого дела пышный ритуал погребения, способный и потрясти, и надолго ввергнуть беспечных жителей Вены в глубокую скорбь.

3.

Вильгельм II был 15 (28) июня в городе Киле, занятый соревнованием парусных гоночных яхт. Это ли было не увлекательное зрелище для монарха, сумевшего создать чуть ли не второй по силе в Европе морской военный флот?

Первым, конечно, оставался, как и раньше, английский, но мерещилась, однако, возможность померяться с ним силами в недалеком уже будущем. Пока же говорилось так: флот военный необходим для защиты действий торгового флота, поскольку Германия стала колониальной империей.

Но не только интересы двух миллионов квадратных километров колониальных земель, совсем еще недавно приобретенных Германией, требовали громаднейшего торгового флота: он необходим был также и для развития внешней торговли, в области которой в весьма короткий срок Германия стала уже опережать старинного мирового купца — Англию.

Но Австрия, конечно, с ее вожделением к Сербии, а непомерно выросшая за последнюю четверть века Германия, ставшая удачливой соперницей Англии и искавшая уже предлога сразиться с нею за мировое господство, вот кто делал очень повышенную температуру уютных кабинетов дипломатов.

Не за тридевять земель от Англии, а у нее перед глазами шли грандиозные работы по устройству Кильского канала, который явился мощной базой для всего германского флота. Против двадцати дредноутов английских, германцы могли выставить четырнадцать своих. Марка Made in Germany резала глаза англичанам во всех частях света, так как гамбургские пароходы немцев бороздили уже воды всей Атлантики, и Великого, и Индийского океанов.

Больше того; началось уже вытеснение английских товаров даже из таких стран, которые издавна снабжались английскими фабрикантами и купцами: Берлин начинал уже перехватывать горло Лондона, и смертельная схватка между ними была неминуемой.

Но бок о бок с Германией копила силы раздавленная ею сорок с лишком лет назад Франция, и протянутая Лондоном в Париж рука встретила крепкое сочувственное пожатие.

Так создавался империалистический костер, — годами, десятилетиями, стремлениями, направленными к обогащению и связанному с ним господству. Добывались руды и каменный уголь, чтобы выплавлять из них металл; из этого металла делалось несметное количество машин войны и боевых припасов; необозримые склады до отказа набивались запасами провианта для войск, сапог и мундирной одежды; и вся эта настоящая и подлинная жизнь прикрывалась до времени, как океан, туманом.

Не раз и в Германии на протяжении последних десятилетий поднимался вопрос об аншлюссе, то-есть, о слиянии единоплеменных немцев, но горячие головы охлаждались гораздо более дальновидными умами. Уже после поражения австрийских войск прусскими в битве

при Садовой в 1866 году был поднят вопрос о том, чтобы итти на Вену и захватить ее навсегда, но Бисмарк помешал этому.

Патетически вспоминал он об этом впоследствии:

«Я всегда буду помнить заседание военного совета, которое происходило в моей квартире на другой день после битвы при Садовой. Все, кроме меня, считали необходимым продолжать кампанию и захватить Вену. Я делал все, что мог, чтобы удержать их от этой затеи. Они ничего не хотели слушать. Я вышел в свою спальню, которая находилась рядом и отделялась от зала заседаний тонкой деревянной перегородкой. Я бросился на кровать и не мог удержаться от громких рыданий... Они услышали, что я плачу, и замолчали, потом вышли из комнаты. Этого я и ждал. Завтра уже было поздно возвращаться к этому вопросу».

Чем не артист был в 1866 году прославленный «железный канцлер»?.. На театральных сценах ставились трагедии Шекспира, в которых артисты разных стран Европы потрясали сердца зрителей, но сочиненные трагедии были только вуалью, под прикрытием которой на громаднейшей исторической сцене такие артисты, как Бисмарк, рыдают, ведя серьезнейшую дипломатическую игру. Железный канцлер рыдал по-настоящему, содрогаясь всем своим массивным телом, заливая слезами подушку, но в то же время чутко слушал, какое впечатление производят его рыдания на тех, кто решал вопрос об аншлюссе в соседнем зале. И вот, — заседание сорвалось, заседавшие вышли, — вопрос об аншлюссе был снят.

Конечно, после такой дипломатической победы Бисмарк мог удовлетворенно утереть слезы фуляровым платком и сказать, мысленно обращаясь к трагическим актерам: «Так-то, почтенные! Вы не больше, как мальчишки по сравнению с таким артистом, как я!»

Игра Бисмарка стоила и свеч, и слез, и рыданий. В самом деле, зачем нужен был аншлюсс тогда, в 1866 году, когда существовал только союз самостоятельных германских государств — Пруссии, Баварии, Саксонии, Вюртемберга и прочих, но не было еще единой Германской Империи? Зачем было дробить Австрию, которая по соседству со всеми немецкими странами проводила в жизнь Европы все ту же немецкую идею, оседлав для этой цели венгров, чехов, словаков, поляков, украинцев и других?

Политические деятели Германии смотрели на Австро-Венгрию, как на свой форпост на юго-востоке Европы, работавший во славу немецкого знамени. Что все вообще Балканы рано или поздно должны были войти в состав Германской Империи, это было предопределено как будто даже и тем, что на румынском престоле сидел Гогенцоллерн, на болгарском — Кобург, а женою короля греческого Константина была родная сестра кайзера Вильгельма II.

На Балканы в Берлине смотрели, как на коридор, ведущий германские капиталы и немецких капитанов на восток, — в Турцию, Персию, к Персидскому заливу, к Индийскому океану. Уже строилась железная дорога Берлин — Багдад, уже был главным инструктором турецких военных сил германский генерал Лиман фон-Сандерс, уже проданы были для усиления турецкого флота на Черном море устарелые немецкие броненосцы и выработан план передачи Турции современных быстроходных и мощных крейсеров, чуть только разразится война на востоке Европы.

Если не считать экспедиционного похода в Китае в 1900 году для предотвращения «желтой опасности», придуманной самим Вильгельмом, то Германии не пришлось воевать ни с кем после разгрома Франции во франко-прусской войне, однако, это не мешало ни кайзеру, ни его генералам знать, насколько сильна их армия, предмет особых и постоянных забот, попечений, надежд.

Теперь на очереди стоял флот, объявлена была Вильгельмом к ежегодному празднованию «Кильская неделя» по случаю окончания работ в канале. На торжества в этом году прибыла броненосная эскадра Англии: соперница Германии в мировой торговле как бы хотела заявить этим, что примирилась уже с мыслью о сильном германском флоте и может даже итти на взаимное сближение.

Почти двадцать лет прошло с тех пор, как в последний раз английские военно-морские суда приходили с визитом в германские воды. Стоявший во главе немецкого флота адмирал Тирпиц принимал у себя на корабле английских офицеров и посла Великобритании. За завтраком лились вина и речи. Казалось бы никогда за последние два десятка лет не было более ясного неба над Северным морем и над Ламаншем, и вдруг, когда завтрак подходил уже к концу, получилась телеграмма из Вены об убийстве в Сараеве австрийского наследника.

Одновременно с телеграммой получен был от Вильгельма с яхты «Метеор», — на которой он был вместе с женою своей Викторией, любуясь парусными гонками, — приказ приспустить флаги на всех судах. Разумеется, в знак сочувствия, флаги были тотчас же приспущены и на судах английской эскадры.

Императорская яхта направилась в порт, откуда Вильгельм выехал в тот же день в Берлин, выразив желание присутствовать в Вене на погребении тела сво-

его друга. Английской эскадре ничего не оставалось больше, как возвратиться в британские воды.

Если телеграммы из Вены, расходившиеся по всему свету, изображали Франца-Иосифа «глубоко потрясенным» убийством его наследника, то они добавляли все же, «что он в тот же день 28 (15) июня до позднего времени занимался государственными делами», и что «здоровье его не оставляет желать лучшего». Гораздо более впечатлительным оказался Вильгельм II, имевший в ту пору только 53 года.

Большая впечатлительность и порывистость была, впрочем, отличительной чертой последнего из прусских королей и императоров Германии. Придворная камарилья уверила его, еще когда был он только принцем, что он — способнейший из всех принцев; когда он вступил на престол Германии двадцать шесть лет назад, ему уж нетрудно было убедить себя в том, что он способнейший из монархов, и первое, что он сделал, — дал отставку рейхсканцлеру князю Бисмарку, основателю империи и величайшему из политических деятелей своего времени.

Став сам своим канцлером, Вильгельм начал проявлять себя не только в живописи, музыке, не только в увлечении архитектурой (ремонт дворцов), но и в политике, часто выступая с публичными речами (ораторское искусство), притом иногда настолько опрометчиво, что заместителям Бисмарка приходилось прибегать к сложным дипломатическим изворотам, чтобы сгладить впечатление от них и в самой Германии, и за границей.

Однако беспокойная натура Вильгельма, заставлявшая его вмешиваться решительно во все стороны жизни государства, вызывала к деятельности по-настоящему даровитых людей, которые и сделали за его долгое царствование Германию страной первоклассной индустрии, а средства защиты, — то-есть, и нападения на другие страны, — подняли на небывалую до того высоту.

Вильгельм много приложил сил, чтобы втравить последнего из Романовых в войну с Японией, рассчитав, что, каков бы ни был исход войны, она неизбежно и надолго ослабит Россию, а он лично какими-нибудь мелкими услугами царю во время этой войны может приобрести его расположение и нажить на этом в будущем большой политический капитал.

Ему не удалось, правда, ни тогда, ни несколько позже втянуть Россию в союз с Германией на предмет нападения на Англию, но попытки к этому он делал неоднократно.

Теперь, вполне уже подготовивший свои сухопутные армии к сокрушительным ударам против Франции и России, Вильгельм воспринял известие об убийстве Франца-Фердинанда, как толчок к началу давно задуманных и вожделенных действий.

Только-что вернувшись в свою столицу из Киля, он собрался уже ехать в Вену, чтобы проверить на месте готовность к большой войне своего старого союзника, но получил от него телеграмму, что приезд его в Вену совершенно нежелателен. Разумеется, выражения для этого были выбраны наиболее мягкие, причины выставлены очень веские, между прочим, указывалось и на то, что анархисты, подобные сараевским, могут оказаться и в Вене и, конечно, не преминут воспользоваться случаем пустить в дело против него, Вильгельма, револьверы и бомбы.

Словом, похороны убитых решили в Вене совершить без участия в этом главы союзного государства, и Вильгельм остался в Берлине.

4.

В то время, как одна броненосная английская эскадра отправлена была в Киль, другая, также в целях дружеского визита, появилась в Кронштадте. Командовал ею адмирал Битти, и входили в нее шесть дредноутов и линейных крейсеров: «Lion» — флагманский корабль, — «Qneen Mary», «New Zeeland», «Princesa Royal», «Boadicea» и «Blond».

Как-раз 15 (28) июня происходила сердечная встреча этой эскадры кронштадтцами, причем городской голова поднес адмиралу Битти художественную вазу в виде старинной ладьи, в которой стояла русская женщина — Россия, — опершись рукою на герб города Кронштадта.

Городской голова прочитал при этом адрес, составленный выразительно и тепло, на что Битти, принимая подарок, ответил подобающей речью.

Это было в полдень. Широко и звонко отпраздновать прибытие гостей приготовились русские моряки — балтийцы, но... злополучная телеграмма из Вены о сараевском убийстве надвинулась на праздничные столы, как айсберг гигантских размеров, и на другой же день английские дредноуты снялись с якоря и покинули Финский залив.

Обычно каждый год на лето Николай со всей своей семьей уезжал в Крым, в Ливадию, но в этом году пробыл там только несколько недель весною и заблагорассудил вернуться обратно на север, в Петергоф: не до Ливадии было. Те тучи, которые в последние годы шли с Балкан, где долго не прекращались войны сначала между турками и несколькими народами, объединившимися для борьбы с ними, потом между болгарами и сербами, разъединившимися для жес-

токой междоусобицы, — эти тучи теперь явно для всех сгущались.

Если и раньше, — например, года два назад,—поднимался уже в русском военном министерстве вопрос, не задержать ли в рядах войск отслуживших свой срок солдат, не грянет ли осенью война, — то теперь о возможности войны говорили все.

Балканы при русском дворе имели не только своих посланников: две черногорских княжны, — Анастасия и Милица, — были замужем за великими князьями — дядями Николая II, и один из них,—муж Анастасии, Николай Николаевич, занимая высокое положение в армии, был более популярен в военном мире, чем кто-либо другой из фамилии Романовых.

Предрешено было, что в случае войны если не Сухомлинов, то он будет назначен верховным главнокомандующим.

В полную противоположность своему царственному племяннику он вышел в деда — Николая I — по двухметровому росту, очень зычному голосу, любви к парадной стороне военной службы и пристрастию к разносу начальников дивизий, в строю перед солдатами.

Эта придирчивость к подчиненным, эта способность громогласно распекать их принимались за твердое знание военной службы, а вопрос о том, обладал ли крикливый великий князь стратегическим талантом, даже не ставился: это разумелось само собою.

Между тем, все понимали, что надвигаются большие события.

Они надвигались закономерно и все, сколько-нибудь причастные к общественной деятельности, не видеть этого не могли. Пять миллиардов контрибуции, полученной некогда Германией с Франции, разожгли немецкие грабительские инстинкты, с одной стороны; раздули в бурное пламя веру немцев в свою непобедимость — с другой; властно двинули их энергию на «колоссальное» вообще и на колоссальное производство средств истребления людей, в частности, — с третьей.

Слово «colossal» стало любимым словом у немцев.

Клокочет внутри земли расплавленная магма и пробует здесь и там, нельзя ли где прорваться наружу. Это приводит к землетрясениям, и сейсмологи стремятся определить их эпицентры.

Политикам не нужно было в июне 1914 года вычислять и спорить, где именно находится эпицентр величайшего бедствия, гораздо более ужасного, чем все стихийные со времен потопа: он был указан во всех телеграммах: в этом старались убедить легковерных людей. Повод войны выдавался за причину. Не всякий из образованных людей знал раньше, что это за город и где он, теперь же он был у всех на устах. Как Герострат вошел в историю только потому, что сжег храм Дианы в Эфесе, одно из семи чудес древнего мира, так какой-то сербский гимназист Гаврило Принцип был уже запротоколен, как поджигатель европейского мира. Возникал только жгучий для всех вопрос: что именно, воду или нефть привезут, примчавшись, пожарные команды великих держав? Потухнет ли или запылает пламя, разлившись по всей Европе, потому что пламя это будет признано фениксовым костром, на котором должно сгореть все отжившее?

5.

Статьи газет стремились запугать противника своим вызывающим тоном. Но в русском военном министерстве, например, знали, что подготовленной к войне русская армия могла быть только разве через три года и то при непременном условии, если германская армия застынет на том уровне, на каком стоит, а три года для подготовки всех своих сил — срок почтенный.

В Германии война была возведена в культ, там упивались военной муштрой, там на императора, который считался конституционным монархом, о котором прусские бюргеры пели: ««Unser König absolut, wenner unsern Willen tout». (Наш король самодержавен, если он творит нашу волю!), — смотрели, как на верховного вождя.

Даже основатель Германской империи Бисмарк не отваживался мыслить как-нибудь иначе.

С такими взглядами на роль императоров вообще, и германских в частности, Бисмарк очень долгие годы стоял у кормила власти в стране, с которой предстояло вести жесточайшую борьбу России, правитель же этой огромной страны, России, озабочен был только тем, чтобы сберечь династию, совершенно чуждую русскому народу и по крови, и по духу.

Эта чужесть ощущалась, конечно, и незадачливым «царишкой», и его женой: ведь ни одной капли русской крови не было ни в отрыске немецкого герцогского дома Голштейн-Готторпов, ни в бывшей принцессе Гессенской Алисе, но кто знает, может быть, именно это сознание своей чужести России и заставило их широко открыть двери Зимнего дворца перед несомненным чистопородным русским хлыстом, уроженцем села Покровского, Тобольской губернии, и назвать его своим «Другом» (с большой буквы!).

Народ просвещался, несмотря на все отеческие попечения о нем.

Росло количество забастовок на предприятиях, несмотря на то, что раздавлена была революция 1905 года.

А в Берлине зорко поглядывали в сто-

рону Петербурга и Парижа, приглядываясь, впрочем, и очень пристально также и к Лондону, и даже к Токио.

Еще года за четыре до того Вильгельм вызвал на откровенный разговор Николая, когда тот был его гостем, когда они вместе охотились на оленей в одном из заповедников Восточной Пруссии.

— Я изумлен, дорогой Ника, — говорил Вильгельм, — твоей политикой в отношении японцев. Так недавно, кажется, они причинили тебе очень много неприятностей, и вот теперь у России с Японией едва ли не дружба!.. Это, впрочем, вполне, кажется, в славянском духе — дружить с теми, которые их побили, хе-хе-хе, — не обижайся! Я вспоминаю, как Александр I подружился с Наполеоном в Тильзите после того, как понес от него поражение при Аустерлице и под Фридландом... Да, повидимому, это — в натуре у славян, а?.. После Севастополя начиналось сближение с Францией, потом с Англией... Да, в русской натуре!

— Ну, почему же в натуре? — пытался свести этот колючий вопрос к шутке Ника, всегда сдержанный и не всегда понимавший своего пылкого кузена и друга Вилли.

— Однако чем же и как объяснить иначе такую незлобивость в отношении к врагу вчерашнему и, разумеется, завтрашнему тоже? — допытывался Вильгельм.

— Простым желанием жить с ним в мире, — соблюдать добрососедские отношения, — только этим, — пытался объяснить Ника.

— Очень хорошо — «добрососедские отношения»! — оживленно отозвался на это Вильгельм.—Но ведь Япония—это Азия, а не Европа! С кем же ты хочешь быть: с Азией против Европы или с Европой против Азии? Ответь мне на мой прямой вопрос: с белой ты расой против желтой или с желтой против белой?

— Раз вопрос тобою, Вилли, поставлен так прямо, — сказал Ника, улыбаясь,—то и ответ на него может быть только прямой. Разумеется, я — с Европой и против Азии. Двух мнений об этом быть не может.

— Я другого ответа и не ждал, конечно, — продолжал Вильгельм.—Но объясни же мне, пожалуйста, почему ты сосредоточил свои войска не на Дальнем Востоке, а против моей с Россией границы?

Николай предпочел вместо ответа промолчать и только неопределенно пожать плечом, дескать: «Ты отлично и сам знаешь, почему так делается, и я даже не в состоянии понять, как у тебя хватает неделикатности поднимать подобные вопросы вслух и с глазу на глаз!.. Разве не довольно для тебя того, что делают в твою пользу бесчисленные твои агенты всюду в России: и во дворце, и в министерствах, и на военных заводах?»...

И теперь от него не утаили осведомленные люди, что его кузен и друг уже любуется новой картой Германии, к которой должны были, по всем его расчетам, перейти и Польша, и Прибалтика, и Украина.

Но как долго ни обдумывалась общеевропейская война в кабинетах министров Германии и Австро-Венгрии, все-таки сразу начать эту войну было не так просто, хотя удобнейший предлог для этого, — Сараевское убийство, — и был уже налицо.

Глава пятая

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

1.

Давно подмечено, что мертвый хватает живого. Но в частной жизни это все-таки не всем и не всегда заметно. Даже тот, кто идет ночью или днем на «мокрое дело», убежден, что его-то именно мертвый не схватит: человеческая жизнь, особенно в больших городах, замешана круто, — каждый — прикрытие для другого, а лишенные жизни безгласны.

Экстренный поезд с гробами эрцгерцогской четы прибыл в Вену на пятый день после убийства в Сараеве, — 19 июня (2 июля), в 10 часов вечера.

Он подошел к южному вокзалу, залитому электрическим светом, задекорированному трауром, сплошь заполненному встречавшим его народом.

Тут был и эрцгерцог Карл, новый наследник престола, который по ритуалу должен был первым поклониться праху своего дяди, так неожиданно освободившего для него место у престола; тут были и военный министр, и начальник генерального штаба, и все высшие военные и придворные чины, которые прежде всех прочих граждан Австро-Венгрии должны были воспламениться глубочайшим негодованием к национальности, давшей убийцу, и жаждой мести.

Мертвые, в двух цинковых, покрытых флагами и венками гробах, именно этот замысел и таили — хватать живых, — а сравнительно поздний час, когда они появились на венском вокзале, не только не мешал, а даже способствовал их обширному замыслу.

Издавна таинственно-торжественны бывали посвящения в рыцари, Вена же был слишком жизнерадостный город для того, чтобы проникнуться необходимой серьезностью днем, да еще летним днем, когда так много веселого солнца. К идее мести, к идее смерти за смерть шел только мертвенный лунный свет электрических ламп, а траур должен был подчеркиваться и углубляться бездонно этими резкими поздне-вечерними тенями.

Парадные комнаты вокзала были превращены в часовню. Между входом в эти комнаты и вагоном с гробами стали шпалерами лейб-гвардейцы. Сквозь их ряды к вагону прошло духовенство. Но первые звуки, какими были встречены гроба в Вене, не были звуками молитв: однообразно и резко, но зато бесспорно воинственно затрещали многочисленные барабаны, и под непрерывный барабанный бой тяжелые гроба были извлечены из вагона на перрон, чтобы перед ними смог торжественно преклонить колено эрцгерцог Карл.

Только после того гвардейцы понесли гроба на вокзал в предшествии духовных лиц. Конечно, парадные комнаты вокзала не смогли вместить всех, желавших непременно присутствовать при церковном обряде благословения гробов, особенно придворных дам, одетых в глубокий траур, но обряд этот был недолог.

Вот подъехала пышная траурная колесница; на нее установили гроба, и вся толпа избранного общества Вены опустилась на колени.

Тут были те, от воли которых явно или скрыто зависела жизнь страны; тут были те, с которыми явно или скрыто связана была жизнь четы, убитой в Сараеве.

Колесница в сопровождении других колесниц, более современного устройства, подвезла гробы к приходской церкви Гофбурга, где тяжеловесный старинный церемониал тысячелетней монархии проявился во всей своей силе. Теперь уже не тысячи, не десятки тысяч, а не меньше, как треть населения миллионного города заполнила улицы, так как закрыты были в знак общенародной печали все театры, бары, кафе.

Мервые проплыли перед живыми, предоставив им выбор возможностей для действий, и первыми действиями возбужденных такою ночью венцев были демонстрации перед сербским посольством.

Конечно, большой наряд полиции заранее был командирован к этому посольству, но толпа, состоявшая из студентов христианско-социалистической корпорации, рвалась к бою, крича: «Долой убийц!»

Однако эта траурная ночь должна была послужить только вступлением к настоящему взрыву всестоличной гневной скорби, отложенной церемониймейстером на день 3 июля (20 июня), когда появился в Вене император, приехавший из Шенбрунна.

— Как он убит горем, наш добрый старик! — должны были говорить венцы, встречая и провожая глазами сидевшего в открытой машине маленького согбенного раззолоченного старичка с белыми, привычными для всех баками.

Заупокойную мессу совершал кардинал князь-архиепископ Пиффль в сослужении огромного числа духовных лиц разных рангов, между которыми был и папский нунций.

Все эрцгерцоги и эрцгерцогини, все родственники убитых, весь придворный штат, все министры, председатели парламентов австрийского и венгерского и депутации от них, все послы и посланники при венском дворе, весь генералитет, бургомистры венский, будапештский, загребский, начальники высших государственных учреждений, старшие в чинах представители многочисленных военных депутаций — заполнили придворную церковь.

Эхо двух выстрелов, которых в криках толпы даже не расслышали шофер машины эрцгерцога и сидевший рядом с шофером генерал Патиорек, должно было прозвучать на весь мир, и звуки печальных заупокойных молитв должны были перелиться в команды войскам, уже приготовленным для марша к восточным границам.

Скончилась служба. Снова в Шенбрунн мимо толп проследовал «убитый горем добрый старик»; гроба же, вновь погруженные на колесницу, были подвезены к набережной Дуная, потом на пароме переправлены через реку и, наконец, снова на поезде пошли в последний путь к замку эрцгерцога Франца-Фердинанда Артштеттен, где и были погребены в фамильном склепе, после чего новый наследник Карл, его супруга Цита, и многое множество эрцгерцогов, эрцгерцогинь и высших лиц в государстве вернулись обратно в Вену.

Преждевременно начавшиеся и прекращенные поэтому полицией эксцессы толпы ночью перед сербским посольством, теперь разрешенные и поощряемые, разразились с большей силой днем. Наряды полиции были значительно усилены и перед посольством, и перед домом, где жил посланник Иованович, стекла в квартире которого непременно хотелось выбить толпе. Доходило до револьверной стрельбы с обеих сторон.

Однако не только перед сербским посольством, — большие толпы народа собирались также и перед русским, здесь также кричали: «Долой!». а перед германским посольством, напротив, пели «Wach am Rhein» и австрийский народный гимн.

Во всех демонстрациях чувствовалась направляющая рука, строго определяющая границы дозволенного и предотвращающая все переплески чувств.

В Вене в этот день начинался во многих местах и погром сербских магазинов, но столичная толпа, привыкшая подчиняться правилам уличной дисциплины, не доходила, конечно, до того, до чего доходили в провинциальном Сараеве и других боснийских и герцеговин-

ских городах, откуда уже получались негодующие телеграммы, вроде подписанной вице-президентом боснийского сейма Воиславом Шолой:

«Так как сотни магазинов и частных жилищ невиновных, верных династии и лояльных граждан Сараева были совершенно разгромлены и разграблены чернью, чем почти все сербское население превращено в нищих, то среди сербов, как и среди всех культурных жителей края царит глубокое возмущение и негодование на зачинщиков погрома».

Были разрушены, между прочим, и сербские школы, и приют для детей: в доме сербского митрополита Летицы были выбиты окна. Общие убытки от погрома превышали миллион крон. Но волна погромов прокатилась по всем городам за несколько лет до того насильственно присоединенных к Австрии провинций, причем наиболее рьяными погромщиками оказались почему-то цыгане, громче всех кричавшие при этом: «Долой сербов! Долой короля Петра!»

Для того, чтобы подогреть антисербские демонстрации, венские газеты опубликовывали заведомо сочиненные «материалы следствия», из которых можно было вывести, что все Сараево в день покушения на убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда было прошпиговано бомбами, приготовленными для широко задуманного акта.

Бомбу с часовым механизмом будто бы обнаружили под столом в здании конака, где должны были угощать завтраком наследника престола; бомбу нашли в ратуше, где должны были чествовать его приветственными речами; бомбы нашли в нескольких местах на улицах; у какой-то женщины-сербки оказался даже целый склад подсобных бомб.

Принцип и Габринович на допросе будто бы показали, что оружие свое они получили от комитаджия Михо-Цыганович, будучи в Белграде, и там именно были подкуплены на совершение убийства.

«Нити страшного злодеяния, совершенного в Сараеве, ведут в Белград!» — с необходимой энергией восклицали венские газеты. Продолжая ковать железо, пока оно горячо, сотрудники газет сообщали также во всеобщее сведение, что император Франц-Иосиф одобрил программу, принятую советом министров, и что выступление австрийского правительства в Белграде состоится в ближайшем будущем.

Конечно, нельзя было говорить в газетах вслух того, что решалось пока еще только в закрытых совещаниях, притом с соблюдением известной осторожности в выражениях, так как для всех было очевидно, что одно дело пробовать дергать веревку колокола, а другое — раскачать ее во всю длину так, чтобы железный язык ударил в колокольную медь, — металл набата.

Только через три-четыре дня после похорон эрцгерцога появилось в газетах несколько слов о выступлении, которое готовилось Веной в Белграде:

«С уверенностью можно утверждать, что это выступление не явится вторжением в область суверенных прав Сербии и не будет содержать в себе ничего, что могло бы быть истолковано, как оскорбление или унижение сербского правительства. Можно поэтому ожидать, что сербское правительство в полной мере примет к исполнению все австрийские требования, которые имеют целью, с одной стороны, наказать подстрекателей к покушению на убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда, а с другой стороны, настоять на принятии сербским правительством мер к устранению того вредного порядка, который несовместим с корректными добрососедскими отношениями».

Так в выражениях чисто канцелярских, расплывчатых, но в то же время подчеркивающих большое неравенство австрийских и сербских сил в пользу Австрии, было составлено это постановление совещания министров под председательством самого «убитого горем доброго старого» Франца-Иосифа. Между прочим, добавлено было, что на совещание это были приглашены для дачи разъяснений «по некоторым техническим вопросам» начальник генерального штаба и представитель главноначальствующего флотом.

Разумеется, даже и младенцам от политики не могло не быть понятным, что это совещание австрийских министров подготовило ни больше ни меньше, как ультиматум сербскому правительству. Вопрос сводился только к тому, когда и как этот ультиматум мог быть предъявлен.

Если при австрийском дворе по убитом наследнике престола был назначен шестинедельный траур, то, в свою очередь, и при сербском дворе назначили траур пятнадцатидневный. Если русское правительство прислало в Вену телеграмму сочувствия, то не отстало от него в этом и сербское. Разумеется, никакого ликования по поводу убийства в Сараеве не допускалось в тоне белградских газет, так что прямого повода, к которому можно было бы придраться, чтоб предъявить ультиматум, не оказывалось налицо: сербское правительство вело себя благонравно.

Но демонстранты в Вене не зря толпились перед германским посольством и пели «Wacht am Rhein» и австрийский гимн: толчок ультиматуму, созданному советом министров в Вене, мог дать только Берлин. А поча-что сербов-рабочих начали сотнями высылать из Вены в Белград.

2.

Как боевой конь, заслышавший трубу, Берлин напряг зрение, слух и мышцы.

И если в Вене (или в одной из императорских резиденций — Ишле, Шенбрунне — безразлично) шло совещание Франца-Иосифа со своими министрами, то и в Берлине (в Потсдамском дворце) Вильгельм II созвал на совет тоже коекого из своих государственных людей.

Что и говорить, положение было острым. По существу-то оно было прозрачным, как капля воды для невооруженного глаза, но ведь та же самая капля воды под микроскопом бывает полна чудес.

Конечно, в том всеевропейском конфликте, который мог разразиться, Сербии Берлином отводилось последнее место. Но на Сербию падала густая тень от стоящей за ее спиной исполинской России, а с запада доносился сдержанный звон оружия Франции, сорок три года готовившейся к реваншу.

Отношения с Англией как будто стали теплее, и английская эскадра под командой адмирала Уоррендера только-что была с визитом на «кильской неделе», но почему же вдруг в «Times», газете лондонского Сити, появилась статья о германских морских вооружениях с такими странными словами в конце:

«Хотя рост германского флота и его боеспособности и не приводит нас в крайнее раздражение, но, конечно, он не улучшает отношений между обоими правительствами и народами».

Отлично была известна в Берлине хроническая, ставшая правилом неготовность Англии к континентальной войне в Европе, но было ли это прочным ручательством, что она не вмешается в войну на стороне Франции, хотя и с неминуемым опозданием? Намерена ли Англия опоздать в такой степени, когда помощь ее будет уже не нужна разгромленным французам?

Можно смело сказать, что в Германии думали о том, чтобы совершенно и навсегда подчинить себе всю Францию, так как, только владея береговой линией Франции, можно было со временем поставить Англию на колени.

Но если статья в газете «Times» могла и не отражать мнения правительства Англии, то как можно было отнестись к тому, что как-раз в то время, когда получилось известие об убийстве в Сараеве, и гостивший в Киле английский флот готовился к отплытию в свои воды, британский посол в Петербурге сэр Бьюкенен опубликовал только-что заключенную морскую конвенцию с Россией? По этой конвенции английский и русский флоты должны были действовать вместе при открытии военных действий... Против кого? Договаривать не нужно было того, что для каждого ясно.

Ни с Францией, ни с Россией Англия не была в союзе, а только в «соглашении», — в «сердечном соглашении» — «Entente cordiale», — однако, насколько это соглашение было менее прочно, чем союз? И, наконец, разве решится русский царь поддерживать цареубийц? А если не решится, то кто посмеет утверждать, что Россия, неготовая к войне ни в смысле финансов, ни как военная сила, ввяжется в серьезную войну? А если Россия останется в стороне, то Франции ничего не останется больше, как спрятать до более удобного времени свою шпагу, Австрии же никто не помешает поговорить с Сербией на внушительном языке пушек.

Слишком много было всевозможных «если», опутавших простую и ясную, как задача из детского задачника, борьбу Германии с Англией за рынки сбыта фабрично-заводских товаров, которая, разумеется, должна была когда-нибудь привести к смертельной схватке с оружием в руках.

Чтобы уверить всех, что общим врагом не одной только Германии, но также и Франции, и России является Англия, — какую деятельность развило германское правительство в разных странах, всюду стремясь основать «Общества для пропаганды германских идей и идеалов!» На это были ассигнованы большие средства, к этому было привлечено множество немцев. Этому делу не без основания придавалось крупное значение, как завоеванию мирным путем.

Как-раз перед сараевским убийством основано было немецко-греческое общество. Это общество взяла под свое покровительство греческая королева София, родная сестра Вильгельма. В числе его основателей насчитывалось свыше ста человек немецких ученых, политиков и военных.

Армения не была государством, — она была только русской окраиной на юге, — однако, как-раз на второй день после убийства Франца-Фердинанда в Берлине состоялось учредительное собрание только-что образованного немецко-армянского общества «для более тесного сближения немцев с армянами». Основатель его, известный «армянофил» доктор Лепсиус, был избран председателем общества, а вице-председателями — немец Рорбах и «армянин» Гринфельд, составитель первого, роскошно изданного сборника произведений армянских и немецких писателей.

Нечего и говорить о том, что в Германии нашлось множество «украинофилов»; их возглавлял отставной генерал от инфантерии барон фон-Гебзаттель, деятельным помощником которого, ни

слова не знавшего по-украински, был доктор Левицкий из Кракова.

Финляндия, Эстляндия, Курляндия, Литва,—запад России—давно уже старательно пропитывались насквозь въедливой эссенцией «германских идей и идеалов», поскольку замки немецких баронов повсеместно украшали ландшафт Прибалтики.

Мирное завоевание окраин России — это одно, но война с Россией, — это совсем другое.

22 июня (5 июля) Вильгельм пригласил к себе в Потсдам рейхсканцлера Бетман-Гольвега, военного министра Фалькенгайна, товарища министра иностранных дел Циммермана и других, чтобы обсудить с ними положение дел, так как именно в этот день утром австрийский посол в Берлине передал ему личное письмо от Франца-Иосифа. «Убитый горем» старик сообщал, что в убийстве виноват Белград и что австрийское правительство намерено предъявить Сербии ряд решительных требований и, — в случае Сербия откажется их принять, — двинуть туда войска.

Письмо престарелого императора, подкрепленное меморандумом, составленным еще до убийства, было слишком важным документом, чтобы его не обсудить всесторонне при участии Бетмана, первого после кайзера лица в государстве.

Бетман-Гольвег был пятым канцлером за долгое, четвертьвековое царствование Вильгельма. Это был человек безукоризненной логики, всегда лучше других умевший обосновать то, в чем он был убежден. Он склонен был поучать всех около себя, даже и самого кайзера. Эту привычку он усвоил еще в детстве, почему товарищи его по классу называли его «Гувернанткой». Он был убедителен не только потому, что занимал высокий пост: его доклады были снабжены ссылками на все, что обычно признается незыблемым в сфере политики. Он умел доказать основательность своих взглядов на вещи даже тогда, когда противникам его они представлялись с первых же слов грубейшей ошибкой.

Генерал Фалькенгайн, как военный министр, показал на совещании в Потсдаме, что он отчетливо знает, что должна делать германская армия, начиная с первого дня войны, рассчитанной на молниеносность. Он твердо усвоил план Шлиффена, по которому сначала нужно было, заходя правым крылом армии через Бельгию, наголову разбить Францию, а после того бросить все силы против России, чтобы с нею покончить в кратчайший срок Всем было известно, что таково было мнение и Мольтке.

В заключение совещания Бетман обратился к кайзеру с почтительнейшей просьбой не озабочивать себя никакими государственными делами теперь, летом, когда организм нуждается в движении, в перемене места, в путешествиях. Зная, что Вильгельм хотел совершить поездку в фиорды Норвегии, которые изумительно живописны летом, он настойчиво советовал ему не откладывать ни на один день этой поездки, которая, конечно, необходима ему со всех точек зрения.

Еще раньше он убедил взять отпуск для отдыха всех наиболее самостоятельных из государственных людей Германии: и морского министра иностранных дел Ягова, и начальника главного штаба Мольтке...

Ему казалось, что никто лучше его не в состоянии разобраться в той задаче, которая была задана европейским дипломатам выстрелами в Сараеве; что все остальные из виднейших членов правительства будут только мешать ему; и что больше всех, конечно, способен испортить дело кайзер Вильгельм, горячность и несдержанность которого достаточно всем известна. Он и действительно отправился в Норвегию, не без того, разумеется, чтобы не иметь при этом кое-каких мыслей, способных принести Германии пользу.

Что же касается Бетмана, то одним из его доводов был такой: чем скорее уедет кайзер из пределов своей страны, тем доказательнее будет для противников Германии, что она совсем и не думает готовиться к войне. Как всякий добросовестный ученик готов воспользоваться каждой минутой, чтобы еще и еще раз заглянуть в учебник и подзубрить урок, так и Бетман, несмотря на утверждения высших генералов, что такой армии, какая имеется у Германии, нет и не может быть у ее возможных противников, и что блестящий успех в столкновении с ними вполне обеспечен, все-таки надеялся отсрочить несколько начало войны, как бы ни казалась она неизбежной и желанной.

Конечно, никому из людей не дано знать будущего, но в то же время, если бы человек не представлял себе будущего так же ясно, как настоящее, он не был бы человеком. Тем-то и трудна была роль канцлера, что он должен был читать предстоящее, как открытую книгу.

По общему признанию всех немцев, это удавалось делать Бисмарку, творцу германской империи, первому рейхсканцлеру Германии. Но если ни до Паганини, ни после Паганини не нашлось виртуоза, который мог бы так же владеть скрипкой, как он, то то же самое,—Вильгельм это видел, — можно было сказать о Бисмарке: он оказался в Германии

единственным и неповторимым. В его руках была сосредоточена вся власть в Германии, и он доказал, что лучшего носителя всей власти в стране Германия не имела. Но Бисмарк умер.

Теперь все было в Германии новым: и мировая торговля, в интересах которой непомерно развилась промышленность, и могучий флот, и громаднейшие колонии в Африке, к мировому господству оставалось сделать последний решительный шаг.

Этот шаг подготовлена была сделать армия, что было известно и Вильгельму, и Бетману, и любому лавочнику в Германии, однако настал ли уже теперь, именно теперь, летом 1914 года, настоящий момент для этого шага? Точно ли подготовило его время, течение мировой жизни? Нет ли просчета, нет ли ошибки в решении этой — что и говорить — труднейшей задачи?

Ведь решать приходилось не только за Германию, но и за Австрию, и за Италию, как союзников, за Францию, Россию, Англию, — как противников; до последнего человека, до последней марки надо было знать силы свои и союзников, однако то же знание необходимо было канцлеру иметь и о всем стане врагов, как действительных так и возможных.

А поведение во время войны так называемых нейтральных стран, которые, по существу, никогда не бывают, да и не могут быть чопорно нейтральны? А окружение, которое неминуемо начнется с первых же дней войны, если в нее вступит Англия с ее чудовищно огромным флотом? А сможет ли выполнить транспорт (30 тысяч паровозов и 700 тысяч товарных вагонов) ту колоссальную работу, которая потребуется от него при ведении войны одновременно на западе и на востоке? А достаточны ли будут запасы нефти?..

Бетману, несмотря на то, что все было давно решено и Германия не могла пропустить такого удобного случая для начала войны, было над чем подумать, держа в руках меморандум и копию письма Франца-Иосифа Вильгельму о выступлении Австрии в Сербии, которое было решено на совете министров в Вене.

«Гувернантка» не зря позаботился о том, чтобы ни Тирпиц, ни Мольтке, ни Ягов, ни сам кайзер не мешали ему думать: наступил момент доказать, что в Германии есть второй Бисмарк!

3.

Едва успел уехать из Берлина в Норвегию Вильгельм, как назрела неотложная необходимость президенту Франции Пуанкаре ехать в Россию, а затем тоже в Норвегию, в Швецию и Данию, то-есть в Скандинавские страны, которые должны были оставаться нейтральными в случае, если по вине Германии начнется европейская война.

Конечно, поездка Пуанкаре требовала довольно значительных средств, и вот в палату депутатов был срочно внесен законопроект об отпуске в распоряжение президента суммы в четыреста тысяч франков на предвиденные и непредвиденные расходы.

Для богатого государства, каким была Франция того времени, деньги небольшие, но перед депутатами встал вопрос не столько о них, сколько о целях этой поездки президента.

Против кредита президенту высказался от лица своей партии вождь французских социалистов Жорес. «Социалисты, говорил он, относясь с симпатией ко всем демонстрациям, сближающим народы и гарантирующим мир, а также признавая историческое значение франко-русского союза, считают, однако, что за последнее время подобного рода передвижениями начали усиленно злоупотреблять. Кроме того,—и это самое важное, — социалисты не могут допустить, чтобы во время подобных поездок принимались за счет Франции какие-либо обязательства, способные отразиться на внутренней и внешней политике республики. Социалисты противятся секретным договорам и считают, что теперешняя русская государственная Дума не представляет для них гарантий»...

Поддерживая законопроект, премьер-министр Вивиани, напротив, обращался к палате с горячим призывом принять его единогласно. Опасения Жореса, что во время поездки Пуанкаре примет какие-либо обязательства, секретные и нежелательные для Франции, Вивиани решительно отвергал, выдвигая при этом необходимость обмена мнений между представителями обеих союзных стран.

Относительно выпада Жореса против Государственной Думы Вивиани сказал, что это не может быть названо никак иначе, как только вмешательством во внутренние дела России. Он заявил далее: «История Европы доказала, что франко-русский союз, дополненный дружбой с Англией, с одной стороны, отвечает чувствам и интересам обеих наций, а с другой—служит средством поддержания общего мира».

Во имя этих-то счастливых результатов франко-русского союза Вивиани и предлагал доказать голосованием неизменную привязанность к спасительному союзу всех патриотов Франции.

Законопроек был принят подавляющим большинством голосов, а на другой день в русских газетах был уже опубликован порядок встречи Пуанкаре в Кронштадте, так как он предполагал прибыть на одном из крупнейших военных судов французского флота.

За долгие годы мира между крупнейшими державами Европы накопилось много такого, что угрожало внезапным взрывом. Этим сильно пахло и определило общий ход событий еще задолго до убийства в Сараеве, — нечего и говорить о том, как упал барометр в кабинетах не только премьер-министров всех европейских стран, но и всех тех, кто хоть сколько-нибудь интересовался политикой.

Вот почему Вивиани не допускал даже и мысли, чтобы лидер французских социалистов Жорес мог сорвать законопроект о кредите Пуанкаре на визит в Петербург.

4.

Как бы ни было велико воображение любого великого человека, представить со всей ясностью и полнотой действия миллионных масс, получивших приказы к войне, он не может. Воображение, казалось бы, вполне безошибочно нарисует ему одно, — действительность подсунет другое. Воображение наше в плену у бывшего, у того, что занесено на страницы истории, но страницы истории, — правдивы ли они, или ложны — безразлично, — стоят на месте, а действительность ежедневно, ежечасно растет. Этот рост становится совершенно необычайным во время войны, когда обычный год в 365 дней равен целой эпохе.

Учесть все без исключения возможности такого стремительного роста, предусмотреть подъем человеческой энергии в начале войны; сделать скидку на усталость, как неизбежную реакцию во второй этап войны; не забыть, однако, и о том, что велика приспособляемость людей ко всяким вообще условиям жизни, как бы тяжелы они ни оказались; но в то же время не забывать и того, что война только и ведется в целях понижения именно этой способности; держать всегда в известности число машин войны на фронте и машин труда в тылу, неуклонно следя за кривой машин, как врач следит за кривой температуры тифозного больного; питание фронта людьми и машинами, питание людей и машин провиантом и боеприпасами; уголь, железо, нефть, медь, свинец, олово и десятки других металлов; вагоны, автомобили, аэропланы, дирижабли, как средства быстрейшей переброски людей; фронты, растянувшиеся от северных морей Европы до южных, и земля, как единственное убежище от всеразрушающих снарядов тяжелых орудий, — вот то общее, что рисовалось воображению виднейших генералов и политических деятелей Европы.

Никто из них не вспоминал о Наполеоне, бывшем сто лет назад богом войны: слишком изменилось за эти сто лет самое понятие «европейская война», тем более, что эта война грозила по мере своего развития перерасти в мировую.

Усиленно делались подсчеты: сколько может выставить солдат то или иное государство в случае европейской войны.

Этот подсчет сделал граф Шлиффен, известный военный деятель Германии при Вильгельме. В одной своей статье, писавшейся тут же после того, как Австрия прикарманила Боснию и Герцеговину, и когда вопрос об европейской войне был поставлен в порядке дня, он решительно отбросил все привычные до того рамки возможной войны.

Он писал: «Германия со своими 62 миллионами населения может призвать в случае войны 4,750 тысяч человек, а Франция даже 5,500 тысяч». При этом он делал подсчет только тех, которые прошли в полках обучение военной службе, значит, совершенно не говорил об ополчении.

Непричастная к высшему генералитету Европа ахнула, встретившись в статье Шлиффена с такими чудовищными цифрами, а он продолжал хладнокровно:

«Не было ни одного полководца, который бы жаловался на чрезмерную численность врученной ему армии, но все без исключения сетовали на ее недостаточность».

Это была правда, конечно, однако своеобразная правда была вложена Шлиффеном и в такое утверждение: «Оружейные и артиллерийские заводы создали больше приветливых физиономий и больше готовности к услугам, чем все мирные конгрессы».

Проповедь культа силы взяла в статьях Шлиффена, а вслед за ним и других германских генералов небывало до того высокую ноту. Их откровенность граничила с цинизмом. Однако о гаагских мирных конференциях все перестали думать и усиленно принялись отливать пушки, готовить снаряды, шить сапоги и шинели сразу на миллионы солдат.

Конечно, грандиозных приготовлений этих к готовой в любой момент вспыхнуть мировой войне нельзя было никому сохранить в секрете, как бы кто ни старался сделать из этого военную тайну. Наконец, жуткие масштабы возможной войны начали пугать даже и неробких вначале государственных людей великих держав, и Шлиффен не замедлил отметить это в таких словах:

«Все ощущают колебания в предвидении огромных расходов, неизбежных больших потерь и того красного призрака, который встанет в их тылу. Всеобщая воинская повинность, превращающая в равноценное пушечное мясо как знатных, так и простых, как богатых, так и бедных, сократила жажду войны».

И в этом была правда, однако, колесо, пущенное по гладкой дороге с плоской горы, продолжало катиться, все набирая и набирая скорость. Над военными заказами, размещенными по фабрикам и заводам, работало множество людей. От всего того, что уже сработано было в целях близкой войны, ломились склады. Заводчики и фабриканты были довольны: они расширяли производство в основательной надежде, что для войны всего будет в конце-концов мало, и склады опустошатся быстро, и заказы будут сыпаться щедрой рукой. Если одна только подготовка к войне внесла такое оживление в промышленность, то что же будет, раз начнется война?

Немецкий полководец Гельмут фон Мольтке писал о войне: «Вечный мир — это сон, война же самим богом созданный мировой порядок. В ней получают развитие высшие добродетели человека: мужество и самоотверженность, чувство долга, самопожертвование. Не будь войны, человечество погрязло бы в тине материализма».

Разгромивший Австрию и Францию Мольтке писал это в 1880 году, а в 1912 году германский генерал Бернгарди опубликовал книгу «Deutschland und der nächste Krieg» («Германия и будущая война»).

Он проповедывал наступательную войну, утверждая, что военные захваты ценнее мирных завоеваний. Он называл «ядом» движение в пользу всеобщего мира и всячески стремился доказать, что «историческая задача германского народа может быть разрешена только мечом». Даже самая попытка уничтожить войны представлялась им как «дело безнравственное и недостойное человека».

Что можно было делать ему, «безнравственному» человечеству, когда оно видело в своей среде такого насыщенного и силой, и убежденностью, что только сила — право, кулачного бойца, уже засучившего рукава, уже сжавшего пудовые кулаки и только размышляющего о том, кому первому из его окружающих выгоднее для него раздробить челюсть?

Есть битвы и битвы. Когда-то после битвы при Вальми Гете сказал сидящим у бивачного огня: — «Вы участвовали в битве, с которой начинается новая эпоха в истории».

Великая битва предстояла Европе, и новая, революционная эпоха в истории уже стояла на полях этой битвы и ждала своего дня, чтобы родиться.

5.

Убитый в Сараеве эрцгерцог был упрямый, резкий в обращении человек, и при дворе Франца-Иосифа его терпели, конечно, как будущего монарха, но не любили. Его не любили венгры, его не любили чехи, его не любили сербы, но зато его очень ценил Вильгельм, и конечно, этим двум весьма деловым людям было о чем говорить во время свидания в Конопиштах.

Николаю и румынскому королю Карлу также было о чем беседовать в Констанце во время свидания, которое состоялось 1-го июня. Между Австрией и Румынией давно уже существовала военная конвенция, в силу которой голова Румынии была повернута на восток, в сторону Бессарабии. Задачей русской дипломатии было повернуть голову Румынии на запад, где в Трансильвании страдали под австрийским игом и ожидали освобождения миллионы румын.

Италия хотя и входила в Тройственный союз, но союзницей была ненадежной: миллионы итальянцев страдали под австрийским игом на берегах Адриатики — в Триенте, Триесте, Далмации, — и Австрия не выражала ни малейшего желания отдать эти области Италии в уплату за ее помощь в войне против Антанты (Entente cordiale).

Но вместо Румынии и Италии Германия и Австро-Венгрия надеялись завербовать Болгарию и Турцию. Турция давно уже обрабатывалась Германией, не скупившейся на займы и посулы, чтобы добиться ее согласия на проведение через Малую Азию железной дороги Берлин—Багдад, в чем она и успела, а германские офицеры приводили в порядок турецкую армию.

Такой же двигатель прогресса — эльзасский каменный уголь — потеряла Франция, проиграв в 1871 году войну с Германией. Французская промышленность попала таким образом в положение ящерицы с откушенным хвостом. Еще Франция никогда не могла отвести свой взор от потерянных ею провинций—Эльзаса и Лотарингии.

У Англии никто не отнимал ее давних провинций или колоний, но... могли отнять. Вся политика ее в XIX и XX веках была построена только на этом: подозревать и пресекать, не дожидаясь, когда начнутся активные действия возможных противников.

Германия была пока еще только соперником, но соперником мощным.

Она наводняла своими товарами даже европейские страны, вытесняя из них Англию. Она стала колониальной империей, обосновавшись в центральной Африке, и помешать этому было нельзя: пришлось уступить ей в этом, чтобы она не проникла в Марокко, в близкое соседство к Египту.

Железная дорога Берлин—Багдад выводила ее к Индийскому океану: оттуда она могла угрожать драгоценнейшей из английских колоний — Индии. Но она

успела проникнуть и на берега Тихого океана, взяв у Китая Цзиньтау и создав там первоклассный порт с огромным торговым оборотом. Для Германии же достаточно было запустить хоть один коготь, чтобы там очутилась и целая лапа ее черного орла.

Скачок, который у всех на глазах делал германский империализм, был до того громаден, что не один государственный деятель Англии, страны старого капитализма, мог бы припомнить слова Суворова, сказанные им в ссылке, в селе Кончанском, когда он читал в газетах о Наполеоне: «Молодой человек этот слишком широко шагает, — пора бы его унять!»

В конце-концов для Англии возникала в лице Германии самая серьезная опасность со времени низложения Наполеона, тем более, что никто из писателей немецких, подобных генералу Бернгарди, не скрывал стремлений немцев к мировому господству.

Еще тогда появились и развивались на все лады теории о немцах, как о расе господ, которой дано в недалеком будущем судьбою «объединить сначала все народы Европы, а потом и мира под свою властью, облагодетельствовать весь мир высокой немецкой культурой.

Пусть это не говорилось еще самим Вильгельмом, когда он посещал Англию, явившись, например, в Лондон на похороны короля Эдуарда VII, сына Виктории незадолго до события в Сараеве, но книги в Германии выпускались затем, чтобы их читали всюду, между прочим, и в Англии, и нельзя было не задуматься над этим.

Уже 25 июня (8 июля), отчасти благодаря министру иностранных дел Австро-Венгрии графу Берхтольду, который не хотел делать из этого тайны, стали известны требования ноты, которую австрийское правительство намерено было отправить Сербии.

В ней содержалось несколько пунктов, из которых довольно привести три:

«1. Король Петр должен обратиться к своему народу с прокламацией, призывающей воздерживаться от великосербской пропаганды.

2. Один из высших австрийских чиновников должен быть допущен к участию в расследовании преступления...

3. Должны быть отставлены и примерно наказаны все офицеры и чиновники, участие которых в покушении будет доказано».

Правда, пока это стало известно только правительствам нескольких держав; это не опубликовывалось в газетах; это был как бы пробный шар, пущенный советом австрийских министров с намерением выждать, как к этому отнесутся союзники и враги.

В министерствах иностранных дел каждого из государств Европы сидели, разумеется, знатоки международного права, и для каждого из них достаточно было, конечно, только взглянуть на эти требования Австрии к такому же, как она, суверенному государству, чтобы сказать решительным тоном: «Это противоречит международному праву. Это — явное вмешательство одного государства в дела другого. Это неприкрытое оскорбление, способное вызвать только войну. Таких нот посылать не принято, если этой войны не желают».

Но другие, неменьшие знатоки международного права, сидевшие в кабинетах министров Австрии и Германии, имели наготове негодующий вопрос: «Значит, из одной страны могут явиться в другую убийцы, сознательно направленные для совершения террористического акта над наследником престола этой последней страны, и преступное правительство может остаться вполне безнаказанным?»

Однако «преступное правительство» Сербии на негодующий вопрос этот отвечало не менее негодующе: «Смешно и глупо подозревать сербское правительство в подготовке и проведении подлого убийства в Сараеве! Арестованные убийцы — Принцип и Габринович — только и ответственны за совершенное ими злодеяние. Хотя и сербы по рождению, но сербскими подданными они не являются. Они — австрийцы и на австрийской территории убили своего австрийского эрцгерцога из побуждений, им одним известных. Причем же тут сербское правительство?»

Принцип и Габринович на всех допросах отвечали одно, а именно: «Мы — анархисты. Мы не признаем и ненавидим власть. Нам давно хотелось убить какое-нибудь высокопоставленное лицо. Когда представился случай убить эрцгерцога, мы это сделали и ни малейшего раскаяния не ощущаем».

Австрийское правительство говорило, что нити преступления ведут в Белград; сербское правительство называло эти нити сработанными на австрийских фабриках и явно гнилыми. Получалось так, что качество этих нитей должен был определить кто-то нелицеприятный третий.

Однако кто же именно мог быть этим третьим?

Человеческая логика растяжима, и тот, кто не желает уступить в споре, обыкновенно бывает непобедим. Особенно же часто случается это тогда, когда он может подтвердить свое право силой. Силы Сербии были хорошо известны в министерствах иностранных дел. Они, конечно, не могли итти в сравнение с силами Австро-Венгрии, но за спиной Сербии, — все знали это, — стояла Рос-

сия, которая имела под ружьем в мирное время 1.400.000 человек, а в случае войны могла выставить военнообученных около восьми миллионов.

Это была логика, которая заставляла задуматься. И в обширных, строго, но прекрасно обставленных кабинетах министров нескольких весьма заинтересованных стран в Европе усиленно обдумывали проект австрийской ноты.

6.

Лето — прекрасное время года, радушное, любвеобильное, открытое, гостеприимное...

Щедрость солнечных лучей обогащает заведомо-бедных, преображает в довольных судьбою даже привычных нытиков и золотушных...

Шубы пересыпаны нафталином и спрятаны; тело свободно дышит под невероятно легкомысленной тканью, и неудержимо тянет всех на так называемое лоно природы. Проходят самые заядлые горожане мимо крестьян в дачной местности, поливающих свою редиску, и как они им завидуют знойно!

В них просыпается давно, казалось бы, забытая детская безмятежность. Зеленое и голубое вытесняет в их душе все эти блеклые, искусственно созданные городские краски. Городской человек становится наивным в летние дни. Он начинает даже верить в разную несбыточность, — мечтать, как мечтают дети. И что всего изумительней, этому впадению в детство бывают подвержены даже лица почтенных лет, высокого ранга, строгого образа мыслей. Даже они почему-то начинают улыбаться, приглядываться к тому, как садится солнце за дальним сосновым лесом, и восклицать: «Какой закат! Это просто картина художника, — замечательная картина!»

Всегда были интернациональны курорты Европы. Немцы ездили в Италию и Францию, к чарующей голубизне Средиземного моря, французы и итальянцы во множестве встречались на благоустроенных курортах Германии и Австрии; сыны туманного Альбиона и русских равнин считали своим долгом и поплавать по Средиземному морю, и посмотреть на развалины Колизея, и побывать в Ницце, и выпить положенное количество какой-нибудь, чорт ее знает, насколько целебной, тухлой, противной воды на том или ином из прославленных немецких курортов.

И в это предгрозовое лето курорты были так же переполнены, как всегда; неукоснительно совершались прописанные немецкими врачами процедуры; на славу работали гостиницы и рестораны. На одном из немецких курортов наслаждался благами культуры член государственного совета граф Витте, на другом — министр народного просвещения в России Кассо, на третьем — командир корпуса, расположенного на Волыни, генерал Брусилов.

Они и другие русские тайные и действительные советники, генерал-лейтенанты и полные генералы читали, разумеется, в немецких газетах, что сербы убили в Сараеве австрийского эрцгерцога, но значения этому не придавали: высшие русские чиновники были обстрелянные люди. Если бы даже их начали уверять, что выстрелы в Сараеве могут привести к мировому катаклизму, они бы только пожали снисходительно плечами. Они вполне искренно подчинялись чудодейственным чарам лета, усыпляющим мозг картинным закатом солнца за сосновым лесом на живописных высотах, откуда вытекали прославленные на весь мир целебные воды.

Но за гибкими спинами весьма вежливых и исполнительных метрдотелей с пышными усами, чрезвычайно внимательных к богатым пациентам врачей, всего вообще громадного и тщательно подобранного штата лиц, обслуживающих щедрых на чаевые курортных, за всеми благами показной культуры, некоторые русские высшие чиновники не разглядели другой Германии, — Германии, уже припавшей к земле, чтобы сделать смертоносный прыжок в сторону Франции и, спустя короткое время, повторить подобный же прыжок, но уже в сторону России.

Как паук, невидный, но видящий, что ему надо видеть, нервно, по-охотничьи, выжидающий, запутаются или нет в его хитро развешанной паутине мухи, Вильгельм скрылся в норвежских фиордах только после того, как одобрил текст австрийской ноты. В Германии теперь под завесой деятельности весьма многочисленных курортов, с чрезвычайной любезностью принимавших русских, французов, англичан, шла лихорадочная подготовка к такому военному столкновению с их странами, какого еще не знала история.

Это была пока война на бумаге, война, как она рисовалась воображению ее творцов.

И военный министр Германии Фалькенгайн, и начальник главного штаба Мольтке, племянник фельдмаршала Мольтке, отлично разбирались в плане действий, который был начертан Шлиффеном, умершим незадолго до того, как план его всесильной волею обстоятельств должен был осуществиться.

— Только крепите правое крыло! Как можно сильнее крепите правое крыло! — говорил Шлиффен, переселяясь в мир,

где нет ни болезней, ни плачей, ни воздыханий.

Это были последние слова творца войны, которая должна была поразить своей грандиозностью все человечество.

Главное, чего можно было достичь, выполняя план Шлиффена, была чисто цезаревская быстрота победы: Veni, vidi, vici!

Шлиффен подражал Аннибалу, уничтожившему войско римлян в сражении при Каннах при помощи охвата их правым крылом своего войска. Правое крыло немецкой армии должно было по плану Шлиффена обойти армию французов, двигаясь через Бельгию, в то время как левое крыло должно было приковать к себе главные силы французов на линии их крепостей: Бельфор, Эпиналь, Туль, Нанси, вдоль границы с Эльзас-Лотарингией.

Поскольку в дело вводились миллионные массы, этот маневр Аннибала должен был, по замыслу Шлиффена, дать победу Германии в несколько недель: попавшая в гигантские клещи армия французов должна была капитулировать, как армия маршала Базена под Седаном. После того, не теряя ни одного дня, необходимо было перебросить победоносную, значит, достигшую высшей моральной крепости, убежденную в своей непобедимости армию против русских, которые не успеют еще отмобилизоваться, и гнать их до Урала.

Пока германские армии всей своей неодолимой силой обрушивались бы на Францию, австро-венгерцы должны были начать наступление на русские войска на всем своем фронте, а для защиты Восточной Пруссии признавалась достаточной расквартированная там армия, по счету 8-я.

Была, правда, как бывает при составлении всех великих планов, кое-какая заминка, когда начинали в Берлине подсчитывать возможные силы двуединой монархии. Их выходило всего только два с четвертью миллиона против сербов и русских.

Но тут все надежды возлагались на быстроту, с какой австро-венгерцы должны были справиться с сербами, прежде чем появятся на фронте русские корпуса.

Аннибаловский маневр, питавший пафос Шлиффена, — охват, клещи, «Канны», — австрийский генеральный штаб разработал и в отношении Сербии. По этому плану столица Сербии, отделенная от Австрии всего только пограничной рекою Савой, обходилась двумя армиями: одною — из северо-восточной Боснии в направлении на Вальево, другою — из Сирмии, через Саву, туда же, так, чтобы вся сербская армия оказалась в котле и положила оружие. Так как это, по замыслу австрийского штаба, отняло бы не больше двух недель, то против русских успела бы скопиться часть австро-венгерских сил, вполне способная если не разбить, то сдержать их, пока подоспели бы германские армии.

Что Белград превращен сербами в сильнейшую крепость, которую атаковать в лоб было бы слишком трудной задачей, это тоже учитывалось австрийским штабом: такой крепкий орех мог быть раздавлен только двойными клещами.

Австро-Венгрия имела пятьдесят миллионов населения, уступая в этом Германии не так уж много, чтобы довольствоваться армией вдвое меньшей, чем немецкая! В Берлине были, конечно, известны причины этого: вечные трения между Венгрией, как сильнейшей половиной монархии, и Австрией; слишком большая зависимость военных министров и начальников штабов от прижимистых на военные расходы парламентов; слишком короткий срок действительной службы в войсках... Но так как в Берлине решено уже было взять руководство австро-венгерской армией в свои руки, то ни сравнительная слабость этой армии, ни ее малочисленность никого не смущали.

7.

Конечно, главный враг германского могущества был по ту сторону Ламанша, но его пока деятельно отбрасывала военная клика Берлина. Это был враг не первого, а второго плана: он был силен только на морях; он не имел сухопутной армии; он сначала объявлял войну, а потом начинал готовиться к ней; он имел привычку не спешить, а выжидать успехов своих союзников, чтобы присоединиться к ним в конце кампании; его генералы и солдаты учились воевать во время войны.

Меряться силами крупных единиц германского флота с объединенным англо-французским флотом было невозможно, конечно, как бы хороши сами по себе ни были новопостроенные дредноуты и тяжелые и легкие крейсера. Но в плане войны против Англии стояла работа подводных лодок, — которым придавалось ничтожное значение во всех странах, имевших флоты, кроме Германии.

Правда, количество субмарин в Германии было все-таки меньше, чем в Англии, но зато дерзания немцев в области подводной войны далеко оставляли за собою дерзания англичан.

Все планы германского генерального штаба строились на том, что война будет молниеносной. Подавляющие силы обрушатся сначала на западный фронт, потом на восточный и окончат войну раньше, чем раскачается Англия. К этому вела вся долговременная подготовка к войне. Силы Франции и России рассматривались, как сухопутные силы союзников и

вот — они разбиты. Что вы предпримете теперь, господа англичане?

Была еще карта, на которую ставили Мольтке-младший, Фалькенгайн и другие: отсутствие общего фронта у французов и русских, отсутствие единой воли во время ведения войны. Нажим со стороны французов в соединении с одновременным нажимом со стороны русских сил — это двойной нажим; одновременный удар тех и других — двойной удар. Но разве в состоянии поспеть за действиями французов русские с их сетью железных дорог? Они неминуемо запоздают.

С другой стороны, если русские, очертя голову кинутся, как говорится, напролом, надеясь на свое численное превосходство, непременно окажутся неготовыми поддержать их французы, так как будут поставлены в необходимость беречь людей и семь раз станут отмеривать, прежде чем отрежут... Как можно было не ставить на такую карту?

В этом отношении Германия и Австрия были гораздо счастливей: дирижерская палочка Берлина отлично была видна из Вены.

Все это было подготовлено к началу войны в главном штабе Германии.

Не упущена была, конечно, и такая возможность наносить неожиданные удары врагу вслед за разведкой, как воздушный флот. Как бы мало ни было в германской армии самолетов, все-таки по числу их она занимала первое место в мире.

Ее тяжелая артиллерия была вне сравнений с кем-либо из ее противников: русская армия с ее превосходной артиллерией имела очень ограниченное число тяжелых батарей; у французов их вовсе не было!

Убийство в Сараеве совершенно неожиданно свалилось на Австрию, как и на Германию, однако этот повод к войне как нельзя более отвечал и замыслам, и настроениям германской военщины. Если бы его не было, его нужно было бы заказать.

Но в то же время, как ни были самонадеянны и Вильгельм, и Мольтке, и адмирал Тирпиц, и Фалькенгайн, и Клук и многие другие немецкие генералы, все-таки война на два фронта казалась им совершенно излишним осложнением дела: они предпочитали воевать сначала только на западе, потом только на востоке, или наоборот, если вдруг представится такая возможность.

Клаузевиц сказал: «Война — продолжение политики, только другими средствами». Предъявить ультиматум, значит, конечно, бросить вызов, значит, стать нападающей стороной и в первую голову потерять Румынию, как возможного союзника в борьбе с Антантой. По военной конвенции между нею и Австрией, она обязалась выступить на стороне Австрии только в том случае, если на нее нападут, а не она сама объявит войну.

Как бы ни ценились низко вооруженные силы Румынии, все-таки ее гораздо выгоднее было бы иметь в стане союзников, а не врагов. Над этим приходилось тоже думать имперскому канцлеру Бетману, как и над тем, что Бельгия, сколько бы ни собрала она сил для противодействия немецким армиям, заходящим правым крылом, все-таки выставит их, а нарушение нейтралитета Бельгии с первых же дней войны вызовет разрыв отношений с Англией, которая в Бельгии привыкла видеть свой форпост.

Бетман был человек штатский. Он проходил службу, поднимаясь очень быстро со ступени на ступень, исключительно по гражданской части. Личное знакомство Вильгельма с его отцом, прусским помещиком, притом знакомство давнее, когда Вильгельм был еще только лейтенантом гвардии, не могло не содействовать карьере Бетмана, который был и обер-президентом Бранденбурга, и имперским статс-секретарем по внутренним делам.

Теперь в его письменном столе лежала злополучная бумажка — проект ультиматума, составленный в Вене.

Задача была нелегкая, но смолоду склонный быть «гувернанткой», Бетман вполне добросовестно трудился над ее решением.

Шли дни. Бетман вынимал из своего стола готовый уже ультиматум, перечитывал его в сотый, в двухсотый раз и снова прятал.

Глава шестая

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА

1.

Ожидалось затмение солнца в августе 8 (21) числа.

Вычислено было, что полное затмение можно будет наблюдать в России, причем лучше на юге России, — именно, в городе Феодосии, в Крыму, где солнечных дней летом, в августе, больше, чем где-либо еще.

Имя этого города запестрело во всех газетах мира. В несколько дней приобрел этот небольшой город огромную популярность. Сотни миллионов людей в разных концах земли узнали, что на его долю выпало завидное счастье: в такой-то день, в такой-то час в нем среди белого дня вдруг станет зловеще темно, почти как ночью, испуганно закудахтают куры, обеспокоенно замычат флегматичные коровы, завоют собаки, а люди сквозь закопченные стекла будут наблюдать протуберанцы.

Конечно, кроме обывателей с закопченными стеклами, полное затмение солнца должны были наблюдать астрономы, для

чего в Феодосии начали уже готовиться к установке необходимых аппаратов, а городская дума уже вынесла постановление об ассигновании трехсот рублей для приема гостей из разных стран, наплыв которых обещал быть немалым: ожидалось до полутораста ученых и до тысячи туристов.

Писали, что «от русской императорской Академии наук приедет камергер двора его величества г. Донич», из Франции — граф де Бомплюринель, из Италии — Рико, от Кембриджской обсерватории — профессор Ньюдоль. Аргентина посылала большую экспедицию Лигской обсерватории. Кроме того, ожидались астрономы из Германии, Испании, Португалии и целый ряд частных экспедиций: везде были астрономы-любители, большей частью состоятельные люди.

Главная Николаевская обсерватория командировала в Феодосию несколько профессоров; Харьков — экспедицию от университета с ректором Нетушилом во главе... Каждый день получались в Феодосии новые и новые письма с русскими и иностранными марками, и в каждом письме была, разумеется, просьба отвести номер в гостинице и место за табльдотом.

Гостиницы в Феодосии не были так обширны, чтобы вместить всех, задумавших непременно видеть полное затмение, тем более, что летом не было недостатка в приезжих, как это повелось ежегодно. Хотя Феодосия стояла на Киммерийском, а не на Южном берегу Крыма, все-таки и там в августе поспевал столовый виноград и было прекрасное купанье. Много больших и богатых дач, выстроенных с целью улавливать этих ежегодных приезжих, были вполне подготовлены к тому, чтобы разместить тысячу — полторы «затменных», и отцам города не нужно было много беспокоиться об этом.

Но Россия оказалась в центре внимания не одних только астрономов. Откуда-то из Сибири, из Тюменского уезда, Тобольской губернии, вдруг полетели телеграммы о том, что некая Гусева серьезно ранила ножом в живот известного уже всему миру «старца» Григория Распутина. Отношений «святого старца» к царю Николаю и ко всей вообще царской семье никто за границей не понимал, как, впрочем, не понимал их никто и в самой России. Но все привыкли к тому, что это очень высокопоставленное лицо в России, что перед ним заискивают министры, что от него зависит решение тех или иных дел общегосударственного значения, что он, значит, способен влиять и на мировую политику.

И вот вдруг он, Распутин, оказался в очень сложный и трудный политический момент почему-то не в Петербурге около царя и царицы Александры, которая благоговейно выслушивает все его мнения, а в Сибири, куда в России ссылают преступников.

Пусть даже он воспользовался летней теплой погодой (ведь даже и в Сибири летом тепло), чтобы посетить свою родину, село Покровское, но откуда же взялась там какая-то Феония Гусева, с провалившимся носом и с ножом под шалью? И куда же смотрела полиция, которая, конечно, должна была охранять царского друга? И нет ли в этом покушении на убийство руки врагов русского двора действовавших через наемного агента.

Тем более загадочно было это, что совпало с бегством из пределов России другого «святого», неистового царицынского иеромонаха Илиодора, причем проникло в печать, что он вывез в своем багаже рукопись, разоблачающую Распутина, и намерен продать ее тому заграничному издательству, которое больше за нее даст. Будто бы кто-то видел его в Ростове-на-Дону, где он, как полагали, сел на иностранный пароход и теперь находится уже вне пределов досягаемости русских властей.

В это же самое время, — в начале июля по старому стилю, — в Париже начался громкий процесс по обвинению жены бывшего премьер-министра и министра финансов Франции Кайо, — Генриетты Кайо, — в убийстве Кальметта, редактора газеты «Фигаро».

Если это был и не политический процесс, то во всяком случае великосветский; кроме того, и Кайо, и убитый Кальметт были миллионеры.

Поводом к убийству послужило то, что Кальметт хотел опубликовать в своей газете интимные письма Генриетты к Кайо, который не был еще в то время ее мужем. Эти письма украдены были у Кайо его первой женой, с которой он развелся, чтобы жениться на Генриетте. Помещением в газете этих писем Кальметт хотел подорвать репутацию Кайо, который если и не был уже в то время министром, мог быть приглашен в новый кабинет министров.

Весь Париж, вся Франция, весь мир жадно начали следить за этим процессом, не пропуская ни одного слова. Всех, как самое кровное дело, занимал вопрос: может ли женщина, защищая свое честное имя, убить того, кто хотел ворваться в ее интимную личную жизнь и опозорить через читаемую всеми газету и ее, и мужа? Героиня она или преступница? Будет ли оправдана она, или осуждена?

Она была уже довольно долго в предварительном заключении, пока тянулось следствие, и из тюрьмы была привезена во Дворец Правосудия. Парижанам много говорило и то, что в тюрьме Консьержери ей была отведена камера рядом с той, которую занимала перед казнью королева Мария Антуанетта. Не та же самая,

правда, только рядом с нею, но и это уже создавало какой-то ореол около Генриетты Кайо.

Как-раз в то время, когда начался этот процесс в Париже, президент Пуанкаре приближался к Петербургу: дредноут «La France», на борту которого был президент, сопровождаемый другим однотипным дредноутом «Jean Bart», бороздил уже последние линии вод Финского залива.

Но на ожидаемый приезд президента союзного государства, как бы к этому приезду ни относились царь и правительство, столица России ответила забастовкой рабочих, размеры которой превзошли все раньше бывшие забастовки.

Трудно бывает объяснить иное стечение обстоятельств, и тем не менее оно почему-то кажется закономерным. Столица третьего члена Антанты — Лондон — была обеспокоена в той своей части, которая называется Сити, тем же самым вопросом, какой беспокоил и петербургские власти. На собрании магнатов капитала, лондонских банкиров квартала Сити, окончившемся, конечно, банкетом, представитель правительства Ллойд-Джордж должен был сказать речь, посвященную новой силе, назревшей в жизни Англии, — рабочим, сплоченным в союзы.

Это был отчет ставленника подлинных хозяев великой страны перед теми, кто требовал этого отчета. Одно дело давать объяснения в парламенте и совсем другое, когда министр приглашен на собрание капиталистов, у которых свои интересы и свой язык.

Магнаты капитала были обеспокоены, — их надобно было успокоить. Они требовали объяснения таким странным явлениям, как кризисы в промышленности и тучи, по словам газет, которые сгущаются на Ближнем Востоке.

Речь Ллойд-Джорджа была длинна и обстоятельна: он говорил с деловыми людьми. Он не смог объяснить, впрочем, откуда берутся кризисы, он сказал, что они необъяснимы, зато нарисовал в цифрах, конечно, утешительную картину роста оборотов внешней торговли Англии за последние двадцать лет с 680 миллионов до 1400 миллионов фунтов стерлингов, причем особенно большой прирост выпал на последние годы.

Выходило, что кризисы остаются кризисами, а доходы доходами, что кризисы так же неизбежны, как и рост предприятий. Однако Ллойд-Джордж должен был признать, что существует большая опасность благополучию квартала банкиров. Она надвигалась с двух сторон, как извне, так и изнутри страны.

— В прошлом году, — говорил он, — война на Ближнем Востоке создала затруднения и угрозу европейскому миру; в настоящий момент там неспокойно снова. Но мы надеемся, однако, что здравый смысл поможет преодолеть затруднения. Очень, очень прискорбно, что народы тратят такую огромную часть своего достояния на войны! В течение последних десяти лет на войны и на приготовления к ним истрачено свыше четырех с половиной миллиардов фунтов стерлингов! Финансисты могут положить конец этому росту вооружений, который грозит катастрофой!

Финансисты Сити переглянулись. Эти слова не могли быть продиктованы наивностью, — ведь говорил министр, притом едва ли не самый выдающийся из министров, однако почему же они сказаны? А Ллойд-Джордж продолжал:

— Нам угрожает волна гигантских забастовок, перед которыми все бывшие до сего времени покажутся сущими пустяками... Рабочие создали колоссальную организацию. Железнодорожные и транспортные рабочие, и также углекопы объединились в одну федерацию, численностью в два с третью миллиона членов. Они уже предъявляют теперь свои требования, а в ближайшем будущем намерены пустить в ход всю силу своей организации.

Это было существенно. Это в головах финансистов присчитывалось как веское слагаемое к тому, что они только-что в этот день могли узнать из немецких газет.

Тон статей влиятельнейших газет, как «Berliner Tageblatt», «Vossische Zeitung», «Kölnische Ztg», был весьма вызывающ.

«Между желанием России заручиться английской морской поддержкой на случай войны и согласием на это Англии — дистанция огромного размера, — писала одна из этих газет. — Это право Англии — решать вопросы внешней политики по своему усмотрению. Мы, однако, должны сказать, что морская конвенция между Англией и Россией воскресила прежнее недоверие между Англией и Германией».

Несравненно резче был тон, взятый в отношении России.

2.

То, от чего предостерегал английских финансистов Ллойд-Джордж, — движение рабочих масс, «волна гигантских забастовок,» происходило уже в Петербурге. Начавшись как поддержка бастовавших рабочих Баку, условия жизни которых были ужасны, они потом не затухали. Испытанные приемы «усмирения» — стрельба и аресты, приводившие к жестоким избиениям арестованных, не прекращали, а напротив, расширяли движение, поднятое рабочими в защиту своих прав.

О тяжелом положении рабочих Петербурга, особенно рабочих на таких казенных военных заводах, как Путиловский, Обуховский, «Новый Лесснер,» разумеется, не раз подымался вопрос в Государственной Думе депутатами фракции большевиков, но, по выражению одного из них, «как бессмысленно прививать

оспу телеграфным столбам, так же бессмысленно говорить о положении рабочих в черносотенной помещичьей Думе»; между тем по одной из статей закона, изданного в 1905 году, за стачки рабочие не могли привлекаться к ответственности.

Действительность показала обратное, и вот заводы, имевшие по нескольку тысяч рабочих, опустели, улицы же Петербурга стали весьма многолюдны. Дошло до того, что полиция, как ни стреляла, вынуждена была бежать, осыпаемая градом камней. Бастующие останавливали уличное движение, снимали кондукторов вагонов трамвая, не пропускали автомобилей. Магазины и лавки закрывались сами, и приказчики из них присоединялись к бастующим, а казенные винные лавки и трактиры закрывались рабочими. Почти все фабрики и заводы стали.

В день приезда Пуанкаре 7 (20) июля, число бастовавших рабочих в Петербурге дошло до 130 тысяч. Полиция уже не в состоянии была рассеять их; она получила от начальства задачу более скромную: не пропускать рабочие массы на Невский проспект, — парадную улицу Петербурга.

Как-раз на воскресенье пришлось 6-е июля, и кстати было украсить по праздничному и Петербург, и Кронштадт; всюду на домах заколыхались русские и французские флаги, щиты, гирлянды, особенно же щедро расцвечена была набережная Невы, тоже деятельно охранявшаяся от рабочих масс и полицией, и нарядами из частей гарнизона.

Так вышло в понедельник, 7 июля, что одна половина Петербурга, значительно меньшая, но сановная и чиновная, а также депутация от французской колонии и корреспонденты газет стремились с утра к набережной, откуда на небольших пароходах отправлялись в Кронштадт. На одном из пароходов были исключительно только корреспонденты газет: русских, французских, английских, германских, австрийских, итальянских...

Как-раз в этот день в Белграде все еще переживали похороны русского посланника Гартвига, умершего на своем посту, защищая интересы Сербии от натиска Австрии.

Человек тучный и темпераментный, он беседовал по поводу сараевского убийства с австрийским посланником, но тема беседы была не такова, чтобы соблюсти присущее дипломатам спокойствие. Гартвиг умер от разрыва сердца, и эта смерть отозвалась во всех сербских сердцах так, что Белград не видел еще более пышных похорон.

Когда в Петербурге готовились встречать Пуанкаре, в Белграде хоронили русского посланника.

Дежурный петербургский дождик стремился занавесить даль, но, точно убедясь, что все равно, хоть и попортит парадные костюмы, не испортит парадности встречи, перестал, и пароходы подошли к Кронштадту при вполне сносной погоде.

На малом кронштадтском рейде, украшенные флагами, праздничные стояли крейсера: «Богатырь», «Громобой», «Паллада», «Баян», «Адмирал Макаров», а с запада по заливу — уже видно было — шли самым медленным ходом, чтобы не притти раньше времени, громадные, в 27 тысяч тонн, дредноуты «La France» и «Jean Bart» в сопровождении эсминцев.

Встреча была расписана по часам. Дредноуты должны подойти ровно в два часа по петербургскому времени, но двух еще нет, поэтому они еще движутся... Но обменяться салютом с крепостью они уже могут, и вот взлетают там, на головном дредноуте круглые белые дымки и раздается мощный залп. С одного из фортов крепости, ближайшего к дружественным судам, отвечают подобным же залпом: первое «здравствуйте» сказано с обеих сторон.

На батареях форта выстроились солдаты. На одной из мачт форта высоко поднят флаг с блестящими золотыми буквами «R. F.» (Republique Francaise); на другой мачте — андреевский флаг.

Совсем уже близко подошли суда-гости, и новый салют перекатами потряс воздух: это салютовала русская эскадра.

Сотни биноклей направлены были на палубу дредноута «La France», чтобы разглядеть президента и Вивиани, который его сопровождал. Дредноут двигался еле заметно (всё еще не было двух часов). Салюту русской эскадры ответил другой великан — «Жан Барт».

Но надо же было начать выражения восторга, рвущегося неудержимо и из людских сердец, не только из жерл огромных орудий. Закричали «ура» и русские, и французские матросы. Грянули оркестры с французских судов: «Боже, царя храни!». Им в ответ белые шеренги моряков на палубах русских кораблей во всю силу, какую только могли взять эти отборные бравые люди, кричали: «Вив ля Франс!»

В бинокли отлично было видно и Пуанкаре, и Вивиани. Оба невысокого роста, оба во фраках и цилиндрах, они отличались друг от друга тем, что у первого была небольшая бородка, подстриженная а ля Буланже, и орден Почетного легиона слева, а у второго бритый подбородок и полное отсутствие орденов.

Вивиани казался даже и при таком горячем приеме несколько погруженным в государственные мысли: он по-наполеоновски сложил руки на груди и глядел на все кругом невнимательными глазами. Зато курносый Пуанкаре оживленно раскланивался, приподняв цилиндр, с публикой пароходов, теснившихся к борту дредноута.

Однако стрелки часов подходили к

двум, и новый салют громадных пушек, теперь уже «Жана Барта», отметил подход императорской яхты «Александрии», шедшей из Петергофа.

Катер, спущенный с яхты, небольшой, но все же вместительный и прекрасной отделки, пошел за высоким гостем. В катере сидели морской министр адмирал Григорович и лица, назначенные «состоять при особе» президента: генерал-лейтенант Пантелеев и флигель-адъютант Скалон.

Конечно, их визит Пуанкаре не был долгим, — президента ждал император, — и не больше, как через десять минут президент, Вивиани и другие французы, составлявшие свиту президента, спускались уже по трапу, чтобы сесть в катер, а Николай, одетый в морскую форму и тоже окруженный своею свитой, ожидал его на борту «Александрии». В его свите были: старый министр двора граф Фредерикс, министр иностранных дел Сазонов, русский посол в Париже Извольский и французский посол в Петербурге — Палеолог.

3.

Что могли сказать на банкете вечером в тот же день, в Петергофе, главы двух союзных держав, когда поднимали бокалы? — Думая о надвигающейся войне, они говорили о мире.

— Господин президент! — так начал свой тост Николай. — Позвольте мне вам сказать, как я рад обратиться к вам здесь со словами: «Добро пожаловать!..» Издавна объединенные взаимной симпатией их народов и общностью интересов, Франция и Россия уже скоро четверть века поддерживают тесную связь для успешнейшего достижения одной и той же цели, заключающейся в том, чтобы охранять свои интересы, содействуя вместе с тем сохранению равновесия и мира в Европе. Я не сомневаюсь, что, оставаясь верными своему мирному идеалу и опираясь на свой испытанный союз, наши две страны будут продолжать пользоваться благами мира, обеспеченного полнотой их сил, и еще более укреплять тесные узы, которые их связывают. С этим искренним пожеланием я поднимаю свой бокал за ваше здоровье, господин президент, равно как за благоденствие и славу Франции!

Придворный оркестр грянул французский гимн, после чего поднялся для ответной речи Пуанкаре.

Начав с благодарности за оказанный ему прием, Пуанкаре говорил о том же самом, о чем только-что сказал царь: этого требовало древнее искусство дипломатии, этого требовала и обстановка, и серьезность политического момента.

— Около 25 лет прошло с тех пор, как оба наши государства, в ясном предвидении своих судеб, объединили деятельность своей дипломатии. Счастливые результаты этого постоянного сотрудничества каждый день дают себя чувствовать в мировом равновесии. Основанный на общности интересов, освященный мирными стремлениями обоих правительств, опирающийся на армии и флоты, укрепленный продолжительным опытом и дополненный ценными дружбами, союз наш, инициатива которого принадлежит славному императору Александру III и президенту Карно, постоянно с тех пор давал доказательства своего благотворного влияния и непоколебимой крепости. Ваше величество может быть уверено, что Франция, как до сих пор, так и впредь, в тесном сотрудничестве со своей союзницей будет трудиться над делом мира и цивилизации, на благо которых оба правительства и оба народа не переставали работать...

Когда Пуанкаре кончил перечислять, за кого он пьет, раздался русский гимн — «Боже, царя храни!»... Заранее составленный этикет был соблюден.

Банкет в Петергофском дворце в этот знаменательный день был исключительно пышен и многолюден, и всем бывшим на нем и сидевшим за столами, поставленными «покоем», не могло не броситься в глаза какое-то сходство между президентом Пуанкаре и царем Николаем не только в их речах, но даже и во внешности.

Конечно, это было не то фамильное сходство, каким отличались Николай и английский король Георг V, как кузены, но все-таки и в складе лиц, и в этих вздернутых носах, и в одинаково подстриженных бородках проскальзывало нечто гораздо более общее, чем простое союзничество. Сходство это было бы, разумеется, еще заметнее, если бы Пуанкаре был одет тоже в морскую форму, как царь на яхте «Александрии», или в форме лейб-гвардии Преображенского полка, как был одет царь на банкете.

Все великое множество великих князей, княгинь и княжен было почему-то на банкете в Петергофском дворце. Конечно, это вышло не преднамеренно, но стороннему наблюдателю могло показаться, что бесчисленные представители дома Романовых явились сюда, чтобы убедиться в прочности своего положения под нависшей над Европой вообще и в частности над Россией черной грозовой тучей.

Тут среди них особенно выделялся великий князь Николай Николаевич, командующий гвардией и войсками Петербургского военного округа. Он был наиболее внушительным, имея при громадном росте безупречно воинственную осанку.

Кроме Сазонова и Извольского, за столом сидели и председатель совета министров Горемыкин, и граф Коковцев, и все министры, и все придворные дамы... Головка России! Однако тут же были и все три дочери князя Нико-

лая Черногорского: Анастасия, Милица и Вера, успевшие породниться с домом Романовых; так что если не Сербия, то Черногория имела в их лице своих лучших представительниц на банкете.

Тут только разве малолетнему наследнику российского престола не была известна нота, которую намерено было предъявить правительство Австрии правительству Сербии, а также и то, что Сербия подобной ноты принять не может, что для нее это равносильно не бесчестию даже, а почти самоубийству. В то же время тут почти все знали о массовых забастовках в столице и, помня 1905 год, не решались отнестись к ним с легкомыслием.

Тут была русская знать, но где знатность, там и богатство, а где богатство, там имеется очень тесная связь с биржей, чутким политическим барометром всех стран. Между тем, как-раз утром в этот день получены были телеграммы, что на берлинской бирже началась паника в связи с боевым тоном официозных берлинских газет, взятым в отношении как Сербии, так и России и Франции.

Газетные статьи вызывали падение ценных бумаг, а падение бумаг давало пищу для новых вызывающих статей, цель которых была запугать и правительство Сербии, и тех, кто думает ему помогать с оружием в руках.

Писали даже и так в одном органе немецких финансистов:

«Стоило бы обнажить меч, чтобы упредить тот момент, когда Франция и Россия достигнут расцвета своей силы. Впрочем, германское правительство и народ обладают достаточно крепкими нервами, чтобы не пугаться картин будущего. Конечно, если Сербия, опираясь на поддержку России, откажется выполнять волю Австрии, то пушки заговорят сами собою. В этом нет и не может быть сомнений».

Понятно поэтому, что на банкете в Петергофе 7 (20) июля было больше искусственного подъема, чем прочной уверенности в том, что этот многолюдный банкет не будет последним перед вплотную надвигавшейся войной, и что пушки не «заговорят сами собою», быть может, через какую-нибудь неделю.

В предчувствии этого разговора пушек разговор в громадном Петровском зале дворца не мог не вращаться около острых тем, выдвинутых в последние дни.

Даже для многочисленных титулованных дам за столом было ясно, что обычные великосветские интересы теперь должны уступить место гораздо более серьезным интересам политики. Когда одна из царских дочерей — Анастасия — начала было довольно живо передавать своей соседке слева, великой княгине Марии Павловне, как она была испугана сверхъестественно длинным шлейфом платья королевы румынской Елизаветы, — известной в литературе под псевдонимом Кармен Сильва, — то сидевшая рядом с нею мать, императрица Александра Федоровна, сделала такие большие глаза и так выразительно пожала плечами, что расказчицу оборвала на полуслове.

За столами, составленными в виде буквы «П», сидело не менее пятисот человек, и среди них бо́льшая половина таких, которые ведали важнейшими отраслями государственной жизни, но в то же время были светски воспитанными людьми, то-есть, умели не затрагивать, будучи в обществе, вопросов служебного характера.

Однако вопросы эти помимо их воли успели уж вырваться из тиши их кабинетов, да, наконец, и представителям одного ведомства хотелось приватно узнать, что творится в недрах другого ведомства, чтобы нарисовать для себя сколько-нибудь правдивую картину России, какова она есть теперь, когда, по всем вероятиям, наступают для нее труднейшие дни, а присутствие на обеде французов заставляло, конечно, сопоставить силы и возможности двух союзных стран, не забывая при этом и третьей «почти союзной» страны — Англии.

Как-раз в эти дни Ирландия очень сильно зашевелилась, отстаивая свои права на промышленный округ Ульстер, причем вопрос этот был выдвинут ирландскими националистами в связи с вопросом об ирландском парламенте-Гомруле. В виду неуступчивости английских консерваторов начались опасения гражданской войны, и в дело вмешался сам король Георг V, хотя такое вмешательство противоречило законам английской конституции.

В Албании, служившей яблоком раздора для трех соседних с нею держав — Австрии, Сербии и Италии, все шире развертывалась гражданская война, и ставленник Австрии и Германии, кузен Вильгельма принц Вид, готовился уже бежать из своей столицы Дураццо в Австрию. А проект самостоятельности Албании был создан немецкими странами в тех целях, чтобы лишить Сербию выхода к Адриатическому морю, поэтому к тому, что делалось в Албании, не могли равнодушно относиться сербы, и русское правительство, и высокие гости из Франции.

Разговоры об этом, как и о многом другом, неотбойно серьезном, вроде забастовок на военных заводах в Петербурге, начатых как-раз, когда встал во всей своей мрачности вопрос о войне, и об очень плохом урожае в России, в связи с засухами, сусликами, жуками-кузьками, саранчой и другими вредителями полей, не могли не возникать здесь и там за обширным столом, несмотря на изобилие придворных и великосветских дам, наз-

начение которых было разряжать густоту атмосферы.

Прекраснейшей темой для них был процесс Генриетты Кайо. Неужели французский суд пошлет на гильотину ту, которая своим судом расправилась с этим интриганом Кальметтом? Этого не хотели допустить русские высокопоставленные дамы. Из уст французских гостей непосредственно они добивались услышать, что адвокат Генриетты, знаменитый Лабори, победит адвоката наследников Кальметта Шеню, что судьи Франции докажут, что они — неподкупно честные люди, и Генриетта будет оправдана.

Говорили за столом и о призе для авиаторов, объявленном князем Абамелек-Лазаревым за перелет из Петербурга в Севастополь или в Одессу, который должен быть совершен за одни сутки. А в связи с этим призом вспоминали и другой, международный, для авиатора любой страны, который за 96 суток сможет совершить полет вокруг земного шара. Этот приз был в двести тысяч долларов и назначался правительством Соединенных Штатов. Но так как соискателей этого приза ни в одной стране не нашлось, то как-раз в один из дней, ближайших к 7 (20) июля, проникло в печать сообщение, что срок этого величественного и, разумеется, крайне рискованного перелета увеличен до 120 дней, а приз — в десять раз, то-есть, теперь уже два миллиона долларов.

Приз, конечно, большой, но попробуйка его заработай, когда авиаторство — это такое опасное ремесло.

Вспоминалась в разговорах и женщина-авиатор, француженка!.. Из своего аппарата, в котором испортился мотор, она выбросилась с парашютом в руках, но парашют не раскрылся, и вот, в виду массы публики, падала она, как камень, и разбилась...

Однако паника на берлинской бирже, где бумаги летели вниз на 6, на 8, даже иные на 10 процентов, явилась общей темой разговоров. Что началось в Берлине, непременно должно было перекинуться и в Париж, и в Лондон, и в Петербург: законы биржи для всех одни, и этого не мог опровергнуть новый русский министр финансов Барк, человек глубоко штатский, но в то же время имевший в непосредственном подчинении корпус пограничной стражи в пятьдесят тысяч человек. В то время, как иным дамам казалось, что можно бы ему, облеченному такою властью, запретить играть на понижение на петербургской бирже, он утверждал категорически, что запретить этого нельзя...

Обед, начавшийся в половине восьмого, затянулся до десяти, но солнечный свет не слабел: это был разгар белых ночей.

Знаменитые петергофские фонтаны около дворца и дальше, в парке, изумляли прихотливой игрою нежных красок. Колоссальный бронзовый Самсон привлек внимание Вивиани, адмирала Ле Бри и других французов, сопровождавших президента, уже бывшего раньше в Петергофе.

Гостям, с которыми после недолгой отдельной беседы простился царь, отвели комнаты во дворце, отделанные под старую слоновую кость и предназначенные исключительно для представителей дружественных царствующих домов в случае их приезда.

4.

Бывший министр иностранных дел и премьер-министр Пуанкаре, — брат известного математика, — был, конечно, государственным человеком большого масштаба. Притом он покинул свою страну в очень ответственный момент и не для того, чтобы попросту терять время. Со дня на день можно было ожидать предъявления Австрией ультиматума Сербии, а этот шаг мог предоставить, разумеется, как России, так и Франции, немного времени для обсуждения австрийских требований, а точнее, для стягивания войск к своим угрожаемым границам.

Между тем Пуанкаре должен был еще успеть побывать в столице Норвегии, которую, несомненно, склонял на свою сторону Вильгельм, — иначе зачем бы ему было туда и ехать.

События развертывались с большой быстротой, хотя людям, далеким от политики, и казалось, что Вена и Берлин медлят, что если бы быть войне, то ее объявили бы через два-три дня после убийства эрцгерцога.

Яснее, чем кому-либо другому, именно Пуанкаре видно было, что, в сущности, мельница, на которую льют воду европейские страны, а особенно рьяно Германия и Австрия, мельница грядущей войны работает безостановочно, что следствие по делу убийства, которое ведет правительство Австрии, только предлог для того, чтобы привести в известность пружины войны и расставить их по своим местам.

План Шлиффена о захождении правым крылом против Франции через Бельгию, был, конечно, знаком Пуанкаре и ему важно было убедиться в том, что русские стратеги всё поставят на карту, чтобы только сорвать этот взлелеянный Берлином план, двинув громадные силы в Восточную Пруссию.

Согласованность действий, — вот чем обеспокоен был Пуанкаре, хотя о том же самом беспокоился уже приезжавший в Россию за год перед тем маршал Жоффр; нужно было держаться наготове, имея такого предприимчивого и

чрезвычайно полнокровного противника, как Германия.

Лето — время маневров. Близ Красного Села широко раскинулся лагерь гвардейских частей, имевших строгого командира в лице Николая Николаевича, дяди царя, старавшегося быть хранителем традиций своего деда Николая I.

У такого командира, бывшего притом же и командующим войсками Петербургского военного округа, гвардейский корпус, разумеется, был образцовым по строю, и высочайший объезд войск Красносельского лагеря, на котором присутствовали Пуанкаре и Вивиани, не мог не пройти блестяще. Что люди, что кони, тут все было отборное, — цвет русского войска, как бы предназначенный к тому, чтобы радовать даже самый придирчивый и взыскательный военный глаз, а президент и премьер-министр Франции были к тому же штатские люди.

Но у этих штатских людей успело уже создаться представление о будущей войне, как войне преимущественно артиллерийской, поэтому блестящие кавалерийские полки гвардии казались им несколько устаревшим уже родом войск, больше декоративным, чем деловым, хотя они и не скупились на слова одобрения.

Декоративным представлялся и Николай Николаевич, точно вынутый из музея старины, когда предводители войск должны были прежде всего иметь внешность, поражающую воображение.

О том, что, в случае войны, этот великий князь может получить высокий и ответственный пост верховного главнокомандующего, им было, конечно, известно, и они видели, что он превосходит ростом и строгостью даже маршала Жоффра, богатыря видом, но им хотелось бы получше узнать его как стратега.

Он был уже в почтенных летах, с живописной сединою на висках и в бороде, и это можно было принять за ручательство того, что он не сделает опрометчивых шагов, но он казался все-таки слишком горячим для стратега, а главное, прямолинейным.

В то же время и Пуанкаре, и Вивиани соглашались с тем, что они слышали от французского посла в России Палеолога, что лучшего главнокомандующего среди русских генералов найти нельзя по той причине, что он — великий князь и все-таки из всех вообще великих князей, которых очень много, наиболее сведущий в военном деле. Что же касается холодного и обширного ума, то им, разумеется, должен обладать тот, кто при подобном главнокомандующем назначен будет состоять начальником штаба, а им мог быть только начальник главного штаба генерал Янушкевич.

Янушкевич был, конечно, тоже в Красном Селе, — представительный, еще нестарый, красивый, полный энергии человек, светских манер, прекрасно говоривший по-французски.

Сам военный министр Сухомлинов тоже хорошо говорил по-французски, в чем имел случай еще раньше этого приезда убедиться Пуанкаре; он видел, что этот еще очень подвижной для своих довольно преклонных лет бородатый генерал держит себя, как ловкий придворный, но ему были мало известны чисто военные достоинства как ставленника Сухомлинова — Янушкевича, так и самого Сухомлинова.

До своего назначения военным министром Сухомлинов был командующим войсками Киевского округа, одного из пограничных с Австрией, поэтому план войны с этой державой продуман был им уже давно, в чем не сомневались гости из Франции; но гораздо более все-таки важным для них представлялся план войны с Германией, так как австрийских войск на франко-германской границе французское командование встретить не ожидало.

Во время объезда войск над лагерным сбором летали внушительный по размерам «Илья Муромец» и отряд из нескольких аэропланов.

Царский шатер был раскинут на военном поле, и перед ним к окончанию объезда полков собралось до тысячи человек музыкантов всех оркестров гвардейских частей. Из шатра Пункаре и его свита могли оценить концерт, исполненный с присущим гвардейским оркестрам большим искусством.

Наконец, в 6 часов вечера состоялась «заря с церемонией».

В Красном Селе был дворец Николая Николаевича, и, пока президента угощали музыкой и «зарей с церемонией», в этом дворце люди сбивались с ног, чтобы приготовить все, что нужно для обеда весьма многочисленных чинов свиты царя и свиты президента, министров, лиц высшего командного состава, — всех, кто был вместе с царем на военном поле, и, разумеется, самого царя с семьею.

Это был не такой торжественный, конечно, обед, как в Петровском зале Петергофского дворца, не пятьсот, а не более ста человек разместилось тут за составленными столами, но все же это был значительный шаг вперед в деле сближения двух союзных стран и взаимного понимания их интересов в тревожный для обеих момент.

Если Пуанкаре и Вивиани наблюдали каждый про себя возможного в близком будущем верховного главнокомандующего вооруженными русскими силами, то и сам Николай Николаевич стремился получше разглядеть их, а через них уяснить себе, так ли единодушна будет Франция во время нападения на нее мощной соседки, как этого потребует дело обороны.

Он как бы пользовался и тем, что был хозяином здесь, в своем дворце, а царь, его племянник, был только гость, — поэтому иногда, как бы забываясь, вел себя несколько бравурно, по-хозяйски, причем раза два, точно в свое оправдание, сказал:

— Я — солдат, а не политик, прошу меня извинить...

Так ему вдруг в середине обеда захотелось узнать о Жоресе и предводимой им партии.

— Я обратил внимание на то, — говорил он, — обращаясь к Вивиани, сидевшему рядом с ним, справа, в то время, как Пуанкаре сидел слева от него, рядом с царем, — на то, как вел себя Жорес, когда в парламенте возбужден был вопрос о кредите на поездку вашу в Россию, мсье Вивиани. Должен признаться, мне это не понравилось.

— Но ведь Жорес и его партия не могли высказаться как-нибудь иначе, ваше высочество, — с оттенком недоумения на твердом горбоносом лице ответил Вивиани.— Было бы даже неожиданно и очень странно, если бы Жорес вдруг вздумал вотировать за кредиты.

— Очень хорошо, мсье Вивиани, но я хотел бы знать, как могут себя вести подобные Жоресу в случае, если начнется война? — с живейшим интересом спросил Николай Николаевич.

— Как добрые французские граждане, ваше высочество, — тут же ответил Вивиани, несколько будто бы даже задетый этим вопросом.

Через некоторое время Вивиани услышал от него новый недоуменный вопрос, только теперь уже не о Жоресе, а Кальметте и его миллионах.

— А что этот Кальметт, а? Он ведь, между нами говоря, был, кажется, порядочный негодяй, этот Кальметт, а, мсье Вивиани?

— Он был известный журналист, главный редактор «Фигаро», — уклончиво ответил Вивиани.

— Да, да, это мне, конечно, известно, да... Но что мне гораздо менее известно, так это вопрос о том, откуда он мог взять свои двадцать пять миллионов франков? — несколько излишне громко, как показалось Вивиани, спросил великий князь.

— Нажил их литературным трудом, ваше высочество.

— Ну, полноте, — «литературным трудом», мсье Вивиани! — готовясь как-будто даже расхохотаться, воскликнул Николай Николаевич, заметно побагровевший от вина. — Двадцать пять миллионов нажить честным литературным трудом ведь нельзя, согласитесь сами!

— Трудно, конечно, — снова уклончиво ответил Вивиани, — но при известном таланте Кальметта...

Он не докончил, разведя вместо слов руками и улыбнувшись, а великий князь продолжал безжалостно:

— Талантливыми журналистами богата прекрасная Франция, — это бесспорно, однако, я, прошу извинить мне мое невежество, не знаю другого такого Кальметта из числа французских журналистов. Он, несомненно, помогал кое-кому кое в чем, а? — за что и получал кое-что, а, мсье Вивиани?

— Кайо ведь тоже владеет миллионным состоянием, ваше высочество, — напомнил, уклоняясь от ответа Вивиани.

— Да, да, но у него это состояние от отца, — оно просто получено по наследству, а что касается Кальметта, мне говорили, например, что он получал большие деньги из Венгрии, а также из Германии, от Дрезденского банка, — то-есть из стана врагов Франции, а? За что же именно?

И, сказав это, и неотрывно глядя на собеседника, Николай Николаевич принял поднесенный ему на подносе стакан его любимого бордо.

Однако Вивиани остался верен себе и тут. Он только слегка пожал плечом и ответил снова весьма уклончиво:

— Несомненно, это будет выяснено на суде, ваше высочество, если только суд найдет нужным копаться в прошлом человека, уже расстрелянного, хотя и частным лицом.

Он постарался, конечно, улыбнуться после того, что сказал, этот Вивиани, но вице-адмирал Ле-Бри, сидевший напротив, счел нужным пойти навстречу хозяину чудесного дворца и изысканного обеда и, как только взглянул на него Николай Николаевич, сказал почтительно:

— Что касается меня, ваше высочество, то я вполне уверен, что суд именно этому вопросу уделит достаточное внимание.

— А как же иначе, я вас спрашиваю,— как же иначе? — подхватил эту реплику великий князь. — И я бы сказал больше: именно этот вопрос должен быть основным во всем процессе!

— Возможно, что так и будет, — поспешил согласиться с ним Ле-Бри, несколько более старый на вид по сравнению с ним,— подлинный старый морской волк,— и добавил: — Вообще этот процесс очень хороший урок для журналистов.

— Я думаю, я думаю, что очень хороший, мсье Ле-Бри, но, к сожалению, он несколько запоздал, этот урок! — весьма выразительно подчеркнул Николай Николаевич, а так как сам он тоже несколько запоздал осушить свой стакан, который держал в руке, то, сказав вместо тоста: «За правосудие!», он буквально влил в себя вино так, что нельзя было заметить, чтобы он делал при этом глотки.

Это был свойственный только ему од-

ному способ пить вино; в этом он был непревзойден.

Оригинален был по сравнению с обедом в Петергофском дворце и весь вообще обед в Красносельском дворце великого князя, хотя на нем, как и там, в Петергофе, присутствовал царь с семьей.

Этот обед был кое в чем обдуман заранее, заметно отступая от обычного.

Точно продолжался тот военный церемониал, которым должны были пропитаться насквозь все участники обеда на только-что покинутом ими лагерном поле, — военный оркестр на хорах играл один за другим французские марши, чередуя их так, что чаще других исполнялся марш Самбры и Мезы и особенно Лотарингский марш.

На обеде были все великие князья, отличавшиеся своей воинственностью, однако не менее воинственными оказались, как это увидел Пуанкаре, и жены двух великих князей братьев Николая и Петра Николаевичей, — Стана и Милица, дочери князя Николая Черногорского.

Одна из этих смуглых красавиц, хозяйка дворца Стана (Анастасия), не утаила от президента Франции только-что полученную ею от отца шифрованную депешу, в которой было несколько знаменательных фраз: «Война начнется еще до конца этого месяца... От Австрии ничего не останется... Франция отвоюет обратно Эльзас и Лотарингию... Наши войска встретятся в Берлине»...

Другая, Милица, торжественно поставила перед Пуанкаре роскошную вазу с чертополохом, причем сказала вдохновенным тоном:

— Это символ, г. президент! Этот чертополох я привезла из Лотарингии... Он начал расти там, на чудесной французской земле, с 71 года... Мы здесь всем сердцем верим, что Франция, руководимая вами, г. президент, вырвет вон с корнем этот колючий немецкий сорняк в этом же году!

Горячо сказанные слова прозвучали, как тост, который Пуанкаре выслушал, поднявшись с места. Вслед за тем раздался Лотарингский марш. Тост произвел впечатление и был сердечно запит, а ваза с чертополохом так и осталась на столе перед президентом до конца обеда, хотя царь и Александра Федоровна обменялись по этому поводу красноречивыми взглядами и пожиманием плеч, затрудняясь все же определить, в какой степени этот заранее обдуманный «черногорскими пауками», как звали они в интимных разговорах обеих сестер, экстравагантный выпад нарушает придворный этикет.

Однако предстояли шаги огромнейшей важности, хотели или не хотели их сделать здесь, в Петербурге и его живописных окрестностях, они все равно уже делались другими.

Не всё же одни только полковые оркестры, хотя бы и в тысячу труб и барабанов, — нужно было показать главе союзной страны, на какой высоте стоят веселящие слух и глаз вокальное и хореографическое искусство России, и вот после обеда в Красносельском театре состоялся спектакль.

Столичный оперный театр блеснул тут Смирновым и Липковской, выступавшими в одном из действий старой добротной оперы «Лакмэ», и столпами своей балетной труппы — Кшесинской и Преображенской.

Заслуженная артистка Кшесинская выступила в балете «Фея роз»; другая заслуженная — Преображенская — в дивертисменте.

Конечно, из всех выступавших наибольший успех выпал на долю Кшесинской, потому что и высокий французский гость, и вся его свита успели уже узнать, что она — обладательница гораздо большего капитала, чем казненный частным образом Кальметт, что она имеет и дворец в Петербурге, выстроенный для нее на средства одного из великих князей, Сергея Михайловича, состоящего инспектором артиллерии, а до Сергея Михайловича (который был, разумеется, тоже и на обеде у своего кузена, и в театре) на эту звезду русского балета широко тратились другие великие князья.

Так ценились таланты в России! Ни одна страна в мире не имела такого балета, как Россия. Разве это не значило, что ни одна страна не была так богата, чтобы иметь такую балетную труппу и содержать такую дорогую балерину, как Кшесинская!

Какому же государству не лестно было иметь такого союзника, который мог бы выставить в поле в первые же месяцы войны восемь миллионов обученных военному искусству солдат, и мог бы затратить несколько десятков миллионов золотых рублей на содержание всего одной только балерины Кшесинской?!

5.

А в то время, как в Красном Селе выяснились возможности строгой согласованности военных действий, в случае, если войны предотвратить будет никак нельзя, в Петербурге рабочие наглядно показывали всем, какая сила могла бы раз и навсегда предотвратить войны во всем мире: ведь в огромном большинстве это были рабочие заводов, занятых выполнением военных заказов, притом заводов очень крупных: Путиловский, например, имел двенадцать тысяч рабочих.

Нечего и говорить, что царь и министры были чрезвычайно сконфужены выступлением рабочих, имевшим, не-

сомненно для всякого, политический характер. Поэтому еще в день приезда Пуанкаре вечером министр внутренних дел Маклаков совещался с петербургским градоначальником, какие нужно принять меры.

Были напечатаны и расклеены всюду воззвания, что меры будут приняты очень крутые, однако воззвания не помогли, и число бастующих дошло до полутораста тысяч.

Появились даже и баррикады на улицах, особенно на Выборгской стороне: остановленные вагоны трамвая, бочки, столбы, — все, что нашлось под рукой, загромоздило поперек улицы, ограждая митинги здесь и там от наскоков конной полиции.

Но волна забастовок покатилась и по многим крупным промышленным городам России.

В Риге начали бастовать такие большие и важные в военном отношении заводы, как «Проводник», «Унион», «Феникс»; забастовали также и портовые рабочие, а всего бастовавших было до 50 тысяч. В Ревеле бросило работы на трех судостроительных заводах около десяти тысяч человек. В Николаеве забастовали рабочие судостроительного завода. Бастовали в Одессе, в Тифлисе, в Самаре...

Этот вопрос, не разовьется ли забастовочное движение в грозную силу, которая может сорвать мобилизацию России, задавали русским министрам и Пуанкаре, и Вивиани, но в ответ услышали, что подобные опасения совершенно напрасны, что забастовки носят чисто-экономический характер, и прекратить их зависит только от действий министра торговли и промышленности Тимашева.

Зато гостям из Франции предоставлено было присутствовать на высочайшем смотре войскам красносельского лагерного сбора, а это ли была не величественная картина?

Нечего и говорить, что Красное село было украшено, как полагалось: гирлянды из флагов и арки, увитые зеленью. Праздничный вид имели и войска, построенные на военном поле в каре, в середине которого поднимался небольшой вал, называемый «Царским».

Вал этот, конечно, был достаточной площади, чтобы на нем могли разместиться все, приглашаемые царем на смотр войск. И теперь на нем, кроме царя с его семьей, находились и все гости — французы, и послы, и министры с Горемыкиным во главе, и многие придворные.

В 10 часов утра все были готовы начать смотр, и царь верхом, а Пуанкаре в экипаже рядом с Александрой Федоровной и всеми четырьмя ее дочерьми, начали объезд фронта.

Конечно, время в этот день, назначенный для отъезда президента, ценилось, поэтому смотр прошел без задержек и закончился, как обычно, церемониальным маршем.

Погода была прекрасная, и это позволило гвардейским полкам оставить у Пуанкаре, Вивиани, вице-адмирала Ле-Бри и других французов впечатление большой, красивой, упругой силы, поэтому за завтраком, после смотра, гости не скупились на комплименты хозяину.

Но близился час отъезда сначала в Петергоф, потом на суда «Франция» и «Жан Барт».

На той же яхте «Александрия» гости были отвезены на свои суда, и царь, в морской форме, сопровождал их.

Прощальный банкет был дан теперь уже гостями на дредноуте «La France», и на этом банкете, конечно, произнесены были прощальные тосты.

Десятки журналистов наперебой записывали эти тосты Пуанкаре и царя, надеясь проникнуть в тайный смысл слов, которыми обменялись главы двух союзных держав.

— В знаках внимания, мне оказанного, — говорил Пуанкаре, — моя страна увидит новый залог тех чувств, которые ваше величество всегда обнаруживали по отношению к нам, и блистательное подтверждение неразрывного союза, соединяющего Россию и Францию. Относительно всех вопросов достоянно устанавливалось согласие и будет устанавливаться и впредь, тем более, что обе страны неоднократно испытывали выгоды, достигаемые каждой из них этим постоянным сотрудничеством, и что у них обеих один и тот же идеал мира в силе, чести и достоинстве...

На это царь отвечал словами:

— ...Согласованная деятельность наших двух дипломатических ведомств и братство наших сухопутных и морских сил облегчит задачу обоих наших правительств, призванных блюсти интересы союзных народов, вдохновляясь идеалом мира, который ставят себе две наши страны в сознании своей силы.

После банкета царь и его семья простились с президентом и при пушечном громе французских судов яхта «Александрия» пошла обратно в Петергоф по сверкающим под лучами вечернего солнца тихим водам залива.

Казалось бы все совершилось именно так, как было заранее расписано при дворе лицами, ведающими областью церемоний и придворного этикета, и можно было, наконец, отдохнуть от напряжения.

Между тем именно в этот самый час, вечером 10 (23) июля ультиматум был передан правительству Сербии посланником Австрии Гизлем. Умертвив в беседе о сараевском убийстве своим чересчур вызывающим тоном русского посланника в Белграде Гартвига, человека с больным сердцем, Гизль перешел в основной своей задаче внести смертельный трепет,

смятение и ужас в правящие круги Белграда.

Венский полуофициоз «Neues Wiener Journal» по случаю передачи ноты Сербии писал на другой день торжествующим тоном:

«Приблизился один из тех исторических моментов, которые не повторяются. Теперь Австрия может завершить то, что она подготовляла в течение десятилетий».

Вполне естественно было Берлину поддержать Вену, и газета «Berliner Local Anzeiger» в статье от 11 (24) июля, несомненно, продиктованной из высших сфер, поведала миру:

«Сейчас вопрос идет о сведении счетов с Сербией. Австрия долго колебалась, теперь она поняла, наконец, что ее престиж на Балканах требует, чтобы она рано или поздно сосчиталась со своим зловредным соседом. В Белграде австрийскую ноту встретят, конечно, как пощечину. Сербия стоит перед альтернативой: или преклониться перед унижающей и подрывающей ее достоинство нотой, или готовиться навстречу пулям австрийских ружей, которые заговорят очень скоро. Напрасно было бы искать помощи в Петербурге, Париже или Афинах, — Сербии никто уже не поможет. Со вздохом облегчения германский народ поздравляет Австрию с достойным ее решением и обещает ей верность и поддержку в грядущие трудные дни».

Тут было сказано все. Общий смысл статей других берлинских газет сводился к нескольким словам: «Сербия должна покориться или погибнуть».

Берлин кипел так, точно дело Австрии и Сербии было его кровным делом. В редакциях газет и на бирже, в банках и в кафе, — всюду говорили только об австрийском ультиматуме, а также гадали о том, что сможет теперь предпринять Россия. Теперь, когда все уже знали, какой величины камень был брошен Веной в огород Белграда, Берлин напряженно вглядывался в сторону Петербурга: как там отнесутся к этому подарку?

Ответом послужило несколько строк, напечатанных в «Правительственном Вестнике» 11 июля:

«Правительство весьма озабочено наступающими событиями и посылкой Австро-Венгрией ультиматума Сербии. Правительство зорко следит за развитием сербско-австрийского столкновения, к которому Россия не может оставаться равнодушной».

В то же время английские газеты давали Сербии почти единодушный совет «удовлетворить все требования Австро-Венгрии», из чего в Берлине и Вене не могли сделать никакого другого вывода, кроме одного: Англия вмешиваться в конфликт не желает.

Было бы наивно ожидать того же самого от Франции, и действительно, — вся пресса Парижа отзывалась об ультиматуме возмущенно и предостерегающе отнеслась к австрийскому правительству.

В «Journal de Dèbats», например, писали:

«Покушение, подготовляемое на Сербию, недопустимо. Сербия должна согласиться только на требования, совместимые с ее независимостью, произвести расследование и указать виновных, но если от нее требуют большего, то она в праве отказать, а если против нее употребят силу, то Сербия не тщетно будет взывать к общественному мнению Европы и к поддержке великих держав, поставивших себе задачей охранение равновесия».

Три державы, — Германия, Россия и Франция, — сказали свое слово по поводу ноты. Однако чуть только известны стали в Берлине отклики России и Франции, германское министерство иностранных дел, затушевывая свою вину в разжигании конфликта, заявило совершенно официально:

«Решение вопроса: война или мир? — находится в руках Франции и России. Германия прилагает все усилия, чтобы локализировать австросербский конфликт. В случае, однако, если кто-либо придет на помощь Сербии, Германия, согласна договору с Австрией, а также для поддержания собственного престижа вмешается в конфликт».

К подобному заявлению ничего уж не нужно было добавлять больше.

Как могла отнестись к этому парижская биржа? — Конечно, все бумаги начали стремительно падать.

Как бы случайно, а на самом деле умышленно, конечно, вручение Сербии ультиматума совпало с путешествием Пуанкаре, приближавшегося вечером 10 (23) июля к Стокгольму. В Петербурге же, в министерстве иностранных дел, полное содержание ультиматума стало известно почему-то на 17 часов позже, чем в Белграде. Таким образом, Вена, предоставив Белграду думать над нотой в течение 48 часов, очень значительно сократила этот срок для Петербурга.

Нужно сказать еще, что русский посол в Вене Шебеко был в это время отнюдь не в Вене, а в Петербурге; астрийский же посол, граф Сапари, только накануне вручения ноты явился в Петербург, а до того числился в отпуску в Австрии.

Так или иначе — совершилось, что ожидалось долго.

Жребий был брошен; на весы судьбы положены были благополучие, счастье, участь сотен миллионов людей.

Европа после этого рокового шага Австрии бурно покатилась навстречу небывало в истории истребительной, страшной войне, Австро-Венгрия же, как государство, — навстречу своей гибели. Она была похожа в этот день на человека, который, упустив в окно четвертого этажа кошелек с деньгами, бросился бы

следом за ним, чтобы схватить его на лету: потеряв наследника престола, она приготовилась потерять и престол, — вычеркнуть монархию Габсбургов из числа держав.

6.

А в Красном селе, где, по случаю маневров, находился Двор, во дворце, под председательством самого царя назначено было на утро 12 (25) июля заседание совета министров для обсуждения австрийской ноты.

Министры совещались уже накануне, и теперь, при царе, чтобы не затруднять его, им оставалось только доложить каждому по своему ведомству о том, насколько Россия готова к войне.

Предполагалось даже, что эти доклады, если даже они будут и не очень многословны, все-таки способны будут утомить царя, поэтому премьер-министр Горемыкин приготовил краткое подведение итогов по состоянию финансов, промышленности и торговли, земледелия, путей сообщения, предупредив Сухомлинова, Маклакова и Сазонова, что им придется выступить самостоятельно, так как в связи с их докладами будут приняты важные решения.

Горемыкин был уже стар, но из всех министров, собравшихся в Красносельском дворце, он имел наибольший опыт администратора: несколько раз в прошлом и подолгу занимал он министерские посты. Говорится у картежников: «Не с чего ходить, — так с бубён», говорилось при дворе: «Некого назначить, так давай сюда Горемыкина».

И Горемыкин, незадолго перед тем получивший «всемилостивейший рескрипт» и сданный в архив Государственного Совета, назначался снова и говорил: «Ну, вот, опять меня вытащили из нафталина».

О нем ходили чьи-то всем известные стихи:

...Граф Валуев горе мыкал,
Мыкал горе Маков-цвет,
Но недолго он намыкал
И увял во цвете лет...
Друг, не верь пустой надежде,
Говорю тебе, не верь:
Горемыки были прежде,
Горемыкин и теперь.

Последние две строчки читались иногда и так:

Горе мыкали мы прежде,
Будем мыкать и теперь.

Что и говорить: фамилия премьер-министра огромной страны, могла, разумеется, всякого навести на печальные размышления и в стихах, и в прозе, но сам он, украшенный серебристыми баками средней длины и не обладавший уже твердой походкой по причине подагры, оставался еще вылощенным царедворцем.

Сазонов, министр иностранных дел, выдвинутый на этот крупный пост бывшим премьер-министром Столыпиным, женатым на его дочери, именовался в семье царя «Длинным носом». Действительно, в смысле носа он не был обижен природой, но всем, кто имел с ним дело, бросалось в глаза, что этот пожилой, довольно высокий и внешне собранный человек легко терял равновесие и быстро переходил от одного настроения к другому.

В умении владеть собою значительно превосходил его министр внутренних дел, гофмейстер Николай Маклаков, ставленник императрицы и Распутина, довольно еще молодой и представительный. Министром он сделался недавно, но вошел в эту роль так, как будто именно для него она и была создана. Очень быстро усвоил он привычку говорить тоном, не допускающим возражений и смотреть на собеседника, если только он не выше его по положению, снисходительно оттопырив несколько излишне полную нижнюю губу.

Сухомлинов пользовался неизменным расположением царя, как человек, начиненный анекдотами и умевший рассказывать их с большим мастерством.

Царь был в летней форме полковника Преображенского полка, батальонным командиром которого числился он в день смерти своего отца, Александра III. Бронзовый памятник этому царю, сумевшему процарствовать четырнадцать лет без войны, был поставлен на площади перед Николаевским вокзалом в Петербурге, причем скульптор Паоло Трубецкой изваял огромного, тучного, бородатого всадника на огромном, тучном, куцехвостом коне, обнаружив такое приближение к правде, что при всей некартинности этого памятника его все-таки не решились забраковать. и открыли торжественно.

При этом царе Вильгельм II, бывший тогда еще принцем, держал себя как завзятый руссофил: до того ему нравилась гороподобная консервативная фигура Александра III.

«Когда Вильгельму I, деду Вильгельма II, и его бессменному рейхсканцлеру Бисмарку вздумалось загладить весьма неприятное впечатление, оставшееся в России после Берлинского конгресса, который лишил русскую армию возможности войти в Константинополь после кровавой войны 77—78 годов, принц Вильгельм был послан к Александру III с предложением не больше не меньше, как вожделенного Константинополя за кое-какие уступки в пользу Германии. Нелюбивший разговоров о политике, Александр III ответил принцу, что если ему будет нужен Константинополь, то он возьмет его и без разрешения Бисмарка.

И вместо того, чтобы быть в обиде на такой ответ, Вильгельм сделался чем-то вроде шпиона русского царя, доносившего ему и на своего отца, и на свою мать-англичанку, и на Бисмарка, и на принца Уэльского, наследника британской короны.

С того времени прошло почти тридцать лет. Из «руссофила» вышел яростный руссофоб, а на престоле русском, взамен умершего от водянки царя, сидел его маленький, в мать-датчанку, сын.

Кто может убедить маленького человечка, что ему не суждена великая роль, если он ежедневно и по сто раз на день слышит в обращении к себе: «Ваше величество»?

Нужно же было маленькому человечку доказать и себе, и другим, и своей стране, и всему миру, что его особа священна, что он — подлинный «помазанник божий», что «с нами бог, — разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами бог!»...

Писали и говорили, что война с Японией была непопулярна в русском народе: Япония была чересчур далеко, японцев мало кто даже и видел из русских людей. Но война с немцами непопулярною быть не могла: немцы слишком нагло въелись в русскую жизнь, — на каждом шагу можно было наткнуться на немца, — такую войну русские люди примут, как кровное дело, тем более, что причиной ее будет защита братьев-славян.

Все как будто было в полном порядке в таком сцеплении мыслей, оставалось только выслушать министров, что являлось необходимостью, без которой, однако, легко можно было бы и обойтись, так как мнения всех министров заранее были известны царю.

Однако должна была укрепиться уверенность в том, что война окажется победоносной. Именно затем, чтобы укрепить эту уверенность, и были собраны министры в Красном Селе 12 (25) июля; причем говорили они больше о том, конечно, как именно, какими мерами можно было бы сохранить мир, хотя приходили к неизменному выводу, что сохранить его никак нельзя.

7.

Заняв председательское место за длинным столом, покрытым красным сукном с золочеными кистями, царь тут же открыл свой портсигар, закурил папиросу и милостиво разрешил министрам:

— Курите, господа!

Вид у него был спокойный. Светлые, несколько как бы стеклянные глаза, глядели на всех одинаково равнодушно. Рыжие усы, широкие и густые, были однообразно вытянуты влево и вправо; рыжая бородка подстрижена клином. Движения рук были неторопливы.

Министры знали, что царь не настраивал себя на преувеличенное спокойствие: он обычно и был таким, сколько они его знали. Получил ли он это в наследство от своего отца, или искусственно было привито это ему путем воспитания, только иным министры его не видали, раз дело касалось серьезных государственных вопросов; поэтому и теперь, когда предстояло решить серьезнейший из всех вопросов, возникавших когда-либо за неполные двадцать лет его правления, он оставался с виду невозмутимым.

Но этой невозмутимости неоткуда было взять Сазонову, который должен был первым высказаться по поводу австрийской ноты. Он даже начать своего доклада не смог спокойно. Накануне вечером ему пришлось говорить с германским послом графом Пурталесом после того, как он говорил с австрийским послом графом Сапари, и никак не мог теперь отделаться от целого вороха невысказанных им обоим мыслей, пришедших позже, чем они оба от него ушли. Он как будто все еще продолжал препираться с этими двумя хитрыми дипломатами, когда говорил, обращаясь к царю:

— ... Игра идет заведомо краплеными картами, игра нечестная, имеющая своею целью только одно — выиграть время для нападения на Сербию, которое уже решено заранее, решено гораздо раньше убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда, гораздо раньше даже свидания его с императором Вильгельмом в Конопиштах... Точнее, сам покойный эрцгерцог и являлся инициатором этого замысла напасть при первом удобном предлоге. Теперь, со смертью эрцгерцога, такой именно предлог и явился, и Австро-Венгрия так же не упустит его, как и Германия... Ультимативная нота составлена так, что вся в целом не может быть принята ни одним правительством, если только оно не хочет расписаться в своем бессилии и рабской покорности. На это именно и рассчитывали те, кто ее составляли. Их ссылка на то, что следствие будто бы приводит нить заговора в Белград, решительно ничего не стоит и никем не может приниматься в серьез. За действия подданных другой страны, хотя бы эти подданные и были сербы, суверенное государство — Сербия — отвечать не может, и не только не может, а даже и не смеет, чтобы не создавать опаснейшего прецедента... Мне говорят как посол Австро-Венгрии, так и посол Германии, что европейского пожара можно не опасаться, что конфликт будет, будто бы, локализирован столкновением только Австрии с Сербией. К чему же, однако, это могло бы привести? Только к тому, что Австрия проглотит Сербию, как проглотила на на-

ших глазах Боснию и Герцеговину. Аппетит приходит по мере еды, но если шесть лет назад достаточно было Германии выдвинуться перед Австрией во всеоружии, чтобы аннексия совершилась беспрепятственно, то теперь обстоятельства значительно переменились. Двух мнений об австрийской ноте быть не может: немецкие государства этой нотой бросают нам вызов расовой войны, так как отлично знают, что наша политика, хотя и мирная, но не пассивная, — pacifique, mais pas passive, и хладнокровными зрителями процесса поглощения героического славянского народа одним из немецких государств мы быть не можем. В этом вопросе единодушно станет стеной за нами весь русский народ. Доказательством этого являются патриотические демонстрации, имевшие место вчера в Петербурге, как только стало известно всем содержание ноты... Вместе с тем было бы явным преступлением развязывать войну, — такое величайшее бедствие народов, — не попытавшись предотвратить ее. Вопрос только в том, что можно сделать, точнее, что можно успеть сделать, теперь, когда ответ на ноту сербским правительством должен быть дан через несколько часов, и этот ответ удовлетворить алчных агрессоров не может?.. Мне кажется, мне представляется совершенно ясным, что только наша твердость, наша явно выраженная воля стать на сторону слабейшей державы в этом конфликте могли бы приостановить бряцание оружием со стороны Австрии, которая, как известно, мобилизует уже восемь корпусов для нападения на Сербию. Но для всякого очевидно, что Австрия не позволила бы себе даже и предъявить Сербии свою гнусную ноту, если бы текст ее не был одобрен, а, может быть, даже и дополнен в Берлине. Слишком вызывающий тон берлинских газет был взят ими не со вчерашнего дня: мы познакомились с ним еще весною этого года задолго до убийства в Сараеве. Германское правительство не считало нужным вмешаться в это, — значит, тон этот был им же и инспирирован. Как можно урезонить человека, который, очертя голову, лезет в драку? Можно сделать только одно: против его кулака выставить свой. Никакие другие меры, я позволяю себе так думать, не в состоянии уже будут помочь, раз дело зашло так далеко и раз Англия, желая даже и теперь, как будто, остаться в стороне от событий на континенте, дает устами своих газет несчастной Сербии такой «мудрый» совет, как безоговорочно принять все пункты ноты, то-есть, позволить без боя наводнить свою страну австро-венгерскими войсками. Разумеется, если пожелать кому-либо, чтобы он покончил самоубийством, то можно посоветовать ему броситься под курьерский поезд. Но мы только-что проводили президента Франции, а от него слышали нечто другое...

Зная, что его слова будут иметь самое большое значение на совещании, Сазонов говорил долго и обстоятельно, со всех сторон рассматривая вопрос. Доказывая, что в самое короткое время Сербия была бы приобщена к землям двуединой монархии, он закончил с подъемом:

— Что такое Сербия, как не форпост перед тевтонским валом, готовым ринуться в русские равнины? Допустив равнодушие или даже медлительность в отношении к единоверной славянской стране, мы допустим такую ошибку, которая нам не простится длинным рядом поколений русских людей!

Вступление было сделано. Генералу Сухомлинову не пришлось затрачивать излишних сил, чтобы попасть в ту же самую борозду. Он только неторопливо достал из портфеля заранее заготовленную бумажку, которую тщательно зачем-то разгладил, хотя она не была измятой, и, надев пенсне, начал:

— Ваше величество! Я получил этот документ недавно, можно сказать, только-что, почему и не успел доложить его вашему величеству. Осмеливаюсь думать, что уместно будет мне прочитать его теперь, поскольку он способен осветить положение... О военной игре этого года в австро-венгерской армии мы уже кое-что слышали, но во всех подробностях она до нас не доходила, так как сочинялась и проводилась австрийским генеральным штабом с соблюдением тайны. Играть никому воспретить нельзя, однако есть игра и игра. А тут перед нами такая картина... Во-первых, — и это уже нам известно, — в Вене выработан проект, по которому с помощью поляков очень будто бы легко будет основать в России великое княжество Киевское в границах Чернигова, реки Дона, Одессы и Львова и всю область, отвоеванную у России, аннексировать к апостолической Австро-Венгрии, по примеру Боснии... Так вот, как это осуществить, — и было задачей военной игры... Имеется в Австро-Венгрии шестнадцать корпусов. Из них против России направлялись семь, но они подкреплялись четырьмя новыми. А девять корпусов должны обеспечить Австрию от Сербии, Черногории, предположительно от Румынии и Болгарии, наконец, и от своих славян в Чехии и Хорватии, если бы им вздумалось проявить сепаратизм и выступить за общеславянское дело... Конечно, в игре прежде всего делался расчет на Германию, но всего только на три корпуса. Итого четырнадцать корпусов, то-есть, 560 тысяч быстрее мысли от границ царства Польского повели наступление прямо на Киев. Предоставляя Германии левую сторону Вислы, австрийская армия дви-

галась по правому берегу на Люблин и Ивангород, а оттуда на Брест-Литовск, где и соединилась с германской. Другая австрийская армия из семи корпусов, перейдя границу между Львовом и Залещиками, занимает города: Луцк, Ровно, Дубно, затем Могилев на Днестре и идет на Киев. При этом германские армии и флот идут на Петербург и его занимают в кратчайший срок!.. Можно сказать: «Экие фантасты!..» Однако в результате этой игры, очевидно детально разработанной, в австрийском генеральном штабе все проникнуты убеждением, что победа над Россией безусловно обеспечена.

Тут Сухомлинов снял пенсне и продолжал, глядя на царя почти неотрывно:

— Такой вывод, ваше величество, заставляет особенно насторожиться. Пусть это плод чистейшей фантазии, однако должна же иметь под собою почву какая угодно фантазия: совершенно бессмысленно фантазировать взрослые люди не умеют, — только дети лепечут что им вздумается, а в австрийском генеральном штабе сидят не дети. В то время, когда мы еще обдумываем план помощи Белграду, там уже двигают корпуса на Киев... предоставляя германскому штабу честь взять Петербург. Дипломатия Австрии и Германии всегда заботилась о том, чтобы ширмы, за которыми она плела свою паутину, были плотны, непроницаемы для постороннего глаза, — теперь же ширмы совершенно отброшены, — дело идет начистоту, цели намечены точно: образовать Киевское княжество в границах до Дона — это для Австрии, и взять все, что лежит между Брест-Литовском и Петербургом, включая оба эти пункта, чтобы отбросить нас от Балтийского моря, — это для Германии... А в конечном счете, ясно, и то и другое — для Германии, — для хозяина положения. Таковы планы немецких держав. Сербия — только ворота, через которые должны хлынуть австро-венгерцы к нам, — Сербия — слишком маленький кусок для их аппетитов... На чем же строится в этой фантастической военной игре, какую я привел, успех наших противников, — разумеется, увиденный ими во сне? — Исключительно на быстроте действий, на том, что мы не успеем мобилизовать свои силы, а они уже идут и берут у нас все, так, как расписали... Мы еще только направляем корпуса к Луцку, Ровно, Дубно, а их уже нет у нас, — они заняты австрийцами! Мы торопимся помочь Сербии, а между нами и Сербией выросла уж непрошибаемая стена!.. При громаднейших средствах, какие накоплены для войны Германией, при тех людских массах, какие могут быть выставлены в поле, кампания обещает развитие стремительное, а при такой кампании первые успехи могут оказаться решительными. Сейчас нам известно, что Австрия будто бы мобилизовала уже восемь корпусов для действий против Сербии. Конечно, такой ультиматум, какой она предъявила, должен быть подкреплен силой, но, во-первых, восемь корпусов против одной только Сербии, — не слишком ли много? А во-вторых, — только ли восемь мобилизованно?.. Что же касается Германии, то при известной густоте там железнодорожной сети что стоит Германии мобилизовать свои войска в какие-нибудь два-три дня, если к этому все уже готово, и призывные карточки всем запасным разосланы?.. Всю Германию из конца в конец можно проехать за один день, но ведь этого ни от кого и не потребуется: не дни, а часы, — и вот все на месте, все одеты, всем выданы винтовки, и полки уже грузятся в вагоны, и вот мы уж их видим, против себя!.. При наших же огромных пространствах, хотя нами и сделано все, чтобы провести мобилизацию успешно, мы с нею неизбежно запоздаем, если не начнем ее с сегодняшнего же дня, когда политическое положение стало совершенно ясным, — неизбежно запоздаем, ваше величество, и этим оправдаем все надежды наших противников...

Так как царь при этих словах, не меняя пристального, однако, ничего не выражающего взгляда, начал тушить далеко еще недокуренную папиросу, то Сухомлинов на несколько секунд приостановил свою речь и закончил, как бы перескочив через несколько заготовленных фраз:

— Поэтому единственное, что мы можем сделать для успешности разрешения очень острого вопроса сербско-австрийского, это — объявить мобилизацию... Этим мы заставим австрийцев быть сговорчивее, — австрийцев и, конечно, германцев, стоящих уже не за их спиной, а с ними рядом. А в случае, если и это не подействует, то не окажемся в худшем положении, чем могли бы быть... Положение достигло уже такой степени напряженности, когда дипломатия сходит с авансцены и уступает свое место генеральным штабам. Может быть, даже и не дни, а считанные часы отделяют нас от бомбардировки австрийцами Белграда, на который пушки наведены. Пушки, может быть, заговорят уже завтра утром, и это будет именно то самое, что называется на дипломатическом языке локализацией конфликта, но что фактически, на самом деле, отнюдь никакой локализацией не будет, а станет только началом европейской войны... Что касается Англии, то, как бы она ни относилась к Сербии, но флот ее во всякую минуту готов выступить на помощь Франции, а нападение Германии на Францию уже висит в воздухе, — это мы слышали всего два дня назад от лиц более чем авторитетных. Другой вопрос, появятся ли английские войска на кон-

тиненте, и третий, — появятся ли они во-время, если появятся. Оба эти вопроса сами по себе для нас чрезвычайно существенны, но у нас уже нет времени гадать над ними: все, что у нас есть под руками, мы должны успеть взять в руки, чтобы дать ему достойный нас отпор!

Слово «мобилизация» стояло, конечно, в этот день в мозгу каждого из министров; оно произносилось и накануне, когда совещались по поводу австрийской ноты только министры; но теперь, когда оно было сказано вслух перед главой государства и выставлено, как последнее средство сохранить мир, все поняли смысл этого слова гораздо глубже, чем понимали раньше.

Будто открылась дверь перед пропастью, через которую необходимо перескочить, когда ноги уже отвыкли от подобных слишком сильных и смелых движений, когда у многих они нуждаются уже в помощи палки для того даже, чтобы ходить по тротуару.

Министр императорского двора граф (бывший барон) Фредерикс, до того старый, что готовился уже праздновать шестидесятилетие своего «пребывания» в офицерских чинах и тридцатипятилетие — в генеральских, с белыми глазами и белыми усами, которые, несмотря на все его ухищрения, стремились уже устало висеть, а не вытягиваться в стрелки, имел даже неприкрыто испуганный вид и вместе с тем недовольно глядел на военного министра, который как будто нарушил придворный этикет, предложив слишком сильное средство.

Он относился к царю, как нянька; он считал своим долгом оберегать его от слишком сильных впечатлений; он говорил привычно, как и двадцать лет назад: «Царь еще слишком юн»... Наконец, если уж нужно было произнести слово «мобилизация», то он, Фредерикс, считал, что только он лично мог произнести его в разговоре с царем один на один, что никто другой, кроме него, не мог бы подойти к этому слову так, как нужно; у Сухомлинова же получился какой-то слишком прямой, по-солдатски грубый подход.

Однако, если на лице царя и промелькнула некоторая растерянность после заключительных слов военного министра, то он справился с нею очень быстро. Голосом несколько глуховатым, с серьезной любезностью, какую считал приличной для себя в такой момент, он обратился к Маклакову, предложив ему высказаться о положении внутри государства.

Он не сказал, что кроме фронта существует тыл, имеющий самостоятельное и большое значение во время ведения войны: министрам это было известно. И Маклаков начал говорить не издалека, а тоже о том, что было у всех перед глазами: нужен был только немногословный вывод.

— Страна очень неспокойна, ваше величество, — начал он. — Положение напоминает 1905 год с тою только разницей, что тогда оно явилось следствием войны на Дальнем Востоке, теперь же оно является как бы предвестником войны на ближнем Западе. Можно ли предотвратить надвигающуюся на Европу войну? По моему глубокому убеждению, время для этого уже упущено, однако его и нельзя было не упустить. Слишком откровенно вели подготовку к войне державы центральной Европы, чтобы это не отразилось на рабочих массах России. Я, конечно, не допускаю и отдаленной мысли о чьей-либо победе над нашей доблестной армией, но те, кто не уверены в победе, не начинают войны, а зачинщики грядущей войны сидят в Берлине и Вене. Остается еще, чтобы, по примеру 1905 года, начались бунты на наших военных судах и в частях наших сухопутных войск... но есть средство, которое способно сразу положить конец начинающейся гражданской войне, и средство это — мобилизация!

У Маклакова был дар слова. Граф Фредерикс мог и на него с укоризной поднимать бесцветные, почти восьмидесятилетние глаза, но впечатление, произведенное на царя его короткой речью, было очевидно для всех министров.

«Мобилизация» и была тем самым кулаком, выставить который советовал Сазонов, так что все три министра сказали, по существу, одно и то же.

Царь смотрел поочередно то на одного, то на другого и вдруг обратился к Сазонову:

— Что последнее передал вам британский посол? — И Сазонов ответил:

— Последние, то-есть, позднейшие по времени, слова Бьюкэнена таковы, ваше величество: «Ради бога, будьте сдержаны! Не забывайте, что мое правительство есть правительство общественного мнения и что оно может деятельно вас поддержать только в том случае, если общество будет за него».

— Вот видите, — сказал царь.— А между тем мобилизация, — одно только объявление ее,—может значительно повредить делу мира.

— Ваше величество! — с пафосом воскликнул Сазонов.—Мы присутствуем при агонии, при последнем издыхании мира в Европе, — что же может повредить умирающему на наших глазах миру? А между тем, опоздай мы с мобилизацией хотя бы на один только день, последствия этого могут быть действительно чрезвычайно печальны! Австрия и Германия торопятся. Мы просили продлить срок ультиматума, но ведь нам ответили отказом...

Длинный, заметно скривившийся налево нос Сазонова покраснел при этом так, как будто министр иностранных дел готов был разразиться слезами, и голос его вибрировал так, что царь счел за лучшее не делать больше никаких замечаний, а взяться за свой золотой портсигар.

Доклад Горемыкина, давая картину общего состояния России в смысле финансов, сельского хозяйства, рудного дела, промышленности тяжелой и легкой, путей сообщения и прочего, занял довольно много времени, хотя касался всего в самых общих чертах и был наполнен цифрами, которых никто, конечно, не в состоянии был запомнить во всем их объеме.

Но под произнесенное в кабинете царя в этот день уже трижды слово «мобилизация» доклад премьер-министра подводил деловой фундамент: что могло быть, кроме живой силы, мобилизовано для борьбы, хотя и кратковременной, как думали, но тем не менее чрезвычайно кровопролитной и жестокой?

Продолжительной, длящейся несколько лет войны почти никто в России того времени не в состоянии был представить, как не могли представить этого и в Германии, где планировалась только молниеносная, способная подействовать на нервы и морально раздавить противника.

Доклад давал подсчет паровозов и вагонов, а также речных и морских судов, могущих послужить делу переброски солдат и полезных военных грузов, кроме того, лошадей (свыше тридцати миллионов лошадей было тогда в России), рогатого и прочего скота, запасов муки и хлеба в зерне, запасов металлов и каменного угля, нефти, — всего, что должна была и могла в той или иной степени истребить прожорливая война.

Доклад Горемыкина был необходим здесь, в совете министров под председательством царя, не только по своим данным, не только потому, что он подводил итоги русским силам, но и потому еще, что давал возможность каждому из участников совещания, а прежде всего царю, тщательнее обдумать тот шаг, который подготовлялся.

Когда Горемыкин закончил доклад, — без подъема, тусклым голосом, однако уже не колеблясь, Николай отдал Сухомлинову приказ подготовить ему на подпись указ правительствующему Сенату о необходимости привести на военное положение часть армии и флота, для чего «призвать на действительную службу низших чинов, офицерских и классных чинов запаса и поставить в войска лошадей, повозки и упряжь от населения», — маневры же прекратить: не игра в войну, а война стояла у порога.

В этот же день, 12 июля, досрочно произведены были в офицеры выпускные пажи и юнкера военных пехотных, кавалерийских и артиллерийских училищ, а также гардемарины флота, так как для мобилизованных частей и для морской пехоты необходимо было множество офицеров.

Рубикон был перейден...

В шесть часов вечера в этот день все пажи и юнкера, отбывавшие лагерный сбор в Красном Селе, были построены тремя фасами, со своим начальством на правых флангах: царь счел нужным лично поздравить их с производством в офицеры.

Он был не мастер говорить речи. Главное же, он боялся какого бы то ни было возбуждения, прилива чувств, которые неразлучны бывают иногда даже и с венценосными ораторами и заставляют их тогда говорить не то и не так, как нужно говорить царю.

И голос у него был грудной, незвонкий, и расслышать его могли только ближайшие к нему ряды юнкеров.

Среди трех стен — спереди, справа и слева — стройных, ловких, крепкотелых, загорелых молодцов стоял он, их владыка, низенький и щуплый, и выкрикивал, поворачивая туда и сюда голову:

— Я пожелал... вас видеть... и приказал... вас собрать... чтобы сказать вам... несколько слов... перед предстоящей... для вас службой... Помните мой завет: веруйте в бога... а также... в величие и славу... нашей родины. Старайтесь служить ей и мне... изо всех сил... и исполнять... в каком бы положении вы ни были... какое бы место ни занимали... свой долг. Желаю вам от души... во всем успеха... и уверен... что при всякой обстановке... каждый из вас... окажется... достойным потомком...наших предков... и честно послужит мне и России. Поздравляю вас... с производством в офицеры!

Задыхающиеся избитые слова царя покрыло такое могучее молодое ура, что он невольно на момент закрыл глаза оглушенный.

В тот же день вечером он уехал в Петергоф, чтобы на другой день так же точно поздравить выстроенных в три фаса гардемаринов с производством в мичманы и услышать такое же мощное ура.

А Николай Николаевич, объявив войскам, собранным в Красном Селе, о прекращении маневров и о том, что на другой же день все полки должны вернуться в свои гарнизоны, дал прощальный банкет высшим офицерам, командирам частей и генералам.

Сознательно пригласил он на этот банкет германского военного атташе, майора фон-Эггелинга, и генерала фон-Хеллиуса, прикомандированного Вильгельмом к Николаю для непосредственных личных с ним сношений.

С Германией еще не было разрыва в тот день, офицеры генерального штаба могли еще говорить с Хеллиусом и Эггелингом так, как говорили с ними и раньше, а те должны были видеть, что возможность близкой войны с Австрией из-за Сербии застанет русских офицеров за веселой попойкой, что с ними и сам командующий гвардией и войсками Петербургского округа, — в прекраснейшем настроении, бодр и неутомим.

Глава седьмая

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

1.

Как истый художник, влюбленный в свое дело, работал Сыромолотов над «Демонстрацией» и в несколько дней успел сделать много.

В середине картины уже стояла Надя с красным флагом, и Сыромолотову, как это бывало у него с каждым новым полотном, казалось, что в этой стремительной женской фигуре, озаренной солнцем, он превзошел себя, что у него еще не было такой задачи и такого решения, что вместе с этой картиной он растет, как художник.

Самым уничтожающим для себя самого он считал бы, если бы ему сказали: «Да ведь у вас был уже этот мотив, — вы повторяетесь!..» Но пока еще этого никто не говорил, пока еще он шел вперед, иногда быстрее, иногда медленнее, но не было такого случая, чтобы он топтался на месте.

В этом была его гордость художника. Об этом он говорил Наде, заканчивая этюд:

— Vita brevis est, — так завещали нам древние римляне, — «Жизнь коротка», поэтому не упускай из нее ни одного дня, — а упустишь, значит, дурак, значит, не вышел из детского возраста, и на чорта ты живешь в таком случае, совершенно непонятно... Жизнь коротка, и если ты на нее смотришь под-сле-по-вато, зеваешь, в затылке чешешь, спишь по десять часов в сутки, а проснешься, брюзжишь, что тебя блоха кусала, то ка-ко-е же право имеешь ты жить, идиот этакий?!.. Иди ко всем чертям в могилу и как можно скорее, и не погань землю: она не для таких, как ты!.. Вы на меня не смотрите такими удивленными глазами, Надя, и вообще не поворачивайте головы, а смотрите на пристава, который сейчас в вас стрелять станет... Это я, между прочим, и о нем говорю, поэтому у меня такой стиль... Жизнь дается на короткий срок, и она, сама по себе, величайшее счастье. Учителя, который не внушает этого своим ученикам, в три шеи гони из школы! И чтобы не выходили из школы в жизнь всякие кисляи, нытики, с мышьяком в карманах, чтобы не деклами-ровали они, слизняки: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка!..» Это для умников сказано, а не для кретинов с мышьяком! Жизнь — это картинная галлерея, в которой, что ни холст, то и шедевр, а ты смотришь на нее, как баран, и ищешь только, нет ли где сенца!

— Барану без сена тоже ведь нельзя, — вставила Надя, хотя и упорно глядела «на пристава».

— Позвольте-с, Надя! Жизнь — умна, и чем дальше, тем больше в ней ума, а вы как будто хотите утвердить необходимость в ней баранов, — возразил Сыромолотов, не переставая действовать кистью. — А вы только представьте хоть на один момент жизнь без баранов, — представляете, а? — Вдруг исчезли все, сколько их было, и с каждым кругом себя можете вы говорить как с самим собою, в полной надежде, что вас поймут все, представляете? — Все без малейшего исключения! Вот это была бы жизнь!.. А то вы ему про Фому, а он про Ерему. И выходит, что без спасительного одиночества обойтись невозможно, иначе только зря время будешь терять...

— Не может этого быть, — уверенно вставила Надя.

— За логику прячетесь? У таких тоже своя логика. И вот-вот предстанет она перед вами во всем своем блеске: если не зажмурите глаза, — ослепнете.

— Ничего не будет: поговорят — перестанут.

—Перестанут?... Не-ет!... Не нравится мне, признаться, ваш оптимизм телячий, но так уж и быть — прощу вам по младости ваших лет. Но — жизнь коротка, а человек портит и укорачивает ее. Баран ведь поживет год-другой, а потом и начинает блеять: «Под нож, под нож хочу!»

— Я сомневаюсь, чтобы этого хотели бараны, — рискнула не согласиться с художником Надя.

— Сом-не-ваетесь? — протянул притворно свирепо Сыромолотов. — Скажите, пожалуйста, какая сомнительная! А вы знаете, как кричат болгарские солдаты, когда в атаку бегут со штыками на перевес? Не знаете? То-то и есть... Кричат: «На нож!» — вот как-с! Такую и команду получают перед атакой: «На нож!..» Ведь немцы и французы сорок с чем-то лет не воевали, англичане же, если не считать маленьких кровопусканий в Индии, в Африке, то со времен Наполеона! Шутка ли, целых сто лет терпеть? Да ведь и то сказать, если стекол никто бить не будет, чем же тогда стекольщикам жить? Это — процесс «обновления» жизни, чорт бы его драл! Расцвет жизни!

— Обновляться время от времени жизнь все-таки должна же, иначе может она и так зацвесть, как вода в стоячем болоте, — сказала Надя.

— Да я ведь не против того, — отходчиво уже отозвался на это Сыромолотов.— Ежели «он, мятежный, ищет бури», то значит, она ему нужна, но шутка вся в том, что мятежный-то в этой буре покончит существование, а бараны останутся, потому что они, хоть и блеют: «Под нож хотим», однако за чужие курдюки прятаться любят... Впрочем, чорт с ними, и с мятежными, и с баранами, и с ножами! А что касается вас, Надя, то вы свое отстояли на пять с плюсом. Вот видите, как иногда проявляются у человека способности, о каких ему самому и во сне раньше не снилось: жила-была себе филологичка, — оказалась она вдруг идеальной натурой, за что художнику остается только отвесить ей нижайший поклон!

— Правда, Алексей Фомич? Я вам помогла все-таки? — ликующе спросила Надя, теперь уже повернув к нему голову.

— Еще бы не помогли! Я вам уж двадцать раз говорил, что не только помогли, а что не будь у меня тут, в мастерской, вас, тогда... тогда, ну, — тогда... не было бы и картины.

— Вот как я рада! — всплеснула руками Надя, однако добавила: — Хотя все-таки картины же нет пока, а вы говорите: «Не было бы».

— Ну, начинаются придирки к словам!... Конечно, пока еще нет, но раз я ее вижу уж во всех деталях, это значит, что она уже есть, только еще не вся дописана.

— Это вы о каждой своей картине так говорили? — вдруг спросила Надя.

— То-есть? Что именно говорил? — не понял Сыромолотов.

— Да вот, что вам стоит только ее начать, и вам уже кажется, что она готова.

— Кажется? Ничего мне не кажется, а так оно должно быть со всяким, кто художник, — спокойно ответил Сыромолотов. — Если я не представляю себе всю картину в целом, то как же я могу начать ее писать? Вот я поставил вас в центре создания, — кивнул он на полотно, где углем уже набросаны были все фигуры,— это значит, что я сделал по меньшей мере семьдесят процентов того, что надо, а теперь... теперь мне не хотелось бы только одного: о-поз-дать со своей картиной.

Он посмотрел на Надю очень проникновенно, как будто у нее в глазах желая прочитать, успеет ли он закончить картину до того, как действительно, может быть, начнется что-нибудь такое в мире, что сделает его картину уже ненужной, изжитым вчерашним днем, к которому долго не возвратятся.

— Как именно «опоздать»? — не поняла его Надя.

— А вдруг если даже не завтра, так через две недели война?

— Вот вы о чем!—как-то даже снисходительно к нему, как одержимому какой-то навязчивой идеей, протянула Надя, пожав плечами и махнув рукой. — Вы ведь читали же в газетах, что в Петербурге как-раз идут теперь демонстрации?

— Читал-то читал, конечно, да ведь «как-раз теперь», как ни стремись к этому, картины все-таки не напишешь, — очень серьезно заметил Сыромолотов.

— А вы сказали, что она уж готова; как же так?

— Противоречия тут нет: готова здесь,— он шлепнул ладонью по своему широкому лбу, — а там, — он кивнул на холст, — там еще работы над нею много... Я ведь не бытовик, — не Василий Маковский. «Майское утро», например, каждый год и тридцать один раз в каждом году было и будет майским утром, а это?...

— А это — это каждый год и каждый месяц, и каждый день, и в каждой стране, где есть заводы и полиция, — может быть! — пылко выкрикнула Надя.

— Гм, гм... Вон вы как... Да, пожалуй, пожалуй, — бормотал неособенно внятно Сыромолотов, явно любуясь ее пылкостью. — Пожалуй, до известной степени, вы и правы.

— Не «до известной степени», а вполне права, — поправила его Надя.

— Ну, положим, положим... В большем тонет меньшее, — это закон.

— А что вы считаете большим, что — меньшим? — очень заинтересованно спросила Надя.

— Войну я считаю большим, — вот что-с, — серьезно сказал он. — А вам как кажется?

— Мне?... Позвольте мне над этим подумать...

В первый раз в жизни поставила такой вопрос себе самой Надя, хотя и обратилась с ним к художнику, и ей представилось, что никто никогда такого вопроса не ставил, — по крайней мере, она не встречалась еще нигде с таким вопросом: что более вечно, что более значительно, что вообще больше, как явление, — революция или война?

— Ну, что же думайте... Чаю, может быть, хотите? Без чая жарко в такую погоду думать, — сказал Сыромолотов без всякого особенного нажима на последние слова, но слова эти подстегнули Надю, и она ответила быстро и несколько даже запальчиво:

— Война что может сделать? Только перекроить границы между государствами, и больше ничего, а революция, если только она удастся, переделать может всю жизнь так, что никаких войн нигде не начнется, — вот вам!

— Так что, по вашему, демонстрация с флагами...

— Гораздо значительнее всяких войн между разными там державами, — перебила и закончила Надя.

— Вы, кажется, сказали, Надя, «если удастся»? — спросил Сыромолотов. — А где же и когда революции удавались?

— Вот тебе раз, — «где удавались!» — удивилась Надя. — А великую французскую революцию забыли?

— Нет-с, не забыл, а только помню и то, что очень скоро закончилась она Наполеоном и новой империей. А таких революций, чтобы они уничтожили войны хотя бы на двадцать, на десять лет, я что-то не знаю, простите мне мое невежество.

— Таких революций? — Надя добросовестно подумала с четверть минуты и сказала: — Я могу справиться дома насчет таких революций, но это совсем не так важно, если даже их и не было: не было, но должны быть, вот и все. Радия тоже не было, пока его не открыли Кюри. Жизнь идет вперед, а совсем не назад.

— Гм, гм... Радикалка же вы, Надя! Можно сказать, просто смотреть приятно, — без малейшей тени насмешки проговорил Сыромолотов. — Выходит знаете ли что? Что вы не только помогли зародиться этой картине (он показал на холст), а еще ее и спасаете, — вот что! Я бы ее, может быть, и бросил, но теперь, после такого вашего заступничества за нее, пожалуй, не брошу.

— Только еще «пожалуй»? — обиженно подхватила Надя.

— Ну, вот тебе на!.. А как же я должен был сказать, по-вашему?

— Вообще и ни за что не бросите, — вот как! — решительным тоном отчеканила Надя и поглядела на него так, как будто имела какое-то даже право потребовать, чтобы он не бросал этой картины.

— Да, вот видите, как получилось, — точно не ей даже, а, с самим собой говоря, сказал Сыромолотов. — Бывают, значит, возможны иногда такие случаи в жизни, когда ты колеблешься, а тебя непременно желает поддержать ребенок, очень мало понимающий в искусстве, чтобы не сказать — совершенно ничего не понимающий... Значит, я все-таки в чем-то таком неправ, — вот к какому я выводу прихожу... А что касается картины этой, то ее-то уж во всяком случае не брошу.

Это вышло у Нади совершенно непроизвольно, а, может быть, просто потому, что он назвал ее ребенком. Она схватила обеими руками его правую руку, приблизила лицо к его лицу и спросила торопливо, совсем по-ребячьи:

— Даете, даете слово, что не бросите?

— Да ведь сказал уже, — притворно хмурясь, ответил Сыромолотов.

— Ну, хорошо, я верю... А когда кончите, мне ее покажете?

— Кому другому, может быть, и не покажу, а вам, Надя, во всяком случае и притом первой, — серьезно сказал Сыромолотов и так же, как это у него вышло в первый раз, когда она увидела «Майское утро», по-отечески поцеловал ее в лоб.

2.

В этот же день вечером, когда стемнело в доме настолько, что нельзя уже было писать красками, Сыромолотов неожиданно, выйдя немного пройтись по своей улице, встретил сына.

На улице было сумеречно, но не настолько, чтобы два человека исключительной телесной мощи — отец и сын, хотя бы и довольно давно не говорившие друг с другом и не писавшие друг другу писем, могли разойтись, притворясь, что не узнали друг друга.

Прошло уже несколько месяцев, как они не виделись, но, неожиданно столкнувшись почти грудь с грудью, Сыромолотов-отец остановился; Сыромолотов-сын остановился тоже.

Они не поздоровались друг с другом, не подали рук друг другу. Только отец коротко спросил сына:

— Откуда?

— Из Риги, — ответил сын.

— А-а, у этой у своей был, у цыркачки?

— Между прочим, и у нее тоже — рокочущим голосом сказал сын, более высокий, чем отец, и заметно более широкий в плечах, хотя еще молодой на лицо, — моложе двадцати пяти лет.

— Как ее? Шютц, Шульц? Эльза?

— Шитц Эмма, — поправил отца сын.

— Выступал там, в цирке? — спросил отец, глядя исподлобья.

— Между прочим... Однако и выставку своих картин там сделал...

— Ого! Выставку картин... которых нет...

— Набралось все-таки на целый зал.

— Что-то не слышно было об этой выставке. Где о ней писали в газетах? — строго спросил отец.

— В Риге в одной газете была статейка... А в петербургских, в московских, разумеется, и быть ничего не могло.

— Так-с. Выставка, значит... А сюда зачем?

— Приехал дом свой продать.

— А-а, — вот как! И потом опять туда, в Ригу?

— Едва ли удастся, если бы и хотел.

— Что так? Почему может не удасться?

— Как же так «почему»? Я хотя и белобилетник, но ведь отца не кормлю, — пробасил сын.

— Еще бы я тебе позволил себя кормить! Хорошо и то, что хоть сам себя кормишь, у меня не просишь... Но все-таки, причем тут белобилетники?

— Услышать пришлось в Петербурге, что будто бы будут брать и нас в ополчение.

— Вот ка-ак! Ополчение брать? На моей памяти никогда не бывало, — встревоженным уже голосом сказал отец, а сын добавил:

— И запас, и ополчение, — все силы сразу... Говорят, война ожидается такая, какой еще не видали.

— Это в Петербурге так говорят?

— В Петербурге.

— Там должны знать, я думаю: там двор и все власти.

— Ну, еще бы. Там — всё.

— А мы здесь сидим и только еще гадаем на ромашке: будет — не будет... Значит, непременно?

— Вернее верного.

— Гм, да. Вот это — новость... Ты когда же, впрочем, приехал?

— Только-что. Час назад с поезда.

— Куда же идешь, на ночь глядя?

— Хотел к нотариусу зайти, через которого дом покупал, — не найдет ли покупателя за ту же цену, только бы как можно скорее.

— Той же цены, то-есть, какую ты сам дал, нотариус тебе не даст, раз дело к спеху.

— Да ведь не он же сам будет покупать.

— Это все равно. Кроме того, сейчас поздно уж по нотариусам ходить.

— Я ведь к нему на квартиру хотел.

— Будет гораздо хуже. Завтра ведь будни, — найдешь его в конторе, там и скажешь, — кстати там народ, — комиссионера какого-нибудь найдешь, или комиссионер к тебе сам прицепится, что точнее... А к одному комиссионеру еще пять прилипнет, — вот они тебе и найдут покупателя, а нотариусу об этом незачем даже и говорить.

— Комиссионеры, это, пожалуй, так... Я об этом даже и не подумал, — пробасил сын.

— Ну, еще бы. Где же тебе об этом думать, — сказал отец.

— В таком случае, я поверну домой...

— Если чаю не пил, можешь зайти, — кивнул на свой дом отец, — там Марья Гавриловна теперь самовар ставит.

— А Марья Гавриловна все еще у тебя? — вместо согласия спросил сын.

— А почему же ей у меня не быть? Она свое дело справляет... Иди, а я еще погуляю минут десять.

Сыромолотов-сын сказал:

— У меня дом пустой сейчас... У нотариуса я думал чаю напиться.

— Ну, вот и иди, — сказал отец и двинулся дальше, а сын грузными шагами направился к дому отца.

Конечно, десяти минут Сыромолотов-отец не гулял: он дал только сыну возможность одному, без него, войти в дом, чтобы удивить этим Марию Гавриловну. Он был слишком встревожен тем, что узнал от сына, и потому только дошел до угла своего квартала и тут же повернул домой, откуда выгнал Ваню (так обычно все его звали) несколько месяцев назад.

Этот Ваня, — «любимое дитя академии художеств», — получивший заграничную поездку, увлекся в Италии, с одной стороны, цирковой борьбой, имея уже звание чемпиона мира, с другой — акробаткой-немкой Эммой Шитц, с которой и приехал зачем-то в тот город, где жил отец, как будто мало было еще городов в России. Тут же по приезде он купил, тоже неизвестно зачем, тот дом, который хотел спешно продать теперь, а когда Эмма уехала от него в свою Ригу, отправился, как оказалось, туда же.

Именно то, что отец никогда не мог понять, что такое делает и зачем делает сын, и было причиной их последней размолвки, как нескольких до того. Однако Алексей Фомич давно уже привык к тому, что у Вани своя жизнь, как у него своя. Никаких особенных отцовских чувств к нему он не питал и раньше, когда жива еще была его жена, мать Вани, а теперь тем более, когда из него вышел не столько художник, сколько борец на цирковой арене, произошло отчуждение, и может быть даже отец прошел бы все-таки мимо сына, отвернув от него голову, если бы не простое любопытство: откуда именно он приехал?

Минуты через три, войдя к себе, он услышал от Марьи Гавриловны в прихожей таинственный шопот:

— Алексей Фомич, а у нас Иван Алексеевич, только-что сейчас вошел, сидит в столовой.

— А самовар у вас готов? — осведомился Алексей Фомич.

— Самовар сейчас закипит.

— Да вы какой, — маленький, конечно, поставили? Поставьте-ка еще и большой: он ведь стаканов двадцать выпивает, не меньше.

Мария Гавриловна тихо всплеснула руками, однако шепнула:

— Сию минуту поставлю! — и шмыгнула на кухню; у нее появились и чрезвычайная быстрота движения и таинственность в голосе: приход сына к отцу в дом оказался в ее представлении событием чрезвычайным.

А отец сказал сыну, войдя в столовую, где только-что были закрыты ставни и зажжена лампа:

— Я не спросил тебя, — ты в Петербурге был проездом из Риги или пожил там хоть немного?

— В том-то и дело, что насчет войны, что она вот-вот, я услышал в Риге...

— В Риге? Ну, тогда все понятно.

И Алексей Фомич с минуту ходил по своей столовой молча, по столовой, украшенной арабским изречением, написанным готическим шрифтом на дощечке: «Хороший гость необходим хозяину, как воздух для дыхания; но если воздух, войдя,

не выходит, то это значит, что человек уже мертв».

Ваня сидел на диване, покрытом белым чехлом, и белая блуза его, тускло освещенная лампой, так странно сливалась с этим чехлом, что делала «чемпиона мира» еще шире, чем был он на самом деле. Чтобы прервать молчание, Ваня сказал в спину шагавшему тяжело отцу:

— Я там, в Риге, две картины написал... Кроме, конечно, этюдов... И даже офортом занимался.

Алексей Фомич ничем не отозвался на эти слова. Подождав, Ваня хотел было сказать еще, что писала рижская газета по поводу его выставки, но отец спросил вдруг отрывисто:

— Почему война?

— Не знаю... Ах, да, — этот же там какой-то убит сербами... — Ну, читал же ты, должно быть, в газетах, — с усилием, как о чем-то совершенно для него лишнем и ему ненужном, пробасил Ваня.

Здесь голос его, не расплываясь, как на улице, а отражаясь от стен и потолка, гудел и делал все слова его каким-то сплошным рокотом, и Алексей Фомич отметил это, сказав:

— Если возьмут тебя все-таки, просись в дьячки, — октавой петь будешь.

— В дьячки бы ничего, да, говорят, в военное училище брать таких будут, — зарокотал Ваня.

— Каких таких? Октавистов?

— Нет, — с образованием какие... Через год прапорщиком буду.

— Через год? Как через год? — очень изумился Алексей Фомич и даже остановился посреди комнаты. — Значит, целый год будешь там артикулы проходить?

— Будто бы так, а в точности не знаю.

— Я вижу все-таки, знаешь ты очень мало!

— Да от кого же было узнать больше? — удивился теперь и Ваня восклицанию отца.

— Ты пойми: — год! За коим же это чортом, когда война может окончиться и через три месяца?

— Да я и сам так думаю.. Соберут нас, скажем, тысячу человек, будут с нами биться, чтобы всю эту премудрость военную нам вдолбить, а к чему?... Так должно быть, на всякий случай: может, и в три месяца кончится война, а может, и года два затянется, — беспечным тоном и с самым беспечным выражением на плотном молодом лице объяснил Ваня.

Однако и слова эти, и самый тон объяснения возмутили отца:

— Думай, думай прежде, чем говорить! — прикрикнул на сына он. — Как это так «на два года»? Ты представляешь, что это такое «два года»?

— Да ведь там как хочешь представляй, а можешь даже и вовсе не представлять, от этого что же изменится? — полюбопытствовал Ваня и сам себе ответил. — Ничего решительно.

Только Марья Гавриловна, стоявшая у двери с кипящим самоваром в руках и решившая, что настал момент его внести, предотвратила взрыв возмущения отца прежним, давно уж ему известным равнодушием сына.

— Вот вам сначала маленький, какой поспел, — сказала она певуче-приветливо, — а большой, какой на пятнадцать стаканов, только-что поставила.

(Окончание следует.)

КАМНИ БЕЗМОЛВНЫЕ

ГУРГЕН БОРЯН

★

Академику Иосифу Орбели

Безмолвный камень,—мощные
твердыни,
Святые храмы, стройный ряд
колонн, —
Нетронутый и благородный, — ныне
Немой свидетель канувших времен.

Прозрачный камень, вытесан веками,
Базальтовые глыбы и гранит, —
То наше прошлое и будущее с нами
На языке столетий говорит.

Под синим-синим небом Айастана
Столетиями бодрствуете вы,
О, камни вечные,—вы живы постоянно,
Простые, мудрые, как древние волхвы!

Где б ни был я, боец неутомимый,
Куда б ни шёл в грозовый этот час, —
Седые камни Родины любимой,
Я вспоминаю, думаю о вас.

Вишапы* мощные, тончайшие карнизы,
Каменьев-гроздьев грузная гряда,
Свод голубой, лучом дневным
пронизан, —
Наследие упорного труда,

Не раз враги хотели сжечь обитель,
Где жив ваш дух, испепелить
гранит, —
Но нерушимо, твердо вы стоите,
Как каменные глыбы пирамид.

Настанет день, — и снова мир
воспрянет,
Пройдет война и сгинет немец злой,
И мы спокойно вновь на сад наш
взглянем,
Покрывшийся зеленою листвой.

А ты, ты будешь жить, творить веками,
Народный зодчий, пламенный творец,
И в храмах древних вновь
над куполами
Луч солнца вспыхнет,—торжества венец.

И эти камни в несказанных песнях
Расскажут поколениям людей
О днях борьбы, о подвигах чудесных,
О гордой славе наших сыновей!

Перевел с армянского
Борис СЕРЕБРЯКОВ

* Камни, на которых вытесаны изображения чудовищ.

СЕМЬ РУМБОВ

Научно-фантастические рассказы

И. ЕФРЕМОВ

★

Волны орудийного грома, то набегая, то удаляясь, постепенно затихали. Прожекторы погасли, и только вдали, в направлении Кунцева, все еще вспыхивали звезды разрывов, и слышался далекий шум воздушного боя. В вечерней мгле остро пахло порохом, гарью. Мы, временные гости большого дома на Калужской, вернулись с разных постов, — кто с крыши, кто со двора, — в удобную квартиру нашего общего друга, и сели у стола — отдохнуть, покурить. Отдаленная стрельба не затихала, не было и отбоя воздушной тревоги.

Всего два дня назад мы съехались в Москву с разных концов Союза за получением новых назначений. Этот вечер был у всех нас свободен, и мы решили устроить нечто вроде прощального «банкета», некстати прерванного фашистским налетом.

Хозяин квартиры, — пожилой морской капитан, — легко поднял с кресла свое грузное тело и, потушив свет, распахнул дверь на балкон. Мы молчали, прислушиваясь к шелесту деревьев в Парке Культуры, ловя звуки дальних выстрелов, которых становилось все меньше и меньше...

— Что вы там увидели, Игнатий Петрович? — окликнул я хозяина, в раздумье стоявшего у двери на балкон. Он повернулся, закрыл дверь, тщательно задрапировал ее, затем включил свет и посмотрел на часы.

— Вот что, друзья, — сказал он, — время — близкое к десяти, разъезжаться нам уже, пожалуй, поздно, да ведь и не наговорились еще... Посему предлагаю — оставайтесь-ка у меня до утра!

— Есть капитан! — одобрительно отозвалось несколько голосов.

— Ну, а теперь, Ванюша, достань-ка,— между шкафом и буфетом еще есть две-три бутылочки, — от взрывной волны сохраняются. Припасов на столе довольно. Ну, а которые необразованные, — любители чай пить, — потерпите. В воздушную тревогу газ у нас выключается.

— Чудесное у вас вино, Игнатий Петрович! — сказал майор Лебедев.

— Такого вина вам больше нигде не пивать, — со спокойной уверенностью отозвался наш капитан, рассматривая рюмку на свет. — Давно у меня оно, — остатки допиваем... Да, — внезапно оживился он, — такое вино хорошо пить в светлые, яркие минуты жизни... Вот мы собрались, — может быть, в последний раз. Ждут нас разные приключения, и, конечно, тяжелые испытания. Когда-то мы снова соберемся. — После победы?.. Что ж, все мы люди бывалые, постранствовали и повидали немало. Выпить за то, чтобы нам снова собраться здесь, по-моему, не стоит. И без того соберемся, если живые будем. Предлагаю выпить каждому за самое интересное, самое яркое переживание, которое было у него в жизни! — И подняв бокал, моряк медленно выпил темное, густое вино. Мы последовали его примеру.

— Переживания... — медленно произнес второй моряк, тоже капитан, помоложе хозяина. —Они ведь могут быть и сильные, и яркие, но для других они не всегда интересны...

Игнатий Петрович отрицательно покачал головой: — Это неверно, — вот мы живем, как будто обыкновенно,—день за днем и месяц за месяцем, — работаем, радуемся, огорчаемся, — и ничего не случается с нами замечательного... К этому можно привыкнуть и можно всю жизнь прожить, ничего особенного в ней не заметив. Вот такие и появляются скептики — все им ничочем, все пустяки, все неинтересно... И немудрено, — если с закрытой душой, закостеневшим, по жизни итти, — попадется что-нибудь

и впрямь выдающееся, а ты его и не заметил, отвернулся, и мимо курс проложил...

— Смотрите, — продолжал он, указывая рукой на стену, где висела вычерченная им самим огромная картушка компаса — проложите отсюда мысленно локсодромии по всем тридцати двум румбам и будьте уверены, что по каждому из румбов вас встретит необычайное, — если хватит возможностей и сил на долгий путь. А может быть, и путь-то не будет долгим. Ну, кончаю, а то и так разговорился что-то!.. Все мы, друзья, по разным румбам в жизни курс прокладывали, — так неужели у нас ничего интересного или необычайного, как я называю, не было? Предлагаю поделиться, рассказать, что кому встретилось. Вино хорошее, времени впереди много, — пусть эта наша встреча тоже будет необыкновенной и надолго останется у нас в памяти.

Несколько минут длилось молчание. Затем капитан Евгений Николаевич Елисеев встал, прошелся по комнате и сказал: «Если позволите, я начну. Неинтересно будет, — скажите». Мы расположились поудобнее и приготовились слушать. Капитан сел и начал рассказывать. Так и запомнился он мне — высокий, плечистый, в синем кителе, с пристальным взглядом больших серых глаз и скупыми жестами левой руки, с трубкой, зажатой между указательным и средним пальцами. Струйки синеватого дыма, ставшиеся за трубкой, как бы подчеркивали его слова.

Впоследствии я записал, как сумел, рассказы, слышанные мной в тот вечер и дал им подходящие, как мне кажется, заглавия. Всего у меня получилось семь румбов. Четыре из них я привожу здесь.

★

ВСТРЕЧА НАД ТУСКАРОРОЙ

Если взять представление нашего милого Игнатия Петровича о румбах, можно сказать, что все, о чем я расскажу, произошло на румбе чистый ост не мало лет тому назад. Я тогда плавал старпомом на довольно большом пароходе «Коминтерн», — в пять тысяч тонн,— добротной английской постройки. Ходили между Владивостоком и Камчаткой, изредка на юг, — в Шанхай или поближе, — в Гензан и Хакодате.

В июле 1926 года мы шли очередным рейсом в Петропавловск, с заходом в Хакодате, — следовательно, через Цугарский пролив. Вышли из Хакодате к вечеру, а через сутки привалил бешеный шторм, — настоящий тайфун от зюд-веста. Поднялось такое волнение, что когда мы проходили траверз Немуро, волны стали закрывать судно. Мы имели ценный груз на палубе, а кроме того разные хрупкие машины в трюме. Наш капитан, — вы знаете его, конечно, Игнатий Петрович, — Бегунов, очень славный, хотя и суровый старик, после короткого совещания со мной на мостике решил повернуть полнее бакштага, — почти на фордевинд. Судно сразу перестало брать на себя воду и, не взирая на адскую волну, пошло спокойнее. Пришлось мне проложить новый курс, вместо обычного, — я оставил остров Сикотан к норду и пошел восточнее Курильских островов...

Штормом колотило нас всю ночь и только на следующее утро стало стихать. Но ветер был очень свеж до самого вечера. К ночи же совсем стихло, и я рано завалился спать, так как устал за последние сутки отчаянно.

Ночь выдалась совершенно необычная в этих местах — безветрие, полный штиль, — ясная и безлунная. Я спал очень крепко, но по прочно укоренившейся привычке, проснулся со звоном склянок. Хоть я и не сосчитал ударов, но знал, что до моей вахты — полчаса. И, действительно, почти сейчас же явился буфетчик с огромной кружкой горячего какао. Эту привычку я всем могу посоветовать, — перед вахтой напиться горячего какао, — тогда холод и сырость не страшны, и ко сну сразу же перестает клонить. Я вскочил, быстро оделся, выпил какао и, закурив трубку, снова растянулся на койке. Как хороши эти десять-пятнадцать минут перед выходом на ночную вахту,—в холод, мрак, сырость и туман!

Затягиваясь душистым, крепким табаком, я вслушивался в неравномерный всплеск волн и четкую работу машины. Ее мощный шум и легкое сотрясение всего огромного корпуса судна действовали успокоительно, вроде тихой музыкальной мелодии. В каюте было тепло, яркий свет лампы падал на столик с лежавшей на нем интересной книгой, — наслаждение, которое я предвкушал после вахты. Я с удовольствием осмотрел свою каюту, — крошечный «особняк», несущийся на двадцатифутовой высоте над страшной зеленой глубиной Тихого океана, и подумал, что профессия моряка увлекла меня прежде всего тем, что она оставляла мне много времени на размышления, к которым я всегда был склонен.

Мои мысли были прерваны стуком в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появилась массивная фигура капитана.

— Что вы бродите в такую рань, Се-

мен Митрофанович? — спросил я, садясь и поворачивая к нему тяжелое кресло,— еще, наверное, не рассвело.

— Ну, как не рассвело! Скоро огни гасить можно... Эх, и погода же редкостная!..

— Вот в такую-то погоду только и спать, — сказал я. — Ну я-то, конечно, страдалец, — мне на вахту, — а вы что?

— Эх, — молодежь! Вам бы только понежиться, — добродушно отвечал капитан, — а мне, старику, много спать не нужно. Я уже палубу обошел, убытки от шторма посчитал... Кстати, Евгений Николаевич, вы ортодромию вашу днем проверьте, чтобы не только по счислению было,— добавил он, в то время как я обматывал шею шарфом и натягивал пальто.

— Обязательно, Семен Митрофанович, трасса у нас новая,— ответил я капитану и чиркнул спичку, закуривая трубку.

Резкий толчок и последовавший за ним глухой удар потрясли корпус судна. Почти одновременно раздался грохот где-то в кормовой части, и шум машины прервался. Несколько секунд мы с капитаном молча глядели друг на друга, прислушиваясь. Вот машина возобновила работу, — и снова тот же грохот, сменившийся тишиной. Горящая спичка, которую я продолжал держать в руке, обожгла палец, и я, опередив капитана, кинулся из каюты...

Все, кто много плавал, поймут мои чувства в те минуты, зная, с каким невольным страхом воспринимается остановка машины в открытом море. Мощное сердце корабля своим биением сообщает ему жизнь и силу для борьбы со стихией, — но вот оно остановилось, и корабль мертв, — теперь он игрушка неверного океана...

Повернув к трапу, я поскользнулся, и тут только заметил, что судно имеет крен на левый борт. В этот момент меня догнал капитан. Прерывистое дыхание выдавало его волнение, но поседевший на море старик не произнес ни слова.

На палубе было темно. Едва обозначавшийся рассвет отмечал только общие контуры судна. Дверь штурманской рубки была раскрыта, и из нее падала полоса света. С мостика послышался встревоженный голос третьего помощника:

— Беда, Семен Митрофанович! Налетели на риф, винт, кажется, разбит, руль заклинило... — Капитан сердито крикнул:

— Какой к чорту риф?! Здесь глубочайшая пучина океана!

«Ну, конечно, — Тускарорская впадина», — немного успокаиваясь, сообразил я.

Капитан поднялся на мостик. Мое место было на палубе.

«Боцман, подвахтенных наверх, приготовить лот», — приказал я. Напрягая зрение, я видел, как капитан склонился к переговорной трубе. «Говорит с механиком», — подумал я. Слабо зазвенел телеграф. Снова послышался грохот под кормой. Звонок телеграфа совпал с прекращением работы машины. «Евгений Николаевич, давайте лотом по правому борту»,— донесся голос капитана. Я отдал команду. Боцман откликнулся из темноты: «Нет дна».— «Ближе к носу у крамбола»,— скомандовал капитан». «Две марки и две», — отозвался боцман.

— Четырнадцать футов? Что за чорт!— воскликнул я. По левому борту глубина оказалась от двенадцати до восемнадцати футов, за кормой — двадцать футов.

Рассветало. Я перегнулся через борт, стараясь что-нибудь рассмотреть в темной воде, плескавшейся внизу. Было то тяжелое и медлительное дыхание моря, которое зовется мертвой зыбью. С удивлением я воспринял мерное покачивание парохода на крупной и длинной волне. Это покачивание не сопровождалось ударами, что было бы неизбежно при посадке на риф. Капитан позвал меня на мостик. Перегнувшись через перила, он упорно всматривался в волны с левого борта. Вспыхнул прожектор. Серая мгла рассветных сумерек отошла дальше от корабля. Я заметил, что под левым бортом корабля волны были меньше, чем кругом, — короткие и плоские.

— Евгений Николаевич, давайте скорее место судна по счислению.

— Есть, — Семен Митрофанович, — ответил я и направился в штурманскую рубку.

— Шлюпку спустить, — послышался голос капитана. — Петя (так звали третьего помощника), вы с лотом в шлюпке.

Мое уважение к капитану, без лишней суеты руководившему выяснением аварии, еще более возросло. «Молодец старик!» — думал я, накладывая протрактор на карту, и услышал шаги капитана за спиной.

— Ну, что? — спокойно спросил он, едва взглянув на карту, где наколота точка легла вдали от Курильских островов, над страшными глубинами Тускароры. Внезапная догадка молнией пронеслась в моем мозгу.

— Я, кажется, понял, Семен Митрофанович, — проговорил я.

— Что поняли?

— На судно затонувшее налетели.

— Так оно и есть, — подтвердил капитан, — шансов один на миллион, а вот повезло же нам, нечего сказать... Ну, что там Петины промеры?

Мы вышли на мостик.

Шлюпка уже пристала к левому борту. Как мы и ожидали, даже в небольшом удалении от корабля дна не было

Наступило ясное утро. Из трюмов вернулись ревизор и боцман, доложившие, что течи нет. В это время к нам поднял-

ся начальник водолазной спасательной партии, которую мы везли для съемки с мели японского судна «Америкамару», — опытный морской инженер.

Он обошел судно, потом поднялся на мостик.

— Начнем, командир? — спросил инженер.

— Ладно, давайте скорей. — обрадованно согласился капитан.

— Везли вас японца спасать, да и сами в спасаемых очутились.

Два водолаза, широкие, как комоды,— повидимому, огромной силы люди,— приступили к сборам. Я сам несколько раз совершал короткие спуски под воду, но еще ни разу не видел работы водолазов в открытом море и с интересом наблюдал за ними.

Промерами на шлюпке была установлена приблизительная ширина потонувшего судна. С левого борта укрепили выстрел, с которого сбросили узкий трап. Водолаз вооружился длинным шестом и начал спуск прямо в волны, время от времени упираясь шестом в борт парохода и раскачиваясь на трапе. Вдруг он отпустил лестницу и сразу скрылся под водой, оставив на поверхности тысячи воздушных пузырьков.

Начальник водолазной партии стоял на борту у телефона. Он помахал нам с капитаном рукой, подзывая к себе.

Мне показалось, что в лучах поднявшегося над горизонтом солнца под кораблем смутно очерчивается какая-то темная масса. «Пройдите назад, — закричал в телефон инженер. — да... ну проползите!.. А дальше? Хорошо...» — «Что хорошо-то?» — не утерпел капитан, но инженер ничего не ответил. Прошло, как мне показалось, много минут напряженного ожидания. Мембраны телефона время от времени глухо гудели.

— Попробуйте проникнуть в кормовое помещение или в трюм, — сказал инженер и передал телефон второму водолазу.

— Ну, вот что, командир,—сказал он, поворачиваясь к капитану, — чудеса, да и только! Навстречу нам под водой шел какой-то затонувший корабль. Мы с размаху налетели на него. Наш «Коминтерн», оказывается, отличается очень острыми обводами, — он и вошел в корпус погибшего судна, как топор в бревно и, видимо, крепко завяз. Потонувший корабль — очень старый деревянный большой парусник. Мачты обломаны, конечно. Форштевень «Коминтерна» сидит в кормовом помещении парусника, а винт и руль находятся как-раз над обломком бушприта. Они, слава богу, целы. Когда пробовали провертывать машину, винт бьет о бушприт. Крепок же этот старинный парусник, — вот что удивления достойно.

— Объясните-ка мне, товарищ инженер, — спросил капитан, — как мог потонувший корабль столько времени плавать, да еще под водой, — на манер подводной лодки?

— Очень просто, — судно-то деревянное, да, наверное, и груз у него легкий, — я послал водолаза в трюм посмотреть, что там. А под воду это вы его своим пароходом загнали, — он, наверно, чуть-чуть над водой высовывался... Да, конечно, пусть поднимется, — прервал свои объяснения инженер, обращаясь к водолазу у телефона.

Собравшаяся у борта команда, да и мы с капитаном, смотрели на поднимавшегося водолаза, как на вестника из неизвестной страны. Этот человек смело опустился в воду, посреди океана, и глубоко под пароходом ходил по погибшему кораблю, много лет носившемуся в морских просторах. Веселые, слегка озорные глаза снявшего скафандр водолаза, ничем не выдавали утомления, которое он, несомненно, должен был испытывать. На совещании в штурманской рубке водолаз начертил примерный корпус потонувшего корабля, удививший нас своими старинными очертаниями. Зная, что я интересовался всегда историей флота и, особенно, парусных кораблей, капитан спросил меня, не могу ли я определить класс и возраст судна. По грубым контурам, набросанным водолазом, разумеется, было очень трудно решить что-нибудь. Во всяком случае, — это был трехмачтовый корабль весьма больших размеров, с широким корпусом и приподнятой кормой. Я решил, что ему не менее ста лет—со времени постройки. Водолаз сообщил, что корпус корабля построен из очень плотного дерева. Трюм, повидимому, забит доверху легкими пластинами пробки.

Немного подумав, инженер решил попробовать подорвать правый борт парусника с тем, чтобы плавучий груз вывалился. Тогда тяжелый, пропитанный водой деревянный корпус корабля пойдет ко дну собственным весом, и мы освободимся.

— Ну, что же, давайте освобождайте, ради всего святого, — воскликнул капитан. Инженер снова задумался. — Какие еще затруднения? — с тревогой спросил капитан. — Дело в том, что для этой работы нужно два человека, — будет скорее, и, главное, безопаснее. Если через трюм не проникнуть к борту, то придется снаружи долбить, а с течением очень тяжело справляться. Еще счастье, что так необыкновенно тихо, а то совсем плохо было бы.

— Но ведь у вас два водолаза, — сказал я. — Водолазов-то два, но один должен быть наверху у насоса, ведь часть наших специалистов вперед на «Лозовском» уехала. Вот и думаю, как быть...

Тут я вспомнил о своем небольшом водолазном опыте, и подумал, — а что, если мне спуститься? Конечно, страшно-

вато было спускаться в открытом море, но я был уверен, что как вспомогательная сила — пригожусь. Я предложил инженеру свои услуги в качестве второго водолаза и, в ответ на его недоверчивую улыбку, рассказал о своих возможностях.

— Ну, уж пусть сам водолаз решит, — берет он вас в помощники или нет, — сказал инженер.

Водолаз оглядел меня оценивающим взглядом и задал несколько вопросов о работе в скафандре. Мои ответы как будто удовлетворили его, и он согласился иметь меня помощником, предупредив, что если меня как следует долбанет о корпус, чтобы я обижался только на самого себя...

Я выслушал внимательно все наставления, думая в то же время, что если «долбанет о корпус», то вряд ли я вспомню советы водолаза...

Команда отнеслась к моему погружению с дружеским и веселым энтузиазмом и, пока одевали меня в скафандр, я успел наслушаться немало острых словечек, на которые моряки мастера.

Наконец, все приготовления были закончены. Надетый шлем как-то сразу отделил меня от привычного мира. Водолаз уже скрылся под кораблем, когда я, не особенно ловко передвигая пудовые ноги, стал спускаться по трапу. Все мое внимание было поглощено качавшейся подо мною темнозеленой поверхностью воды. Я должен был одновременно надавить затылком на выпускной клапан, вытравить побольше воздуха и нырнуть под волну в момент ее отдачи назад. Я удачно проделал это, и через несколько секунд густой сумрак окутал окошечко шлема. Вода, действительно, сильно била меня с левой стороны и, только напрягая все силы, я удержался на чем-то наклонно поднимавшемся вверх справа от меня и смог оглядеться. Ярко светившее над морем солнце давало достаточно света. Сначала я различал только общие контуры потонувшего корабля, пересеченные косой черной тенью, падавшей от борта «Коминтерна». Затем я увидел квадратный выступ, — остаток какой-то палубной постройки, а за ней — толстый обрубок, — как я понял потом, обломок мачты, прислонясь к которому стоял водолаз. Я немедленно добрался до него и направился следом за ним к борту парусника. Это был трудный спуск по скользкой, покрытой водорослями, раковинами и слизью наклонной поверхности. Но вода, давя навстречу, хорошо поддерживала нас. Как мы условились еще наверху, мы решили проникнуть в трюм через разбитое кормовое помещение.

Борт погибшего судна обозначался четкой линией, за которой прекращалось отражение слабого света, падавшего сверху. Дальше была темнота — обрыв в чудовищную пучину абсолютно черной воды, и я внутренне содрогнулся, представив себе, что борт судна висит над восьмикилометровой глубиной...

Вместе с колыханием волн, по палубе потонувшего судна бежали пятна солнечного света. Следя за тусклыми и зеленоватыми бликами солнца, я старался воссоздать облик корабля. Тренированная на очертаниях старых парусников память помогла мне в этом. Сквозь толщу наросших раковин и извивающиеся хвосты водорослей я скорее угадал, чем увидел трехмачтовый корабль с широким корпусом, весьма массивной постройки. Низкий и тупой нос, высокая корма говорили о XVIII столетии. По очень толстому обломку бушприта угадывалась его значительная длина, что было также типично для судов XVIII века. В общем, корпус сохранился великолепно, даже крышка трюмного люка была налицо. Немного впереди грот-мачты начиналась большая вмятина. Продавленная килем нашего судна палуба просела, карлесы перекосились, торчали переломанные бимсы, придавая этой части судна вид мрачного разрушения, усиленного глубокой чернотой, царившей в проломах и щелях.

Я застыл в недоумении перед хаосом изломанных балок и досок, но мой спутник включил сильный электрический фонарь и сразу же повернул налево. Здесь действительно, как я и предполагал «теоретически», чернел правый коридор юта уцелевший от разрушения при столкновении судов. Я тоже включил свой фонарь, и плечом к плечу с водолазом мы вошли в густой мрак, осторожно нащупывая ногами доски палубного настила. Направо от нас чуть серел свет, проходивший, как я догадался, в задние кормовые окна, или, вернее, в то, что от них уцелело. Несомненно, люки в трюм если они и были, остались позади нас наверное, несколько правее, и мы миновали их, проникнув глубоко внутрь кормы. Подталкиваемый жгучим любопытством, я быстро сообразил, что свет должен проходить через кают-компанию, а напротив нее, по обыкновению, должна быть каюта капитана. На правой от меня стенке, где сейчас колыхалось чуть заметное серое пятно света, должен быть вход в каюту, которая, возможно, хранит тайну этого корабля. Я решительно двинулся направо. Красноватый в воде свет электрического фонаря скользил по черно-бурой стене без признаков каких-либо отверстий. Я положил на стену руку в резиновой перчатке и, ведя ее по осклизлым доскам, вскоре нащупал ребро дверной рамы.

— «Повидимому, дверь здесь», — догадался я, и начал толкать стену плечом. Но она не поддавалась. Я ударил по стене ломом, который на четвертом ударе пробил дерево и чуть было не выскользнул из моих рук, подавшись

пустоту, — вернее, в воду, за дверью. Еще и еще нажимал я на дверь, когда за моей спиной расплылся световой круг фонаря водолаза. Он приблизил свой шлем к моему — и я увидел в полутьме его удивленное и встревоженное лицо. Я указал ему на дверь. Он согласно кивнул. В это самое время до моего сознания дошел голос инженера, настойчиво повторявший: «товарищ старпом, что с вами, почему не отвечаете?» Я коротко сообщил, что пробрался в кормовое помещение, — все в порядке, сейчас будем пробираться в трюм. Голос в телефоне успокоенно замолк, и я снова обратился всеми помыслами к двери в капитанскую каюту. В том, что за этой дверью была именно каюта капитана, я был безотчетно и совершенно уверен.

Водолаз провел рукой по краю дверной ниши и всунул свой ломик между дверью и дверной коробкой. — «Чорт возьми! Наверное, дверь открывается наружу», — осенило меня, и я присоединил свои усилия к медвежьей силе водолаза. Не прошло и двух минут, как мы стояли в непроглядной тьме того помещения, которое когда-то служило капитану. Наши фонари не давали много света, помещение было большое, и я так и не мог себе представить точного вида капитанской каюты. Пол под нами был ровен и скользок. Какие-то куски дерева, — должно быть, остатки мебели, — постоянно попадались нам. Носок моего тяжелого ботинка стукнулся обо что-то. Свет фонаря вырвал из темноты угол квадратного ящика, лежавшего набоку у левой стены каюты.

— Ага! — обрадованно вскричал я, и сейчас же, совсем из другого мира возник голос инженера: «Что — «ага»?

— Ничего, все в порядке, — поспешил ответить я и нагнулся за ящиком. Он был не тяжел, — но мне, и без того обремененному инструментами и уставшему от непривычной работы, было очень трудно нести эту дополнительную ношу.

Водолаз тем временем обошел каюту по правой стороне и тоже нашел два небольших ящика, которые нес, зажав подмышкой. Он удовлетворенно кивнул, увидев мою находку. Не найдя больше в каюте ничего примечательного, мы приступили к «совещанию». Переговорив через верхние телефоны, то-есть через судно, мы вынесли наши находки на палубу и положили в укромное место. Затем снова вернулись в коридор и как-то очень быстро разыскали проход в трюм.

О дальнейшем я вряд ли сумею рассказать сколько-нибудь связно и подробно. Это был тяжелый труд в бесконечной черноте узких загроможденных проходов. Наконец, мы с водолазом выполнили нашу задачу и заложили несколько зарядов на участке днища и правого борта судна. Когда все кончилось и соединения проводов были проверены, я почувствовал, что измотался окончательно и без сил прислонился к массивному пиллерсу где-то в трюме близ кормы. Водолаз понимал мое состояние и дал мне немного отдышаться. Поднимаясь снова на палубу, — что оказалось совсем нелегким делом, — я тупо обрадовался тусклому мерцанию солнечного света и в последний раз обвел взглядом необыкновенную картину палубы потонувшего судна, — резко очерченную в мутном свете правую скулу корабля и торчащий обломок бушприта.

Я подал сигнал «подымайте». Нарастающая масса света хлынула на меня, волны снова грозили ударами, блеск поверхности моря был неожидан и радостен... Пока ловкие руки снимали с меня шлем и освобождали от тяжести скафандра, был поднят и мой спутник.

Устало опустившись на кнехт, я с восхищением смотрел на водолаза, казалось, нисколько не потерявшего своей задорной бодрости *и после* второго спуска.

— Ну, молодец ваш старпом, — обратился водолаз к капитану, — справился что надо! Мы с ним, вернее, он, еще исследовательский поход проделали и в командирской каюте что-то нашарили! И он кивнул в сторону нашей добычи, уже поднятой на палубу.

— С этим потом, — сказал инженер, — сейчас палить будем.

Глаза всех собравшихся на палубе людей в настороженном ожидании были прикованы к маленькому коричневому ящику индуктора, перед которым на коленях стоял инженер, закручивая рукоятку. Вращение рукоятки все убыстрялось, маленькая машинка мелодично жужжала. Все слушали, затаив дыхание. Было очень тихо, только плеск волн доносился из-за высокого борта. Достаточно было едва уловимого движения тонких пальцев инженера на кнопке замыкателя, как глухой гул подводного взрыва ударил по нервам. «Коминтерн» покачнулся, его железный корпус загудел, как гигантский рояль. С левого борта плеснула высокая волна. В откатившейся массе воды замелькали куски темного дерева, еще через несколько секунд поверхность воды покрылась массой почерневших пластин пробки, — это выплыл на поверхность груз из трюма корабля. Все моряки, от капитана до кока, с одинаковым жадным вниманием ждали, что будет дальше. Послышался сильный, но приглушенный скрип, за скрипом последовал легкий толчок, как бы поддавший пароход снизу. Мы продолжали ждать, но больше ничего не было слышно, только попрежнему плескали волны и глухо стучали в борт обломки, всплывшие после взрыва.

Общее молчание нарушил спокойный голос инженера: — Ну, что же, командир, давайте ход. — Как, разве уж все?

встрепенулся капитан. — Ну, конечно! — Капитан кинулся на мостик, зазвенел телеграф и внезапно возникший шум машин не сопровождался уже более жутким грохотом. Корабль ожил и двинулся. Под носом зашумели волны. Когда «Коминтерн» повернул, ложась на курс, все мы дружно крикнули: «Инженеру — ура!..»

— По местам, — послышалась команда капитана, против обыкновения закурившего на мостике, и палуба опустела. Я с неохотой поднялся с кнехта, подошел к водолазу, — своему товарищу по подводным приключениям, — и крепко пожал ему руку. Потом я заглянул через борт назад, где в отдалении колыхались на волнах обломки, вырванные взрывом из парусного судна, и с неприятным чувством какого-то совершенного мной убийства представил себе, что судно, так долго странствовавшее после своей гибели, сопротивляясь времени и океану, сейчас медленно погружается в глубочайшую пучину... Ощущение сильного нервного подъема, владевшее мною все время, ослабло, а затем и совсем исчезло. Вместо него телом и мозгом завладела неодолимая усталость. Я сказал матросу, чтобы он отнес наши находки в штурманскую рубку, а сам поплелся на мостик.

Капитан увидел меня и протянул мне обе руки: — Ну и молодец вы, Евгений Николаевич, ну и молодец! Спасибо вам. Баночку первосортного рома разопьем вечерком с главным спасителем нашим, — жест в сторону инженера, — а вы идите-ка отдохните, — вижу, как устали!.. — Я быстро спустился с мостика, и, ополоснувшись под душем, отправился в свою каюту. Бросившись в постель, я еще некоторое время видел то мутный подводный свет, то колыханье солнечных бликов, то черноту трюма... Каюта равномерно подрагивала от движения машины, пароход спокойно шел своим курсом. Все происшедшее отодвинулось в небытие... Через минуту я уже крепко спал.

Был вечер, когда я проснулся с ощущением чего-то необычного, что ждет меня, и сразу вспомнил о своих находках. Одевшись и наскоро поев, я сразу же направился к капитану, где встретил оживленное общество, подогретое первоклассным ромом, до которого я и сам большой охотник. Как только я пришел, капитан распорядился расстелить на ковре брезент, и мы приступили к вскрытию найденных ящиков. Большой ящик, не поддававшийся долоту, — он был сделан из крепкого дерева, — раскрылся только после нескольких добрых ударов топором. По каюте разнесся странный острый запах. К нашему разочарованию в ящике мы обнаружили только кашу с лоскутами кожи — все, что осталось от судового журнала. Капитан, инженер и механик невольно рассмеялись, увидев, как вытянулись наши физиономии, — моя и водолаза. Мы вскрыли один из двух маленьких ящиков, найденных водолазом. В нем оказался старинный бронзовый секстант. Оттерев слой зелени с одной стороны, я смог прочесть латинскую надпись. Смысл ее был в том, что секстант «сделал механик Даниэль»... — фамилию забыл, — «в Глазго, 1784 года». Эти данные, по существу, ничего не значили, так как английские инструменты могли находиться на любом судне, а пользоваться ими могли много лет, при необыкновенной прочности старинных английских приборов.

Однако третий ящик принес нам радость, хорошо знакомую всякому, добившемуся желанной цели. Ветхий наружный футляр из дерева при первой же попытке его открыть легко распался в наших руках, обнажив тускло заблестевшую в ярком электрическом свете оловянную банку, покрытую крупными каплями воды. Банка была закрыта надвигавшейся сверху глубокой, толстой крышкой, очень туго забитой. Крышку снять было невозможно, и мы срезали ее по верхней кромке принесенной механиком ножовкой. Под ней оказалась вторая крышка, — плоская, завинчивающаяся, с кольцом по середине. Мы отвинтили ее сравнительно легко и с торжеством извлекли из банки, внутренность которой только отсырела, но не содержала ни капли воды, свернутую трубкой пачку бумаг.

Второй раз в этот день раздалось дружное «ура!»

Небрежно свернутая, слегка измятая пачка плотной бумаги, серой и очень легко рвавшейся, сделалась центром внимания в круге склоненных над нею голов. Какие-то химические процессы или сырость в банке уничтожили все написанное на верхней и нижней частях каждого листа. Точно так же очень сильно пострадали листы, составлявшие наружную часть свертка. Уцелели только немногие страницы, составлявшие среднюю часть пачки листов, а также отдельный, сложенный вчетверо лист светложелтой плотной бумаги, вложенный в пачку. Этот лист и дал нам ключ к пониманию всего происшедшего.

Крупные неровные буквы покрывали немного вкось четыре желтые странички. Старинный английский язык несколько затруднял чтение. Написанное разбирали мы с инженером, остальные помогали в затруднительных случаях. На отдельном листе было написано, примерно, следующее:

«12 марта 1793 года, 6 часов пополудни, широта 38°20′ южная, долгота 28°45′ восточная, по утреннему счислению. Воля Всевышнего Творца да будет надо мной. Примите же, неизвестные люди, мой последний привет и прочтите важные со

общения, мною прилагаемые к сему. Я, Эфраим Джессельтон, владелец и капитан прекрасного корабля «Святая Анна», считаю свои последние минуты в этом мире и тороплюсь сообщить обстоятельства своей гибели.

Я вышел из Капштадта рано утром 10 марта, имея направление на Бомбей, с заходом в Занзибар. Днем миновал мыс Бурь, за которым был встречен необычайно большим волнением, очень сильно бросавшим корабль. К ночи от северо-востока налетел сильный ураган, заставивший дрейфовать, склоняясь к зюду, под передними топовыми парусами. Весь следующий день «Святая Анна» лежала в дрейфе, борясь с нарастающей силой урагана. К утру буря еще усилилась, достигнув невиданной, невообразимой силы. Я потерял одну за другой все мачты. Мужество экипажа не раз спасало корабль от верной гибели. Но посланная нам судьбой чаша страданий не была исчерпана. Ряд исполинских волн беспощадно обрушился на корабль, который, как и его команда, изнемог в дикой борьбе. Течь в носу и на палубе лишила «Святую Анну» остойчивости, и в 5 часов пополудни корабль нырнул носом, затем лег набок и стал погружаться. В момент этой последней, непоправимой катастрофы я находился в своей каюте. Только-что я вошел и старался достать...» Дальше следовал очень неразборчивый кусок записи, затем снова можно было прочесть: «...страшный треск и крен корабля, вопли и богохульные ругательства пересилили неистовый рев бури и грохот волн. Я упал и сильно разбил себе голову, потом откатился на внутреннюю стену каюты, поднялся и сделал попытку выбраться через дверь, очутившуюся теперь наверху, посредине стены. Но толстая дверь была, повидимому, чем-то завалена и не поддавалась моим усилиям. Задыхаясь, весь в поту, я упал на пол в полном изнеможении, безразличный к близкой смерти. Немного оправившись, я снова попытался выломать дверь, ударяя в нее креслом, потом ножкой стола, но лишь изломал мебель, даже не повредив двери. Я стучал и кричал до полной потери сил, но никто не пришел мне на помощь, и я уверился в гибели своих людей и стал ждать своей кончины. Однако прошло много времени, вода прибывала в каюту очень медленно: за час ее набралось не более фута. Потрясенный катастрофой до глубины души, я не сразу сообразил, что очень легкий груз моего корабля, — мы везли пробку из Португалии, — и прославленная крепость корпуса «Святой Анны» не дадут кораблю сразу пойти ко дну. Таким образом, я имею некоторое время для того, чтобы вспомнить, прежде чем погибнуть, о своих открытиях. Я хочу попытаться передать их людям, так как по непоправимой беспечности и неутолимой жажде пополнить их, не успел этого сделать ранее.

«Необработанные записи моих исследований морских пучин между Австралией и Африкой хранятся в особой банке. Сюда же я вкладываю и эту свою последнюю запись, в надежде, что остатки моего корабля, несомые на поверхности океана, будут или прибиты к берегу, или осмотрены кем-нибудь в море: я знаю, что ценности и документы корабля всегда ищут в каюте капитана... Масло уцелевшего каким-то чудом фонаря догорает, в каюте уже три фута воды. Сатанинский рев урагана и качка не ослабевают. Я слышу, как огромные волны прокатываются сверху по корпусу «Святой Анны». Вот оно — крушение всех моих замыслов и жалкая гибель взаперти, внутри уже мертвого корабля. Но, как ни слаб, как ни ничтожен человек, — луч надежды озаряет меня. И, если я не спасусь сам, то, быть может, моя рукопись будет прочитана, и дело мое не пропадет...

Больше медлить нельзя. Вода прибывает все быстрее, и скоро зальет шкаф, на котором я пишу, стоя, и держу банку с записями. Прощайте, неизвестные друзья! И не берегите моей тайны, как сделал это я, жалкий безумец. Поведайте о ней миру. Да свершится воля Господа. Аминь».

Инженер закончил последние слова перевода и все мы долго молчали, подавленные этим простым рассказом об ужасной катастрофе и мужестве давно погибшего человека.

Первым нарушил молчание механик:
— Представляете себе, как он писал это при тусклом свете старинного фонаря, запертый в погибающем корабле. Твердые люди были в старину...

— Ну, такие, положим, есть и сейчас, — перебил капитан, — давайте-ка высчитаем: он писал в тысяча семьсот девяносто третьем, — это значит, что корабль плавал до встречи с нами сто тридцать три года!

— Меня другое удивляет, — сказал инженер, — посмотрите широту и долготу катастрофы. Она произошла где-то у Южной Африки, а мы столкнулись со «Святой Анной» у Курильских островов»...

— Ну, этому легко найти объяснение, — ответил капитан и достал большую карту морских течений. — Вот, смотрите сами. — Толстый палец капитана скользнул по синим, черным и красным полосам на голубом фоне морей. — Вот очень мощное течение южных широт. Безусловно, катастрофа произошла в его пределах, к зюд-осту от Капа. Оно идет на восток, — почти до западных берегов Южной Америки, где заворачивает к северу. Тут оно смыкается с очень сильным южным эк-

ваториальным течением, идущим на запад, почти до Филиппинских островов А вот тут, против Минданао, сложный круговорот, поскольку тут еще разные противотечения. Отдельные течения идут отсюда на север и попадают в Куро-Сиво. Вот уже и ясен путь этого плавучего гроба...

Сидевший около меня водолаз взволнованно обратился к инженеру:

— Товарищ начальник, значит, он так и погиб в своей каюте?

— Ну, конечно.

— А как же мы с товарищем старпомом его костей не нашли?

— Что же тут удивительного, — сказал инженер, — разве вы не знаете, что кости в морской воде со временем растворяются? А сто тридцать три года — срок достаточный для этого...

— Злое море, — произнес ревизор, — доканало моряка, да и костей не оставило.

— Почему злое? — возразил я. — Наоборот, приняло в себя еще лучше, чем земля. Разве это плохо — раствориться в необъятном океане, — от Австралии до Сахалина?..

— Вы только послушайте его, — попробовал пошутить капитан, — пойдешь и сам утопишься. — Но никто не улыбнулся его шутке. В сосредоточенном молчании мы обратились к уцелевшим листам рукописи.

Почерк был тот же, но более мелкий и ровный. Должно быть, эта рукопись была написана в спокойные минуты раздумья, а не в лапах надвигавшейся смерти. К общему разочарованию, оказалось невозможным прочитать даже те страницы, которые не были полностью испорчены сыростью. Чернила побледнели и расплылись, разбирать чужой язык, да еще с незнакомыми старинными оборотами речи и терминами, было для нас непосильным делом. Мы отделили те страницы, которые можно было прочесть. Их оказалось совсем мало, но, к счастью, они шли одна за другой. Сохранились они только потому, что находились в самой середине пачки. Таким образом, мы имели целый, хотя и незначительный кусок рукописи. Я до сих пор довольно точно помню его содержание.

« .. Четвертый промер оказался самым трудным. Кранбалка трещала и гнулась. Все пятьдесят человек экипажа выбились из сил, работая у брашпиля. Я радовался прочности бимсов, да и вообще тому, что так много положил труда на постройку корабля исключительной прочности для долгих плаваний в бурных сороковых широтах. Четыре часа упорного труда, — и над волнами показался бронзовый цилиндр, — мое изобретение для взятия проб воды и других веществ со дна океана. Помощник быстро повернул кранбалку, и массивный цилиндр повис, качаясь над палубой. Из-под затвора очень тонкой струйкой брызгала вода, выжимаемая огромным давлением. В этот момент боцман перекинул рычаг задержателя, но так неудачно, что задел матроса Линхэма, наклонившегося, чтобы подобрать последнее кольцо перлиня. Удар пришелся по виску над ухом, и матрос упал, как подкошенный. Кровь брызнула из раны. Его закатившиеся глаза и побелевшие, закушенные губы показывали, что ранение тяжелое. Линхэм упал прямо под водомерный цилиндр, и вода, стекавшая струйкой по цилиндру, потекла на рану. Когда мы подбежали и подняли матроса, кровь уже почему-то перестала течь. Не прошло и часа, как Линхэм, перенесенный в лазарет, очнулся. Он поправился необыкновенно быстро, хотя впоследствии и страдал головными болями, повидимому, от сотрясения мозга. Рана же закрылась и зарубцевалась уже на следующий день.

Вначале я не догадался сопоставить неслыханно быстрое заживление раны с тем, что на нее попала вода, добытая из глубины океана. Однако матросы немедленно сделали такой вывод, и по судну разнеслась молва о живой воде, добытой капитаном со дна океана...

Утром ко мне явился матрос Смит и попросил полечить чудесной водой гнойную язву у него на руке. Я намочил платок в добытой вчера пробе воды и отдал ему, а сам занялся изучением пробы. Ее удельный вес был довольно велик, — тяжелее обычной морской воды. Цвет ее, налитой в прозрачный стакан, был необычаен — голубовато-серого оттенка. В остальном я не мог обнаружить ничего особенного, даже на вкус. Я налил всю пробу в бутыль, чтобы отвезти своему другу, ученому химику в Эбердине. Окончив работу, я ощутил необычайный прилив сил, бодрости, какой-то особенной жизненной радости. Я приписал это действию выпитой мной глубинной воды и, повидимому, не ошибся. Что касается язвы Смита, то через два дня она совершенно зажила. С тех пор, на все время нашего пути до Англии, я держал в каюте небольшой пузырек с чудесной водой и очень успешно лечил ею раны и даже желудочные заболевания.

Мы взяли эту пробу с самого глубокого места, — из большой круглой впадины на дне океана, — на 40°22′ южной широты и 39°30′ восточной долготы, с глубины 19 тысяч футов.

Это было моим вторым большим открытием в океанских глубинах. До этого я считал самым замечательным находку необычайных едких красных кристаллов на глубине семнадцати тысяч футов, к северо-западу от мыса Бурь...

Я мечтал о том, что сделаю еще два срочных рейса с грузом, для денег, — проклятых денег! — и после этого смогу

исследовать глубины океана выше сороковой широты на юг от Капа, где капитан Этебридж обнаружил огромные впадины на большом протяжении. Я думаю, что найду в этих таинственных пучинах древние вещества, сохранившиеся в глубине, где нет ни течений, ни волн, и никогда не появлявшиеся на поверхности...

Как обрадовался бы моим открытиям великий Лаперуз, который рассказывал мне о своих догадках и, собственно, повернул мои размышления к глубинам южных широт! Но смерть рано унесла от нас этого гениального человека, я же считаю преждевременным сообщать миру о своих открытиях, и не сделаю этого, пока не исследую пучин Этебриджа...»

На последней сохранившейся странице была подчеркнута дата «20 августа 1791 года», далее шли слова: «в 100 милях к востоку от восточного берега Каффрской земли мы встретили голландский бриг, капитан которого сообщил, что шел из Ост-Индии в Капштадт, но вынужден был склониться к западу, уходя от урагана. Три дня назад он натолкнулся на место в море, покрытое высокими стоячими волнами, как будто бы вода была замкнута в огромном невидимом кольце. Эти волны так начали бросать его судно, что капитан испугался за целость швов и обтяжку такелажа и, действительно, вскоре бриг дал течь. По счастью, это место было всего несколько миль в ширину, и бриг довольно быстро под свежим бакштагом миновал эту площадь стоячих волн. Мне было интересно узнать, что очень редкое и почти никому неизвестное явление наблюдалось этим, далеким от всяких выдумок, простым моряком. Я тоже видел это явление и догадался, что появление таких волн всегда на круглой площади обозначает... »

На этом кончалась страница, и с нею все записи, которые мы смогли разобрать...

...Капитан Елисеев замолчал, встал и прошелся по комнате. Мы все вернулись из капитанской каюты «Коминтерна» к обстановке московской квартиры и настороженной ночной тишине военного города. Послышалось дружное позвякивание рюмок, двиганье стульев. Но рассказчик жестом остановил готовые сорваться у каждого из нас вопросы и продолжал:

— Это еще не все, что было связано с потонувшим кораблем. Я расскажу вам всё, что знаю сам, но вы напрасно будете задавать мне вопросы, — я не смогу на них ответить...

Вернувшись из этого рейса с «Коминтерном» во Владивосток, я вскоре получил назначение на «Енисей» — новый пароход, купленный в Японии. Этот грузовик в девять тысяч тонн перегонялся в Ленинград, и я был назначен на него старпомом, в виде, так сказать, премии за активное участие в спасении «Коминтерна». Мне очень не хотелось расставаться с «Коминтерном», его капитаном и командой, с которыми я свыкся за два года совместного плавания, но интерес нового большого рейса всё же взял перевес над всеми другими соображениями. Я с болью в сердце расцеловался на прощальной выпивке со старым капитаном и со всеми другими своими товарищами по пароходу.

По дороге «Енисей» вез лес в Шанхай. Оттуда он должен был итти в Сингапур за оловом. Затем предстоял заход на Гвинейский берег, — в Пуэнт-Нуар, за дешевой африканской медью, только-что начавшей поступать на рынок. Следовательно, нам предстояло идти не через Суэц, а через Кап, вокруг Африки, — то-есть, побывать как-раз в местах гибели «Святой Анны». Короче говоря, этот рейс интересовал меня как нельзя более. Я перенес свой необъемистый скарб, в том числе и оловянную банку с драгоценной рукописью капитана Джессельтона, в отличную каюту старпома на «Енисее», и с головой погрузился в бесконечные и сложные мелочи приемки корабля. Мне нечего рассказать вам о самом плавании, проходившем, как и на множестве других судов, днем и ночью идущих по морям всего мира. Немало пришлось мне повозиться вместе с капитаном с прокладкой курсов в незнакомых местах и с грузовыми операциями. Бурные воды сороковых широт помиловали нас и не задали нам крепкой штормовой трепки, но все же к моменту прихода в Кэптаун я порядочно устал. Было очень приятно, что в силу необходимости снестись с нашими представителями, в Кэптауне получилась задержка, и я смог около трех дней полностью провести на берегу, бродя по этому очаровательному городу и его окрестностям.

Я не последовал обычному стандарту моряков и променял разноплеменную суету Эддерлей-стрит на одинокое любование этим удаленным от моей родины уголком земли. Величественная красота окрестностей Кэптауна навсегда запала мне в душу. Поднявшись на вершину Столовой горы, я любовался с высоты огромной белой дугой города, окаймляющей широкую Столовую бухту. Налево, далеко к югу, вдоль плоских крутых гор полуострова уходили фестончатые, сияющие на ярком солнце бухты. Ослепительная белая полоса пены прибоя окаймляла золотые серпы прибрежных песков. Позади, к северу, тянулись ряды голубых огромных гор. Хребтистая масса остроконечной Львиной горы отделяла полумесяц Кэптауна от приморской части Си-Пойнт, где даже с высоты была видна сила прибоя открытого океана. Я съездил на ту сторону полуострова, в Мейзенберг, и испытал ласкающую негу теплых синих волн Игольного течения.

По дороге, на знаменитом винограднике Вандерштеля в Вейнберге, я пил превосходное столетнее вино, и не уставал восхищаться, сидя в машине, старинной архитектурой голландских домов под огромными дубами и как-то особенно благоухающими соснами. В последний день своего пребывания в городе я взял с утра такси и поехал на Морскую аллею, — высеченную в скалах дорогу к югу от Си-Пойнта. Красные обрывы скал пика Чапман тонули в пене ревущего прибоя. Ветер обдавал лицо солеными брызгами. Овеянный ветром, взбодренный мощью океана, я миновал склоны Двенадцати Апостолов и бухту Камп и решил задержаться на вечер, продолжая уединение на берегу открытого океана в предместье Си-Пойнт, известном мне по прежнему посещению Кэптауна своим уютным кабачком. Стемнело. Невидимое море давало знать о себе низким гулом. Я миновал окаймленный асфальтом бульварчик и повернул направо, к знакомой светлозеленой двери, освещенной матовыми шарами на двух столбиках. Нижний зал, облюбованный моряками, тонул в табачном дыму, был полон запаха вина и гула веселых голосов. Хозяин знал, что сильнее всего трогает сердце моряка, и вот искусная скрипка несла с эстрады нежные звуки Брамса.

Тихая и неосознанно приятная печаль расставания охватила меня в этот вечер. Кому из нас не приходилось переживать эту печаль разлуки с очень понравившимся, но совершенно чужим местом? Вот завтра утром ваш корабль уйдет, и вы, наверное, навсегда проститесь с прекрасным городом, — городом, через который вы прошли как чужой, ничем не связанный и свободный в этом отчуждении. Вы наблюдали незнакомую жизнь, и она всегда кажется почему-то теплой, красивой, чего, наверное, нет на самом деле..

В таком ясном и грустном настроении я уселся за столик, стоявший у выступа стены. Официант, привлеченный блеском моих нашивок, услужливо подскочил ко мне и принял заказ на основательную порцию выпивки, которой я хотел отметить свой отъезд. Я разжег трубку и стал наблюдать за оживленными, раскрасневшимися лицами моряков и нарядных девушек. Хорошая порция рома, разбавленного апельсинным соком, дала желаемое направление моим мыслям, и я погрузился в неторопливые размышления о чужой жизни и о том восхитительном праве неучастия в ней, которое всегда ставит зоркого странника на какую-то высшую, в сравнении с окружающими людьми, ступень.

Скрипка снова запела, — на этот раз цыганские напевы Сарасате. Я всегда любил их, и всей душой отдался звукам, говорящим о стремлении вдаль, печали расставания и неясной тоске о непонятном...Мелодия оборвалась. Я очнулся и полез в карман за спичками. В это время на эстраду вышла невысокая девушка. Я ощутил, как говорят французы, сердечный укол, — такой неожиданной и неподходящей к этому кабачку показалась мне мягкая и светлая красота девушки. Мне трудно описать ее, да и не к чему, пожалуй. Встреченная одобрительным гулом, девушка быстро подошла к краю сцены и запела. Ее голос был слаб, но приятен. Пение ее, повидимому, любили, так как в зале быстро воцарилась тишина. Она спела несколько песен, насколько я понял, любовно-грустного содержания. Мне понравилась какая-то тонкая, особенная обработка мотива, характерная для ее исполнения. Когда она скрылась за кулисами, гром рукоплесканий и восторженные вопли вызвали ее обратно. Она появилась снова, — на этот раз в довольно откровенном костюме. Начался танец с прищелкиванием каблучков и повторением каких-то задорных куплетов, под одобрительный смех присутствующих. И так не вязалась тонкая красота девушки с этой пляской и куплетами, что я ощутил подобие легкой обиды и отвернулся от эстрады, наливая себе вино...Затем я занялся тщательным раскуриванием трубки, вынул часы...и вдруг быстро повернулся к эстраде, так и не посмотрев, который же час. Девушка, оказывается, снова переменила костюм. На этот раз она была в черном бархатном платье с кружевным воротничком, что придавало ей какой-то старинный и трогательный облик. Занятый трубкой, я прослушал начальные слова песенки, которую она пела теперь. Но, когда до моего сознания сквозь звуки рокочущей мелодии дошло название корабля «Святая Анна», я напряг слух и внимание, чтобы следить за быстрым темпом песни. Действительно, в песне говорилось с бесстрашном капитане Джессельтоне, избороздившем южные моря, о высоких мачтах корабля «Святая Анна» и, — представьте себе мое удивление, — о том, что капитан, на пути около острова Тайн, зачерпнул живой воды, веселящей живых и оживляющей мертвых, но вслед за тем исчез без следа со своим кораблем. Песенка кончилась, девушка поклонилась и повернулась уходить. Я стряхнул с себя невольное оцепенение, вскочил и стал так громко кричать «бис», что удивил соседей.

Девушка посмотрела в мою сторону, как будто бы удивившись, улыбнулась, отрицательно покачала головой и быстро ушла со сцены. Опомнившись, я немного смутился, потому что сам не терплю бурных проявлений чувств. Но песенка девушки не позволяла мне думать ни о чем другом. Я ломал голову, стараясь разгадать связь погибшего корабля с пе-

вичкой в кэптаунском кабачке. Желание разыскать девушку и расспросить ее обо всем выросло и окрепло. И в ту же минуту, подняв глаза, я увидел ее прямо перед собой. «Добрый вечер, — негромко сказала она, — вам понравилась моя песенка?» — Я встал и пригласил ее за свой столик. Подозвав официанта, я заказал для нее коктейль и только после этого взглянул ей в лицо. Усталая бледность проступала на нем, говоря о нездоровой жизни. Забавная манера презрительно вздергивать вверх свой красивый носик скрашивалась милой и как бы смущенной улыбкой. Гладкое бархатное платье облегало ее фигуру, обозначая высокую грудь.

— Вы немногословны, капитан, — сказала насмешливо девушка, повышая меня в чине. — Кто вы, где ваша родина?

Узнав, что я из Советской России, девушка стала смотреть на меня с нескрываемым интересом. Я, в свою очередь, спросил, как ее зовут, и мое сердце невольно забилось сильней, когда она ответила:

— Энн (Анна) Джессельтон.

Она принялась расспрашивать меня о моей далекой родине. Но я отвечал ей односложно, целиком поглощенный мыслью о протянувшихся через годы нитях судьбы, так странно связавших эту девушку с моей находкой на затонувшем корабле. Наконец, улучив момент, я спросил ее о родных и об отношении ее к капитану, о котором она пела в песенке. Выразительное личико Энн стало вдруг замкнутым и высокомерным, и она ничего не ответила мне. Я продолжал настаивать, сделав в то же время намек на то, что интересуюсь капитаном Джессельтоном неспроста, и что в силу особых обстоятельств имею право на это.

Девушка резко выпрямилась, и большие ее глаза посмотрели на меня с явным недоброжелательством.

— Я слыхала, что русские — чуткие люди, — с расстановкой произнесла она, — но вы, — вы такой, как все. — И ее маленькая рука обвела кругом шумный и дымный зал.

— Послушайте, Энн, — пробовал протестовать я, — если бы вы знали, чем вызвано мое любопытство, вы...

— Все равно, — перебила она, — я не хочу и не могу говорить с вами о важном, о своем здесь и когда я... — Энн запнулась, потом продолжала снова: — А если вы думаете, что ваши деньги дают вам право лезть ко мне в душу, то — спокойной ночи, я сегодня не в настроении! — Она встала, встал и я, раздосадованный нелепым оборотом дела.

Энн посмотрела на мое огорченное лицо, глаза ее смягчились, и с милостивым видом она попросила проводить ее домой. Я расплатился, и мы вышли вместе. Запах и шум близкого моря сразу охватили нас. Пересекая широкую пустынную улицу, я взял Энн под руку. Вправо, вдали, темной массой сбегал в море мыс Си, налево — за освещенными электрическим заревом крышами домов и темной зеленью Грин-Пойнт, — блестел маяк на Сигнальном холме. Мы углубились в тень аллеи небольших деревьев, и я начал без всяких предисловий рассказывать о последнем своем плавании на «Коминтерне» и о приключении с потонувшим кораблем. В заключение я сказал, что записки капитана Джессельтона находятся сейчас в моей каюте. Энн слушала, не перебивая. Рассказ, как видно, всецело захватил ее. Потом она внезапно остановилась у калитки в ограде небольшого садика перед темным домом. Свет фонаря на высоком столбе проникал через кроны низких деревьев и я хорошо видел большие и печальные глаза девушки. Она пристально смотрела на меня, и выражение ее глаз совсем не соответствовало насмешливому тону голоса: «Да, вы без сомнения настоящий моряк, если можете так здорово выдумывать...» Энн тихонько рассмеялась, взялась за пуговицу моего кителя и, легко поднявшись на носках, поцеловала меня... В ту же минуту она скрылась за калиткой, в тени деревьев, куда не доходил свет фонаря. «Энн!.. Одну минуту!» — вскричал я, охваченный волнением. Никто не ответил мне. Я постоял с полминуты с неопределенным чувством разочарования. Затем повернулся и только сделал несколько шагов обратно по аллее, как был остановлен голосом Энн: «Капитан, когда уходит ваше судно?» — Я посмотрел на светящийся циферблат часов и сухо ответил: «Через четыре часа... Что вы хотите от меня, Энн?..» Ответа не последовало. Я услышал лишь легкий стук захлопнувшейся двери...

Ехать на корабль было еще рано, возвращаться в кабачок не хотелось. Я медленно пошел пешком вдоль моря по направлению к яркой затухающей звезде Сигнального Холма. Вокруг горы до порта было не больше четырех километров. Весь этот путь я прошел со смутным ощущением какой-то утраты... На подъеме к Грин-Пойнту ветер, налетев с простора открытого океана, обнял меня. И, как много раз до этого, мелкими показались мне все мои огорчения перед лицом океана... С рассветом я вышел на широкую аллею между доком Виктории и мысом Муйл, а еще через полчаса спокойно рассматривал багряные верхушки волн в бухте, поджидая катер. «Енисей» еще вчера отошел на рейд, готовый к выходу в дальний путь.

Я вернулся на корабль, спустился в свою каюту и лег на диван. Выходная вахта была капитана, но мне не хотелось спать. Я сунул голову под кран, потом выпил горячего кофе, и вышел на

верхний мостик — полюбоваться городом, очарование которого за два посещения крепко запало мне в душу. Мне захотелось подольше пожить здесь, — у подножья фантастических гор, в тесной близости к океану. Синева бухты, прорезанная прямыми линиями двух волнорезов, окаймлялась амфитеатром белых домов города. Еще выше шла полоса густой зелени огромных деревьев, над которой поднимались синевато-серые кручи Пика Дьявола и Столовой горы, составлявшие исполинскую верхнюю часть амфитеатра. Направо, за крутой дугой берега, скрывался Си-Пойнт.

Громкий удар колокола на баке возвестил отход. Свисток корабля, работа брашпиля, привычные слова «якорь чист!» — и «Енисей», разворачиваясь и сигналя, начал набирать ход.

Время шло, и ослепительное солнце сильно жгло палубу, когда «Енисей» изменил курс, склоняясь к норду. Очертания трех гор Кэптауна постепенно погрузились в море, скрывшись за волнами. Сменив капитана, я стоял на мостике. Широко улыбаясь, ко мне подошел капитан с какой-то бумажкой в руке. «Я получил вот это, но, наверное, оно адресовано вам, — недаром вы столько времени в городе пропадали».

Недоумевая, я взял у него телеграмму, только-что принятую радистом. — «Капитану русского корабля. Жалею о вчерашнем, нам нужно увидеться, обязательно ищите меня, когда будете снова. Энн». На одно мгновение я увидел перед собой обаятельное лицо девушки... Ощущение утраты снова охватило меня. Но я преодолел очарование и спокойно сложил телеграмму. Я был уверен, что расстался с Кэптауном на многие годы, если не навсегда. И даже ответить ей я не смогу, так как она не догадалась дать мне свой адрес... Я поднял руку вверх и разжал пальцы. Свежий морской ветер мгновенно подхватил телеграмму и крутя опустил ее в пенный след винта...

...Капитан Елисеев оборвал рассказ. Лицо его несколько побледнело, словно длинная цепь воспоминаний утомила рассказчика. Тишину нарушил голос инженера Канина:

— Слушайте, Евгений Николаевич, неужели вы не дали хода своему открытию? Это же преступление перед наукой!

Капитан прищурился и спокойно ответил, не скрывая насмешливых интонаций:

— Ну, как же, — едва я попал в Ленинград, как сразу же принялся за это дело. Морские специалисты, с которыми я говорил об открытии Джессельтона, только недоумевали и сомневались. Но по совету приятеля я обратился к знаменитому геохимику, академику Вересков. Старик чрезвычайно воодушевился моим рассказом и объяснил, что в океанских впадинах, образовавшихся в древние времена, мы безусловно можем найти в глубинах давно исчезнувшие с поверхности земли вещества-минералы и газы с сильно отличными от ныне известных физическими и химическими свойствами. Но их надо искать в древних пучинах, очень редких в мировом океане и известных как-раз в области южных широт между Австралией и Африкой. Однако на мой вопрос о непосредственном значении для науки найденной мною рукописи, академик ограничился неопределенным замечанием, что указание широты и долготы имеет некоторое значение. Потом ученый сказал мне, что на основании данных, добытых столь необыкновенным путем, никто не возьмется сделать какое-либо заключение. Проверку открытий Джессельтона могла бы сделать специальная экспедиция, но, опять-таки, — кто же возьмется снарядить дорого стоящую далекую экспедицию, пользуясь столь сомнительными указаниями?.. Уходя от ученого, я ощутил такую же грусть разочарования и утраты, как в далеком Кэптауне. То, что казалось мне безусловно ярким и важным, как-то сразу потускнело, и я понял, что чем невероятнее и чудеснее встреченная в жизни случайность, тем труднее убедительно рассказать о ней...

★

ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ

Этот рассказ принадлежит геологу Волохову, — известному исследователю недоступных мест Сибири. Здоровяк, с круглым монгольским лицом, он объявил, что расскажет не менее замечательную историю, где главная заслуга принадлежит разуму и трезвому анализу.

— Многое, — сказал он, — что блестит и переливается яркими красками для меня, пережившего все это, я не смогу передать вам. Однако надеюсь, что и моя история будет всем вам интересна.

Несколько лет тому назад я прошел с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая: хребет Листвяга, в области левобережья верховьев Катуни. Моей целью тогда было золото. И, хоть я и не нашел в то лето стоящих россыпей, однако был в полном восторге от очень интересной геологии и от прекрасной природы Алтая. В местах моих работ не было ничего особо примечательного. Листвяга — хребет сравнительно низкий, вечных снегов, «белков», на нем

не имеется. А, значит, нет и сверкающего разнообразия ледников, горных озер, грозных пиков и прочего ассортимента высокогорной красоты, какое поражает и пленяет вас в более высоких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднявших свои скалистые спины над мохнатою тайгой, покрывающей круглые горы, разбегающиеся под гольцами, как волны моря, вознаграждала меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах речек, где и проходила главным образом моя работа. Я люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за какое-то первобытное одиночество и дикость, свойственные ей. Я не променяю ее на дешевую яркость юга, назойливо лезущую в душу на закиданных окурками и консервными банками кавказских и крымских ривьерах. И в минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами прежде всего встают серые скалы, свинцовое море, лишенные вершин могучие лиственницы и темные глубины сырых еловых лесов...

Кроме основной работы, я имел еще одно задание — осмотреть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катуни, близ большого села Чемал. Кратчайший путь туда лежал мимо самого высокого на Алтае Катунского хребта по долине верхней Катуни. Дойдя до села Уймон, я должен был перевалить Теректинские белки, — тоже высокий хребет — и через Онгудай снова выйти в долину Катуни.

— Только здесь, на этом пути, я испытал настоящее очарование природы Алтая. Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим вьючным караваном, после долгого пути по урману, — густому лесу из пихты, кедра и лиственницы, — спустился в долину Катуни. В этом месте ровная гладь займища сильно задержала нас. Кони проваливались по брюхо в чмокающую бурую грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на ночевку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катуни. Прибылая луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше...

Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катуни. В свете луны река казалась широкой. Однако когда передовой въехал на своем бесстрашном чалом коне в шумящую тусклую воду и за ним устремились все мы, вода оказалась чуть выше колен. Мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое сибиряками карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны отдельные тощие ели и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жесткая осока. В таком месте лошади остались бы на ночь без корма, а поэтому я решил двигаться дальше. Начавшийся подъем давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей — в мягком моховом ковре. Ехать было не весело, да жалко было усталых лошадей. Так мы ехали часа полтора, пока лес не поредел. Появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъем не кончился, а, наоборот, стал еще круче. Как мы ни бодрились, но после всех дневных передряг два часа подъема оказались очень тяжелыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры по камням, и показалась почти плоская вершина отрога. Здесь была и трава для лошадей, и сухое место для установки палатки. Мигом лошади были развьючены, палатки поставлены под громадным кедром, и после обычной процедуры распития ведра чая и раскуривания трубок у костра мы погрузились в глубокий сон.

Наутро все немного проспали после вчерашней мурцовки. Я проснулся от яркого света и быстро выбрался из палатки. Свежий ветер колыхал темнозеленые ветки кедров. Между двумя деревьями, левее, как в темной раме, висели в розовом чистом свете легкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам белков струились все мыслимые сочетания светлых оттенков красного цвета. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника лежали огромные косые синие полосы теней. Этот голубой фундамент еще более усиливал воздушную легкость горных громад, казалось, излучавших свой собственный свет, в то время как видневшееся между ними небо представляло собой море чистого золота. Не отрываясь, я смотрел на белки, так неожиданно представшие передо мною. Прошло несколько минут, солнце поднялось выше, золото приобрело пурпурный оттенок, а с вершин сбежала их розовая окраска и сменилась чисто голубой, в то время как ледник засверкал серебром. Звенели ботала, перекликавшиеся под деревьями рабочие сгоняли коней для вьючки, заворачивали и обвязывали вьюки, а я все любовался победой светового волшебства над тяжестью косной материи. После замкнутого кругозора таежных троп, после дикой суровости гольцовых тундр и тяжелых скалистых громад, это был новый мир, — мир прозрачного сияния и изменчивой световой игры.

Как видите, моя первая любовь к высокогорьям Алтайских белков вспыхнула

неожиданно и сильно. Эта любовь дарила меня в дальнейшем все новыми открытиями. Не берусь описывать ощущения, возникающие в душе при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызвал во мне обостренное понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии...

Миновав высокогорную часть маршрута, я спустился опять в долину Катуни, и потом в Уймонскую степь, — плоскую котловину с превосходным кормом для лошадей, да и для нас, — у гостеприимных жителей небольших поселков, разбросанных по всей котловине. В дальнейшем Теректинские белки не дали мне интересных геологических наблюдений — на широком плоском гребне хребта шли сплошные однообразные граниты. Подъем на хребет со стороны Уймона был крут до невозможности. Много человеческого и конского пота было пролито, едва только мы миновали полосу черни, а уж от крепкой словесности должна бы была зачахнуть трава на всем этом пути моего каравана. Да и сама чернь, — густая тайга — смесь кедра с елью и осиной, с высокою травой, доходившей всаднику до плеч, — была трудна для передвижения при моем тяжелом вьючном снаряжении, с артиллерийскими седлами и большими ящиками. Вы поймете поэтому, как я радовался, выбравшись на плоское водораздельное пространство хребта выше границы леса. Но и тут, даже у границы вечных снегов, мы натолкнулись на обширную полосу болот, в которых вязли и бились, пока не догадались пересечь их косо, по краю снеговых полей. Спуск к Онгудаю был легче, но длинен и однообразен. Долгие странствования в труднодоступных районах выработали во мне особую терпеливость, когда телом участвуешь во всех невзгодах длинного пути, а духовно как бы погружаешься в выжидательную спячку...

Добравшись до Онгудая, я отправил в Бийск через Алтайское своего помощника с коллекциями и снаряжением. Посещение Чемальских асбестовых месторождений я мог выполнить налегке. Вдвоем с проводником, на свежих конях, мы скоро добрались до Катуни и остановились на отдых в селении Каянча.

Чай с душистым медом был особенно вкусен и мы долго просидели с приютившим меня молодым учителем у чисто выструганного белого стола в садике. Мой проводник — угрюмый, молчаливый ойрот — беспечно посасывал окованную медью трубку. А я расспрашивал приветливого хозяина о достопримечательностях дальнейшего пути до Чемала. Он охотно удовлетворял мое любопытство.

— Вот что еще, товарищ инженер, — сказал он, — недалеко от Чемала попадется вам деревенька. Там живет художник знаменитый наш — Чоросов, слыхали, наверное. Старикан сердитый, но ежели придетесь ему по сердцу, все покажет, а картин у него красивых гибель

Я вспомнил виденные мною в Томске и Бийске картины Чоросова — особенно «Корону Катуни» и «Хан-Алтай» — и решил непременно заехать к художнику. Теперь совсем по-другому настроенный, я находил их поразительно верными. То, что казалось надуманным и преувеличенным на полотнах в тесной комнате музея, было поражающе прекрасно в натуре. Я догадался, что уменьшение размера и планов, обычно полезное для четкости выражения живописной передачи, при гигантских высотах и массе света, очень затрудняет верность перенесения белков на полотно. Не избежал этого и Чоросов, несмотря на всю силу своего таланта. Однако то, что было дано в его картинах, смелее и вернее отражало холодную сверкающую душу гор, чем у кого-либо из других художников. Посмотреть его многочисленные работы, а может быть, и приобрести какой-нибудь эскиз, казалось мне хорошим завершением моего знакомства с белками Алтая.

Дорога по берегу Катуни была мне ясна, и я отпустил тут же в Каянче своего проводника. В середине следующего дня я уже въезжал на невысокий, но крутой, каменистый подъем. С него передо мной открылась залитая солнцем ровная поверхность устья ущелья, на которой золотилось хлебное поле. Несколько новых домов, блестя светложелтыми бревнами, расположились у края леса. Там, где высокие стволы лиственниц образовывали небольшой выступ, окружая поляну с сочной травой, усеянную яркими точками пионов, стояла большая постройка. Все в точности соответствовало описанию каянчинского учителя и я уверенно направил коня к дому художника Чоросова.

Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлен, когда на крыльцо вышел подвижной, суховатый, бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его монгольское лицо, я заметил морщины на запавших щеках и на выпуклом высоком лбу и сильную проседь в торчавших ежиком волосах и жестких усах. Я был принят любезно, но не скажу, чтобы радушно.

За неизбежным чаем я, что называется, излил художнику душу, или, вернее, то, что западо в нее после недавнего высокогорного путешествия. Повидимому, Чоросов поверил искренности моего восхищения. Он стал приветливее, его ойротская молчаливость сменилась дружеской беседой.

После чая он повел меня в мастерскую. Просторная неоклеенная комната с большими окнами занимала половину дома. Среди множества этюдов и небольших картин выделялась одна картина, к которой меня как-то сразу потянуло.

Чоросов сказал мне, что это вариант картины «Дены-Дерь» — Озеро Горных Духов, — которая находится в одном из сибирских музеев. Я слыхал о ней, но раньше не видел ее.

Я опишу эту картину по возможности подробно, так как она будет иметь важное значение для понимания дальнейших событий. Небольшой холст, — не более метра в ширину, — в простой черной раме, светился в лучах вечернего солнца своими чистыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего всю среднюю часть картины, дышала холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивался с пятнами чистого снега, лежал ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу у самых корней поваленного кедра, а мелкие льдины и большие серые камни отбрасывали на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимали вверх густые ветви, как взнесенные к небу руки. На заднем плане, прямо в озеро обрывались белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цвета. В центре картины — ледниковый трог, заполненный ослепительным снегом, опускал в озеро вал голубого фирна, а высоко над ним поднималась алмазная трехгранная пирамида, от которой в сторону вился шарф розовых облаков. Левый край долины трога составляла гора, в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Гора стояла на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей опускались к дальнему краю озера...

От картины так и веяло той отрешенностью и холодной сверкающей чистотой, которая покорила меня в пути по Катунскому хребту. Я забыл обо всех остальных картинах и долго стоял, всматриваясь в подлинное лицо Алтайских белков, удивляясь тонкой наблюдательности народа, давшего озеру имя Дены-Дерь — Озеро Горных Духов.

Чоросов, сощурившись, поглядывал на меня, довольный произведенным впечатлением.

— Где вы нашли такое озеро, Григорий Иванович? — спросил я, — да и существует ли оно на самом деле?

— Озеро существует. И, должен сказать, оно, конечно, лучше, чем здесь, — ответил Чоросов. — Ну, а найти это озеро не легко...

Художник пытливо посмотрел на меня и продолжал:

— Вы, наверное, не знаете, какие легенды у ойротов связаны с этим озером?

— О, должно быть, интересные, раз они так поэтично назвали озеро!

Чоросов перевел взгляд на картину.

— Вы на картине ничего особенного не заметили? — спросил он. — Обычно не замечают...

— Вот тут, в левом углу, где гора конусом, — сказал я. — Извините, Григорий Иванович, но тут мне краски показались просто невозможными.

— А посмотрите-ка еще повнимательней...

Я стал всматриваться в удивившее меня место. И такова была тонкость работы художника, что чем больше я смотрел, тем больше деталей как бы всплывало из глубины картины. У подножья конусообразной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающееся отражение этого света и блеск от сверкающих снегов на воде давало длинные полосы теней, почему-то красных оттенков. Еще более густые красные мазки виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, надо льдами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры столбы синевато-зеленого дыма или пара. Эта часть ландшафта по необычайным и неестественным краскам имела зловещий, фантастический вид...

— Вот этого я не понимаю. — Я указал на синевато-зеленые столбы.

— И не старайтесь, — усмехнулся Чоросов. — Вы природу хорошо знаете и любите, но вы не верите ей.

— А как вы сами, Григорий Иванович, объясните эти красные огни на скалах, сине-зеленые столбы, светящиеся облака?

— Объяснение простое — горные духи, — спокойно ответил Чоросов.

Я быстро повернулся к нему, но и тени усмешки не заметил на его замкнутом лице.

— Я не шучу. Вы думаете, название озеру дано за его неземную красоту? Нет, красота красотою, а слава у него дурная. Вот и я — картину сделал, а ноги еле унес. В девятьсот девятом я там был и до тринадцатого болел...

Я попросил художника рассказать о легендах, связанных с озером.

— Хорошо, — согласился Чоросов, — пойдемте, сядем.

Мы уселись на широком диване, покрытом грубым желто-синим монгольским ковром.

— Красота этого места, — начал Чоросов, — издавна привлекала людей, но какие-то непонятные силы часто губили приходящих к озеру. Роковое вли-

яние озера испытал и я, но об этом — после. Интересно, что озеро наиболее красиво в теплые летние дни, и именно в такие дни сильнее проявляется его губительная сила. Как только приходившие к озеру люди видели кроваво-красные огни на скалах, мелькание сине-зеленых призрачных столбов, они начинали испытывать странные ощущения... Окрестные снеговые пики словно ложились венцом на их голову, давя чудовищной тяжестью, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где им мерещились тени горных духов. Но, как только добирались они до этого места, — все исчезало, — оставались одни лишь голые скалы. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетенной душой, несчастные уходили из рокового места. Но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников, как-то раз попавших к озеру, с невероятным трудом добрались до ближайшей юрты. Многие из них умерли, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость. С тех пор о Дены-Дерь разнеслась недобрая слава. Люди почти перестали бывать на нем. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где бывают сборища духов, не растет ничего, — даже травы... Я еще в детстве слыхал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. Двадцать лет тому назад я был там и провел два дня в полном одиночестве. В первый день я не заметил ничего особенного, и долго работал, делая этюд за этюдом. Однако в этот день по небу быстро проносились густые облака, освещение часто менялось, и мне не удавалось схватить прозрачности горного воздуха. Я решил остаться еще на день, заночевав в леске, в полуверсте от озера. К вечеру я ощутил легкую тошноту и странное жжение во рту, заставлявшее меня все время сплевывать слюну... Чудесное сияющее утро следующего дня обещало яркую погоду. Я поплелся к озеру с тяжелой головой, борясь со слабостью, но вскоре увлекся работой и забыл про недомогание. Солнце сильно пригревало, когда я закончил разработку этюда и отодвинул мольберт, чтобы бросить последний взгляд на все озеро. Я сильно устал, руки дрожали, в голове временами странно мутилось и темнело в глазах. Тут я и увидел духов озера. Над прозрачной гладью воды проплыла тень от облака. Солнечные лучи, пересекавшие наискось озеро, стали как будто ярче после минутного затемнения. На удалявшейся грани света и тени я вдруг заметил несколько столбов призрачного сине-зеленого цвета, имевших сходство с громадными человеческими фигурами в мантиях. Они то стояли на месте, то быстро передвигались, то таяли в воздухе. Застыв в изумлении, я смотрел на них с чувством гнетущего страха. Еще несколько минут продолжалось бесшумное движение призраков, потом в скалах замелькали отблески и вспышки кровавого цвета. А надо всем этим висело светившееся слабым зеленым светом облако в форме гриба... Я вдруг почувствовал прилив сил, зрение обострилось, удаленные скалы будто надвигались на меня, и я различал все подробности их крутых склонов. Схватив кисть, с дикой энергией я подбирал краски, торопясь запечатлеть на полотне необыкновенное зрелище. Легкий ветерок пронесся над озером, и мгновенно исчезли и облако, и призраки, — только красные угли в скалах попрежнему мрачно поблескивали. Возбуждение, охватившее было меня, внезапно ослабело, недомогание резко возросло — словно жизненная сила утекала с концов пальцев, державших палитру и кисть. Предчувствие чего-то недоброго заставляло меня торопиться. Я быстро закрыл этюдник, собрал свои пожитки. Я чувствовал, как страшная тяжесть навалилась мне на грудь, голову... Ветер над озером усиливался. Облака закрыли вершины гор и чистые краски ландшафта быстро тускнели. Одухотворенная и бесстрастная красота озера сменилась печальной хмуростью, красные отблески на месте танца призраков погасли и лишь темные, дикие скалы чернели там под пятнами снега. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из моей груди, когда я, борясь с упадком сил и давившей меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Путь до того места, где по уговору ожидали меня мои проводники, отказавшиеся итти на Дены-Дерь, я прошел, как в смутном сне. Горы качались передо мной, приступы страшной рвоты приводили меня в полное изнеможение. Временами я падал и долго не мог подняться. Как я добрался до озера, где ждали меня проводники, не помню, да это и безразлично, — главное то, что привязанный на спину ящик с этюдами уцелел.

«Однако ты пропадешь, Чорос, — тоном беспристрастного наблюдателя заметил старший проводник, увидев мое состояние, — слюна течет...»

— Я не умер, как видите, но долгое время чувствовал себя очень плохо. Какая-то вялость и притупление зрения мешали жить и работать. Большую картину Дены-Дерь я написал только год спустя, а эту отделывал понемногу, когда встал на ноги. Правду об озере Дены-Дерь и населяющих его горных духах я узнал путем тяжелых страданий...

Чоросов замолк, потирая морщинистые руки. Сквозь частый переплет большого

окна виднелись освещенные полосы облаков над вершинами гор, а внизу стлалась по полям сумеречная мгла. Крайне заинтересованный повестью о духах озера Дены-Дерь, я не имел оснований не верить художнику, но в то же время не мог подыскать никакого объяснения чудесным явлениям, запечатленным в красках на его картине.

Мы перешли в столовую. Яркая лампа-молния над столом прогнала тень нереального, навеянную рассказом художника. Но я не утерпел и спросил его, как разыскать озеро горных духов на случай, если бы мне еще раз представилась возможность побывать в тех местах. — «Ага, забрало вас это озеро!» — улыбнулся Чоросов. Я достал из полевой сумки книжку, карандаш и приготовился записывать.

— Это место в Катунском хребте, на его восточном конце. Долину Аргута знаете? Это глубокое ущелье между Чуйским и Катунским белками. Внизу оно непроходимо, обойдете его стороной. Верст сорок вверх по Аргуту от его устья, справа по течению выходит речка Юнеур. Это место приметно потому, что Аргут дает здесь кривун и устье Юнеура выходит на широкое плоское место. От устья его пойдете вверх по Аргуту, левым берегом,, — считайте так верст шесть, — и здесь, справа по ходу, выйдет небольшой ключ или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая и глубоко уходит в Катунский хребет. Так по этой долине вам и ехать. Место сухое, будут лиственницы большие, раскидистые. Когда подниметесь высоко, встретите большой крутой порог, с него водопад маленький, и тут долина повернет вправо. Дно будет совсем плоское и широкое и на нем цепью пять озер, одно от другого — где с пол версты, где с версту. Последнее, пятое озеро, где скалы замыкаются, и будет Дены-Дерь. Вот и все. Да, вспомнил, — хорошая примета! В устье ключа, куда будете сворачивать с Аргута, будет небольшое болотце. На краю его, налево, стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чортовы вилы...

Я записывал указания Чоросова.

Утром я просматривал работы художника. Запомнилось несколько очаровательных этюдов, но ни один не шел в сравнение с Дены-Дерь. Я не решился даже намекнуть на возможность приобретения этой картины при моих весьма скромных средствах. Я купил два наброска снежных гор — на рассвете и закате, — да еще получил в подарок маленький рисунок пером, изображавший мои любимые лиственницы с глубоким знанием характера дерева. На прощанье Чоросов сказал мне: «Вижу, как вы к Дены-Дерь присматриваетесь. Но эту вам подарить не могу. Я подарю вам этюд, сделанный мною на озере. Только, — он помолчал немного, — это уж после того, как умру, — сейчас мне расстаться с ним трудно... Не огорчайтесь, это будет скоро... Вам перешлют», — серьезно, со своей смущающей бесстрастностью добавил художник. Пожелав Чоросову долгой жизни, а себе скорой встречи с ним, я сел на коня, и судьба, как оказалось, навсегда разъединила нас...

Я не скоро снова попал на Алтай. Четыре года прошли в напряженной работе, а на пятый я временно выбыл из строя. Жестокий ревматизм, — профессиональная болезнь таежников, на полгода свалил меня, а потом пришлось возиться с ослабевшим сердцем.

Я бежал от скуки и безделья с южного курорта в хмурый, но милый Ленинград. По предложению главка, я занялся ртутным местонахождением Сефидкана в Средней Азии. В солнечной суши Туркестана я надеялся выгнать одолевшую меня хворь и вернуться к унылой дикости севера, навсегда заполонившей мою душу.

В этой привязанности я был скучнейшим однолюбом и, лишенный возможности окунуться в безлюдные просторы, я временами боролся с приступами острой тоски по Сибири.

В один из весенних вечеров, когда я сидел за микроскопом у себя дома, принесли посылку, которая больше огорчила, чем обрадовала меня. В плоском ящике из гладких кедровых досок лежал этюд Дены-Дерь, как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь. Достаточно было мне увидеть снова Озеро Горных Духов, как на меня нахлынули воспоминания о рассказе Чоросова. Далекая и недоступная краса Дены-Дерь наполнила меня какой-то тревожной печалью. Стараясь развлечь себя работой, я установил под микроскоп новый шлиф рудной породы из Сефидкана. Привычной рукой я опустил тубус винтом кремальеры, настроил фокус микрометром и углубился в изучение последовательности кристаллизации ртутной руды. Шлиф, — отполированная пластинка породы, — представлял собою почти чистую киноварь, и с его изучением дело не ладилось. Тонкие оттенки цветов, отраженные от шлифа, скрадывались электрическим светом. Я заменил опак-иллюминатор Сильверманновским для косого освещения и включил лампу дневного света, — превосходную выдумку, заменяющую солнце в суженном мире микроскопа... Этюд Озера Горных Духов продолжал стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубоватой стали, так поразившие меня в свое время на картине Чоросова. Секундой позже до моего

сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренние рефлексы ртутной руды. Я повернул столик микроскопа, и кроваво-красные отблески замигали, затухая или переходя в более глубокий коричневато-красный тон, в то время, как большая часть поверхности минерала продолжала отливать холодной сталью. Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил лучи осветителя с дневным светом на этюд Озера Горных Духов и увидел в скалах у подножья конусообразной горы оттенки цветов, в точности сходные с только-что виденными под микроскопом. Я поспешно схватил тяжелые таблицы Шнейдерхена и тут оказалось, что цвета с формулами... впрочем, незачем приводить здесь самые формулы. Скажу только, что для науки, изучающей руды различных металлов и металлы, — минералографии, — созданы цветные таблицы тончайших оттенков всех мыслимых цветов, которых насчитывается около 700. Каждый из оттенков имеет свое обозначение, сумма оттенков составляет формулу минерала. Так вот оказалось, что краски Чоросова в его изображении местообитания горных духов, по Шнейдерхеновским таблицам, точно соответствуют оттенкам киновари в разных условиях освещения, углах падения и всей прочей сложной игры света, называемой в науке интерференцией световых волн. Тайна озера Дены-Дерь вдруг стала для меня ясной. И я невольно удивился — почему подобного рода догадка не пришла мне в голову давно, еще там, в горах Алтая.

Я вызвал по телефону такси и вскоре уже подъезжал к ограде, за которой светились большие окна химической лаборатории. Мой знакомый, — химик и металлург, — был еще здесь. «А, сибирский медведь! — приветствовал он меня: — Зачем пожаловали? Опять срочный анализ?» — «Нет, Дмитрий Михайлович, я к вам за справкой. Что знаете вы замечательного про ртуть?» — «О, ртуть металл столь замечательный, что книгу толстую написать можно!» — «Ртуть кипит при трехстах семидесяти градусах, а при скольких она испаряется?» — «При любых, дорогой инженер, за исключением сильного мороза». — «Значит, летуча?» — «Необычайно летуча для своего удельного веса». — «Еще вопрос: ртутные пары сами светятся или нет, и каким цветом?» — «Сами не светятся, но иногда, при сильной концентрации в проходящем свете дают сине-зеленые оттенки. При электрических разрядах в разреженном воздухе светятся зеленовато-белым светом»... — «Все ясно! Большущее спасибо, дорогой!» — «Стойте, вы куда? Объясните, в чем дело?» — попытался задержать меня химик, но так и не получил от меня ответа.

Через пять минут такси привез меня к дому моего врача. Со встревоженным видом добрый старик вышел в переднюю, узнав мой голос.

— Что случилось, — опять сердце пошаливает?

— Нет, все в порядке! Я на минутку. Скажите, каковы главные симптомы отравления ртутными парами?

— М-м, вообще ртутью — слюнотечение, понос и рвота, а вот насчет паров сейчас посмотрю... Заходите.

— Да, нет, я на минуточку, посмотрите скорее, дорогой Павел Николаевич.

Старик ушел в кабинет и через минуту вышел ко мне с раскрытой книгой в руке.

— Вот видите, пары ртути, — падение кровяного давления, сильное возбуждение психики, учащенное прерывистое дыхание, а дальше смерть от паралича сердца...

— Вот это великолепно! — невольно воскликнул я.

— Что великолепно, — удивился доктор. — Такая смерть?..

Теперь я был уверен, что весь ход моих мыслей безусловно правилен. Как только я вернулся домой, я сразу же позвонил по телефону к начальнику своего главка и сообщил, что в интересах нашей работы, я немедленно должен ехать на Алтай. Я попросил отпустить со мной Красулина, — молодого дипломника, физическая сила и хорошая голова которого были очень нужны мне при моем все еще болезненном состоянии.

В конце мая уже можно было беспрепятственно достигнуть озера. Как-раз к этому времени я вышел из селенья Иня на Чуйском тракте с Красулиным и двумя опытными таежниками-рабочими.

Я помнил все наставления художника о предстоящем пути, а кроме того, в боковом кармане у меня лежала старая истрепанная записная книжка, в которую я записал в свое время со слов Чоросова подробный маршрут.

Когда мой маленький отряд раскинул вечером палатку в устье долины, напротив похожей на вилы сухой лиственницы, я не без волнения почувствовал, что завтра будет решена правильность моих предположений. Красулину передалось мое волнение и он подсел ко мне на бугорок, где я сидел, задумчиво созерцая рогатую лиственницу.

— Владимир Евгеньевич, — тихо начал он, — помните, вы обещали рассказать о цели нашей поездки, когда попадем в горы..

— Я надеюсь, Боря, не позднее, чем завтра, обнаружить крупное месторождение ртути, — может быть, частично самородной, — сказал я — Завтра увидим, прав я или нет Вы знаете, что ртуть встречается обычно в своих место-

рождениях в рассеянном виде, в малых концентрациях. Большое месторождение с богатым содержанием ртути известно только одно в мире — это...

— Альмадена в Испании, — сказал Красулин.

— Да, уже много веков Альмадена снабжает ртутью полмира. Один раз там даже было найдено крохотное озеро чистой ртути. Капли ртути и по сие время сочатся в рудниках Альмадены. Так вот, я и рассчитываю найти и здесь нечто подобное... Что там целые утесы чуть ли не целиком состоят из киновари, — в этом я убежден, если только...

— Но, Владимир Евгеньевич, если мы откроем такое месторождение, — это переворот во всей ртутной экономике!

— Конечно, дорогой! Ртуть — это важнейший металл медицины и войны. Ну, а теперь спать! Завтра поднимемся еще затемно. Кажется, день будет пасмурный, а нам это и нужно.

— Почему так важен пасмурный день? — спросил Красулин.

— Потому, что я не хочу отравить всех вас, да и сам отравиться. Пары ртути — не шутка... Несомненно, что открытие этого месторождения задержалось на сотни лет, именно из-за гибельных свойств ртутных паров. Завтра мы сразимся с горными духами, а там видно будет...

Дымка розового тумана заволокла горы. В долине стемнело. Только острые вершины белков еще долго светились в невидимых нам лучах солнца. Потом и они потухли. Я все еще сидел, куря у костра, но в конце-концов поборол свое волнение и улегся спать.

Все события следующего дня запомнились мне почему-то в отрывках.

Отчетливо врезалось в памяти обширное, совершенно плоское дно долины между третьим и четвертым озером. Середина ее лежала ровным зеленым ковром мшистого болота без единого деревца, и только по краям долины высились большие кедры. Лишенные ветвей с одной стороны, они тянули могучие ветви в сторону Озера Горных Духов, похожие на темные огромные флаги на высоких столбах. Низкие, хмурые облака быстро проносились над ними. Четвертое озеро было невелико и кругло. Из голубовато-серой воды, покрытой рябью, торчала гряда острых камней. Перебравшись через них, мы попали в густые заросли кедрового сланца, а еще через десять минут я стоял на берегу Озера Горных Духов. Пепельный цвет печали лежал на воде и снежных склонах горной цепи. Тем не менее, я сразу узнал храм Горных Духов, поразивший мое воображение несколько лет тому назад в студии Чоросова. Добраться до отливавших сталью скал у подножья конусообразной горы оказалось нелегким делом. Однако все трудности были нами мгновенно забыты, когда геологический молоток, звеня, отбил от ребра утеса первый тяжелый кусок киновари. Дальше скалы понижались скошенными ступенями к небольшой впадине, над которой вился легкий дымок. Впадину заполняла мутная горячая вода. Вокруг из глубоких расселин били горячие ключи, застилая туманной завесой края впадины.

Я поручил Красулину глазомерную съемку рудного участка, а сам двинулся вместе с рабочим сквозь пелену тумана к подошве горы.

— Что это, товарищ начальник? — спросил вдруг рабочий. Я взглянул в указанном им направлении. Там, наполовину скрытое каменистой грядой, блестело тусклым и зловещим блеском ртутное озерко, — моя воплощенная фантазия. Поверхность озерка казалась выпуклой. С непередаваемым волнением склонился я над ним, и, погружая руки в ускользающую и неподатливую жидкость, с бьющимся сердцем думал о нескольких тысячах тонн жидкого металла, — моем подарке родине. Прибежавший на мой зов Красулин застыл в немом восхищении. Однако пришлось прекратить восторги и усиленно подгонять своих спутников в выполнении необходимой работы. Уже чувствовалась тяжесть в голове и жжение во рту — зловещие признаки начинающегося ртутного отравления. Я защелкал направо и налево лейкой, рабочий наполнил фляги ртутью из озерка, Красулин и второй рабочий спешно обмеряли выходы рудных пород и размеры озерка. Казалось, все было закончено с молниеносной быстротой, но тем не менее, обратно мы шли медленно, вяло, борясь с неясным чувством угнетения и страха. Пока мы огибали озеро по левому берегу, облака разошлись и нашим глазам открылся граненый алмазный пик. Косые солнечные лучи прорвались сквозь ворота дальнего ущелья, и вся долина озера наполнилась искрящимся прозрачным светом. Обернувшись, я увидел сине-зеленые призраки, мелькавшие в недавно покинутом нами месте, и приказал бежать. К счастью, берег постепенно выравнивался, и мы скоро добрались до лошадей.

— Гони, ребята! — крикнул я, поворачивая своего коня, и, бросив последний взгляд на Дены-Дерь, унес в памяти пляску духов вокруг зеленоватого облака...

В тот же день мы спустились по долине до второго озера. Угнетенное состояние не проходило. Ночью мы все чувствовали себя не важно, но в общем все кончилось для нас вполне благополучно.

И вот в центр полетели телеграммы. Оттуда последовали распоряжения наладить безопасное и подробное изучение Дены-Дерь. Волшебное озеро дало и дает

Советскому Союзу такое количество ртути, что сразу был решен вопрос о нашей полнейшей независимости от других стран, что теперь, в дни Отечественной войны, имеет совершенно особенное значение.

А я навсегда сохранил признательную память о бесстрашном и правдивом искателе души гор, чьи тонкие и верные наблюдения открыли в красках его картины богатство Озера Горных Духов — о художнике Чоросове.

★

ГОЛЕЦ «ПОДЛУННЫЙ»

— Попробую и я рассказать вам кое-что, — сказал молчавший весь вечер Георгий Балабин, коренастый, плотный, похожий на медведя человек, заросший до глаз короткой щетинистой бородой. За этой простоватой внешностью скрывались знания и огромный опыт заслуженно уважаемого в ученом мире, умного и наблюдательного исследователя Сибири.

— В ваших рассказах, — продолжал Балабин, — я подметил одну особенность. Необычайное, встреченное каждым из вас, как бы соответствует внутренним исканиям и мечтам каждого... Разве эти встречи с необычайным — не результат многолетних, может быть, бессознательных поисков своей мечты? Терпеливое стремление к ней тренирует нашу чуткость, дает умение отделить настоящее от случайного — это своего рода внутренний компас, который в нужную минуту всегда подскажет вам, что вы на верном румбе... И, кто знает, — быть может, мы потому и встречали в жизни необычайное, что постоянно следовали этому своему компасу...

В Восточной Сибири есть Витимо-Олекминский национальный округ. Северо-восточная часть этой обширной горной страны, примыкающая к южной границе Якутии, представляет собою сплошной узел горных хребтов, едва ли не самых высоких во всей Сибири. Недоступность и безлюдье этих мест — исключительные. До самого последнего времени путешественники в них не бывали. Шесть лет тому назад мне пришлось первому пересечь это «белое пятно» на карте. Я говорю «первому», подразумевая, конечно, ученых-исследователей. Коренные жители страны, — тунгусы и якуты, — во время своих охотничьих перекочевок исходили вдоль и поперек и эту дикую область. Тунгусские охотники сообщали мне не раз драгоценные сведения об участках, еще не пересеченных маршрутами, и уверенно чертили подробные карты речек, ключей и горных хребтов. Даже самые мелкие речки, служившие основными путями при кочевьях, имели у них свои названия. Не так обстояло дело с гольцами. Практический ум таежного охотника избегал лишнего загромождения памяти названиями не важных для передвижения или обитания мест, и для горных вершин мне приходилось придумывать названия самому.

Итак, в конце декабря 1935 года я находился на реке Токко, готовясь покинуть пределы Якутии и пройти к верховьям реки, в Витимо-Олекминский национальный округ. От моей большой экспедиции остался лишь маленький отряд, — остальных сотрудников я направил в сторону Алдана и на Лену, расширив район своих исследований.

Сам же я, не взирая на свирепые морозы и недостаточные запасы продуктов, стремился пересечь горный узел, доступный легче всего именно в зимнее время, когда бурные реки, бушующие в непроходимых ущельях, скованы льдом, и передвижение по дну ущелий на оленьих нартах не встречает особых затруднений. Три моих спутника были незаменимы — каждый в своем роде. Якут Габышев, проводник, он же вожатый и хозяин оленьего каравана, геолог Александров и рабочий Алексей, исполнявший обязанности повара, золотоискатель и охотник, — все испытанные таежники, не раз ходившие со мной в глухие места Сибири.

Восьмой месяц моего путешествия близился к концу, но впереди была еще очень трудная часть пути. Наш караван из семи нарт с четырьмя запасными оленями быстро двигался по замерзшей реке и все большая часть долины Токко наносилась впервые на географическую карту. Река изменила свое извилистое течение, оправдывавшее ее название (Токкорикан — по-тунгусски — извилистый), и текла теперь прямо. День за днем планшеты нашей съемки пристраивались к большой карте, — результату многомесячного упорного труда, показывая широкую, прямую долину, направляющуюся к истокам реки, — к югу. День за днем раздавался в тишине дробный стук оленьих копыт, скрип покачивающихся нарт, и мы уносились все дальше, туда, где вставала над округленными волнами низких сопок зазубренная линия мрачных гор.

Мы продвигались по однообразной местности, — южному краю Ленской платформы. Это невысокое плато, расчлененное на бесконечные ряды сопок почти одинаковой высоты, мы старались, несмотря на короткие дни, проехать как можно скорее. Двадцать первого декабря закругленные, покрытые темной щетиной елового леса сопки сменились длинными

заострявшимися кверху увалами, поросшими лиственницами, рыжевато-серый цвет которых резко выделялся на темной зелени лесов из ели и кедра. Это означало, что мы покинули пределы платформы с ее однообразным рельефом и известняками, и подошли к передовым бастионам горной страны из гранитов и гнейсов — твердых пород древнейшего цоколя материка, поднятых здесь недавними движениями земной коры на большую высоту. Оживление геолога, до сих пор сумрачно сидевшего на своей нарте со съемочной планшеткой на груди, как нельзя лучше показывало перемену в окружающей местности.

Небо расчищалось и голубело над головой, низкие тучи плотной завесой отходили на юг, косо нависая над предверием горной страны. Мороз усиливался, скрип нарт становился все звонче и выше тоном, над караваном вилось облако пара от короткого и частого дыхания оленей.

Я удобно расположился на вещах, на широкой грузовой нарте, поджав под себя левую ногу и свесив правую, игравшую роль тормоза и руля. Время от времени я перекладывал вожжу из одной руки в другую или тревожно пошевеливал пальцами ног, стараясь уловить грозные признаки замерзания, требовавшие немедленной пробежки. Мы давно прикончили наш запас масла — это понижало сопротивляемость холоду.

Серые облака впереди окрасились красным и в углубления снежной пелены легли длинные голубые тени. Выпуклый крутой бок массивного гольца выдвинулся на повороте реки. Обогнув его, мы увидели, что долина образовала широкую развилину, разделенную массивной сопкой с зубчатым гребнем. Это и была большая развилина вершины Токко, в месте впадения крупного левого притока — Чироды. Отсюда долина Токко, превращаясь в узкое ущелье, загроможденное порогами, поворачивала к юго-западу, приближаясь к верховьям Чары. Там, в обширной котловине, между двумя высокими хребтами, находился небольшой населенный пункт с факторией и радиостанцией. Туда мы и стремились для возобновления запасов продовольствия. Свернув в долину Токко уже в сумерках, мы быстро выбрали место для палатки. В нашем давно путешествовавшем отряде все необходимые вечерние работы производились с быстротой и, я бы сказал, изяществом хорошо сыгравшейся труппы артистов. В сгущавшейся темноте мы связали шесты, разгребли снег, поставили палатку и напилили дров. Алексей установил печку и занялся приготовлением обеда. Из торчавшей сбоку от входа палатки печной трубы вырывалось бледное пламя. Оглядев в последний раз смутно черневшие на снегу нарты, мы отогнули вход в палатку и, осторожно миновав раскаленную печку, погрузились в тепло. Что может быть приятнее первых минут в нагретой палатке после трудового дня на жестком морозе?! Яростно срываешь с себя обледенелый мокрый шарф, закрывавший лицо, снимаешь шапку. Еще немного терпения — и оленьи шкуры поставлены на лиственных ветках, покрывающих мерзлую землю, на шкурах развернуты спальные мешки. Освободившись от тяжелой одежды, закуриваешь огромную козью ножку и с наслаждением впитываешь всем намерзшимся телом чудесную теплоту.

Так было и в этот вечер, когда мы расселись в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное количество горячего чая, в ожидании пока сварится мясо. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру появляется неутолимая жажда. В благодатном тепле, при красноватом мерцании уютно потрескивающей печки хмурые обветренные лица отмякали, суровые морщины разглаживались. Наконец, в печку перестали подкладывать дрова и в палатку неумолимо стал забираться ледяной воздух. Нужно снова надевать ватники, запасные меховые носки и влезать в спальные мешки, тщательно укутывая себя. В тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное пламя угасавшей печки, освещая то висевшие над головой для просушки унты, рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленную на утро растопку, то угол вьючного чемодана. Печка погасла, сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседавшего льда, треск лопавшегося дерева, беготня согревавшихся оленей...

Следующий день, — день зимнего солнцеворота, — принес хорошую погоду и еще более крепкий мороз. Бледное небо стояло над нами высоким и ясным. В недвижном воздухе морозного утра дыхание, вырываясь изо рта, слегка шелестело. Пар дыхания сразу превращался в мельчайшие льдинки. Трение льдинок на лету друг о друга и производило характерное тихое шуршание. Этот тихий шелест, называемый якутами «шопотом звезд», означал, что мороз больше сорока пяти градусов. Геолог, взявшийся голой рукой за оставленный на ночь снаружи ртутный термометр, невольно издал крик удивления — стеклянная палочка термометра разлетелась на длинные иглистые осколки, а замерзший ртутный шарик прилип к пальцам. Пришлось извлекать со дна чемодана спиртовой термометр, который вскоре показал почтенную цифру — 52. Возобновив запас дров и согревшись горячим чаем, мы разбрелись по своим делам. Геолог пое-

хал на нарте вверх по Чироде, проводник ушел проверять оленей, Алексей — промывать золото. Я решил взобраться на голец, чтобы осмотреться и заснять с высоты окружающую местность. Лагерь опустел. Палатка, наполовину скрытая мелкими лиственницами, казалась совсем маленькой, затерянной среди огромных скал. Выбрав пологий отрог, я начал медленно подниматься по звонко скрипевшему, немыслимо чистому снегу. Гладкие подошвы моих унтов скользили, приходилось цепляться за стволы деревьев, подталкивая себя руками. Морозный воздух не давал возможности глубоко дышать. Это сильно утомляло, крупные капли замерзшего пота окружали лицо по краю меховой шапки. Но все же я достиг небольшой площадки на вершине гольца, где стояли две большие глыбы гранита, обточенные ветрами и покрытые лишайником. Я вскарабкался на макушку одной из глыб и оглянулся кругом.

Позади склон гольца круто обрывался в широкий распадок, густо заросший кедрачем и казавшийся сверху пушистым ковром с узором из темнозеленых и белых пятен. Налево, за ребристой сопкой, шла белая полоса замерзшей Чироды, направо — такая же полоса означала Токко. С юга из голубой солнечной дали подходила покрытая серебристой дымкой стена хребта Удокан. Эта стена приблизительно на расстоянии полусотни километров от меня переламывалась углом и поворачивала на восток к Олекме. В месте перелома хребта высилось скопище огромных гольцов, значительно превосходивших по высоте все виденные здесь мною. Один голец особенно привлек мое внимание. Он стоял впереди всех остальных, ближе ко мне, одиноко подымаясь, как гигантская, слегка суживавшаяся кверху башня, верхушка которой была увенчана тремя огромными зубцами. С трудом справившись с непослушным в коченеющих руках карандашом, я зарисовал виденное и взял компасом засечки. Пора было спускаться...

Все та же застывшая тишина окружала меня, не чувствовалось ни малейшего колебания воздуха. Попрежнему высоко стояла надо мной чистейшая голубизна неба, такого же глубокого, как окружающая тишина. Каменный, застывший, скованный морозом мир был враждебен мне. И я почувствовал, как острая тоска по теплым странам шевельнулась в моей душе..

Еще с детских лет я безотчетно любил Африку. Детские впечатления от книг о путешествиях с приключениями сменились в юности более зрелой мечтой о малоисследованном Черном Материке, полном загадок. Я мечтал о залитых солнцем саваннах, с широкими кронами одиноких деревьев, о громадных озерах, о таинственных лесах Кении, о сухих плоскогорьях Южной Африки. Позднее, как географ и археолог, я видел в Африке колыбель человечества, — ту страну, откуда первые люди проникли в северные страны, вместе с потоком переселявшихся на север животных. Интерес ученого еще более укрепил юношеские мечты о душе Африки, — о могучей всепобеждающей древней жизни, разлившейся по просторам высоких плоскогорий, водам мощных рек, по овеваемым ветрами побережьям, открытым двум океанам...

Мне не пришлось привести свою мечту в исполнение и стать исследователем Черного Материка. Моя северная родина по необъятности не уступала Африке, а неизученных мест в ней было не меньше. И я сделался сибирским путешественником, и подпал под очарование беспредельных безлюдных просторов Севера. Только изредка, когда тело уставало от холода, а душа от хмурой и суровой природы, меня охватывала тоска по Африке, — такой интересной, манящей и недоступной...

Беспощадный мороз вернул меня в реальности. Я спустился со склона и пошел в лагерь. Солнце уже склонилось за голец, но еще никто из товарищей не вернулся. Я затопил печку, поставил на нее котел с замерзшим чаем и опустился на оленью шкуру, ожидая, когда палатка нагреется настолько, чтобы можно было раздеться...

Двадцать третье и двадцать четвертое декабря были трудными днями. Долина Токко превратилась в узкое ущелье, стиснутое боками высоких гольцов. Весь снег со льда был начисто сметен бушевавшими в теснине ветрами. Река застыла неровными буграми, вздымавшимися по всему течению, повторяя контуры волн на перекатах и порогах. В ущелье часто раздавался грохот, отдаленный гул или низкий стон лопавшихся и оседавших льдин. Местами изо льда торчали острые зубья черных камней.

Странно и жутко было итти, скользя и балансируя, и видеть прямо под своими ногами, сквозь зеленоватую прозрачную плиту льда полуметровой толщины бушующие волны реки, мелькавшие в зеленоватом мерцании с огромной быстротой. Особенно жутким казалось то, что этот хаос воды и пены несся под нашими ногами совершенно беззвучно, как будто заколдованный тяжелой морозной мглой, нависшей в ущелье. Продвижение каравана по гладкому льду связано с большим трудом. Олени совершенно беспомощны на скользкой твердой поверхности — копыта их разъезжались в разные стороны, животные бились, падали.

Из глубины ущелья неслся глухой шум, который все нарастал и вскоре превратился в низкий непрерывный рев. Мы

приблизились к одному из самых больших порогов, мощную силу которого не смогли укротить даже пятидесятиградусные морозы. Белый туман заполнял ущелье почти на половину высоты его отвесных стен из темносерых метаморфических сланцев. Темная в белой рамке льда и снега вода плавно закругленным валом вспучивалась на трехметровую высоту, переваливалась вниз, разбиваясь в пену и брызги об острые камни, и с ревом бросалась на скалу правого берега, там, где над чернеющими, выдолбленными водой пустотами нависли, едва держась, огромные глыбы. Левый берег был также обрывист. От скалы шел гладкий скат огромной льдины, спадавший прямо в порог. Проход был опасен и узок, но другого пути не было.

Геолог, подъехавший первым, нахмурился, взялся за связку-ремень, соединявший недоуздки каждой пары оленей, и медленно повел свою упряжку. Следующая очередь была моя — я встал между головами своих быков, беспокоившихся и нетерпеливо стремившихся вперед, и стал молча следить за геологом. Помочь товарищу я не мог, — нельзя было отпустить свою упряжку, так как каждый сантиметр, взятый правее, к стенке ущелья, имел решающее значение. Упряжка геолога, продвигаясь вперед, неуклонно сползала на край льдины, к дымящимся волнам ревущего порога. Метр, полметра, — если левый бык упадет еще раз, — все пропало... Бык не упал, еще минута и я приветствовал успех геолога криком, затерявшимся в шуме воды. Мои олени толкали меня носами и стучали рогами, как бы напоминая о моей очереди. Зайдя с левой стороны упряжки, я отжимал плечом оленей к каменной стене ущелья, и провел нарты у самой вершины ледяного ската. По моему следу перебрались проводник и рабочий, затем мы перевели грузовые нарты.

Еще один незамерзший порог пришлось преодолеть к концу дня. Его рев убаюкивал нас ночью. На утро, едва мы прошли три-четыре километра, как за поворотом ущелья прямо в лоб ударил нам сильный и непрерывный ветер. На льду, на крутых скалах, среди редких голых деревьев, — нигде не было ни одного местечка, в котором можно было бы укрыться от полета бесчисленных копий мороза. Мы шли, наклонясь вперед, закутав лица так, что оставались лишь узенькие щелки для глаз. Олени низко опустили головы, почти касаясь снега черными носами. Сильный ветер при шестидесятиградусном морозе почти непереносим. Через несколько минут я чувствовал как вся передняя половина тела онемевала. Приходилось поворачиваться задом, итти пятясь, пока не отогревалась передняя сторона тела. Шум и свист ветра заглушали все остальные звуки...

К вечеру мы вышли из страшного ущелья в громадную котловину — впадину с плоским дном, окруженную ступенчатыми горами. Перед нами расстилалось ровное снежное, синеющее в сумерках поле, окаймленное черной полосой леса. После шума ветра в ущелье глубокая тишина и покой охватили нас. Мы назвали эту впервые открытую нами котловину Верхне-Токкинской, пересекли ее по глубокому снегу и достигли в темноте опушки леса. Прошел еще один ничем не запомнившийся день однообразного передвижения, и проводник поднял нас очень рано. В неправдоподобно голубых утренних сумерках, предвещавших ясный, как и все предыдущие, день, мы начали подъем на перевал в седловине двухвершинного гольца, покрытого обильным снегом. Поочередно мы выходили вперед, раздевшись до фуфайки, и протаптывали лыжами дорогу для нарт. На морозе от идущего впереди валил пар, спина покрывалась инеем. Так, изнемогая и сменяя друг друга, мы доползли до вершины перевала между двумя пологими снежными скатами. Олени, хватая снег, сейчас же легли. Покурив мы расселись по нартам и принялись спускаться с седловины по широкому склону, выходившему на огромный пологий скат в несколько километров ширины, спадавший к реке Тарыннах — притоку Чары.

Два темных пятна показались на обрыве справа. Проводник, ехавший во главе каравана, ловко остановил разбежавшихся оленей. Я быстро выхватил из-под брезента свой винчестер. Коричневые пятна вскоре превратились в двух великолепных толстых кабарожек. Щелкнул отведенный мной назад затвор (из осторожности, на тряской езде я не держал патрона в стволе). Кабарги вздрогнули. Внимательные черные глаза зорко следили за нами, тонкие ножки напряглись, готовые взметнуть своих владельцев вверх по склону. Затвор автомата не захлопнулся, а медленно пополз вперед и, дойдя до края патрона, остановился раскрытым. Как ни тщательно было вытерто масло, — жестокий мороз сделал свое дело. Я шевельнулся, пытаясь дослать патрон, кабарги взвились по склону и исчезли в гуще лиственок...

Караван снова тронулся в путь, петляя между деревьями по склону.

— «Тохто-о-о!» — внезапный вопль заставил меня вздрогнуть. Не размышляя, я скатился с нарт в снег и поймал их за задние копылья, чтобы своим телом сыграть роль тормоза. Нарты проводника уже скрылись за поворотом спуска и исчезли. Скорость моих нарт была слишком велика, олени дернули, взметнулись в прыжке, и я ласточкой взлетел кверху,

цепляясь за копылья. Не успев ничего сообразить, я уже лежал рядом с проводником, и тормозной олень грузовой нарты наступил мне на руку. Новый вопль «Тохто!» — из-за поворота показались две нарты геолога, и еще через секунду на склоне образовалась груда оленей, людей и нарт, продолжавших скатываться вниз. Ничего особенного не случилось — просто крутизна спуска внезапно превысила допустимый предел. Мы обрушились на дно распадка. Я так ударился спиной о лед, что на минуту потерял дыхание. На гребне обрыва появились олени Алексея, отставшего от нас. Увидев груду тел и нарт, он растерялся и судорожно вцепился в нарты, вместо того, чтобы спрыгнуть. Тела оленей вытянулись в прыжке, нарты переехали лежавшего под откосом геолога и, ударившись о лед, развалились на куски. Алексей остался сидеть на вещах, удивленно и испуганно моргая, а олени, оторвав бурундук, сделали несколько скачков и остановились. Выяснив, что олени целы и вещи не повреждены, мы посмеялись над своим приключением и решили, ввиду поломки нарт, доехать до ближайшего корма и ночевать. Проехав еще немного до начала обширного ската в Тарыннах, мы остановились в редком лесу. Здесь когда-то давно прошел пал — лесной пожар. После него успел вырасти молодой березовый и лиственничный подлесок. Старые лиственницы, лишенные ветвей и коры, — самое лучшее топливо, и мы запаслись им в избытке, а, кроме того, разожгли промадный костер, чтобы отогревать и гнуть бурундуки и обвязку копыльев. Геолог с Алексеем пошли к ближайшему ключу сделать промывку на золото, а мы с проводником заготовили весь материал для починки. Стемнело, мы пообедали и напились чаю, а товарищи все не шли. Я решил выйти им навстречу. Дневная морозная мгла исчезла. Высоко над горами в прозрачном воздухе встала луна. Я вскоре увидел две темные фигуры, спешившие мне навстречу. — Золотишко тут должно быть, — сказал геолог, — правда, Алеша? — Подтверждаю, — отозвался рабочий. Мы закурили и молча стояли, очарованные лунной морозной ночью, покрывшей окружающий нас мир слоем искрящегося матового серебра. — То не ваши ли страшные гольцы, Георгий Петрович? — спросил геолог и указал вверх по долине Тарынаха. Левее долины виднелась группа голубовато-серебряных пильчатых вершин с очень резко выделявшимися контурами. Глубокая черная тень скрывала подножья гольцов, и холодный свет высокой луны прочерчивал несуществующие пропасти и углублял далекие пласты. Казалось, гигантская серебряная пила висела в воздухе, ни на что не опираясь. Отдельно от других стоял высокий башнеобразный пик с тремя зубцами на вершине, замеченный мною еще раньше. Трехзубчатой вершиной пик словно касался луны, под лучами которой сияли скалистые ребра и ледяные кручи его южной стороны. «Вот и название хорошее для вашего пика, Георгий Петрович, — снова нарушил молчание геолог, — «Голец Подлунный». Видите, уперся своими зубцами в луну...» — «Очень хорошо», — согласился я, направляя компас на голец и беря вторую засечку. Теперь расстояние до гольца стало известно, и он встанет точно на карту...

Работы по починке нарт были закончены к полудню и, развалившись в палатке, мы отдыхали, обсуждая дальнейший путь. В три дня мы рассчитывали добраться до Чарской котловины и дня в два — по котловине до поселка. Пять дней, — и можно будет спать в доме фактории, позволить себе роскошь раздеться, поесть как следует...

Мы решили немного поленяться, прежде чем свертывать палатку, и лежали, делясь мечтами о скором приезде в поселок и небольшом отдыхе.

Мечты наши были прерваны неожиданными звуками — хрустением оленьего бега, скрипом нарт и человеческим голосом. После безлюдья скованной морозом тайги появление человека показалось чудом, и все, кроме меня, на ходу нахлобучивая шапки, выбежали из палатки. Я остался на месте, как и подобает начальнику, испытавшему все виды таежных бед и радостей. Вскоре в дверь палатки, нагнувшись, вошел неизвестный мне человек, а за ним последовали и мои спутники. Вошедший уселся, поджав ноги, около печки, горделиво поднял голову и, ударив себя в грудь, громко произнес: «О-хо! улахан тайон» (большой начальник). Я спокойно и внимательно посмотрел на него, и он, смутившись, потупился и полез за трубкой. Это был высокий старый якут, необыкновенно худой. Большие ястребиные круглые глаза, горбатый нос, впалые щеки и узкое лицо с остроконечной бородкой напоминали Дон-Кихота, резко отличаясь от обычного якутского типа. Я предложил старику свой кисет, подмигнул Алексею, чтобы тот поставил на печку свежий чай и мясо, — раз, мол, «улахан тайон», так примем с подобающим почетом. Помолчав приличествующее время, я произнес обычную формулу: «Капсе тогор» (рассказывай, друг). — «Со-охк, ень капсе» (нет, — нечего рассказывать, ты рассказывай) — протянул старик. Мы обменялись еще несколькими традиционными фразами по-якутски, затем старик неожиданно заговорил по-русски, очевидно, найдя, что его русский язык лучше моего якутского. С большим интересом якут расспрашивал меня о путешествии, одобрительно кивая головой при упоми-

нании мной названий особенно трудных мест пути. Несколько раз старик пытался меня поддеть на знании особенностей местной природы, но, с помощью большого опыта странствований, я оказался на высоте положения. Ему поднесли стаканчик спирта, он съел сытный обед и несколько размяк, утратив свою надменность. Он сказал, что покажет мне «такую штуку», какую я, наверно, не находил здесь. Старик быстро вышел из палатки и направился к своим двум нартам.

— Ты знаешь этого старика? — спросил я у Габышева. — Знаю, — ответил проводник, — его Кильчегасов фамилия, охотник хороший, всякий место знает.— Старик вернулся в палатку и я прекратил расспросы. — Такой видел на Токко? — хитро усмехаясь, спросил старик и протянул мне тяжелый обрубок бивня мамонта. Я объяснил старику, что это бивень мамонта и описал рукой в воздухе дугу, показывая его в целом виде. Кильчегасов опечалился моей осведомленностью, а когда я сказал, что, вероятно, он нашел бивень в подмыве берега, он и совсем погрустнел.— Много знаешь, начальник, такой человек мало есть, — покачал он головой.

Польщенный признанием старика, я рассказал ему об островах в устье Лены, где бивни мамонтов валяются прямо на земле, вперемежку с костями китов и обломками принесенных морем лесин. Якут внимательно выслушал меня, сплюнул и придвинулся ко мне, словно на что-то решившись. — Твой умный человек, начальник, оннако, наши охотники тоже знают чего-чего твой не знает. Я знаю голец, где такой мамонт рога, как лес, лежит. Его, оннако, не кривой какой я нашел, а прямой, — мало-мало кривой. — Это интересно, — удивился я. Кильчегасов протянул руку за кисетом. Закурив, он поднял лицо кверху, будто вспоминая что-то. — Мой отца брат согджоя гонял, ходил очень далеко — туда,— Кильчегасов махнул рукой на восток, — видел, потом рассказывал. Ты, слыхал, оннако? — обратился он к проводнику.— Слыхал, думал — врал, — равнодушно отозвался Габышев. — Оннако не врал, его кусок рога, конец, приносил, я сам смотрел. — Где этот голец? — спросил я старика. — А если близко — пойдешь смотреть? — Конечно, пойду, — кивнул я. Минутная пауза, — и колебание, выразившееся на лице старика, исчезло. Он решительно обратился ко мне: — Карта твой еще покажи.— Я развернул свою большую карту, на которой только вчера отметил место Подлунного гольца. — Вот тут, между вершина Чирода и вершина Токко много большой голец, прямо куча. — Верно! — отозвался я, но старик не обратил на мой возглас никакого внимания. — Вершина Чирода и Чиродакан около, есть самый большой голец, — как высокий пень. — Мы с геологом переглянулись, узнав в метком слове старика своего вчерашнего крестника «Подлунный голец». — Этот голец стоит сам один, сюда ближе Токко вершина. Право гольца есть высокий ровный чистый место, все равно стол. Это место рога, оннако, и лежат. Там еще есть дырка большой и там тоже рога. — А как отсюда далеко будет? — спросил я, загоревшись любопытством. — Этот место недалеко-о, — протянул старый якут. — Тарыннах пойдешь, вершина Тарыннах право пойдет, лево пойдет Ичончокит. Ичончокит вершина пойдешь на средний перевал, там ниже ровный место, оннако, маленький ключик. Этот ключик сходится Талумакит, Токко вершина, оттуда — налево будет речка небольшой — Киветы, скала режет — все равно нож. Оннако, Киветы пойдет тот плоский место...— Кильчегасов подумал и сказал: — Верста девяносто ли, сто ли будет...— Старик умолк, молчали и мы. Только дрова в печке глухо потрескивали. Я раздумывал о возможности сделать маршрут в сторону, — по трудно проходимой местности, при почти иссякших запасах продовольствия. Геолог выжидательно поглядывал на меня, ничем не выдавая своих чувств. Габышев обратился к старику с каким-то вопросом по-якутски и оба они тихо заговорили. Я уловил лишь несколько знакомых слов: «большой порог... корма много... нартами не проехать... Чорта много...» — Где это много чорта, Габышев? — вмешался я в их разговор. Я знал, что под «чортом» тунгусы и якуты подразумевают необъяснимые с их точки зрения явления природы. — То место я слыхал, там чорта много, — подтвердил проводник, — оннако, еще большой порог есть там, смерть близко ходи. — Какой порог? — речки-то все маленькие... То не речка — порог, большой — весь дорога. Я догадался, что речь идет о ригеле — отвесном уступе, иногда перегораживающем поперек ледниковые долины. Я все колебался, не подавая вида. В конце концов, сто километров в один конец по сибирским масштабам — пустяки... Вопрос в лишних днях, которые надо прибавить к пяти, отделяющим нас от отдыха в поселке. Попасть снова в эту недоступную область вряд ли придется...

Я взглянул на Кильчегасова: — Пойдешь с нами до того места? — По оживлению моих спутников я увидел, что они поняли мое решение. Старик раздумывал, посасывая трубку. Не торопя его, я спросил геолога: — Как вы думаете, Анатолий Александрович?... — Ну, ясное дело, — слазаем, посмотрим, — одобрительно отозвался он. — А ты, Алексей, как? Продуктов хватит на десять дней? — В обрез хватит, мешок лепешек есть, чай есть да пять банок бобов... — После раздумья старик согласился

сопровождать нас. Теперь очередь была за Габышевым. — Как, Василий, пойдешь? — спросил я. — Груз оставим, нарты грузовые оставим, оленей погоним с собой. Проводник невозмутимо мусолил трубку, склонив голову и глядя в землю. От согласия его, как владельца оленей, зависело многое.

— Пойдем, начальник, — спокойно ответил якут и так же невозмутимо добавил: — Оннако, мы пропадем, я думай... — Я крепко пожал руку этому славному якуту, считавшему наше предприятие опасным и, тем не менее, спокойно шедшему навстречу этой опасности. Невозмутимое спокойствие в борьбе с силами природы составляет одну из многих привлекательных черт тунгусов и якутов, — этих детей тайги.

До вечера шло обсуждение предстоящего пути. На ночь в палатке прибавился пятый жилец. А утром мы быстро съехали в долину Тарына, расставили запасную палатку и сложили в нее коллекции, ненужный груз, лишние нарты. Затем повернулись спиной к желанной Чаре и направились к страшным гольцам в верховья Тарыннаха. По широкой долине реки струился белый туман от многочисленных наледей. Тарын и значит по-якутски наледь. Иногда воды было немного под снегом, а иногда нарты, как лодки, разрезали серую неподвижную воду, или проваливались в подледные пустоты. Местами мы с гиканьем мчались, гоня оленей во весь опор, по тонкому прогибавшемуся льду. Торопясь, мы проехали за день большой кусок пути и уперлись в отвесную стену, перегородившую долину — знаменитый порог — ригель, в добрые четверть километра высоты. Направо ложе реки врезало в кромку порога узенький пропил. Через него, изгибаясь, спадал вниз огромный ребристый ледяной столб, по которому кое-где сочилась вода и вился едва заметный пар. Левее голые желтые скалы образовали неприступную стену, обрушившуюся в одном месте. Здесь только и можно было начать подъем. На утро три пары самых сильных быков волокли облегченные нарты. Каждую пару тащил наверх один из нас, а другой поднимал и подталкивал нарты. Пустые олени шли следом, несмотря на страх, внушенный им крутизной подъема. Медленно, медленно поднимались мы наверх по этой стене, при виде которой даже бывалый человек отказался бы от мысли втащить на нее нарты. Уже у самого верха обрыва, где подъем стал особенно крут, геолог поскользнулся и скатился вниз, на оленей. Большой черный бык подхватил его на свои рога, и в диком страхе, двумя сильными рывками, добрался до бровки обрыва. Там, на просторной площадке, мы повалились все без исключения, — олени и люди, — едва живые от изнеможения. — Вот порог, так порог! — воскликнул Алексей, — страх берет вниз посмотреть!.. А если бы кто вниз полетел?..

— От нарты один спичка останется, а тебя один печенка вниз прилетит, — невозмутимо ответил проводник.

Оставалось пересечь речку и правым бортом долины ехать дальше. Чего бы казалось проще, — но и тут внезапно возникшая опасность показала, что каждую секунду нам нужно быть на-чеку. На льду речки свежая наледь образовала гладкий и плоский бугор, чуть припорошенный сухим снегом. Едва мы въехали на бугор, олени заскользили. Спрыгнувшие с нарт люди сами скользили и падали, и не были в силах удержать упряжки. Я сообразил, что все мы неудержимо сползаем к краю ледяного обрыва, с которого спадает на трехсотметровую глубину замерзший водопад... Раздался высокий звенящий голос проводника — «Держись, смерть близко ходи!» В страхе за судьбу товарищей, я метнулся вперед, уцепился за задок наиболее далеко сползавших нарт, поскользнулся снова и упал. Девяносто килограмм моего живого веса, упав на молодой лед, пробили в нем большую дыру, и, таким образом, я получил, наконец, твердую опору. Невзирая на воду, пропитавшую ватные брюки, я держал проклятую нарту, пока спутники не справились с оленями и не завернули их круто назад от пропасти. Выбравшись на правый борт распадка в устойчивый снег, мы погнали оленей подальше от опасного места. Ночевали мы уже на Ичончоките. С утра светлые легкие облака затянули все небо сплошным покровом. Невидимое солнце давало сильный свет, дробившийся в облаках и отраженный снегом. Этот свет сглаживал все неровности, искажал перспективу и менял очертания предметов, сильно затрудняя передвижение. Кильчегасов с проводником только морщились, сплевывали и бранились, видя в этом неверном свете одну из особенностей чортова места.

Наконец, спуск с перевала закончился. Котловина, в которую мы спустились, была невелика. Со всех сторон ее окружали гольцы, вершины которых терялись в молочно-белом покрывале, затянувшем небо. Прямо перед нами возвышались почти отвесные стены горного хребта, закрывавшего нашу цель — то самое место, о котором рассказывал Кильчегасов.

Когда мы поставили палатку и запасли дрова, наши якуты занялись непонятным делом. Срубив высокие шесты, они прицепили к ним какие-то тряпки, заостренные дощечки и расставили вокруг лагеря, укрепив в мерзлой земле с помощью камней и льдин. Как я узнал, это была защита от чорта. Он и в самом

деле не замедлил вскоре появиться. Едва в котловине начали сгущаться сумерки, как раздались жуткий визг, скрежет и хохот, сменившиеся утробным воплем. Эти звуки, подхваченные и умноженные необыкновенно сильным эхо, произвели на меня такое сильное впечатление, что я испугался, кажется, больше якутов, ожидавших появления чорта. Геолог выскочил из палатки с ружьем, но ничего не увидел в угасавшем неверном свете. — «Вот они!» — вдруг завопил Алексей, тоже вышедший наружу, и показал на какие-то пятна, двигавшиеся над низкими ветвями скрюченных берез и почти совершенно сливавшиеся с синевато-серым мерцанием воздуха. Геолог вскинул ружье, длинная вспышка вылетела из ствола, и затем раздался такой потрясающий гром, что мы все остолбенели. Гром усилился, затем, стихая, он уходил все дальше и разнесся по горам, как весть о дерзновенном вторжении человека. Что-то упало поодаль на снег и стало биться. Геолог бросился туда и принес громадную сову. Она скорее походила на филина, только молочно-белый цвет ее оперения был с черными пятнами и полосами на крыльях, спине и верхней части головы. Алексей с торжеством понес сову проводникам, не покидавшим палатки — вот, мол, ваши черти, смотрите! Но он, кажется, мало убедил якутов, объявивших, что здесь чорта еще будет много. Мы забрались в палатку и начали обсуждать план завтрашнего похода на голец с мамонтовыми бивнями. По недоступной летом долине речки Киветы мы, по увереньям Кильчегасова, должны были, пройдя пятнадцать километров, выйти в «чистое место» и оттуда подняться на плато с бивнями. Проводник не решался итти с нами. Кильчегасову не давали возможности сопровождать нас больные ноги, Алексея мы решили оставить с якутами. Все складывалось так, что в пешеходный маршрут могли итти только я и геолог.

Только-что мы приготовились заснуть, как вокруг снова все загремело. Глухие удары, зловещее рокотанье закончились адским, долго не стихавшим грохотом. Я посмотрел на геолога, думая о лавине. Геолог спокойно сказал: — Это скала рухнула, Георгий Петрович. Здесь необыкновенно крутые склоны, вследствие больших молодых сбросов, так что наверное часто сыплется... А вдобавок еще необыкновенное эхо, в нем-то и заключается весь чорт... — Мы весело рассмеялись и быстро нырнули в спальные мешки.

Ночью ослабевший за два последних дня мороз стал усиливаться. Поднялся весьма неприятный хиуз. Ветер дул как-раз в мою стенку палатки, пробираясь в спальный мешок и замораживая обращенный к стенке бок. Я проснулся от холода, но долго еще лежал, борясь с дремотой и ленью вылезать и затапливать печку. Наконец я все-таки выскочил из спального мешка, и, трясясь от холода, зажег заготовленную растопку, а сам скорчился у печки, в ожидании живительного тепла. Дрова, потрескивая, медленно разгорались. Я сидел, думая о завтрашнем походе и вдруг услышал тяжелые шаги... грузный топот громадного животного. Шаги приближались к палатке, затем обошли кругом. Алексей, спавший крайне чутко, проснулся и разбудил геолога. Топот возобновился — близкий и грозный. Я схватил свой винчестер, который против обыкновения, взял в палатку, чтобы отогреть, а в случае чего, и испробовать на чорте действие свинцовой пули 351 калибра. Геолог и я быстро выбежали из палатки, для чего нам пришлось перепрыгнуть через проводников, завернувшихся с головами в одеяло и упорно не желавших вставать... Небо расчистилось. Ущербная луна недобро кривилась над зубцами вершин. На ровном снегу не было видно никаких следов, сколько ни напрягали мы зрение. Мороз пробирал, и мы вскоре вернулись в палатку. При моем появлении Габышев приподнялся, сел и тревожно спросил: — Ну, чего видел? — Ничего... — Так, — и завтра след никакой не найдешь. — А что это было по-твоему? — Здешний хозяин ходи. — Какой хозяин? — Чего тебе не понимай? — рассердился якут, — хозяин, я говорил! — Я пожал плечами и больше не стал расспрашивать его, — отчасти и потому, что сам не мог понять, что за огромное животное бродило вокруг палатки...

Предрассветная мгла еще наполняла котловину, когда я и геолог стали собираться в путь при свете свечи. Ружья решено было оставить, — путь был не близкий и нужно было итти совсем налегке, чтобы иметь возможность принести собранные образцы. Револьвер и медвежий нож заменили нам винтовку и топор. И все же наше снаряжение с анероидом, фотоаппаратом, съемочной планшеткой и припасами получилось ощутительно весомым. Пока мы собирались и закусывали, рассвело. Проводник обошел с Кильчегасовым вокруг палатки и заявил, что ничьих следов, кроме следов наших оленей, нет...

Мы двинулись в путь и быстро пересекли котловину. Синий снег звонко скрипел под унтами. — Опять под шестьдесят, — недовольно сказал геолог, натягивая на рот край шарфа. Через полчаса мы достигли начала ущелья Киветы и углубились в него. Там еще было темно, и мы прошли несколько километров в пепельно-сером сумраке, прежде чем солнечные лучи достаточно осветили ущелье. Вид ущелья был необычен. Мы невольно говорили вполголоса, как будто

боясь оскорбить какого-нибудь здешнего «хозяина». Ущелье имело в среднем не более четырех метров в ширину. Гладкие, угольно-черные стены вздымались отвесно сотни на четыре метров. Иногда стены сближались вверху, или сходились совсем, образуя арки и тоннели, в которых царил густой мрак. Огромные бревна, ободранные, измочаленные, были крепко забиты поперек ущелья, на высоте четырех-пяти метров над нашими головами, показывая уровень весенней воды. В стенах ущелья вода высверлила глубокие ниши и ямы — мельничные котлы; в них лежали круглые валуны, диаметром с автомобильное колесо.

Замерзшее русло реки спадало уступами. Наледи текли во всю ширину ущелья, так что скоро торбаза наши промокли и обратились в комья льда, по которым мы время от времени с ожесточением колотили палками. Обледеневшие торбаза отчаянно скользили по ледяным уступам, а эти уступы становились все круче. В другое время, — не зимой, — речка представляла собою ревущий водопад, и никакие силы не помогли бы нам пройти здесь летом, весной или осенью. Тишина и теснота ущелья, черный цвет его стен, — все это действовало несколько угнетающе. Мы прошли уже около десяти километров вверх по ущелью, когда оно повернуло к югу, и в какой-то просвет между нависшими сверху склонами проникли солнечные лучи. Здесь обрывистая стена обвалилась и слагавшие ущелье породы выступили в свежем разломе. Это оказались слюдистые сланцы, из золотистой мелкой слюды. Словно куски серебряного и золотого шелка горели они в лучах солнца на стенах ущелья, совершенно его преобразив. Золотые и серебряные глыбы лежали повсюду на прозрачном изумрудном льду. Еще четыре километра по ледяным уступам, — и мы вышли на маленькую круглую поляну, поросшую кедрами и заваленную большими камнями. Слева, теперь ясно видимый в чистом небе, возвышался «Подлунный голец», как чудовищная каменная башня, заслоняя от нас весь северо-восток. Впереди виднелся прямой, словно обрезанный ножом, крутой уступ. Час быстрого хода, и мы, обливаясь потом в тяжелой одежде, взобрались на этот стометровой высоты обрыв, но не увидели ничего, кроме гранитного вала, загораживавшего нам дальнейший путь. Вал был невысок, и мы легко одолели и эту последнюю преграду. С гребня вала раскинулась перед нами цель тяжелого пути — небольшое плато с выпуклой поверхностью, окруженное редкими конусовидными сопками. Выпуклая поверхность плато была почти лишена снежного покрова. Поодаль, за кедровыми кустами сланца, виднелось несколько острых глыб светлого гнейса, расположенных непонятно правильно, — в виде буквы П.

Продравшись сквозь заросль кедрового стланца, мы нашли на большой полянке несколько слоновых бивней, — не мамонтов, не закругленных в полукольцо, а громадных, слабо изогнутых бивней, подобных бивням самого большого африканского слона. Я насчитал четырнадцать штук. Самые большие были до трех метров длины. Слоновая кость почернела и с задних концов рассыпалась на мелкие кусочки. Зубов и других костей не было. С холма мы увидели в центре плато еще одну большую кучу слоновых бивней, которые лежали подобно наваленным дровам, занимая большую площадь. С радостными восклицаниями мы побежали вперед, обгоняя друг друга. Тут было несколько сотен бивней. Между ними кое-где торчали громадные кости, которые мгновенно рассыпались, едва мы притронулись к ним.

Недалеко от вершины холма, между острыми камнями виднелась глубокая промоина — не та ли «дырка в гольце», про которую упоминал Кильчегасов? В левом борту промоины мы разыскали широкий заваленный вход и поползли внутрь. Сначала пришлось карабкаться под низкими оледенелыми сводами куда-то наверх, затем мы быстро скатились вниз и очутились в кромешной тьме. На счастье, в рюкзаке геолога оказался кусок свечи, которому суждено было в дальнейшем оказать нам еще одну громадную услугу. Пещера была велика, с несколькими высокими ходами. На полу, из наледи торчали кости животных. Мы углубились в наиболее высокий ход и в ту же минуту испустили дружный крик удивления. На гладких отвесных стенах пещеры, при свете свечи, виднелись грубые громадные изображения животных, сделанные или резкими штрихами, или превосходно сохранившимися красками — черной и красной. Эти рисунки были сделаны очень точно и верно, и с удивительной наблюдательностью. В колеблющемся свете свечи они казались живыми. Вне себя от удивления я смотрел, как на черных стенах развертывалась жизнь Африки. Вот огромные слоны с растопыренными, как крылья летучей мыши, ушами, антилопы, львы. Вот головы двурогих африканских носорогов... — Чорт возьми, носороги и слоны-то ведь — африканские! — вскричал я. Мы находили все новые рисунки: вот пятнистая гиена с покатой спиной, жирафы, полосатые зебры... Африка в сердце скованных стужей сибирских гор! В пещере было сравнительно тепло. Я забыл про мокрые, обледеневшие унты, мне было жарко, словно меня коснулся знойный пламень африканского неба.

Пройдя дальше, мы обнаружили две ниши, заполненные бивнями слонов. Тут

были собраны особенно большие — до четырех метров в длину. Сложенные штабелем, как дрова, они поблескивали, когда на них падал огонь свечи, своей гладкой, то черной, то желтой поверхностью.

Я увлекся и побежал было в другое большое разветвление пещеры, но меня остановил геолог, напомнив, что уже три часа. До темноты осталось не более полутора часов, нам нужно было торопиться. Ночевать в этом безлесном месте, на шестидесятиградусном морозе, в мокрой одежде было опасно. Все же мы еще с полчаса торопливо продолжали поиски хоть каких-нибудь остатков тех, кто здесь жил и рисовал африканских животных. Понимая огромное значение нашего открытия, нам хотелось узнать как можно больше о таинственных обитателях пещеры, но ничего, кроме двух каменных наконечников копий и еще какого-то неизвестного мне костяного инструмента, мы не нашли.

Солнце уже спустилось низко за горы, когда навьюченные образцами зубов и бивней, мы поднялись на гребень гранитного вала и в последний раз окинули взглядом необычайное место. Быстрый поток мыслей пронесся в моем мозгу. Я вспомнил о великих переселениях африканских животных в Азию, о том, что перед оледенением в Забайкалье и части Монголии была жаркая степь, где жили страусы, антилопы и жирафы. Теперь я понял, что нашел крайний северо-восточный форпост Африки — место, куда до оледенения докатилась волна переселения африканской жизни.

Случилось действительно необычайное: тоскуя об Африке в морозных ущельях Сибири, я открыл в них кусочек земли, бывшей в древности Африкой и сохранившейся нетронутой с того времени. Кто же были эти таинственные древние люди, рисовавшие животных? Если они жили до оледенения, то значит они принадлежат к очень древней расе. В то же время, — эта раса была уже сравнительно высоко развитой, если судить по рисункам на стенах пещеры. Такой расы в Сибири, и вообще в северных странах, пока не известно. В правильном расположении каменных глыб я обнаружил большое сходство с загадочными сооружениями из огромных камней, нередко встречавшимися в Центральной и Восточной Африке. Да, скорее всего, эти люди пришли сюда из Африки, — следом за потоком переселявшихся животных, — древняя раса художников и мужественных охотников на гигантских слонов.

Молча мы спустились вниз и пошли к речке, к началу ущелья, где мы оставили собранные в нем образцы пород. Геолог спросил меня, что я думаю о нашей находке. Я рассказал ему о своих размышлениях, и он согласился с моими догадками. — Да, я тоже думаю, что эти кости и рисунки древнее здешних поднятий и оледенений, — сказал он. — Пещера промыта в известняках какими-то водами, а где теперь на высоте вы найдете столько воды? Когда вся эта огромная область подвергалась поднятиям и оледенению, что было около пятидесяти тысяч лет назад, земная кора была здесь расколота на отдельные участки. Одни подымались кверху и образовывали горные хребты, другие опускались, образуя котловины. А этот голец, который мы открыли, — словом, небольшой участок древней почвы, — был поднят на меньшую высоту, чем другие и не претерпел оледенения и размыва. В то же время он не был опущен настолько, чтобы его завалило моренами и речными галечниками. Потому-то все на поверхности его сохранилось нетронутым, ну, конечно, не считая атмосферных влияний...

На этом наши ученые рассуждения оборвались. Наступившая ночь заставила нас все внимание сосредоточить на дороге. У входа в ущелье мы подобрали оставленные камни и вошли в полную темноту. За свою многолетнюю скитальческую жизнь я, кажется, не попадал в худшие переделки, чем этот ночной поход в ущелье Киветы. Мы то-и-дело проваливались в воду наледей. Все больше льда нарастало на наших торбазах. С тяжелым грузом за спиной было трудно двигаться по гладкому льду, а на уступах замерзших водопадов мы падали и катились вниз. Скоро и одежда наша обледенела. Все тело было избито. Не знаю, сколько километров мы прошли таким образом, но, в конце-концов, мы остановились, не в силах продолжать этот путь. И в то же время мы знали: — нужно итти дальше, — долгий отдых без костра грозил гибелью. Разжечь костер не было возможности — кругом только скалы и лед. Вдруг я вспомнил о свече. Какое счастье, что я не бросил огарка после осмотра пещеры! В неподвижном воздухе свеча могла гореть как в комнате. С трудом разожгли мы замерзший фитиль и двинулись дальше, поочередно неся свечу в высоко поднятой руке. Теперь ледяные каскады Киветы стали менее страшны — можно было осторожно скользить и скатываться по ним. Остатка толстой «железнодорожной» свечи хватило почти на час. Когда снова нас окутал мрак, до конца ущелья оставалось уже немного. Поздняя луна повисла над гольцами, освещая правую стену черного коридора высоко над нашими головами. Прошло еще немало времени, прежде чем черные стены разошлись и выпустили нас на свободу — в серебристое снежное поле. Теперь до палатки осталось не более четырех километров. Но леса не было и тут, а следовательно и тут сде-

лать остановку было нельзя. Я прошел не более полукилометра по котловине и вдруг почувствовал, что перенапряженное сердце сдает. Трудный путь, — почти сутки на морозе в шестьдесят градусов, в мокрой тяжелой одежде, с грузом за плечами, нечеловеческое напряжение при спуске по ущелью, и при всем этом невозможность дышать глубоко, так как легкие не принимали ледяного воздуха... Нужно ли удивляться, что даже два таких закаленных человека, как я и геолог, стали быстро сдавать в конце пути? В ответ на мое предложение бросить здесь рюкзаки с образцами и все другое снаряжение, — геолог выполнил это, не теряя ни секунды.

Мы едва плелись по гулко хрустевшему снегу, подбадривая друг друга. Силы убывали с каждым шагом. Еще полкилометра, километр — геолог зашатался, упал на четвереньки в снег и сел, тяжело дыша. Борясь со слабостью, я подошел к нему, и стал уговаривать подняться, продолжать путь. Он ответил, что сейчас ему все безразлично, — итти дальше он не может. И все же я заставил геолога подняться и пойти. Но через несколько сотен метров ощутил, что и сам не могу двигаться. Огромным усилием воли я заставил себя отсчитать двести шагов, потом еще сто, потом пятьдесят и затем, подобно геологу, рухнул в снег. Блаженный покой охватил меня. Спать, спать, — больше ничего!... Слабо шевельнулась мысль, что заснуть — значит умереть... И я рассердился, услыхав очень громкий топот. Это возвращался геолог, возвращалась жизнь, возвращалась невыносимая необходимость вставать и итти... Не помню, сколько еще времени мы шли бок-о-бок, боясь отойти друг от друга, боясь подумать об отдыхе...

Я наступил на тонкую ветку или сук, скрытый под снегом. Необычайная громкость звука переломленного сучка дошла даже до моего угасающего сознания. Я вспомнил сразу все — и чудовищный гром обвала, и гулкий топот вчерашнего ночного гостя, и громкие шаги геолога... Остановился, содрал твердую, как кора, рукавицу и вытащил револьвер. Обыкновенный браунинг загремел, как пушка. Звук раскатывающейся волной понесся по долине. Еще и еще я повторял свой гремящий призыв, пока не услышал усиленные эхом крики... Я сунул пистолет в карман, и, едва разжав сведенные пальцы, опустился на колени рядом с геологом.

Мы задремали, но были разбужены приближающимся топотом — к нам спешили оба якута и Алексей. Услышав мои выстрелы, они сразу догадались, в чем дело. За пазухой Алексей принес флягу с горячим чаем и бутылку водки. Нас под-руки довели до палатки, и мы, не раздеваясь, погрузились в крепкий сон. Алексей вскоре разбудил нас, чтобы покормить и уложить как следует. А наутро мы уже совсем пришли в себя. Припасы были на исходе и, к радости якутов, мы решили спешно покинуть котловину, даже не разобрав образцов, принесенных на рассвете якутами. Нам хотелось встретить Новый год в менее унылом месте.

Габышев подошел ко мне, смущенно усмехаясь, подождал, пока я кончу обвязывать свою нарту, и вполголоса сказал: — «Я понимай, какой ночью хозяин ходи, Кильчегасов тоже. Это звук такой сильный здесь, это олень наш ходи, — его след был...»

Проводник весело усмехнулся и, подмигнув мне, направился к своим нартам.

Обратно по знакомой проторенной дороге мы продвигались гораздо быстрее.

Второй день Нового, 1936 года застал нас совсем близко от долины Чары. Олени легко бежали по проложенному Кильчегасовым следу. Алексей пел заунывную песню о том, как «идет бодайбинец-старатель по Витиму в ужасный мороз». Нарты ныряли и качались подо мной, солнце весело блестело на белой ленте замерзшей реки...

★

«КАТТИ САРК»

— Ну вот и ночь прошла, и спать никому не хочется, — сказал наш хозяин, вставая со своего места. — До чего же наш мир широк и интересен, — только бы жить и жить побольше!.. Восемь часов, — продолжал капитан, бросив взгляд на массивные «штурманские» часы, — теперь я продолжу вечер воспоминаний...

Он подошел к окну и поднял темные шторы. Утренний свет, хлынувший в комнату, показался холодным и мертвым. Каждый из нас находился еще под впечатлением синих просторов южных морей, сурового молчания тайги. Мы точно сбросили с себя очарование необычайного сна, возвращаясь к обыденной жизни. В комнате стояла тишина короткого, но глубокого раздумья...

Игнатий Петрович достал с полки в книжном шкафу небольшую книгу в светлосером переплете. Он раскрыл книгу и долго разглядывал какую-то картинку, не замечая наших нетерпеливых взглядов.

— Поглядите-ка, — сказал, наконец, капитан. Он положил книгу на стол. На рисунке был изображен парусный ко-

рабль, шедший, слегка накренившись, под всеми парусами. Для нас, — не моряков, парусник не представлял ничего особенного, — разве что бросался в глаза контраст между низким черным корпусом и огромной массой белых парусов. — Это «Катти Сарк», — коротко объяснил Игнатий Петрович. Мы молчали. Это имя ничего не сказало нам. Только капитан Елисеев воскликнул с живым интересом: — Вот она какая! — Игнатий Петрович с грустной задумчивостью посмотрел на нас. — Когда-то морское парусное искусство именовалось бессмертным, — сказал он: — и вот, прошло всего семьдесят лет, — срок одной человеческой жизни, — и только очень небольшое число старых моряков знает все тонкости этого мастерства. Забыты когда-то гремевшие имена капитанов и кораблей. Ну, что скажет кому-нибудь из вас имя Антони Энрайта, Джона Кэя, или названия кораблей — «Флайинг Клауд», «Лайтнинг», «Джемс Бэйнс», и даже более поздних, — например, «Потози»? Вскоре человечество навсегда закроет великолепную страницу завоевания морей, — завоевания, сделанного простыми средствами, доступными любым искусным рукам и твердому сердцу.

Корабельное дело началось в эпоху великих открытий, — лет пятьсот с лишним тому назад. За эти пятьсот лет медленно, постепенно накапливался громадный человеческий опыт борьбы с морем — искусство постройки кораблей и опыт овладевания силой ветров, — искусство управления парусами.

Посмотрите, вот тут изображены корабли пятнадцатого-шестнадцатого веков, — ну, скажем, этот неф, или вот маон и каракка. Высокие, неповоротливые корпуса, с надстройками на носу и особенно на корме, — это, собственно, дома, приспособленные к плаванию. Низкие мачты с малым числом неуклюжих громоздких парусов, — плохо было с ними мореплавателям в шквалы или при смене галсов!.. А вот середина девятнадцатого века. Смелые вдохновения американских строителей — клиппера, то-есть стригуны, стригущие верхушки волн... Это вот клиппер «Джемс Бэйнс», поставивший в 1856 году никем не побитый мировой рекорд скорости — 21 узел. Видите, какие у него плавные очертания корпуса? Ничего лишнего, — зато мачты большой вышины с огромными реями, смело подхваченные растяжками стоячего такелажа, как мы называем — штагами и фордунами, — все для увеличения площади парусов и тем самым скорости хода. Эти, уже вполне совершенные корабли, предназначались для самых далеких рейсов. Они смело бежали по океану, не смущаясь свирепыми бурями и бесконечными рядами огромных волн. Железные парусники не могли конкурировать с этими бегунами. Медная обшивка защищала деревянные суда от быстрого обрастания днища водорослями и ракушками. Железные корпуса обрастали очень быстро и сильно, замедляя ход корабля. Человеческая мысль неустанно работала над дальнейшим усовершенствованием парусных судов. Появилась особая система постройки корпусов для быстроходных кораблей — композитная. В ней набор, то-есть основной скелет судна, был железным, а вся обшивка деревянная, — и из таких прочных пород дерева, как вяз, индийский тик или вестиндский гринхирт. Все эти усовершенствования, вместе с основными данными конструкции — формой и пропорциями корпуса, соотношениями мачт и парусов получили свое наиболее полное выражение в двух английских клиперах, построенных почти одновременно в семидесятых годах в Эбердине и Думбартоне и названных — один «Фермопилы», другой — «Катти Сарк». Ничего более совершенного, чем эти два корабля, ни до них, ни после них, построено не было. Позднее, при конкуренции парусных и паровых судов, мысль строителей парусников пошла по пути создания громоздкого, многомачтового парусника со стальным корпусом и большой грузоподъемностью, для больших дальних перевозок. Так появились барки-грузовозы. Из их числа у нас больше всего известен «Товарищ», — учебное судно Ленинградского морского техникума, а наиболее знаменитым был стальной пятимачтовый барк «Потози», построенный в 1896 году. Он, кстати сказать, будет причастен к моей истории.

Во всем мире не нашлось кораблей, которые могли бы состязаться с «Фермопилами» или «Катти Сарк» в скорости, легкости хода и других мореходных качествах. Оба корабля были небольшой грузоподъемности, — около 950 регистровых тонн. Построены они были для скоростных рейсов из Австралии в Англию. Этот путь пролегал через наиболее бурные южные широты Атлантического и Индийского океанов. И «Фермопилы», и «Катти Сарк» пробегали путь из Англии в Мельбурн за шестьдесят дней и честно служили своим хозяевам около четверти века, когда развитие пароходства сделало ненужными, с точки зрения коммерции, эти чудесные создания человеческих рук. Оба гордых океанских лебедя были проданы второстепенным судовладельцам.

Никому не пришло в голову, что такие совершенные образцы человеческого мастерства, подобно произведениям искусства, принадлежат, в сущности, всему человечеству, как памятники его гения, его культуры. Дальнейшая судьба обоих кораблей сложилась по-разному. О «Катти Сарк» долгое время ничего не было известно, «Фермопилы» нашел себе

славный конец, хотя и был безвозвратно потерян для истории кораблестроения. Проданный в Канаду, он был там куплен португальским правительством и двенадцать лет служил в качестве учебного судна португальского флота, — как у нас «Товарищ». В 1907 году, на сороковом году службы «Фермопил», непригодность судна сделалась очевидной. Все связи корпуса были расшатаны во время его прежней работы на австралийских линиях. Постоянная гонка с максимальной парусностью, не взирая ни на какие штормы, состарила чудесный корабль. Можно было только удивляться прочности его постройки: сорок лет для парусника — это долгая жизнь... Ну, надо вам сказать, что в то время в португальском флоте были настоящие моряки. У тех, кто решал судьбу «Фермопил», была морская душа. Состарившегося знаменитого бегуна не продали на дрова, не сделали из него угольный плашкоут или речную баржу. Нет, — португальское адмиралтейство издало о «Фермопилах» специальный приказ. Парусник был выведен в море при скоплении военных судов. Ему устроили морские похороны. Под звуки Шопеновского марша, украшенный флагами гордый красавец был торпедирован. Мне рассказывали об этом очевидцы. День был ослепительно яркий, воды Атлантики у мыса Рока были ласковы и сини. Когда нос клиппера (он погружался кормой, накренившись на правый борт) исчез под волнами среди зеленых пятен воронки и грянул орудийный салют, — многих из пожилых и суровых мореходов, издали смотревших на гибель «Фермопил», прошибла слеза... Помню, когда я услышал этот рассказ, меня очень взволновала мысль, что среди моряков нашлись люди высокой и мечтательной души, не позволившие надругаться над красавцем-парусником... Я пью этот стакан за «Фермопилы» и его друзей! Ну, а теперь, собственно, и начинается моя история...

В 1922 году я был командирован в Англию и Америку для приобретения парусника. Хорошо подготовленные молодые моряки нужны были восстанавливающемуся хозяйству страны. А для этого нужны были и хорошие, приспособленные к дальним плаваниям, учебные суда. Громадные американские каботажные шхуны не годились. Нужен был корабль, — то-есть парусник с прямым парусным вооружением. Вот тут я и нацелился на «Потози», — который недавно перешел на южноамериканские рейсы. Обменявшись телеграммами с судовладельцами и капитаном, я выяснил, что могу встретить корабль в Фальмуте. Вот почему в осенние мглистые дни 1922 года я оказался в этом английском порту, излюбленном парусниками всех стран по условиям легкой доступности. Меня сопровождал молодой помощник Антонов, — дельный моряк и хороший знаток парусного дела. Я намеревался отправить его поплавать на «Потози», чтобы получше ознакомиться со знаменитым судном. Поеживаясь от пронизывающей сырости, я вместе с Антоновым направился по мокрым плиткам незнакомых улиц к морю. Едва мы обошли какие-то длинные закопченные здания из красного кирпича, как сразу увидели гавань. Обилие мачт казалось бы противоречило умиранию парусного флота, но я знал, что это впечатление обманчиво. Подавляющее большинство кораблей было легкими рыбачьими шхунами или парусно-моторными шаландами, никогда и не нюхавшими океанских просторов. Настоящих кораблей в порту стояло два или три. Среди них выделялся своим стройным рангоутом знаменитый барк. Антонов показал мне на четыре мачты огромной высоты, господствовавшие над частым и низким лесом береговой мелкоты. Четыре мачты, сзади пятая, — сухая бизань, — да, очевидно, это и был «Потози». В гавани было пустовато — должно быть, дурная погода разогнала моряков по более уютным местам. Массивные, позеленевшие камни набережной блестели, эстакады на сваях и мостки осклизли от сырости. Серое небо и зелено-серые, вспененные резким ветром волны, запах моря, смолы и мокрой пеньки — все это как-то подбадривало нас, вызывая, должно-быть по контрасту, мысли о далеком, сияющем, южном море...

Полюбовавшись огромным барком, чистым, выхоленным, и основательно продрогнув, мы направились в небольшую гостиницу, где предстояло встретиться с капитаном «Потози». Мы нашли этого хмурого щеголеватого человека на почетном месте, у камина в столовой. Капитан был хорошо образован, много плавал. Его способность весело и остроумно оценивать события, заразительный юмор, не вязавшийся с его наружностью, делали капитана очень приятным собеседником. Я договорился о подробном осмотре «Потози» и получил все нужные мне сведения. Тогда же мы решили, что Антонов пойдет прямо из Фальмута на «Потози» в качестве второго штурмана, место которого случайно оказалось вакантным.

Окончив деловую часть, капитан пригласил поужинать вместе с ним и еще двумя его друзьями. За ужином он признался, что очень рад высокой цене, назначенной компанией за его судно. — После моего «Потози», я вряд ли найду парусник по вкусу, — мало осталось настоящих кораблей. Придется переходить на пароход, — добавил он не без огорчения.

— Откровенно говоря, — продолжал

он, — я не понимаю, зачем вам платить большие деньги за «Потози», который мало кто у вас оценит? За эту сумму вы можете купить два больших парусника, с небольшим ремонтом. Вот если бы вы в кругосветные плавания ходили, — тогда другое дело.

Я не мог не признать, что капитан прав и тот, по-дружески пожав мне на прощанье руку, обещал помочь, если сорвется дело с покупкой «Потози», в подыскании более дешевого, но достаточно хорошего корабля.

Как бы то ни было, переговоры моего начальства с компанией, — хозяином «Потози», шли своим чередом, и я должен был выполнять свои обязанности. В течение двух дней мы с Антоновым осмотрели весь барк — от кильсона до брам-стенег, и могли только подтвердить слышанные мной отзывы о нем. Я послал нужные телеграммы, и остался еще на несколько дней в Фальмуте, — ждать решения. В один из хороших светлых дней я простился с Антоновым и капитаном «Потози». Барк развернул свои паруса и ушел на юг, где за океаном ждали его причудливые горы бухты Гуанабара в Рио. Мне стало одиноко, и в тот же вечер, возвращаясь в гостиницу, я зашел по дороге в полюбившийся мне своим странным романтическим названием ресторан «Красный лев», чтобы немного развлечься доброй порцией выпивки и поболтать с моряками. Войдя в низкий просторный зал, отделанный темным деревом, я удивился необычайному многолюдству. В правом конце зала, — между стойкой и огромным камином, — столы были сдвинуты вместе и за ними расположилась большая компания моряков, преимущественно пожилых. Пока я оглядывался в поисках места, меня окликнул один капитан, с которым я познакомился в Фальмуте. — Идите сюда, дорогой капитан! Господа, я счастлив представить вам известного русского моряка. Теперь в нашем собрании есть представители почти всех плавающих наций, — разве что отсутствуют японцы да итальянцы... Гул приветственных восклицаний раздался при моем приближении, и я, несколько смущеный всеобщим вниманием, сел на тяжелый дубовый стул.

— Прошу объяснить мне, почему здесь собралось столько капитанов? — обратился я к своему соседу, седобородому моряку с веселыми голубыми глазами. — Как, разве вы не слыхали, что сегодня к нам в порт пришла «Катти Сарк»? — удивленно воскликнул он: — Или вы, может быть, не знаете, что это такое? — Он настороженно поглядел на меня.

Головы всех капитанов повернулись в мою сторону.

— Я слыхал про этот знаменитый клиппер, — спокойно ответил я, — но не знал, что он еще плавает. Ведь он, кажется, построен очень давно?

— В 1869 году, Скоттом и Летоном, — подтвердил мой собеседник, — а следовательно, плавает он уже пятьдесят три года. Но можете мне поверить, сэр, — судно, как бутылка, — никакой течи. Вот, что значит хорошие строители! На «Катти Сарк» — массивный набор с медным креплением и обшивка сплошь из тика с гринхиртом. За пятьдесят лет с кораблем ничего не сделалось...

— Но как же я ее не заметил? — перебил я восторженную речь моряка. — Я только недавно из гавани, и не видел ничего примечательного... До полудня пришла какая-то грязная, гнусно раскрашенная баркентина, должно быть испанская, — имячко у нее «Жоанита», — а никакого клиппера...

Дружный смех перебил и сконфузил меня. Мой собеседник вскочил и весело крикнул:

— Да ведь эта баркентина и есть «Катти Сарк»! Как же вы, моряк, не разглядели? Корпус...

Но я уже оправился от минутного смущения и отвечал:

— Я не имел времени рассмотреть клиппер вблизи. Издали по парусам я определил — баркентина, да еще запущенная, грязная, и не интересовался ею больш^...

— Ну, конечно, — вмешался гигантского роста моряк, видимо, норвежец, — эти ослы запакостили судно! А чтобы грязь не бросалась в глаза, раскрасили его, как балаган...

— Благодарю вас, теперь мне все понятно, — сказал я, — однако, если я не ошибаюсь, вы собираетесь что-то предпринять?

В ответ послышались односложные восклицания, большей частью иронического оттенка.

— Что мы можем «предпринять», по вашему выражению, сэр? — ответил пожилой широкоплечий моряк, занимавший председательское место. — Если бы у нас было много денег... ну, что об этом говорить!.. Даже, если бы мы могли купить «Катти Сарк» вскладчину, то что стали бы мы с ней делать? Гноить на мертвом якоре?!

— Но ведь есть же морские клубы, инженерные общества, — начал было я.

— У этих научных обществ — ни денег, ни авторитета, — перебил меня моряк. — Вот мы телеграфировали старику Брэйсу, — последнему капитану «Катти Сарк» — если сможет, пусть приедет, посмотрит, — ему, наверное, приятно будет повидать клиппер. Такое судно, как первую любовь, никогда не забудешь! Вот и все, что можно сделать... Да еще разве потолковать о былых днях за выпивкой, как сейчас...

В дальнем конце стола поднялся

моряк-американец с серебряным альбатросом на фуражке. Его лицо, горевшее от возбуждения, казалось совсем молодым, однако, нашивки показывали, что он уже капитан.

— Прошу внимания, — громко произнес он. — Я предлагаю, — среди нас много известных знатоков, выдающихся капитанов, — пусть каждый попробует поднять вопрос о сохранении «Катти Сарк» для будущих поколений. Я лично буду действовать в родном Фриско через друзей и печать. Не может быть, чтобы ни в одной из стран, которые мы представляем, не нашлось бы отклика...

Пожилые ветераны моря ответили на его слова ворчанием, в котором слышалось осуждение наивной молодости «зеленых капитанчиков». Экспансивные французы в восторге закричали и захлопали в ладоши. Остальные, в том числе и я, выразили сдержанное одобрение. Вслед за тем разговор перешел на былые подвиги парусников, и я с неослабным интересом слушал рассказы старых моряков.

Время прошло незаметно. Когда все, наконец, разошлись, оказалось, что мы с американцем — соседи по гостинице. Спать нам не хотелось и мы до позднего часа продолжали беседу у меня в комнате. Энергичный, страстно любивший море, молодой американец мне очень понравился.

На следующий день телеграмма от сына бывшего капитана «Катти Сарк» известила нас, что старик очень слаб и приехать не может. Каждый из нас, в меру своего свободного времени, ходил изучать благородную архитектуру «Катти Сарк». Американец, с которым я встречался теперь каждый день, сделал несколько недурных зарисовок клиппера. Я получил телеграмму, что решение с покупкой «Потози» откладывается, мне же надлежит посетить еще два английских порта, а также Шербур во Франции, и осмотреть там другие парусные суда. Мой отъезд совпал с отплытием «Катти Сарк» и на этом оборвалось мое знакомство с лучшим в мире парусником.

Такова, друзья, первая часть моей истории о «Катти Сарк». Вторая завершилась уже во время войны. Весной этого года мне пришлось иметь дело с некоторыми американскими фрахтовыми фирмами. В одном из директоров крупной фирмы я узнал того молодого капитана, который двадцать лет назад, в английском порту, так горячо высказывался за необходимость сохранения «Катти Сарк» для истории парусного флота. Он также быстро узнал меня, вспомнил нашу первую встречу и сказал мне, что недавно вернулся из очень интересного плавания.

— Вам это будет интересно, — ведь вы участвовали в том бесплодном разговоре в Фальмуте и были, насколько я помню, одним из доброжелателей «Катти Сарк». Если вы свободны завтра, я с удовольствием угощу вас коктейлем собственного изобретения и историей своего плавания на прославленном клипере!

Не знаю, сумею ли я передать вам то особое ощущение напряженной жизни и чувства моря, которые заполнили меня во время рассказа американского капитана... Сейчас пасмурное осеннее утро. За окном — строгий военный город... А тогда, — тогда я любовался буйным блеском весеннего калифорнийского солнца, сидя на террассе дорогого ресторана, недалеко от Маркет-стрит. Теплый морской ветер колыхал тяжелый, синего цвета тент над моей головой. Капитан Эффингхем сопровождал свой рассказ плавными жестами. На фоне отливавшего медью залива четко выделялся его сухощавый, энергичный профиль. Глядя на него, не хотелось верить в без малого пятидесятилетний возраст капитана, — беззаветная любовь к морю придавала что-то вечно юное всему его облику...

Капитан Эффингхем рассказал мне, что ему пришлось затратить немало усилий, прежде чем удалось в конце 1939 года добиться покупки «Катти Сарк» и решения поместить корабль в специальном павильоне при морском музее. Я сейчас же вспомнил это красивое здание, где я много лет назад восхищался реликвиями парусного флота, — как, например, клипером «Джемс Бэйнс», — того самого мирового рекордиста, о котором я рассказывал вначале...

«Катти Сарк» была в то время забро-шена судьбой в африканские воды. Покупка ее состоялась в Лоренцо-Маркезе, в Португальской Восточной Африке. Капитану Эффингхему хотелось самому привести клиппер в свой родной город, и он выехал в Лоренцо-Маркез, во главе целой команды добровольцев-любителей, желавших принять участие в деле восстановления клиппера и доставки его в Сан-Франциско. «Катти Сарк» перевели в Порт-Элизабет, где один из друзей капитана, — директор автомобильного завода, обещал помочь материалами и деньгами. Полтора месяца пришлось потратить на ремонт судна и на восстановление его прежнего парусного вооружения, прежде чем баркентина «Жоанита» стала прежней красавицей «Катти Сарк».

Радость исполнившейся мечты была омрачена для капитана успехами японцев в войне с Америкой. Война вспыхнула неожиданно, — едва капитан со своей командой успел покинуть пределы родной страны. В тревоге за драгоценное судно капитан не решился итти в Сан-Франциско через Тихий океан: — в то время японцы захватили ряд островов, и их рейдеры могли погубить беззащитный корабль.

Атлантический океан был безопасен для американского судна. Несмотря на трудность плавания парусника в Карибском море и затраты на проход через Панамский канал, капитан выбрал этот необычный путь, чтобы быть уверенным в благополучном исходе путешествия. В яркий лунный вечер клиппер покинул гостеприимный порт и пошел вокруг Африки в семитысячемильный путь до Панамского канала, без захода в какие-либо порты... И капитан, и оба его добровольца-помощника, — старый моряк Андерсон и молодой лейтенант военного флота Хэрджет,—не уставали восхищаться ходом парусника. Вначале погода благоприятствовала плаванию Южную оконечность Африки,—мыс Игольный, — миновали под свежим бакштагом, и когда лаг показал семнадцать узлов, моряки не хотели верить этой быстроте семидесятилетнего клиппера. Ветер дул розно, мягко шипела под носом корабля вода, серебристые звонки лага отмечали милю за милей, и скорость «Катти Сарк» оставалась всей той же...

Капитан, весело насвистывая старинную песенку, приказал поставить все лисели и стакселя. Почти три с половиной тысячи квадратных метров парусности, вздымаясь огромными белыми рядами, понесли клиппер с возрастающей скоростью. — «Восемнадцать узлов», воскликнул Хэрджет, и весь экипаж добровольцев-матросов разразился приветственными криками. Слегка кренясь, с глухим гудением ветра в снастях, «Катти Сарк» мчалась вперед. Плавание до острова Св. Елены прошло быстро. Оно явилось для капитана Эффингхема источником чистого и редкого наслаждения. Капитан изучил свой превосходный корабль на смене галсов, — и не было случая, чтобы корабль не выполнил поворота оверштаг, быстро, без всякой задержки, бросаясь к ветру, едва только руль перекладывался на ветер. Судно шло с полным грузом. Доставка во Фриско экзотических товаров должна была покрыть расходы по перевооружению «Катти Сарк». К северу от острова пошла штилевая полоса и здесь «Катти Сарк» окончательно покорила сердце своего экипажа. В знойном воздухе реял едва ощутимый ветерок, не нарушавший маслянистой глади плоских волн. Но клиппер продолжал разрезать волны шестиузловым ходом. Это казалось чудом. И штилевая полоса была пройдена без вынужденного безделья утомительных жарких дней, нелюбимых моряками сильнее всякой непогоды.

Клиппер отклонился немного к востоку, ближе к ветрам африканского побережья. Антлантический океан, по которому плавает почти половина всех судов мира, был тих и пустынен. Грозное дыхание войны коснулось и синих просторов океана. Суда осторожно пробирались поближе к берегам, под защиту портов и военных судов. Лишь белогрудый красавец-клиппер, уверенный в своей неприкосновенности, развернув звездное знамя, храбро пересекал океан.

На траверзе острова Вознесения свежий ветер сразу прибавил клиперу ходу. Океан попрежнему катил свои волны. Ясный вечер обещал устойчивую погоду. Капитан стоял у борта, вглядываясь в даль, где холодные фиолетовые полосы волн прочерчивались багряными гребнями. Море меняло тонкие оттенки красок чуть ли не каждую минуту, по мере того, как солнце склонялось все ниже к четкой линии горизонта. Светлая бронза заката резко граничила с голубовато-серой поверхностью моря, вдали казавшейся шероховатой, как неглазурованный фарфор. После зноя угасшего дня норд-вест нес свежую прохладу.

— Как дела, Андерсон? — весело окликнул капитан старого штурмана, стоявшего на вахте.

— Идем хорошо, но только... Ладно, не буду портить вам хорошего настроения, — ответил Андерсон.

— Что вас беспокоит, старина? — спросил капитан Эффингхем.

— Вышли мы в плаванье, оказывается, неудачно, — начал Андерсон. — Я журнал просматривал, и только сейчас сообразил: по местному-то времени, в понедельник мы вышли... — Что вы, — перебил Эффингхем, — разве забыли—вечером в воскресенье. — То-то и дело, что нет. Буксировку начали сразу после десяти часов по Гринвичскому. Я еще на прощанье оглянулся и увидел, знаете, ту высоченную красную колокольню с белой верхушкой и с часами. Глаза-то у меня хорошие, а часы освещены. Смотрю — половина первого. И вот теперь только сообразил, что по местному уже понедельник. Как бы не стряслось какой беды...

Капитан, как большинство бывалых моряков, не был лишен суеверия, но, чтобы успокоить Андерсона, он весело рассмеялся.

Более тысячи миль пронесла «Катти Сарк» свои высокие белогрудые мачты от острова Вознесения, когда всем находившимся на ней стало ясно, что спокойному плаванию пришел конец. Барометр падал медленно, но с каким-то зловещим упорством. Ночь вахты капитана Эффингхема была безлунной, но светлой.

Капитан внимательно оглядел небо. Вместо обычной для тропических стран густой темноты, оно было пепельным. Низко и однообразно гудели паруса. Спокойное море колыхало необъяснимо светлые волны, блестевшие как свеже-разрезанный свинец. Блики бортовых огней не были видны на воде. Это не было

обычным свечением моря. Вода казалась огромным зеркалом, отражавшим невидимый свет. Капитан, удивленный странным видом моря, заметил в остовой стороне горизонта узкую полосу облаков и долгое время вглядывался в далекие тучи, но не заметил угрожающего увеличения облачной полосы. Зайдя в рубку, Эффингхем взглянул на барометр. Ртуть стояла на 28,3; ее быстрое падение обещало крепкий шторм.

Капитан продолжал свою молчаливую прогулку по настилу мостика, поглядывая на часы и наблюдая за облачной дугой, один из концов которой все больше вытягивался позади корабля... Море темнело, волны, потерявшие блеск, казались вылепленными из темного воска. Первые лучи солнца сверкнули над водой и почти одновременно облака справа и сзади корабля начали густеть, кудрявиться по краям, задергивая небо снизу плотной завесой. Эффингхем немедленно вызвал всех наверх. Еще до первого шквала успели взять рифы на фоке и формарселях, а также закрепить грот и контр-бизань. В хаосе брызг, пронзительного свиста и глухого гудения ветра «Катти Сарк» вздрагивала, прибавляя ходу. На руль встал опытный моряк Филипс. Андерсон и Хэрджет заняли свои места. Шторм от оста крепчал, поворачивая и переходя к югу. Капитан решил пуститься на фордевинд. Тяжелые низкие облака потушили золотившийся восток, опускаясь все ниже. Они, казалось, задевали верхушки грозных валов. Капитан, приказав закрепить все крюйсельные паруса, рискнул оставить полный грот-марсель, все брамсели и бомбрамсели, полагаясь на прекрасную мореходность «Катти Сарк». И он не ошибся. Клиппер, несмотря на волнение, мчался четырнадцатиузловым ходом, спокойно и ровно. Огромные гривастые валы вздымались вокруг, угрожая задавить судно своей тяжестью. Но они не могли даже захлестнуть на палубу, обдаваемую только каскадом брызг, срываемых бурей. Серые взлохмаченные космы облаков неслись по небу, обгоняя верхушки мачт «Катти Сарк». На их место приходили новые из многослойной толщи туч, нависшей над поверхностью моря. Видимость сильно сократилась. Океан уже не казался беспредельным, — он стал похож на небольшое озеро, изборожденное гигантскими волнами и замкнутое в свинцовых стенах туч. Вот слева от корабля начал вздыматься вал непомерной вышины. У его подножья разверзлась зловещая, зеленоватая бездна. Вал рос, приближался, вот над палубой «Катти Сарк» навис его белый, пенный гребень... Но в долю секунды клиппер оказался впереди, и вал исчез, подбросив корму корабля своим последним вздохом. И людей охватила задорная смелость и буйная радость, которая всегда рождается в бурю, когда экипаж уверен в своем судне. Лейтенант Хэрджет, уцепившись за пиллерс, орал изо всех сил старую пиратскую песню, стараясь перекричать шум ветра и волн. Матросы подхватили припев...

К концу дня Эффингхем со старым штурманом, выйдя после обеда на палубу, увидели, что буря ослабевает. Ветер все еще ревел и гудел в снастях над палубой, но в небе произошла внезапная и резкая перемена. Словно гигантский нож распорол толстый облачный покров от края и до края горизонта. Серая пелена, затянувшая простор океана, начала расползаться, уходя в стороны на норд-ост и зюд-вест. Эффингхем направился было в рубку подвести итоги дня, но был остановлен криком вахтенного с бака: — «Судно слева на носу!» Разрез в тучах, открывший чистое небо, уже слегка побледневшее в преддверии вечера, проложил на поверхности моря широкую светлую дорогу. На ней-то и показался, внезапно вынырнув из облачной завесы, корабль. Он шел на зюд-вест, почти параллельно курсу клиппера, и даже удаленность не могла скрыть его огромные размеры. Длинный и низкий корпус судна тяжело и медленно раскачивался на волнах. Верхняя часть носа, выступавшая вперед, зарывалась в воду. В середине громадного корпуса торчала одинокая труба, казавшаяся непропорционально тонкой. Ближе к носу едва виднелась мачта, насаженная на какие-то надстройки, издали казавшиеся рядом постепенно уменьшавшихся кверху брусков. Позади трубы виднелось еще одно сооружение, похожее на башенку с тонкой и короткой мачтой.

— Это что за чудовище? — воскликнул Андерсон, смотревший без бинокля на странного незнакомца. Капитан опустил бинокль и ответил, слегка пожимая плечами:

— Какой-то линейный корабль. Но откуда он тут взялся, — не понимаю. Да еще в такую погоду! Что вы скажете, Хэрджет? Это по вашей специальности.

Лицо лейтенанта было серьезно.

— Это большой линкор. Очертания его мне незнакомы. Наверное, — германский. На «Гнейзенау» непохож. Может быть, из двух самых новых, — секретной постройки. Странно, что он тут. Странно, что он один... Такие гиганты без свиты не ходят...

— А мотает его здорово, — произнес штурман не без злорадства в голосе, — должно быть, круто ему приходится.

— Ну, опасности для такого чудовища никакой, — сказал Хэрджет. — Стрелять ему сейчас трудно, а так — что ему океан? В нем тысяч тридцать пять тонн, больше ста тысяч сил...

— Жаль, нет у нас радио, — сказал капитан. — А то поговорили бы мы с ним...

— Смотрите, вот и военный германский флаг! Он только-что поднял его! — перебил Хэрджет, не отрываясь от бинокля.

— Хорошо, — и мы поднимем наши звезды и полосы! — сказал капитан Эффингхем.

Несколько минут все смотрели на родной флаг, трепетавший на бизани. Линкор не приближался, но отчетливее виднелись поднимавшиеся уступами башни, из которых торчали вверх стволы гигантских орудий.

— Они сигналят нам способом отдаленных сигналов! — воскликнул лейтенант. Капитан хотел поднести бинокль к глазам, но, взглянув на своего помощника, опустил руку. Лейтенант был бледен, как полотно.

— Что с вами, Хэрджет? — тревожно спросил Эффингхем.

— Прочтите сигнал сами, капитан... Я, кажется, сошел с ума! — ответил Хэрджет.

С недоумением всматривался Эффингхем через свой мощный бинокль в еле различимые черные шары и конусы, появившиеся на выступе сложной мачты германского корабля. Еще не успев до конца осмыслить сигнал, обозначавший дикое, но совершенно категорическое требование, капитан почувствовал, что у него все сжалось и похолодело внутри от волнения перед громадным значением происходившего — не для него, даже не для его корабля, нет, — для всей Америки! Эффингхем повернул голову и встретился со строгим, но уже спокойным взглядом лейтенанта.

— Если я не ошибся, — откашливаясь и стараясь говорить спокойно, произнес капитан, — это значит: «лечь в дрейф, остановить судно, оно будет затоплено...» Это значит... Совершилось то, что давно уже назревало: Америка воюет с Германией! А мы-то плывем, ничего не зная, без радио... Вот и расплата... Но он не поворачивает к нам, Хэрджет. Он продолжает итти тем же курсом, удаляясь от нас.

— Мы для него слишком мелкая добыча, капитан. К тому же он уверен, что мы все равно не уйдем. Он, наверное, дал знать по радио своим спутникам, — миноносцам или легким крейсерам, — они, видимо, отстали от него из-за шторма. Пока мы будем выполнять его приказ, кто-нибудь из его свиты подойдет и потопит «Катти Сарк»...

Капитан задумался, не спуская глаз с далекого линкора. Страшная весть уже облетела клиппер, и весь экипаж высыпал на палубу. Слышались отрывистые гневные восклицания. У людей невольно сжимались кулаки.

— Опять сигнал, капитан, — воскликнул Хэрджет, — они грозят открыть огонь, если мы не ответим немедленно...

— Поднимите сигнал — «ясно вижу», — приказал капитан. В его голове сложился рискованный план. — Хэрджет, спросил он, — не правда ли, такое волнение сильно мешает стрельбе? — Получив утвердительный ответ, он снова спросил лейтенанта: какова скорость и какие орудия у этого линкора?

— Скорость под тридцать узлов, орудий десять 406-мм, да штук 20 140-мм, еще зенитки, пулеметы. Главный броневой пояс 356-мм... — торопливо перечислял лейтенант.

— Бронированный дьявол! Ну, а самолеты?

— В такую погоду не взлетят, — отвечал лейтенант.

Эффингхем еще раз осмотрел море, измеряя мысленно расстояние до облачной стены на западе, где уже сгущалась вечерняя мгла. — Положение безвыходное, — сказал капитан, — но сдаваться мы не должны... Рискнем, друзья, — есть единственный шанс, что нацисты будут плохо стрелять. Шторм — наша лучшая защита! — «Ура капитану!» — воскликнули в один голос все, находившиеся на палубе.

— Поднять сигнал — «ложусь в дрейф!» — скомандовал Эффингхем: — все наверх, поставить все паруса, трюмсель тоже, и все лисели с правой. Право руля, отдай немного...

И снова задорный подъем, как во время шторма, охватил моряков перед лицом грозной опасности. Шансов уйти было мало. Бессмысленная сила войны захватила безоружный корабль в свои страшные щупальцы. Как воплощение гибели и разрушения, которые фашисты несли всему миру, виднелась вдали бронированная машина смерти, грузно оседавшая на волнах. На ней специально обученные убийцы зорко следили за клиппером в мощные оптические приборы...

Огромные полотна парусов развертывались одно за другим. Матросы работали как одержимые. Каждый из курсовых парусов, набирая в себя штормовой ветер, сообщал судну заметный толчок, ускорявший его ход. Капитан, сдерживая лихорадочное нетерпение, считал секунды, приближавшие неотвратимую опасность. Линкор снова поднял какой-то сигнал, но никто не обратил на это внимания... Расстояние между линкором и клиппером быстро увеличивалось, стальной колосс обратился в крохотную лодочку, а немцы медлили с началом стрельбы.

Часть команды уже успела справиться со своим делом, как слева от клиппера, в

расстоянии пятнадцати кабельтов, выросло несколько водяных столбов, и заглушенный гул взрывов потряс палубу «Катти Сарк». Снова и снова вздымались водяные столбы, но расстояние между ними и клипером не сокращалось...

— Это бьют сто сорок миллиметров. И все — недолет! Мы далеко от линкора. Вот удача! — воскликнул лейтенант, задыхаясь от волнения. Эффингхем не обратил внимания на его слова, поглощенный маневром. — Отдай немного, снова держи... еще полтора шлага, живее. — Рулевые изо всех сил налегли на штурвал, борясь с непомерно возросшим напором ветра и волнением. Капитан и лейтенант Хэрджет бросился к штурвалу на помощь рулевым. Наконец, клипер повернул и пошел в бакштаг левого галса, продолжая наращивать свои паруса. Ветер гудел все громче, накреняя «Катти Сарк» и сгибая брам-стеньги. Усилившийся скрип дерева и звон стоячего такелажа влились в хор прежних звуков. Громче стали тяжелые всплески, послышались тупые удары днища корабля о воду.

«Катти Сарк» летела, как никогда еще за всю свою семидесятилетнюю службу. Она мчалась прямо на запад, спасая себя от следившего за нею линкора. — Ну, и здорово, капитан! Хотел бы я знать нашу скорость, — весело прокричал Хэрджет, — рекорд... — Но тут же он замолчал, и, подобно всем другим, вытянул шею, напряженно вслушиваясь. Новый звук, похожий на чудовищное мурлыкание, заглушил все остальные шумы. Впереди клиппера возник невероятной высоты водяной столб, чуть ли не выше мачт, с разлохмаченной ветром верхушкой. Мягкий толчок с такой силой остановил на минуту корабль, что все затрещало и судно рыскнуло носом. Потрясающий грохот словно придавил людей к палубе. Охватившее всех оцепенение было нарушено тяжким ревом, донесшимся через несколько секунд со стороны линкора...

— Что это? — невольно воскликнул капитан.

— Четыреста шесть миллиметров. Выстрел из кормовой башни, — отозвался лейтенант Хэрджет.

Никто не мог сказать, сколько прошло секунд или минут томительного ожидания до того мгновения, когда снова, — на этот раз за кормой корабля, — вырос второй водяной столб, и верхушка его рухнула на палубу одновременно с грохотом разрыва. Штурвал завертелся, но рулевые успели отпрыгнуть. Они покатились по палубе, опрокинутые воздушным толчком.

В дополнение к нависшей над клипером смертельной беде, ветер стал поворачивать, меняя направление. Парусный корабль лавирует медленно и, конечно, увертываться от снарядов, изменяя курс, клипер не мог.

— Плохо стреляют господа фашисты! — с презрением сказал старый Андерсон, сверкая глазами из-под густых бровей.

— Пожалуй, — согласился капитан. Лейтенант Хэрджет промолчал. Он-то знал, — знал один из всех, что два выстрела в клиппер не были промахами. Это были перелет и недолет, — обычная артиллерийская вилка, — после которых следовало накрытие цели... Сейчас, если только сильное волнение не помешает прицелке, на «Катти Сарк» обрушатся два снаряда весом в тонну каждый... Хэрджет слабо улыбнулся, подумав, что клипер похож на яичную скорлупу под паровым молотом. Вот сейчас, из чистого неба, сквозь соленый ветер, этот самый молот обрушится на корабль всесокрушающим ударом. И это будет конец...

— «Катти Сарк» — гордый, беспомощный лебедь, — думал молодой лейтенант. Корабль, созданный для смелой борьбы с океаном, но не с бронированным чудовищем... Как красив клипер в этом своем последнем порыве, несущий, будто высокую грудь, чистые, белые паруса... Последний, — уже бесполезный и обреченный свидетель золотого века парусного флота. Эх, если бы он. Хэрджет, был сейчас там, где должен быть — в башне своего линкора... Огнем на огонь ответил бы он...

Мысли лейтенанта оборвались. Толчок, оглушительный удар, сопровождаемый блеснувшей молнией... Теряя сознание, моряк крепко вцепился во что-то, изо всех сил сопротивляясь напору обрушившейся на палубу воды. Капитан Эффингхем видел немногим больше своего помощника. Что-то вспыхнуло, океан вздыбился горой у правого борта, палуба стала наклонной. Ужасный взрыв лишил капитана на минуту сознания. Смутно слышал он треск раздираемой парусины... Но вот вода схлынула, и, очнувшись, капитан увидел хаос и страшное разрушение... Палуба была завалена обломками дерева, спутанными канатами, блоками и грудой парусины... Один из рулевых и Андерсон лежали недвижимо на залитых водой решетках Хэрджет и другой рулевой, бледные от напряжения, старались удержать руль и выпрямить судно. По лицу лейтенанта текла кровь и капала на штурвал. Кусая губы от бессильного гнева, Эффингхем присоединился к усилиям рулевых, и клипер лег, наконец, на прежний курс. Тем временем поднялись штурман и второй рулевой невредимые, только сильно оглушенные взрывом или ударом штурвального колеса.

При ближайшем рассмотрении, разрушения на судне оказались совсем небольшими. Рухнула стеньга грот-мачты,

осколки снаряда едва задели судно. Очевидно, снаряд попал в воду у правого борта, близко от судна, но все же не настолько, чтобы разрушить его. Немцы промахнулись. Только два громадных осколка задели «Катти Сарк». Их смертоносный путь был обозначен зияющими ранами — расщепленным деревом и разорванным изогнутым железом. Один осколок распорол часть юта позади мостика, второй вырвал фальшборт около вант фок-мачты. В общем, клиппер был цел и продолжал свой бег. И никто из людей не пострадал серьезно — только лейтенант и два матроса были ранены обломками дерева. Но капитан ясно сознавал всю беспомощность и обреченность корабля. Чувство острой, щемящей тоски сжало сердце капитана... Пятьдесят две человеческих жизни были в его руках, — а что могли сделать эти руки, простые человеческие руки, в борьбе с молотом смерти, нависшим над судном? Капитан колебался. Имеет ли он право продолжать борьбу, ни на что не надеясь?

Легкое прикосновение к руке оторвало капитана от безотрадных дум. Старый штурман, с трудом державшийся на ногах после контузии, показывал рукой на бакборт судна. Туманная стена, гонимая изленившимся ветром, надвигалась на клиппер. И снова надежда вспыхнула в душе капитана.

Полосы тумана, еще легкие и прозрачные, протянулись между линкором и клиппером. — Держись, друзья! — крикнул Эффингхем, — еще несколько минут, и у нас будут шансы на спасение! — Но и без этих слов каждый понимал, что в надвигавшейся пелене тумана — спасение. Прошло две минуты. Линкор медлил со следующим залпом. Очертания его расплылись в мглистых сумерках. На востоке сверкнула, изогнувшись над морем, дуга зеленовато-золотистого огня. Секунда, — в которую холодно и пусто становится внутри, и зябко поджимаются пальцы ног, — и водяные столбы взвились справа и слева клиппера, нос которого вскинуло кверху. Грохот разрывов смешался с криком «ура» лейтенанта Хэрджета, подхваченным матросами.

— Все, капитан! Больше стрелять не будут, — и так уж настреляли на такую сумму, что можно построить новую «Катти Сарк»!

Облачная мгла нависла над клиппером. Еще минута, — и туман призрачным облаком окружил корабль, отделив его непроницаемой стеной от мчавшегося на востоке чудовища. Казалось, сам океан, возмущенный избиением беззащитного корабля, взмахнул широким крылом и закрыл его от злобных глаз немцев.

Закуривая, капитан Эффингхем почувствовал огромную усталость. Он глубоко вздохнул и сказал, обращаясь к своим помощникам:

— Право же никогда я, да и все мы, конечно, включая «Катти», не заходили так далеко в ворота смерти... Если бы не перемена ветра — всем нам был бы конец...

На коротком совещании капитан решил склониться на запад, прямо к берегам Америки, чтобы скорее углубиться в воды Соединенных Штатов. Если немецкий линкор встретился с «Катти Сарк» недалеко от Дакара, то, очевидно, он прорвался в Атлантический океан для операций в этом районе.

— Я хочу сейчас только одного, — сказал лейтенант Хэрджет: — скорее явиться во Фриско, вернее, в Сан-Диэго.

— Да, и я вам в этом помогу, — отвечал капитан, — мы пойдем в Сан-Диэго. Я хочу привести наш славный клиппер в Фриско в полной сохранности. В Сан-Диэго мы быстро произведем починку, там у меня много друзей. А вы сразу же попадете на свой корабль. Я не военный, и не знаю, — придется ли мне воевать. Но во всяком случае, с этого дня, я имею новую ясную цель жизни — работать, чтобы приблизить победу над жестокой и безжалостной силой...

— Вашу руку, капитан, — сказал лейтенант. Молчавший до сих пор Андерсон выступил вперед. — Я пожму вам руку, капитан, за сегодняшнее. Вы говорите, что вы мирный человек, но сегодня вы поступили как настоящий моряк, и как верный сын своей родины.

Ночь прошла спокойно. И снова потянулись дни безмятежного плавания. Но моряки уже не могли опять вернуться к прежнему ощущению полного и радостного слияния с морем. Пережитые минуты бессильной ярости и боли сердца оставили неизгладимый след в душе каждого.

И вот, вскоре сбылась мечта капитана Эффингхема. «Катти Сарк» проходила горячим солнечным днем Золотые Ворота без буксира, развернув все паруса.

— Вот все, что я знаю о «Катти Сарк», друзья... Мой рассказ оказался длиннее, чем я ожидал, — закончил Игнатий Петрович.

(Окончание следует).

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Черноморская легенда

ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ

★

1.

Севастопольский камень!..

Долго странствовал он по всему Черноморью, переходя из рук в руки, от одного моряка к другому, наконец, достойно завершил свой славный боевой путь. Встанем смирно, товарищи: севастопольский камень положен на свое место!..

Вы помните легенду о камне? Она родилась на Черном море летом 1942 года, в те трудные, тяжкие дни, когда мы, сцепив зубы, медленно отходили на Кавказ и на Волгу. Но попрежнему непоколебимой оставалась наша вера в победу, — отступая, мы смотрели все-таки на запад, готовя немцам Сталинград и Курск, грозя им Корсунью-Шевченковской и Крымским разгромом.

Мы оставили тогда и Севастополь... А вскоре по черноморскому берегу прошел слух о севастопольском камне.

...Много ходило потом рассказов и слухов об этом камне. Говорили, что моряки пронесли Севастопольский камень по всему Азовскому побережью от Таганрога до Геническа, что побывал он и в Новороссийске, в дни знаменитого штурма, и в Херсоне, и в Николаеве. Словом, очень много рассказывали, но никто из рассказчиков не мог похвалиться тем, что видел камень своими глазами, держал его в своих руках.

И некоторые начали уже подумывать, что, может быть, на самом-то деле никакого камня нет и никогда не было, что вся его история — это одна только легенда, разговоры. Действительно — странное дело: все кругом говорят «камень», «камень», а где он, этот камень, каков он с виду, у кого он хранится, — никто не знает!

Я, впрочем, о Севастопольском камне знал побольше других. Есть у меня на Черном море давнишний приятель, старый боцман Прохор Матвеевич Васюков, человек известный, уважаемый, великий мастер рассказывать разные удивительные истории, хранитель бесчисленного количества морских легенд и преданий. Признаться, я давно догадывался, что добрую половину своих историй Прохор Матвеевич сам сочиняет, но свою догадку я хранил про себя и никогда не высказывал ее старику, боясь рассердить и обидеть его. Прохор Матвеевич очень заботился о том, чтобы его рассказы звучали вполне достоверно, и всегда начинал с длинного предисловия — где именно, когда, и с каким человеком все это случилось.

А вот недавно в дружеской беседе я промахнулся. Дело в том, что впервые о Севастопольском камне я услыхал именно от Прохора Матвеевича вскоре после ухода наших войск из Севастополя. Тогда на море никто еще не знал этой легенды, и только много времени спустя она стала общеизвестной. Да не отсюда ли, не от Прохора ли Матвеевича и началась и пошла она? — подумал я, и сгоряча сказал это старику — в шутливом, разумеется, тоне.

Зря начал я такой разговор. Старик вспылил и надулся, встопорщив усы.

— Это кто же мог такую глупость сообразить? — начал он зловещим голосом, глядя на меня в упор глазами судьи. — Или ты, может быть, сам? Смотри-ка, что выдумали: никто-де камня этого не знает, никто-де его не видел!.. Да он что тебе, камень — вывеска, выставлять его на погляденье?.. Ты что же думаешь, каждый любой может на него глаза пялить и руками хватать? Нет, брат, погоди! Он не всякому доступный, он только настоящему моряку доступный, и тот геройский моряк должен хранить его на груди и никогда с ним не расставаться. А ты с такими мыслями, что, вроде, никакого камня и вовсе нет, хочешь его увидеть! Да как же ты увидишь, кто тебе покажет? Тот геройский моряк с тобой и разговаривать не станет! О чем с тобой говорить, какой ты моряк, если веры в

себе не имеешь? Какой для тебя в этом камне толк — на нем ведь ничего не написано и клейма золотого нет... Пойди вон на улицу, подбери булыжник, да и гляди сколько хочешь! Ты в себе веры не имеешь, тебе все едино — что камень Севастопольский, что булыжник!

Очень обидными показались мне эти слова, и я промолчать не сумел.

— А сами-то вы, Прохор Матвеевич, как его распознаете, если на нем ничего не написано и клейма нет?

— Эх, ты! — усмехнулся старик. — Он ведь кровью политый. Сколько за него, за этот камень моряцкой нашей крови пролилось!.. А ты спрашиваешь, как я его узнаю. Сердцем почую, вот как!

И Прохор Матвеевич оборвал разговор, дав мне понять, что я за свое маловерие недостоин дальнейшей беседы о камне. С тем я и ушел, унося в душе обиду на старика, и даже про себя поругиваясь, что вот, мол, какую моду взял, старый: чуть что не по нем — сейчас нотация, выговор...

Так и остался я при своих прежних мыслях, что старик сам сочинил всю историю о Севастопольском камне, пустил ее в мир, а признаться в этом не хочет — не сочли бы его-де каким-нибудь пустозвоном, что всем на потеху выдумывает разные небылицы.

2.

И в этом своем убеждении, что всю историю о Севастопольском камне сочинил сам Прохор Матвеевич, я не ошибался и не ошибаюсь — действительно, он сочинил! Значит, правду я ему сказал тогда и зря он сердился?..

В том-то и дело, что сердился он вовсе не зря!.. Да, в тот памятный вечер правду говорил я, но прав был все-таки он, Прохор Матвеевич — кругом прав! Немного прошло времени — и за свою правоту, за свою веру старик был вознагражден великой небывалой честью... Не стоит, впрочем, забегать вперед — буду рассказывать по порядку.

Однажды, недели через две после нашего разговора, Прохор Матвеевич отправился утром на рынок за веревками и мешками для упаковки своих вещей. События в Крыму нарастали бурно. Прохор Матвеевич — коренной севастополец — спешно готовился к возвращению на родину.

Возвращение в Севастополь! Все двадцать два месяца старик жил только этой мыслью — с нею ложился он спать, и с нею просыпался.

— Поубавить бы мне годков, — говорил он друзьям и знакомым — в первый же день был бы я в Севастополе! Да вот беда — не сочувствуют военкоматские. Нельзя, говорят, года не те... Значит, придется запоздать.

Но давно известно, что если человек одержим каким-нибудь всепоглощающим и высоким стремлением — судьба и случай всегда приходят на помощь к нему. Не опоздал Прохор Матвеевич, вошел одним из первых в Севастополь и никакие военкоматские не смогли ему помешать...

Он толкался по рынку, приценялся к веревкам, мешкам и рогожкам, а всемогущая судьба уже готовила ему волшебный, чудесный подарок.

Когда, возвращаясь домой с пучком веревок и рогожным свертком в руках, поровнялся Прохор Матвеевич с центральным городским госпиталем, — из стеклянных дверей выпорхнула на улицу молоденькая фельдшерица в белом халате и в косынке из марли. Она глянула вправо, глянула влево и, увидев Прохора Матвеевича, быстрым шагом направилась прямо к нему.

— Извините, товарищ! Скажите, пожалуйста, — вы моряк?

Прохор Матвеевич воззрился на нее с удивлением, а потом и с начальственной строгостью. Старый служака, ревностный блюститель флотской дисциплины и субординации, он не любил в молодежи, а особенно в девушках, излишней бойкости — «озорства», по его выражению. А девушка, улыбаясь, ждала ответа; была она маленькая, худенькая с карими веселыми глазами, с ямочками на щеках, словом, вид имела самый легкомысленный (надо же было всемогущей судьбе принять на этот раз именно такой облик!)

— Моряк... А в чем дело? — сказал, наконец, Прохор Матвеевич сиплым и хмурым боцманским басом, тем самым, который заставлял в свое время трепетать нерадивых матросов. Но девушка ничуть не испугалась, улыбка засветилась на ее лице еще веселее.

— А вы давно моряк? А вы плавали на кораблях? Или только на берегу, в порту?

От такой неслыханной дерзости Прохор Матвеевич даже онемел и молчал с полминуты, выпучив глаза на свою веселую собеседницу.

Девушку спасла только ее полная наивность — всякий другой был бы испепелен в одно мгновение на месте за такие слова!

Но окорот этой не в меру бойкой девице надо было все-таки дать.

Прохор Матвеевич ответил вопросом:

— А вам сколько лет, позвольте спросить? Какого года вы рождения?

— Девятнадцать лет. В двадцать пятом году родилась.

— В двадцать пятом! — внушительно сказал Прохор Матвеевич. — Так вот, когда вы родились, у меня уже без малого тридцать лет корабельной службы

за кормой было. Я в море двенадцати лет пошел.

Девушка взглянула на Прохора Матвеевича серьезно и с уважением, легкомыслие исчезло с ее лица, между бровями появилась тонкая складка.

— В госпитале у нас один старшина лежит, — сказала она. — Просил обязательно разыскать старого моряка, настоящего. Какое-то морское дело у него, никому не хочет доверить — моряка требует.

Прохор Матвеевич, ясное дело, пошел. Свои веревки и рогожи он оставил на подоконнике в вестибюле, затем облачился в белый халат и вслед за девушкой поднялся по лестнице на второй этаж.

Тут и переломилась жизнь Прохора Матвеевича: великий мастер сочинять и рассказывать разные удивительные истории, он сам угодил вдруг в такое приключение, в такую историю, что сразу и поверить нельзя.

Следом за фельдшерицей он вошел в палату. Койка старшины стояла в глубине, у окна. Старшина дремал, под одеялом угадывалась его толстая неподвижная нога в лубках и гипсе. Его лицо понравилось Прохору Матвеевичу — серьезное, и не очень уж молодое, лет на тридцать пять; ранение не оставило на лице особо заметных следов, только легкую желтизну и синеватые тени в подглазьях — человек, значит, крепкий, упорный, не сдается болезням. И выбрит гладко, и ногти чистые — аккуратный человек, хороший служака! Чтобы разглядеть все это, Прохору Матвеевичу понадобилось не больше секунды: боцманский глаз — наметанный. Приметил он так же на руке старшины татуировку: старинный рисунок, сделанный лет уж пятнадцать назад — значит, служит давно.

Девушка легонько тронула раненого за плечо. Он открыл глаза.

— Ну вот, привела моряка! — звонко сказала она. — Самый настоящий.

И в ее глазах вдруг опять блеснуло такое веселое озорство, что Прохор Матвеевич даже опешил слегка — уж не для смеха ли позвали его сюда?

...Нет, совсем не для смеха! Когда веселая девушка ушла, старшина сказал:

— Большое у меня к вам дело, папаша! Серьезное дело, морское. Только давайте познакомимся для начала. Рябушенко, моя фамилия. Из дивизиона катеров.

Взгляд его, устремленный на Прохора Матвеевича, был напряженным, даже испытующим; старик понял, что дело, действительно, очень большое.

Познакомились. Прохор Матвеевич не счел для себя унизительным показать старшине документы о службе, а старшина не счел бестактным внимательно их просмотреть.

— Да! — сказал он. — Правильно! Не ошиблась на этот раз — того человека и привела, которого я искал. Она многих уже водила ко мне, да все не те попадались. А вам, папаша, я вижу довериться можно.

— Уж не знаю, что и сказать, — скромно ответил Прохор Матвеевич. — Шестьдесят лет скоро живу на свете, никого еще не обманул покуда. Бот миловал.

— Нагнитесь ко мне, папаша, — сказал старшина. — Об этом деле вслух кричать не годится. Вы, папаша о камне о Севастопольском знаете?

— Я, да не знаю! — усмехнулся Прохор Матвеевич, с таким видом, с каким усмехнулся бы Пушкин, если бы его спросили, читал ли он «Евгения Онегина»?

Старшина понизил голос до шопота.

— И что ему время пришло, тоже знаете? А я вот здесь без ног лежу. И раньше чем месяца через три не выйду... Смотрите сюда, папаша.

Старшина сунул руку под подушку и вытащил какой-то сверток.

Он размотал тряпку, потом начал разворачивать жестко шуршащий пергамент, все это он делал очень медленно и бережно, а Прохор Матвеевич замер и затаил дыхание устремив на сверток неподвижные округлившиеся глаза. Прохор Матвеевич уж сообразил, понял, но поверить не смел! Когда старшина снял пергамент, Прохор Матвеевич, побледнев, выпрямился и вытянул руки по швам: перед ним был Севастопольский камень — плоский гранитный осколок, матово поблескивающий в изломе.

Через десять минут Прохор Матвеевич вышел на улицу. Камень лежал во внутреннем кармане его кителя против сердца, и старику казалось, что действительно камень этот горяч каким-то своим внутренним жаром.

В сквере старик присел на скамейку, чтобы немного опомниться. День был весенний, солнечный, пахучий, со свежим ветром, шумящим в молодой листве: море светилось ярко-синим пламенем, а вдали кипело барашками, грохотал накат, разбиваясь о набережную.. Прохор Матвеевич ничего не видел, не слышал, не замечал. Мысли его путались; он испытывал чувство растерянности и смятения, подобное тому, какое испытал бы художник, увидев, что нарисованный им портрет ожил на полотне и грозит пальцем.

Мимолетно вспомнил Прохор Матвеевич о своих веревках и рогожах: там остались, на подоконнике — и сейчас же опять забыл. Какие уж тут веревки!..

Он ощупал внутренний карман кителя. Камень был здесь, на груди — севастопольский камень, чудесно родившийся из его слова. Прохор Матвеевич — творец камня, — отвечал теперь своей морской

флотской честью за весь его путь, за его возвращение в Севастополь! От Прохора Матвеевича началась легенда, ему же судьба приказала достойно закончить ее, — старик попал во власть собственного творения.

Странным и смутным пришел он домой, в свою комнатушку. С удивлением осмотрел он стены, потолок, белые подоконники, украшенные цветными салфетками Здесь просидел он целых два года без малого! Да разве в такое время здесь, рядом с дородной и теплой вдовой Ариной Филипповной, его настоящее место?

Он достал из корзины свой старый рюкзак С потемневших пряжек сыпалась тонкая, ржавая пыль, когда он распрямлял ремни, — рюкзак давно отдыхал на кавказском берегу в ожидании своего часа. Прохор Матвеевич уложил две пары белья, табак, бритву, мыло, полотенце, хлеб, консервы. Больше ему ничего не нужно было в дорогу.

Передавая квартирной хозяйке ключи, он сказал:

— Побереги, Арина Филипповна, вещи мои. А если через три месяца не вернусь за ними, — тогда возьми их себе. Наследников у меня других нет.

— Что случилось, Прохор Матвеевич, — воскликнула хозяйка, с недоумением и страхом глядя на его походный костюм и на рюкзак за плечами. — Куда это вы собрались? А я сегодня как раз вареники затеяла — ваши любимые.

— Спасибо, — суровым и твердым голосом ответил Прохор Матвеевич. — Но только мне ждать нельзя. Дело большое. Арина Филипповна Если, бог даст, все обойдется благополучно, — переедем жить в Севастополь.

Он поцеловал хозяйку и ушел, не оглядываясь. Калитку за собой он, как всегда, аккуратно закрыл на щеколду.

Хозяйка стояла, стояла на крыльце, долго смотрела ему вслед, потом заплакала, утираясь передником.

Так Севастопольский камень, а вместе с ним старый боцман Прохор Матвеевич Васюков начали свой путь к Севастополю.

3.

«Удостоверение»

Дано сие Васюкову Прохору Матвеевичу, мичману в отставке, в том, что он действительно имеет задание доставить Севастопольский камень в город Севастополь и уложить означенный камень на его место.

Под этим удивительным документом, который, наверняка, займет видное место в Севастопольском музее Отечественной войны значились надлежащие подписи, да еще какие подписи! — и стояла военная гербовая печать.

Вы хотите спросить, каким образом ухитрился Прохор Матвеевич получить столь необычное удостоверение? Конечно, никто другой не смог бы этого сделать, но ведь не зря же старик целых сорок пять лет беспорочно прослужил на Черном море. Во флоте люди умеют понимать друг друга с полуслова; поэтому отставной мичман Прохор Матвеевич и его давнишний знакомый, седой контр-адмирал, сговорились в десять минут: бумага была подписана и печать приложена.

С этим удостоверением в кармане отправился Прохор Матвеевич на Керченскую переправу.

Все, что оставалось у него позади, — тихий приморский городок, комнатка в десять квадратных метров, теплая вдова Арина Филипповна с ее борщами и варениками — все это отодвинулось далеко, в дымку, в туман, словно прошел с тех пор уже целый год; зато ясен, хотя и суров был путь впереди: Керчь, Крымская земля, Севастополь...

Вскоре в журнале одного из катеров появилась запись о переправе через пролив Севастопольского камня на основании удостоверения номер такой-то.

Прохор Матвеевич вступил на Крымскую землю.

Все в Крыму дышало весной и победой! — солнце, море, ветер, люди и даже самые развалины. Пусть разрушены города — они свободны! Сожжены деревни, но уже копошатся, трудятся вокруг своих домишек и саклей вернувшиеся из гор, из лесов люди — заделывают проломы в стенах, мажут глиной крыши, чистят колодцы...

— «Бог на помощь!» — говорил Прохор Матвеевич какому-нибудь усатому украинцу, месившему ногами глину, и тот, поддергивая свои засученные, забрызганные штаны, отвечал: «Спасибо! И вам бог на помощь — не выпустить его из Крыма, проклятого!» Прохора Матвеевича, хотя погонов и не было на его кителе, принимали все за военного, и это льстило ему — «Никуда не уйдет! — отвечал он успокоительно — Сидит, как в мышеловке!..» А весна стремительно переходила в знойное лето; утром, едва показывалось солнце, море начинало слепить — ярко синее, с белой полоской у берега, днем было жарко, тихо; а по ночам в ясно-темном небе светились весенние звезды — прозрачными каплями... Война непонятным образом слила воедино и смерть, и жизнь, благоухание садов и смрад неубранных трупов, разрушение и созидание, мирную тишину под звездами и грохот артиллерийских залпов, — а все это вместе определялось Прохором Матвеевичем для себя одним коротким словом — «победа».

...Далекий гул, что услышал ночью Прохор Матвеевич, трясясь в кузове полу-

горатонки возвестил о близости Севастополя — то ревели наши и немецкие пушки. Глухой и ровный гул шел, казалось, из самых недр земли, сотрясая ночь. Придерживаясь за крышу кабинки, Прохор Матвеевич встал и осмотрелся — все было темно кругом: грузовик шел долиной. И еще много раз вставал Прохор Матвеевич, придерживаясь за крышу кабинки, и попрежнему ничего не мог рассмотреть в темноте. Но когда машина, тяжко рыча, взобралась на подъем, он, и не вставая, увидел зарево — неровное полукольцо бледного, летуче-зыбкого света от орудийных залпов, на фоне дымного багрового тумана.

— Огня-то, огня! — сказал соседу Прохор Матвеевич.

И услышал в ответ:

— Горит Севастополь!..

4.

Командир батальона морской пехоты немало удивился, прочитав удостоверение Прохора Матвеевича.

— Слышал я об этом камне, много слышал, — сказал майор. — Но того никогда не думал, что попадет этот камень гражданскому человеку.

— Мичману в отставке, — напомнил Прохор Матвеевич.

Майор поспешил исправить свой промах.

— Прошу извинить, товарищ мичман,— оговорился... Оно, может быть, даже и правильно, что попал он к вам, старому моряку. Спасибо, что пришли в наш именно батальон, — считаю за честь!

Разговор этот происходил в блиндаже, где еще вчера сидели немцы, — остались от них только две помятые каски, да разбитый взрывом пулемет. Наверху наша артиллерия вела ураганный огонь; в протяжном и низком пушечном реве нельзя было различить отдельных залпов; блиндаж весь дрожал и трясся, с потолка сыпалась земля.

— Здорово бьют! — сказал майор.—Значит, скоро будем штурмовать. А пока что, товарищ мичман, и для вас найдется работа, если пожелаете. Ранили у меня позавчера одного замполита, а был он большой мастер с бойцами беседовать по душам Вы моряк старый, коренной, всего повидали на своем веку. Вот бы вам поговорить с людьми — насчет камня, о традициях флотских, о нашей чести морской. Службы у вас сорок пять лет, вид солидный, авторитет...

Ну, как будто он в воду смотрел— майор! Лучшего занятия для Прохора Матвеевича нельзя было выдумать.

И превратился Прохор Матвеевич на старости лет в политработника, в пропагандиста Через два дня он был уже любимцем батальона. Давно известно, что моряки в хорошем разговоре толк понимают — Прохор Матвеевич был оценен по достоинству. Когда под немецким огнем он пробирался ходами сообщения;— ему отовсюду из траншей, из дзотов, из блиндажей — кричали:

— Папаша, к нам загляните, к нам!

И он заглядывал — не отказывался. Он садился, не спеша закуривал, потом начинал степенный разговор.

Начиналась беседа и легко, свободно шла дальше и заканчивалась какой-нибудь необыкновенной удивительной историей, которую Прохор Матвеевич умел рассказать всегда кстати. Заговорили в траншее о знаменах—Прохор Матвеевич отозвался целым рассказом. О кораблях однажды заговорили—Прохор Матвеевич, конечно уж, не молчал. Пожаловался один паренек, что долго нет писем из дома,—у Прохора Матвеевича оказалась наготове история о затерявшемся письме. Слушали, затаив дыхание, бойцы, слушал паренек и светлел лицом. «Рано начал я тревожиться», — думал он про себя.

Один боец как-то сказал в блиндаже:

— Если потеряю руку или ногу на фронте,—домой к жене не вернусь. Уеду в Сибирь.

У Прохора Матвеевича нашелся и на этот случай в запасе интересный рассказ о моряке-инвалиде, который вот так же поехал из госпиталя не домой, а в Сибирь, а жене послал от чужого имени открытку: так, мол, и так — погиб ваш муж смертью храбрых.

— Он, видишь, хотел этой самой открыткой все концы сразу обрубить,—неторопливо повествовал Прохор Матвеевич.

— Одного не сообразил, чудак — что настоящую хорошую жену в таком деле обмануть невозможно. Жена почерк на открытке признала .

— Ишь ты какая! — отозвались бойцы.

А Прохор Матвеевич продолжал рассказывать дальше — как поехала верная жена на фронт, с фронта — в госпиталь, из госпиталя — в Сибирь, как мучилась она, разыскивая мужа, как, наконец, нашла его где-то в Тобольске, и первым делом задала ему добрую трепку за глупые мысли...

Закончил Прохор Матвеевич свой рассказ наставлением:

— От этаких вот поступков глупых только одно беспокойство женам получается и загрузка транспорта — больше ничего. И скажу еще, что настоящему моряку, пока он жив и в строю находится,— об этом и думать не положено Стыдно моряку самого себя наперед хоронить.

Задумались бойцы, запомнили наставление. И потом между ними таких разговоров, что вот мол чувствую, — завтра ранят или убьют меня, — никогда больше не было...

Майор, командир батальона, сказал Прохору Матвеевичу:

— Замечательные истории рассказываете вы! Некоторые бойцы даже записывают. Об одном жалею — о ваших годах, а то ни за что не выпустил бы вас из батальона! Спасибо за службу.

— Служу Советскому Союзу! — ответил Прохор Матвеевич и отошел удовлетворенный: не зря, не зря он ест матросский фронтовой хлеб!

Между тем, артиллерия все яростнее молотила по вражеским укреплениям, все злее бомбили наши пикировщики и штурмовики; воздух над позициями стонал, шипел, содрогался. Дни штурма близились.

Ничего не сказав командиру батальона, Прохор Матвеевич тайно запасся трофейным автоматом, гранатами, парабеллумом. Он решил итти на штурм вместе со всеми, и даже впереди. И когда он это решил,— севастопольский камень, показалось ему, слегка шевельнулся во внутреннем кармане кителя, против сердца.

Опускались южные густые сумерки — явственнее обозначались летучие зарницы залпов. Севастополь все гуще окрашивался в свой ночной багрово-мутный цвет. Прохор Матвеевич долго стоял в задумчивости, не слыша вокруг ни свиста, ни грохота, ни воя, которые стали за эти дни такими привычными, что даже не замечались... Глядя на пылающий Севастополь, старый боцман думал об удивительной и неповторимой судьбе этого города — вспомнил он и Нахимова, и Корнилова, и Кошку, и Дашу, и многих других, проливших здесь свою кровь. Вспомнился ему и неизвестный моряк, скелет которого с истлевшими обрывками тельняшки нашли позавчера за камнем, в кустах, на склоне горы...

Взволнованный этими мыслями, он долго не мог уснуть в землянке, и все ворочался, хотя было уже заполночь и бойцы давно храпели, свистели вокруг на разные голоса. Наконец, сон сломил Прохора Матвеевича.

Странным было его пробуждение. Молчали пушки, молчали пулеметы, — стояла тишина, как до войны. Чувствуя тело неожиданно легким и молодым, Прохор Матвеевич встал и вышел на воздух.

Ночь еще не кончилась и была вся голубая от луны. Севастополь горел, но каким-то другим — золотым и неподвижно-ясным пламенем. Прохор Матвеевич пошел вдоль передовой, часовые не окликали его, не было ни танков, ни батарей, меняющих позиции. И почему-то Прохор Матвеевич этому не удивился. Точно так же без всякого удивления вытянулся он во фронт перед адмиралом Нахимовым, что возник из тумана на его пути.

— Когда же штурм, Павел Степанович? Время бы, а то сердце горит, терпения уж больше нет!

— А вот скоро, денька через два, Прохор Матвеевич, — ответил адмирал. — Войско готово.

И тогда Прохор Матвеевич увидел, что Нахимов не один: бесчисленные шеренги матросов и солдат стояли за ним, вытянувшись «смирно», как на параде.

И Прохор Матвеевич пошел по рядам. Некоторых он узнавал — вот, например, главстаршина Чернов, что погиб еще в декабре сорок первого года: Прохор Матвеевич присутствовал лично на его похоронах. Были и другие знакомые; Прохора Матвеевича немного смущало одно только, что все они — мертвые и не должны бы стоять на земле, между тем они стоят на земле и смотрят на пылающий в золотом и ясном пламени Севастополь. Адмирал Нахимов шел рядом; на вопрос Прохора Матвеевича он ответил:

— Севастопольская земля для врага — страшна, а для русского человека севастопольская земля бессмертная. Потому за Севастополь и умирали мы все без страха.

А войско бессмертных стояло, неподвижное в тумане и грозное, готовое ринуться по первому знаку на штурм. Прохор Матвеевич повернулся к Нахимову, чтобы сказать ему...

Но тут Прохор Матвеевич от страшного удара и грохота подскочил на своей подстилке и сел, оглушенный... Землянка качалась, было темно, моргасик погас...

— В чем дело? — спросил Прохор Матвеевич, не совсем еще проснувшись.

Ему ответили:

— Немец тяжелым снарядом шарахнул. Метров семь взял бы левее, и тогда — конец нашей землянке.

Ночь, как всегда, грохотала, ревела, гудела от канонады. И Прохор Матвеевич сразу, конечно, понял, что никуда из землянки он в голубой туман не ходил и никого не видал — Нахимов, войско бессмертных просто ему приснились после раздумий об удивительной судьбе Севастополя.

Но сон этот был все-таки особенный. «Вещий сон! — подумал Прохор Матвеевич. — Не свидеться бы мне и вправду с Павлом Степановичем на том свете»...

Утром, беседуя с бойцами, Прохор Матвеевич повторил нахимовские слова:

— Севастопольская земля — она для врага очень страшная. А для нашего русского человека она — бессмертная. Потому и не боимся мы голову за нее сложить.

И бойцы поняли сразу — словно бы все они видели ночью тот же самый сон...

5.

Майор перед штурмом попробовал задержать старика в своей землянке, но Прохор Матвеевич и слушать не захотел.

— Для этого есть легко раненые, — ответил он. — А мне дозвольте с батальоном, если вы ко мне хоть сколько-нибудь имеете уважения. В бою, товарищ майор, тоже иногда полезно бывает поговорить с человеком.

Что можно возразить на такие слова? Да они к тому же понравились майору: он сам был человек боевой и умел ценить воинскую доблесть в других.

И пошел Прохор Матвеевич на штурм вместе со всеми и даже впереди. Севастопольский камень лежал у него во внутреннем кармане, против сердца, как щит или броня.

— Я за себя не тревожусь, — говорил старик в бою морякам. — Покуда я к фашисту стою лицом, — сердце мое защищено от пули... Вот если спиной оберну́сь, — тогда, конечно, дело совсем другое. Солдат, как только спину противнику показал, считай — мертвый!..

Надо сказать, что велись подобные разговоры не в блиндажах, и не в окопах, а в наступлении, под таким огнем, что и бывалые бойцы покряхтывали...

...Я не берусь описывать огневых, героических дней штурма: не видел. Да если бы даже и видел — все равно описать не сумел бы: здесь нужна поэма или целый роман. Перейдем лучше прямо к судьбе Прохора Матвеевича.

На третий день штурма, поднявшись в очередную перебежку, он вдруг увидел перед собой мгновенный желто-красный блеск разрыва и, лицом вниз, рухнул в темноту, в безмолвие — в ничто.

Над ним склонились два бойца. Один из них приник ухом к сердцу Прохора Матвеевича и выпрямился бледный.

— Эх, Вася! — сказал он. — Погубили фрицы нашего старика! Дадим им, Вася, жизни за это!

— Камень возьми, — сурово отозвался второй.

Они взяли камень, и, пригнувшись, побежали вперед, в огонь и грохот — задерживаться было нельзя.

Бой двигался к Севастополю, бой гремел уже на окраинах, на Малаховом кургане, у Северной бухты, на центральных улицах, а Прохор Матвеевич ничего не видел, ничего не слышал. Он лежал неподвижный, синевато-белый, без кровинки в лице. И не слышал, бедняга, последнего залпа, после которого встала над землей и над морем торжественная тишина победы.

Но тишину эту услышал он, очнувшись поздней ночью. Все он сразу понял; охваченный порывом, хотел встать — и не смог, хотел ползти — и тоже не смог. И тогда старик заплакал — от радости, что Севастополь, наконец, свободен; и от обиды, что не его, не Прохора Матвеевича, рукой положен будет на свое место севастопольский знаменитый камень. Пить ему очень хотелось, а вода вся вытекла из фляги. Он лежал на спине, смотрел в небо и плакал; звезды сквозь слезы были мохнатыми.

Он впал в забытье — в безмолвие и темноту.

Пробудил его утром чей-то радостный голос:

— Братцы, да он живой — старик!

Прохор Матвеевич открыл глаза и прошептал:

— Воды...

В пикапе, куда его уложили, веселый санитар пояснил:

— Приказал товарищ майор доставить ваше тело.

— Какое тело? — поморщился Прохор Матвеевич. — Зачем же доставлять мое тело, когда я сам со своей собственной душой могу явиться... Камень положили на место?

— Нет, — ответил санитар. — Для этого и везем ваше тело... то-есть, для этого вас и везем, — поправился он.

— Товарищ майор приказал, чтобы обязательно в вашем присутствии и под знаменем. И чтобы над вами троекратный салют.

— Да ты что взялся меня хоронить! — обозлился Прохор Матвеевич. — Разве над живым человеком троекратный салют бывает — садовая голова! Я вот скажу майору!..

Ничего он майору не сказал — до того ли было старику, когда у памятника Погибшим Кораблям он увидел батальон, выстроившийся «смирно», увидел знамя и синеву родной бухты. Прохор Матвеевич поднялся в машине, замахал рукой; по рядам, хотя и стояли они «смирно» — словно радостный ветер прошел: жив старик! Майор бросился бегом навстречу, со слезами на глазах крепко обнял Прохора Матвеевича и трижды по-русски поцеловал. Потом старика, бережно поддерживая, подвели к полуразбитому парапету набережной, и в благоговейной тишине, нарушаемой только плеском гвардейского боевого знамени, Прохор Матвеевич положил Севастопольский камень на место...

Миссия его была окончена, долг выполнен до конца.

Что было дальше — я не знаю. Самого Прохора Матвеевича я еще не успел повидать и всю эту историю рассказываю вам со слов одного черноморского летчика, только что прилетевшего из Севастополя. Может быть я и пропустил много интересных подробностей, может быть и перепутал кое-что, но ведь не мог же я — судите сами — промолчать о таком значительном событии!

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

★

ТОЛЬКО Б НАШИ СЕРДЦА НЕ СТАРЕЛИ

Ничего, ничего, дорогая,
Пусть виски серебрит седина,—
Это, наши сердца сберегая,
Нас слегка присолила война.

Ничего, что щепоточку соли
Кто-то бросил на черную прядь.—
Крепче будем! Ни бури, ни боли
Нас теперь не сумеют сломать.

Огорчаться от каждой морщины
Я, ей-богу, не вижу причин!
Посуди, ну какой же мужчина
Без добротных военных морщин?

Нам достались и счастье, и муки
В эти годы пожить на земле.
Будем думать о встрече в разлуке,
Будем помнить о солнце во мгле.

Все придет — соловьиные трели
И заката малиновый час..
Только б наши сердца не старели
И не морщились души у нас.

★

БУДЕТ ПРАЗДНИК!

Идет война, и мы надолго
Разлучены, мой друг, с тобой,
Но нынче ты укрась светёлку
И, как всегда, на стол накрой.
И на моем обычном месте
Поставь ты чарочку мою,
Как будто я с тобою вместе
И за твое здоровье пью.

Верь, настанет светлый час,
Все придет и сбудется.
Будет праздник и у нас
И на нашей улице!

Вчера у нас земля гудела,
Сейчас — покуда тишина,
Стоят деревья в дымке белой,
И светит ясная луна.
И вспомнил я такой же вечер,
И вспомнил лыжи, лес и снег,
И радость нашей первой встречи,
И твой веселый звонкий смех.

Верь, настанет светлый час,
Все придет и сбудется.
Будет праздник и у нас
И на нашей улице!

В огне войны мы оценили
Покой и радость мирных дней,
И то, как счастливы мы были
Среди любимых и друзей.
За это счастье и свободу,
За все, что мы зовем родным,
Идем мы в бой — в огонь и в воду,
И знаем мы, что победим!

Верь, настанет светлый час,
Все придет и сбудется.
Будет праздник и у нас
И на нашей улице!

Пускай порой тебе взгрустнется,
Ты головы не опускай, —
Минует ночь, и день вернется,
Зима уйдет, и будет май.
Меня в разлуке вспоминая,
Ты вспомни песенку мою
И тихо спой ее, родная,
Как я тебе сейчас пою:

Верь, настанет светлый час,
Все придет и сбудется.
Будет праздник и у нас
И на нашей улице!

★

ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ

Бойцу от матери пришло
Письмо издалека,
И сразу сделалось тепло
На сердце моряка.

Покрыла маленький листок
Каракулями мать,
Но лучше этих крупных строк
На свете не сыскать.

«Смотри, сынок, не простудись
И ног не отморозь,
А то морозы начались,
И холодно, небось.

Хоть ты герой, в отца ты весь,
А все ж, сынок, смотри:
Без толку зря в огонь не лезь, —
Ты хитростью бери.

Мой кашель перестал давно
И бок не стал колоть...
Не веришь ты — ну, все равно
Храни тебя господь!»

Никто не может так писать —
Ни сёстры, ни жена,
Никто не любит нас, как мать, —
Ведь мать у нас одна!

★

БЕЗ МЕНЯ НЕ ЛЮБИ НИКОГО...

Наша улица в бой провожала
Мо́лодых комсомольских ребят,
Задыхаясь, я к мосту бежала
Повидать напоследок тебя.

Я хотела сказать тебе много,
Но сказать не пришлось ничего.
Ты шепнул мне и нежно, и строго:
— Без меня не люби никого...

Быстро мчится военное время, —
Нынче осень, а завтра — зима.
Я работаю вместе со всеми
И живу от письма до письма.

Как сейчас, я глаза твои вижу,
Голубые, родные мои.
Как сейчас, я слова твои слышу:
— Без меня никого не люби!

За меня будь на фронте спокоен, —
Я верна лишь тебе одному,
А вернешься с победой, мой воин,
Крепко, крепко тебя обниму!

ЗАПИСКИ ПАРТИЗАНА

П. К. ИГНАТОВ

Литературная редакция и обработка Н. Лопатина

★

Партизанский отряд имени братьев Игнатовых, о котором идет речь в этих «Записках», был несколько необычен и по своему составу, и по своей боевой деятельности.

Отряд почти целиком состоял из представителей кубанской казачьей городской интеллигенции: в него входили директора высших учебных заведений и крупных промышленных предприятий Краснодара, научные работники, инженеры, экономисты, высоко квалифицированные рабочие. Многие среди них были почетными кубанскими казаками, черноморцами, — потомками славных запорожцев-сечевиков.

Отряд имел свой, резко выраженный «производственный профиль». Мы были минерами-диверсантами: взрывали мосты, электростанции, склады, пускали под откос вражеские эшелоны, жгли и взрывали колонны грузовых машин вместе с охранявшими их бронемашинами и танками. Первый немецкий поезд на Кубани был взорван нами.

Наконец, наш отряд был своеобразным «партизанским комбинатом». Мы имели свои «факторий» и свое большое хозяйство. Наши мастерские — минные, кузнечно-механические, столярные, сапожные, портновские обслуживали не только свой отряд, но и соседей-партизан. На одной из «факторий» мы создали госпиталь, через который прошли сотни раненых партизан и бойцов Красной армии. Нам удалось широко раскинуть сеть филиалов, наших «дочерних отрядов», которые действовали и в кавказских предгорьях, и в кубанских степях, и на лиманах, и в самом Краснодаре. Наконец, в тылу у немцев, в горной глуши, мы открыли «минно-диверсионный вуз», где проходили теорию и практику минно-диверсионной работы партизаны соседних отрядов.

За выдающиеся боевые заслуги более половины партизан нашего отряда награждены орденами и медалями.

«Записки» не исчерпывают всей боевой работы нашего отряда. Но в них собрано наиболее типичное и характерное, что может дать представление о нашей жизни в глубоком вражеском тылу.

Эти «Записки родились в отряде: там я вел краткий дневник. Он и положен в основу «Записок», составленных мною по окончании деятельности нашего отряда, в основном, уже в Краснодаре и разработанных в Москве совместно с писателем П. И. Лопатиным, которому я и приношу свою искреннюю глубокую благодарность.

Командир партизанского отряда имени братьев Игнатовых,
минер *П. К. Игнатов (Батя)*

10. IV 1944 г.
Москва.

1941 год

22. XI

С утра дует холодный ноябрьский ветер. Низко, почти касаясь верхушек деревьев, несутся по небу серые рваные тучи. Идет колючий снег. Ветер бросает его пригоршнями в окно, он стучит назойливо, упрямо, и этот стук отчетливо слышен даже сквозь двойные рамы и тяжелые гардины.

— Мне все кажется, — это человек стучит в окно и просится в комнаты...

Елена Ивановна стоит у окна и зябко кутается в пуховый платок.

— Я уже два раза выходила на крыльцо. Никого — только ветер и снег... Слышишь?

Гудит ветер в печной трубе.

Елена Ивановна подходит к столу и берет газету. На первой странице напечатано:

От Советского Информбюро

...По приказу Верховного командования нашими войсками оставлен Ростов-на-Дону...

Жена подходит ко мне:

— Нервы разгулялись. Хочется что-то сделать. Но что можно сделать?.. И Жени до сих пор нет, а он обещал непременно зайти.

Елена Ивановна права. Хочется какого-то большого, настоящего, живого дела... Враг у ворот родной Кубани.

Три дня назад я снова просился на фронт у секретаря горкома.

— Рано, — посиди пока в Краснодаре.

— Стар, что ли?

— Стар не стар, но и не молод: полвека прожил...

— Может быть, некого посадить на мое директорское кресло?

— Не торопись: время твое еще не пришло...

— Помнишь Невьянск? — неожиданно спрашивает Елена Ивановна. — В день отъезда у нас, на Выборгской, вот так же гудел ветер. Но тогда на сердце было ясно и спокойно.

Еще бы, конечно помню. Но как давно это было...

...Зима 1915 года. Меня, молодого питерского рабочего, арестовали и высылают из столицы: жандармы пронюхали о подпольных кружках, о собраниях, о прокламациях. Едем в Невьянск, на Северный Урал.

В поезде мы с женой перелистываем справочник.

Оказывается, он стар, этот Невьянск... 1700 год. Петру I доносят, что на далеком Урале, на берегу реки Нейвы, открыты громадные залежи богатейшей железной руды. Это Петру как нельзя кстати: царь готовится к решающим боям с Карлом XII, и ему нужен металл для пушек. Находится и подходящий человек: несколько лет назад на тульском оружейном заводе Петру понравились алебарды, изготовленные кузнецом Никитой Антуфьевым. И царь пишет грамоту: кузнец Никитка Антуфьев получает в собственность немеренные угодья земли на Урале, право покупать для своих заводов крепостных людей и впридачу — благородную фамилию «Демидов»...

На берегу реки Нейвы тульский кузнец строит первый из своих заводов. И отсюда начинается уральская металлургия и сказочное обогащение Демидовых: правнук кузнеца Никиты уже женится на племяннице Наполеона, принцессе Матильде де-Монфор, покупает в Италии, около Флоренции, отдельное княжество Сан-Донато, гордо именуется князем Демидовым Сан-Донато, и за все — за принцессу, пиры, итальянское княжество — щедро, широко платит железной рудой реки Нейвы...

Мы ехали с женой на родину уральской металлургии, к прямым потомкам первых металлистов. Значит, будет работа — и партийная, и по специальности. И на сердце, несмотря на ссылку, было действительно спокойно.

Невьянск оказался маленьким захолустным городком: одноэтажные деревянные домики, запорошенные снегом, дряхлый завод, кустарные мастерские, изготовлявшие кованные железом сундуки. Словом, ничего примечательного. И только знаменитая «падающая» крепостная башня, — ровесница Никиты Антуфьева, — говорила о старине...

Но нам с женой некогда было скучать: я нанялся механиком на завод, и сразу вошел в круг подпольной работы.

В первый же год нашей жизни в Невьянске жена родила первенца.

— Быть Женьке металлистом, — смеялась Елена Ивановна. — У него в крови должна быть страсть к металлу: его дед и отец — механики, мать — слесарь, и родился он на родине русской металлургии...

— Стучат, Женя пришел.

Елена Ивановна быстро выходит в прихожую.

Нет, это не Женя, — это мой сослуживец по химико-технологическому институту.

Мы говорим с ним об аспирантуре, о новом расписании занятий, об очередных заседаниях кафедр, о будущей студенческой практике и о моем проекте нового шестого завода «Главмаргарина». Мы даже горячо спорим. Но когда он уходит, я ловлю себя на том, что все это, по существу, меня мало сейчас интересует. А ведь совсем недавно я горел на работе. Мне казалась она живой, интересной, нужной.

— Нет, все это не то, — невольно вырывается у меня.

Елена Ивановна подходит, садится рядом.

— А помнишь Царицын? — говорит она. — Помнишь? Город в кольце — впереди враг, сзади широкая Волга и на берегу — ни единого судёнышка. Все до последней лодки угнано на север, — чтобы армии оставалось победить или умереть. А у меня на руках трое ребят. В доме нет даже корки хлеба. И ты — на фронте... Потом тебя перебросили на Дон. Я получила коротенькую записку: ты, начальник политического отдела дивизии, просишь меня приехать... Какой это был страшный путь! И все-таки почему-то ни разу не было у меня чувства той неудовлетворенности, которая мучает сейчас.

Все это было давным-давно. Сейчас мы по-стариковски сидим дома, слушаем, как воет ветер за окном, перечитываем редкие скупые письма нашего сына Валентина, — он на Западном фронте, — и ждем чего-то настоящего, большого.

Придет ли оно для нас? Или нам, старикам, только и осталось в жизни спокойное директорское кресло и память о прошлом?..

Кто-то стучится. Теперь это действительно Женя.

Он входит, весь запорошенный снегом. Быстро снимает пальто, целует мать, внимательно смотрит на нас.

— Родичи, что с вами? Кукситесь? Зря, зря...

Женя садится рядом со мной.

— Я к тебе, папа. Позволь без предисловий. У нас на комбинате сколачивается партизанский отряд. В него входят мои друзья. Многих из них ты хорошо знаешь: Ветлугин, Литвинов, Янукевич, Сафронов, Слащев. Меня выбирают начальником штаба. А тебя просят быть командиром — у тебя большой опыт и боевой, и подпольной работы. Я уже говорил с секретарем горкома — он согласен. Ну, папа, решай...

Глубокой ночью я провожаю сына.

Тихо в городе, — тише, чем в поле в глухую полночь. Рваным пологом повисли лохматые тучи. Только ветер свистит и воет в переулках и швыряет в лицо колючий снег. Но на сердце легко и ясно.

23. XI

Был у секретаря горкома. Решено до поры до времени никому не говорить об отряде.

Хлопот масса. Плохо с оружием и одеждой. Но пока все идет относительно гладко. Хотя далеко не так, как хотелось бы.

24. XI

Геня, конечно, на седьмом небе.

— Папа, ты назначишь меня шофером в отряд. Я буду водить партизанскую машину. Правда?

Он говорит нарочито серьезно, «как взрослый». Но ему не удается удержать восторженную улыбку, погасить сияющие от радости глаза.

Геня учится в девятом классе, и до Красной армии надо ждать по крайней мере год, — бесконечно долгий год. И вдруг сразу, неожиданно: через несколько дней он партизаном уходит в горы и будет бить немцев вместе с отцом, матерью, братом.

Можно ошалеть от радости, — петь, танцовать, завертеть мать по комнате. Но он еще не верит в свое счастье (а вдруг скажут: ты еще мал, Геня) — и он старается быть спокойным, серьезным, собранным, как Женя, которому он подражает во всем — даже в манере говорить, одеваться и каким-то особым характерным жестом гладить волосы.

— Так как же, папа: я буду шофером?..

Геня болен нашей общей семейной «игнатовской болезнью»: у него врожденная страсть к механике.

Когда ему исполнилось восемь лет, я подарил ему набор инструментов. С тех пор у него дома маленькая механическая мастерская.

Его закадычные друзья — шоферы соседнего гаража. Геня проводил там все свободные часы — лазил под машины, возился с разобранным мотором. Домой возвращался грязный, измазанный маслом.

Десятилетним пареньком он впервые самостоятельно вел машину. Он был горд безмерно...

— Ну, что ты пристаешь к отцу, Геня, — улыбается мать. — Ведь еще нет ни отряда, ни машины. И, кто знает, может быть мы и не уйдем в горы?

Геня, конечно, и думать об этом не хочет. Для него решено бесповоротно: он — партизан.

25. XI

С Евгением видимся только по ночам — у него масса работы на комбинате. Да и у меня весь день занят: ношусь по городу, требую, выклянчиваю, уговариваю.

Елена Ивановна что-то шьет, штопает, чинит, возится со своими медицинскими сумками.

У нее появилась теперь легкая, молодая походка. По временам она улыбается своим мыслям.

26. XI

Вчера наши снова взяли Ростов.

Мы не уходим в горы, — мы остаемся в Краснодаре.

Но Кубань попрежнему под ударом — и решено продолжать подготавливать отряд. На всякий случай.

Мы с Евгением заняты попрежнему. А Гене дано задание: если хочешь итти с отрядом — кончи автошколу, получи права механика-водителя.

Нашел ему «немку»: Гене легко дается

немецкий язык — пусть теперь отшлифует свои знания как следует.

Ему придется туго: шоферские курсы, школа, немецкий язык...

5. XII

Какая это все-таки сложная штука — сколотить отряд.

С Евгением на комбинате работают его друзья, его однокашники еще по институту. Годами они вместе ходили на лекции, сдавали экзамены, выезжали на практику. Вместе мечтали, спорили, ссорились, мирились, танцовали на вечеринках, ухаживали за девушками. Они знают друг друга так, что кажется — нельзя лучше знать человека. И все-таки чертовски трудно так подобрать будущих партизан, чтобы каждый из них имел свою, самостоятельную ценность, и чтобы все вместе составляли единый, крепкий организм.

В предгорьях нам прежде всего нужны бойцы, — люди всех воинских специальностей: снайперы, пулеметчики, связисты, подрывники, саперы, минометчики, артиллеристы, — мало ли кто потребуется в горах?

Поэтому первый вопрос, с которым мы подходим к любому из кандидатов:

— Каким оружием владеешь?

Но нас будет мало, — мне кажется, нет смысла набирать больше 50—60 человек. А нужных нам военных специальностей много. И мы с Евгением требуем совмещения воинских специальностей. Тот, кто имеет всего лишь одну и хочет быть в нашем отряде, — пусть дополнительно учится. Причем учится с таким расчетом, чтобы уметь пользоваться и германскими образцами оружия: в предгорьях нашими основными «поставщиками» будут фашисты.

Я долго советовался в Евгением, мы тасовали своих друзей, как тасуют колоду карт, и, наконец, составили первый приблизительный список.

А сегодня мы снова придирчиво обсуждали каждую кандидатуру, кое-кого выбрасывали, кое-кого добавляли. В конце-концов, получилось как будто не плохо: в нашем отряде будут даже летчик и борт-механик.

Но это — только половина работы.

В предгорьях мы будем робинзонами. Но мы вовсе не желаем, подобно Робинзону, одеваться в звериные шкуры, жить в шалашах. Бытовая неналаженность неизбежно отразится на боевой работе.

Значит, нам нужны свои строители, свои хирурги, повара, портнихи, сапожники, охотники, шоферы, механики, радисты. Наши партизаны должны обладать добрым десятком гражданских профессий. Возникает новая и не меньшая трудность в отборе людей.

Сейчас уже ясно: наш отряд в основном состоит из технической интеллигенции — в него входят инженеры, директора, экономисты, научные работники. Это хорошо и плохо. Хорошо потому, что культура везде и всюду нужна. Плохо потому, что вся наша жизнь до сих пор была тесно связана с городом, заводом, преподавательской деятельностью, научной работой. А будущая партизанская жизнь требует от нас как раз других — не городских, а скорее сельских — навыков и знаний.

Какой толк от партизана, прекрасно знакомого, ну, скажем, с «коэфициентом фи», если он не сумеет запрячь волов, сварить обед на костре, поставить прочную заплату на штанах. Уж пусть лучше он не умеет интегрировать, но зато тачает сапоги...

Такова точка зрения Евгения. Но, по-моему, он перебарщивает. Мне кажется, — пусть наш партизан и «коэфициент фи» знает, и с интегралами орудует, — и в то же время сапоги шьет, и волов запрягает, и умеет костер в дождь разжечь. Может быть, в горах нам позарез понадобится человек, на-зубок знающий хозяйство все той же электростанции, чтобы сразу, без мудрствований и раздумий, найти самое уязвимое ее место.

Почти у каждого из нас, кроме основного и любимого дела, есть какое-нибудь второстепенное, домашнее дельце, которым мы занимаемся на досуге. Когда мы с этой точки зрения стали разбирать своих друзей, то получилось не так уж бедно с этими «сельскими» профессиями.

Строителей и механиков у нас хоть отбавляй. Геня, я уверен, будет не плохим шофером. Жена, конечно, — хурург: она, ведь, и в гражданскую войну этим занималась. Павел Павлович Недрига, наш инженер-нефтяник, оказывается, классически подковывает лошадей. Николай Демьянович Причина — заядлый радиолюбитель. Яков Ильич Бибиков, директор нашего маргаринового завода, — как будто неплохой сапожник. И даже Михаил Денисович Литвинов, директор маслоэкстрактного завода, — «мастер вождения» волов...

Как-то недавно я напросился на обед к Евфросинье Михайловне Коновиченко, бригадиру гидрозавода. Она угостила меня такими блюдами, что я пальцы себе облизал. Вот наш и шеф-повар. А сегодня я узнал, что Степан Игнатьевич Веребе, директор мыловаренного завода, — лихой наездник. Говорят, на полном скаку он может заарканить любую лошадь.

И снова мы с Евгением раскладываем пасьянс, прикидываем так и этак, и составляем, наконец, новый список. Пока и он тоже очень приблизителен. Некоторые из намеченных кандидатов в партизаны даже не слышали о нашем отряде. Но остов отряда уже есть. И в той графе, где против каждой фамилии

указано ремесло ее обладателя, перечислены чуть ли не все профессии, какие могут потребоваться в предгорьях. Есть даже такие, которые не совсем обязательны: в нашем отряде будет свой поэт и художник — Леонид Антонович Кузнецов. Кроме того, он прекрасно орудует с минометом, хорошо стреляет из пистолета и, мне кажется, будет рачительным хозяином, образцовым комендантом и экономом нашего лагеря.

— Меня еще одно беспокоит, папа, — говорит Евгений. — Не каждый из нас должен быть поваром, охотником, сапожником. Но все мы обязаны знать элементарную грамоту партизанской жизни. А ведь мы — сугубые горожане. Вот я и хочу наладить у нас... семинар, что ли, по конспирации и азбуке лесной жизни. «Профессором конспирации» будешь, конечно, ты, папа. Ну, а «лесным профессором» — коммерческий директор нашего комбината, Петр Петрович Мусьяченко. Он, как и Ветлугин, — почётный потомственный черноморский казак: его прадщур, оказывается, пришел на Кубань из Запорожской Сечи. Сам он страстный охотник и прекрасно знает кавказские предгорья. Он уже начал занятия. Ты, папа, загляни к нам в штаб МПВО. Только приходи после полуночи — раньше нам не удается вырваться с работы...

15. XII

Геня аккуратно посещает занятия в автошколе. Все свободные часы проводит на танкодроме, до тех пор, пока его не прогонят. А по ночам, когда дом засыпает, он зажигает свет и в постели штудирует справочники по танкам.

Вчера мать застала его за этим занятием и велела немедленно потушить свет. И вот тут-то Геня открыл матери свой секрет.

— Ты, мама, только никому не говори, пожалуйста, а то смеяться будут... У меня есть мечта, самая большая мечта — иметь свой собственный танк в отряде. Я понимаю: танка нам Красная армия не даст. Да мы и не возьмем: какие же мы будем партизаны, если не сумеем сами раздобыть танк? Брать танк придется у немцев. Ну, так вот, я и хочу знать наизубок каждый винтик, каждый рычажок германских танков. Знать так, чтобы он был для меня таким же простым и знакомым, как «эмочка»... Понимаешь, о чем я мечтаю? А теперь скажи: я прав? Ну, конечно, прав. А ты говоришь — ложись спать. Спать сейчас некогда... Поспим потом... Позволь, мамочка, я еще часок почитаю...

Что могла сказать на это Елена Ивановна?

1942 год

4. I

Ночью я был в штабе МПВО — в небольшой комнате административного корпуса комбината.

Открываю дверь и вижу: друг против друга сидят два почтенных инженера — главный механик комбината Геронтий Николаевич Ветлугин и механик точных приборов Николай Ефимович Кириченко — и квакают. Квакают упоенно, самозабвенно.

Против них стоит коммерческий директор комбината, — теперь «лесной профессор», — Петр Петрович Мусьяченко.

Он строг и неумолим.

— Нет, Геронтий Николаевич, надо чуть выше и протяжнее: ква-а-а. И помните — так квакают лягушки только по вечерам, когда на-завтра ожидается теплый солнечный день. По утрам же кваканье резче и отрывистее: ква... ква. Да неужели вы сами никогда не подмечали этого?

За лягушечьим кваканьем начинается стрекот сойки, треск цикады и особое кабанье хрюканье. Это будущие партизаны прорабатывают сигналы в лесу.

А потом все тот же Петр Петрович увлекательно рассказывает о кабаньих тропах, о языке следов и своенравии горных речушек. Разгораются горячие споры о методах партизанской борьбы и конспирации, об организации лагеря, об одежде, обуви, вооружении.

Я сижу в стороне и наблюдаю за Евгением.

Это он заставил бесконечно занятых людей — директоров, инженеров, хозяйственников, научных работников — стрекотать, как стрекочут сойки, чмокать и хрюкать по-кабаньи. Но если любому из них — тому же Ветлугину, Сафронову, Литвинову — сказать, что они явились сюда по чьему-то приказу, — они искренно удивятся.

Нет, им никто не приказывал. Правда, на-днях с ними говорил Евгений: он звал их зайти после работы в штаб МПВО.

Первый раз, конечно, итти не хотелось — после работы тянуло домой. Но Евгений звал так весело и радушно и в то же время так настойчиво и требовательно, что отказать было невозможно.

И они пришли. Потом охотно приходили всякий раз, когда напоминал им об этом Евгений. И эти непринужденные веселые беседы в штабе МПВО как-то незаметно вошли в жизнь...

Ясно — Евгений уже стал душой нашего отряда. Все делают именно то, что хочет Евгений, ни на минуту не чувствуя над собой его властной руки и считая, что они делают все это только потому, что сами хотят.

Уж такой человек мой Женя — мягкий, располагающий, обаятельный, и в то

же время твердый и непреклонный. Высокий, худощавый, стройный, он стоит около Мусьяченко, в голубых глазах ласковые, задорные искорки.

Он весь какой-то подобранный. Я ни разу не видел его небрежно одетым. Но это не только внешняя аккуратность. Он весь внутренне собран. Кажется, его никогда и ничто не застанет врасплох.

Я видел однажды Евгения, когда он говорил с человеком, совершившим низкий поступок. Тогда его глаза были холодными, стальными, лоб пересекла суровая складка...

Я сижу в штабе, наблюдаю, как мягко и властно руководит он подготовкой будущих партизан, и ловлю себя на том, что горжусь своим сыном...

На его долю выпало тяжелое детство: переезд из Невьянска в Петроград, из Петрограда на Волгу, голод, осада Царицына и страшный путь с матерью ко мне, вдоль Дона.

Четырехлетний Евгений на всю жизнь запомнил, как рвались снаряды у его вагона, как страшно кричала раненая женщина.

Кончилась гражданская война — и снова кочевая жизнь: меня, хозяйственного работника и директора военных заводов, перебрасывают из Армавира в Майкоп, из Майкопа в Краснодар.

Суровое детство делает Евгения не по летам серьезным ребенком, молчаливым, настойчивым, волевым. И в то же время не сушит его сердца. Наоборот. Он бесконечно ласков с матерью, трогательно любит малышей, готов часами ухаживать за больной собачонкой, подобранной на улице. С кулаками бросается на здоровенного ломового, ударившего кнутом измученную клячу.

Его дружба крепка и требовательна. За товарища он пойдет на смерть. Но если друг окажется трусом, совершит нечестный поступок, — Евгений неумолим: никакие слезы, никакие посулы не смягчат его сурового приговора.

Евгений — страстный книголюб. В детстве он запоем читает все, что попадется под руку: Андерсена и Тургенева, Гоголя и Диккенса, Гончарова, Лондона, Толстого. «Мальчик с книжкой» — называли его знакомые.

В 1931 году Евгений блестяще кончает среднюю школу и поступает сразу на второй курс механического факультета Химико-технологического института.

Он самый молодой студент: ему всего 16 лет. Но в первый же год он отлично сдает экзамены за два курса. О нем с восторгом говорят профессора. Им гордится институт. И к его деловым, конкретным, всегда продуманным выступлениям особенно чутко прислушивается молодежь на комсомольских собраниях.

Евгений — комсорг курса. В его комнате вечная толчея. С чем только не приходят к нему товарищи! Один просит у него помощи в учебе. Другие заглянули потолковать и поспорить о прочитанной книге. К нему являются за советом по очень интимным вопросам, о которых никогда не заикнутся никому другому. Его просят разрешить горячий принципиальный спор о морали, чести, дружбе.

У Евгения редкое уменье слушать. Он обладает врожденным тактом. И, пожалуй, в комсомольской организации института никто не пользовался таким непререкаемым авторитетом, как Женя...

Училась вся наша семья. Учился Евгений в институте, учился я, заочно кончая Институт хозяйственников и Лесной институт в Москве, училась мать в советской партийной школе, учились наши младшие сыновья, — Валентин и Геня.

Евгений становится инженером, когда ему едва исполнился 21 год. Перед ним встает выбор: высоко оплачиваемая должность администратора на большом заводе в Новосибирске или место инженера-конструктора на комбинате «Главмаргарин» в Краснодаре с более низкой оплатой.

Евгений выбирает второе: он хочет расти на работе, его влечет творческая работа конструктора. И он не желает расставаться с Кубанью.

— Что может быть лучше моей благословенной Кубани — ее золотых полей, белых хат, тополей, ее высокого неба и синих гор на горизонте? Нет, я никуда не уеду. Здесь началась моя сознательная жизнь. Кубань — моя родина.

Евгений с головой уходит в работу — конструирует, изобретает.

В 1939 году Евгений с гордостью показывает своим друзьям только-что полученный им партийный билет.

Перед войной Евгений уже начальник технически-конструкторского отдела «Главмаргарина» — одного из крупнейших пищевых комбинатов Союза.

Я знаю: его любят и уважают на комбинате. И не только потому, что он — толковый инженер и талантливый конструктор. Его любят за простоту и ясность души, за отзывчивость и чуткость, за ласковую улыбку. Его уважают за прямоту суждений, кристальную честность, широту взглядов.

10. I

Никак не могу раздобыть оружие для отряда. Посоветовал Евгению сделать к гладкоствольным ружьям комбинатской охраны патроны с тупыми пулями, напоминающие «джиганы» американских лесорубов.

Евгений обещал подумать...

13. I

Штаб МПВО комбината стал партизанским штабом.

Это вышло как-то само собой: Евге-

ний — начальник обоих штабов. И наши ночные сборища никого не удивляют на комбинате: почти все мы на казарменном положении, как бойцы групп местной противовоздушной обороны, и к тому же — старые закадычные друзья. Что же странного в том, что из ночи в ночь мы собираемся в штабе МПВО?

Конспирация полная: даже самые близкие люди не знают о нашем партизанском отряде. Это дело рук Евгения: он сам свято хранит тайну отряда и сумел воспитать это чувство у наших будущих партизан.

Даже меня, своего командира, они в беседе друг с другом не называют по имени и отчеству.

Как-то раз, на одном из наших первых собраний в штабе, Евгений, смеясь, назвал меня «Батя». Подозреваю, он сделал это не случайно. Новое имя прижилось: так меня зовут сейчас все мои товарищи по отряду.

Ну, что же — Батя, так Батя...

5. II

Сегодня мне сообщили, что Геня несколько манкирует занятиями в школе.

Ясно: он слишком увлекся автомобилем, танкодромом, немецким языком, а в сутках всего лишь 24 часа.

На «домашнем совете» Гене предъявлен ультиматум: если не сдаст экзаменов в средней школе — не будет принят в отряд.

Геня дал слово сдать экзамены.

20. II

Несколько дней не видел Евгения: война вплотную вошла в комбинат — его механические мастерские должны срочно приступить к изготовлению минометов. Сутками сидит Евгений в мастерских со своим старым закадычным другом, Геронтием Николаевичем Ветлугиным.

Наконец, вчера были готовы первые образцы, и сегодня утром Евгений с комиссией уехал на полигон испытывать новый миномет.

Женя вернулся поздно вечером.

— Первый блин комом, папа. И каким еще комом. Понимаешь, устанавливаю миномет, беру мину, с силой опускаю ее в ствол — и ничего. Вдруг, мина выползает из трубы, пролетает метра два и падает... Все в ужасе шарахаются в сторону. А у меня от стыда в глазах помутилось. Неужели мы с Герошей что-то проморгали, ошиблись, напутали? Подбегаю. Оказывается, — вместо боевой взял учебную мину. И как это получилось — до сих пор не понимаю. Ну, а дальше все пошло гладко: боевые мины ложились там, где им положено ложиться, и миномет работал нормально. Одним словом, комиссия работу приняла на «отлично». Но дело не в этом, папа. Когда мы ехали с полигона домой, я понял: мы не имеем права быть обычным партизанским отрядом. Уже хотя бы по одному тому, что среди нас много инженеров. Мы должны стать специализированным отрядом минеров-диверсантов: рвать поезда, мосты, плотины, склады, минировать дороги, разрушать переправы. Что ты скажешь на это, отец?..

15. III

Отправил двух приятелей Евгения, инженеров Еременко и Кириченко, в Ростов, на республиканские курсы минеров. Когда они вернутся, пошлю их на дополнительную практику — на разрядку авиационных и электронных бомб в окрестностях Краснодара.

Евгений договаривается с начальником гарнизона об организации на комбинате занятий по минному делу.

26. III

Занятия идут полным ходом. Ими руководит опытный военный сапер, капитан Гришин. На занятия регулярно ходят все партизаны нашего отряда. На одной парте сидим на лекциях капитана Гришина я и Геня.

3. VI

Позавчера к нам приехал неожиданный гость — наш средний сын Валентин. Офицер ударной части, дважды тяжело раненный в боях под Москвой и Ростовом, он мог бы демобилизоваться. Но он не представляет своей жизни вне фронта и сейчас едет в Крым, где разгораются напряженные бои.

Сегодня вечером у нас собрались все трое — Валентин, Евгений, Геня.

Валентин рассказал об одной из своих минных диверсий в тылу врага.

... Он подобрался к берегу реки и понял, что командир партизанского отряда был прав — мост охранялся так, что даже кузнечик не мог незамеченным подползти к нему.

Этот двухарочный мост лежал на важной железнодорожной магистрали, — по ней непрерывным потоком шли на передовую воинские эшелоны, — и немцы охраняли его как зеницу ока.

Валентин лежал в кустах, придумывал десятки комбинаций и тут же отвергал их — все они были одинаково безнадежными.

И вдруг ему неожиданно вспомнилась кинокартина, он видел ее в детстве. Это был приключенческий фильм из жизни контрабандистов на турецкой границе. И он решил на белорусской земле использовать опыт контрабандистов Закавказья.

Утром следующего дня на берегу реки Валентин разделся, оставив на себе только пояс с привязанным к нему солидным камнем. Потом вырезал длинную сухую тростинку и, держа ее во рту, вошел в реку. Вода покрыла его с головой. Но на поверхности, как перископ подводной

лодки, торчала тростинка. Он дышал и шел по дну, как заправский водолаз.

Фильм, оказывается, не врал: тростинка действовала на славу.

От радости Валентин засмеялся под водой. Но тут же, как ворона в крыловской басне, разинув рот, упустил тростинку и вдоволь хлебнул воды. Пришлось прекратить опыт и, оторвав камень от пояса, плыть к берегу.

Первая часть задачи была как будто решена. Оставалось решить вторую часть: ухитриться доставить к мосту взрывчатку. И снова ему помогли те же контрабандисты с экрана.

Валентин со своим товарищем Борисом сняли нижние рубахи, намочили их, связали у каждой ворот и рукава, оставив только отверстия внизу, и крепко ударили рубахами о воду. Рубахи вздулись пузырями. Под водой осторожно стянули и перевязали отверстия. То же самое проделали с четырьмя рубахами своих спутников.

Шесть пузырей свободно держали на воде нужный запас тола, тщательно завернутого в пергамент.

Вечером началось подводное путешествие к мосту. Над рекой густой пеленой плыл туман. При свете фашистских ракет пузыри походили на распухших мертвецов — в те дни много их плыло по реке.

Валентин с Борисом медленно шли по дну, держась за края пузырей. Иногда, на мелких местах, им приходилось итти, согнувшись в три погибели. Не раз они срывались в ямы и глотали холодную речную воду. Но всегда крепко держали свои пузыри с толом и не выпускали изо рта спасительных тростинок.

Наконец подошли к среднему устою моста. Осторожно взобрались на него, привязали пакеты со взрывчаткой, прикрепили к чеке взрывателя конец парашютной стропы (Валентин захватил с собой около двухсот метров этого тонкого и крепкого шпагата, обвязав его вокруг пояса) и так же медленно отправились по дну реки назад, разматывая стропу, пока она не кончилась. Тогда вылезли на мель и потянули стропу. Она намокла и была тяжелой, как морской канат. Потянули еще раз — никакого результата.

Неужели стропа зацепилась за корягу?

Передохнув, впряглись, как бурлаки, в стропу и потянули что есть силы. Страшный взрыв потряс воздух. Валентин с Борисом нырнули в воду.

Когда через минуту они снова высунулись из воды, в ярком свете ракет был виден рухнувший мост. Тяжелые фашистские пулеметы исступленно били по кустам берега, тревожа ни в чем неповинных лягушек...

— Слышал, Женя? Слышал? — восхищается Геня. — Вот бы нам так рвать мосты. А?.. Да что ты молчишь, Женя? Скажи — здорово?

— С тростинкой и пузырями хорошо, — медленнно говорит Евгений. — А вот с веревкой плохо. Мы будем рвать без веревки. Как мы это сделаем — я сегодня еще до конца не додумал. Но будем рвать лучше, проще, надежнее. Поверь, братишка, — не ударим лицом в грязь перед Валентином... Ты не сердись на меня, Валя, — и Евгений ласково притрагивается рукой к плечу брата, — но ведь ты сам понимаешь: веревочка — вещь ненадежная. А в нашем деле надо работать так, чтобы наверняка. Правильно?..

9. VI

Ночью уехал Валентин. В Крыму идут тяжелые бои. Елена Ивановна волнуется.

— Сердце болит за Валентина — отчаянный он...

18. VI

Сегодня Геня молча, со значительным видом, подал мне две справки: о сдаче экзаменов за девятый класс и удостоверение об окончании автошколы. Молодец!

25. VI

Положение на фронте напряженное — немцы снова рвутся к Ростову.

. . . . . .

Испытывали с Евгением наши «джиганы»: на двести метров они пробивают полуторадюймовую доску.

Для начала и это годится.

У Евгения со вчерашнего дня — автомат и прекрасная снайперская винтовка. Это подарок воинской части, подшефной комбинату.

28. VII

Вчера нашими войсками оставлены Ростов и Новочеркасск. Немцы рвутся на Кубань, к перевалам Кавказа.

Значит — пора...

29. VII

Идут последние приготовления перед уходом — заготовляем полушубки, валенки, телогрейки, шапки, перчатки, компасы, шагомеры, бинокли, рюкзаки, пояса. В механических мастерских комбината куются финские ножи и кинжалы.

Отряд окончательно оформился. В нем пятьдесят восемь человек: семь женщин и пятьдесят один мужчина.

В Краснодаре попрежнему никто не знает, что мы уходим партизанить. Для всех знакомых и сослуживцев мы призваны в Красную армию. У нас на руках мобилизационные повестки из горвоенкомата. Для тех же, кто повстречается с нами по пути в предгорья, мы — работники геолого-изыскательского отряда, производящего съемку трассы для будущего мощного лесозавода. Этот второй вариант пригодится и в том случае, если, паче чаяния, нас перехватят раньше времени передовые немецкие разъезды. Формаль-

но у нас все в порядке: каждый из нас точно знает свое место в изыскательской партии и без сучка и задоринки ответит на все вопросы о мощности лесозавода, о его расположении, об основных наметках плана строительства. Само собой разумеется, у меня на руках все нужные документы с печатями, штампами и подписями...

I. VIII

Сегодня ночью был у секретаря горкома. Договорились обо всех деталях. Место назначения отряда — «отметка 521».

3. VIII.

Вчера Евгений правдами и неправдами раздобыл на комбинате первые шесть подвод и отправил их с нашим имуществом в станицу Крепостную, — нашу ближайшую перевалочную базу.

Мы с Евгением буквально сбились с ног — вторые сутки не спим.

Наконец-то достали для отряда машину. Геня ее «вылизывает», по выражению Елены Ивановны.

4. VIII

Машина ушла первым рейсом. Ее повел Геня.

Временами слышны далекие орудийные выстрелы...

7. VIII

Вечером последний раз отработали явки, пароли, сигналы. Инструктировали наших партизан, оставшихся в городе. В надежных местах спрятали для них лодки, чтобы переправиться через Кубань, снабдили нужным оружием.

Завтра уходим...

От Валентина попрежнему никаких вестей...

9. VIII

Я никогда не забуду нашего ухода из Краснодара...

...Рассвет. Немецкие орудия бьют уже по окраине города. Спешно грузим тракторный прицеп.

Трактор выходит из ворот комбината и останавливается.

Обливаясь потом, горячо споря друг с другом, около него возятся наши механики — Николай Павлович Ломакин, технорук механических мастерских комбината, и Павлик Худоерко. Но трактор застрял безнадежно.

По улицам грохочут колеса, окна дребезжат от несущихся мимо грузовиков. На территории комбината рвется снаряд немецкого танка. Со звоном разлетаются разбитые стекла...

Вспоминаю: рядом живет тракторист. Адрес его мне известен. Приказываю немедленно привести его ко мне. Если будет сопротивляться — тащи силой.

Через несколько минут под конвоем Коновиченко и Лусты является перепуганный тракторист, садится за руль и трогает с места наш трактор.

Нет ничего на свете тяжелее отступления. Мучительно больно итти вдоль домов с плотно закрытыми окнами. С каким новым чувством пристального внимания и нежности смотрим мы на знакомые скверы, площади, дома: так перед долгой разлукой смотрят в лицо любимой...

По дороге к мосту через Кубань — людской поток. Идет семья с детьми, шубами, самоварами. Женщина тянет за веревку упирающуюся корову. На руках у женщины — младенец. В глазах слезы и горечь...

Благополучно переправляемся через мост. Но на том берегу пробка. В суете и неразберихе, как сквозь землю, проваливается наш тракторист. Впрочем, теперь он нам не нужен: наши инженеры сами ведут трактор...

Садится солнце.

На севере, в туманной дали, виднеется родной Краснодар.

Враг уже занял город. Там остались наши родные, близкие, любимые. Кто знает, какие муки ждут их...

Я смотрю на Евгения. Всегда веселый, приветливый, он как-то потемнел. Губы плотно сжаты. У рта резко обозначились суровые морщины...

Его жена и маленькая дочурка остались в Краснодаре: мы не смогли, не успели переправить их в безопасное место...

10. VIII

Идем к горам. Перед нами огромным кряжем стоит Карабет. Справа — гигантская подкова Сибербаша. Слева — гора Саб.

Вьется узкая дорога. За поворотом — то причудливые очертания гор, то темный, мрачный, молчаливый лес. Воздух полон пряным запахом цветов, пестреющих в густой, по пояс, траве.

Впереди — горы, горы... Их вершины, как гребни застывших гигантских волн, то голым каменным пиком поднимаются в небо, то расцветают красочным узором цветущих лугов. И чем дальше к горизонту, тем горы все выше, все круче.

Дорога идет вдоль реки Афипс. Река изгибается замысловатыми, причудливыми петлями. Подчас она описывает почти полную окружность и вдруг поворачивает назад и снова вьется, кружит, и, кажется, нет таких ста метров, где бы она текла прямо.

Афипс — в кружеве белой пены. Река бежит, играет по цветным камням. Камни просвечивают сквозь янтарное стекло воды, точно шелковистый пестрый ковер...

Но мы проклинаем прекрасные горные реки: два раза приходится переправлять-

ся вброд через Афипс и восемь раз через Безымянную реку, скользить на ее камнях, натыкаться на острые коряги, неожиданно проваливаться в ямы...

Только сегодня, на исходе вторых суток, мы выходим на поляну. Где-то близко должна быть «отметка 521», — та, что помечена на моей карте красным крестом. Здесь будет наш лагерь, наш новый дом, наша горная партизанская крепость.

Завтра на рассвете Евгений пойдет искать ее.

12. VIII

Евгений нашел нашу «отметку». Он доволен: вдали от болот, есть родники, вокруг лес.

Утром отправляемся в путь.

Узкая тропа в густом темном лесу. Русло высохшей речки. Резкий поворот влево. Три крутых подъема. И, наконец, широкая просторная площадка.

Справа от нее высокий гребень горы, — на него почти невозможно взобраться. Слева — глубокий крутой откос: спуститься с него можно только на веревке. У обрыва небольшой родник.

В этот же день начинаем обживать свою «отметку»: разбиваем палатки, намечаем места для кухни, столовой, медпункта, в тайниках прячем часть оружия и боеприпасов. Наш картограф Ветлугин наносит тайники на карту тщательно зашифрованными отметками.

Место всем нравится.

Вечером Евгений показывает мне проект приказа № 1. Он был составлен еще в Краснодаре. Евгений внес в него только небольшие изменения.

Это — разбивка отряда по взводам.

В первый взвод подобраны лучшие стрелки: снайперы, автоматчики, пулеметчики и даже артиллеристы (орудий у нас пока нет, но мы уверены, что будут). Во второй взвод входят минеры, связисты, саперы, ремонтщики. Третий взвод — стрелковый. Четвертый — хозяйственная и медико-санитарная части. Особо выделена группа дальней разведки. Начальник ее — Евгений.

Солнце садится за горы. Блекнут краски. Тянет сыростью из ущелья. В небе загораются первые звезды. Стоят часовые в кустах.

Приказываю Евгению выстроить всех на поляне.

Выхожу к отряду. Стараюсь говорить спокойно, откровенно, ничего не скрывая:

— ...Вас ждет тяжелая, напряженная, опасная жизнь. Иногда придется голодать, сутками не спать, каждую минуту быть на-чеку, смотреть в глаза смерти, быть может, мучительной и страшной: на сотни километров кругом будет враг — жестокий, коварный, безжалостный... Не каждому дано быть партизаном. Тем более — диверсантом... Любого из вас ждет на Большой Земле непочатый край любимой и нужной работы. Поэтому, если у кого-либо есть хоть доля сомнений в своих силах, — откажитесь. В этом нет ничего позорного... Сейчас еще не поздно... Ну, так как же, товарищи?

Тишина. В кустах крикнула ночная птица. Грохнул далекий орудийный выстрел, отозвавшись в горах.

По одному с правого фланга выходят бойцы перед фронтом.

На глухой горной поляне, под нашим прекрасным кубанским звездным небом каждый скрепляет своей подписью торжественную партизанскую клятву.

14. VIII

Только что вернулся из штаба куста партизанских отрядов.

Положение на фронте тяжелое. Красная армия отступает. Немцы рвутся к Грозному и Туапсе. Наша задача — закрепить горные проходы к Черному морю.

. . . . . .

Продолжаем строить лагерь.

Евгений лазает по окрестным горам, спускается в ущелья, навещает ближайшие станицы — словом, входит в свою роль начальника дальней разведки.

Мы тоже постепенно свыкаемся с новой лесной жизнью. Правда, не без труда. Но никто не ноет.

15. VIII

— Папа, пора за работу. Мы до сих пор ровно ничего не сделали. Время не ждет.

Евгений стоит передо мной в полном походном снаряжении.

— Я хочу наладить агентурную разведку: в каждом хуторе, в каждой станице мы должны иметь друзей. У меня есть кое-какие адреса. Кстати, я захвачу с собой человек семь из моей дальней разведки: пусть походят со мной, попривыкнут. К тому же мы должны знать вокруг нашего лагеря каждую кабанью тропку, каждый лесок, каждую горку. На проводников надежда плоха. Да и не пристало нам с нянъками ходить.

17. VIII

Два дня провели вне лагеря: бродили по горам, карабкались на кручи, десятки раз переправлялись вброд через «афипсики», по кабаньим тропам продирались через глушняк.

Одним словом, был «практический лесной семинар», как выразился Геронтий Николаевич.

Я приучал людей к далеким переходам. Учил ходить цепочкой, твердо знать свое место, ориентироваться по солнцу, по звездам, по коре дерева, по узору на

срезе пня, учил находить кабаний след на тропе и знать, что если след свеж,— можно итти спокойно: тропа не заминирована. Раз навсегда отучал людей от громких разговоров в пути, от куренья без разрешения, от кашля и чиханья.

— Когда захотите кашлять, — жуйте рукав, захотите чихать, — чихайте в рукав. Но только — без звука.

Учил компактно складывать вещи, носить рюкзак, учил отдыхать, используя каждую минуту на привале.

Мне помогали наши охотники: Сергей и Данило Мартыненко и наш «лесной профессор».

И люди шли, карабкались на кручи, переходили быстрые речки, тосковали о табаке, страдали от жажды, на привалах валились пластом от усталости, но экзамен выдержали.

Особенно трудно пришлось бедному Сафронову. Грузный медлительный Владимир Николаевич мучился со своим больным сердцем. Но и он держался молодцом.

Я доволен этим походом.

Прежде всего, мы познакомились с окрестностями лагеря — нашли удобные тропы, родники, перевалы, броды. Мы постигли элементарную азбуку переходов. Я увидел, на что способен каждый из нас.

С непривычки все страшно устали. Когда вернулись, у каждого была одна мечта — лечь, только лечь. Но наш комендант Леонид Антонович Кузнецов был неумолим. И как ни ворчали наши, он заставил всех помыться, переодеться, поужинать и только тогда разрешил лечь. Не человек — кремень.

Единственное существо, на которое не распространяется власть нашего коменданта, — Дакс, выкормыш Евгения, великолепная овчарка, похожая на волка. Он неизменно лежит около наших вещей, и даже сам всемогущий Кузнецов не смеет подойти к ним.

Надо как-нибудь взять Дакса на разведку.

. . . . . .

Сегодня вернулся, наконец, Евгений. Он доволен.

— Признаться, я не думал, папа, что у нас так много друзей в станицах. Я говорю об активных друзьях,— тех, кто будет нам помогать. Тут главным образом подростки: они просятся в отряд, требуют работы. Но есть и старики-казаки, и молодые казачки. Одним словом, агентурная разведка в основном налажена. Убежден, что после первых же наших удачных операций друзей будет еще больше...

Евгений сделал много. Прежде всего, он наладил в основном агентурную разведку. Затем повидал наших соседей — партизан: смольчан, павловцев, ейчан. И, наконец, связался через линию фронта с командованием ближайшей дивизии. Командир разведывательного отдела просил держать его в курсе крупных передвижений фашистских частей, переправлять к ним шпионов и стоящих «языков», а главное, давать координаты тяжелых батарей и дзотов для нашей авиации.

— Но это не все, папа. Я теперь знаю, что такое ерики, хмеречи, течеи. Никогда не слышал про такие штуки?

И Евгений рассказал, как, выйдя из лагеря, он наткнулся на лесного объездчика. Поговорили о том, о сем. Оказывается, двенадцать лет живет человек в предгорьях и район наш знает, как свои пять пальцев.

Евгений спросил его о дороге. Объездчик понес: «течеи, ерики, хмеречи». А Евгений стоял и хлопал ушами. И хотя он недолюбливал проводников, но тут решил воспользоваться услугами объездчика — и не раскаялся.

Прежде всего он узнал в окрестностях лагеря несколько родников и кабаньих троп. Ему известен теперь неплохой брод через Афипс. И, наконец, он разобрался в местных наименованиях.

Когда мы шли в лагерь, мы видели высохшие русла ручейков и речушек, наполненных водой только зимой и весной. Как паучьи лапы, расходились они с верхушек гор, петляли, пересекались друг с другом.

Мы с Евгением еще говорили тогда, что в них хорошо будет прятаться от погони,— они обычно очень глубоки.

Так вот эти русла и есть «ерики».

«Хмеречами» называют заросли кустов или молодой лесок, вокруг которого раскинулся старый лес. Встречаются они не часто, но зато хмеречи — прекрасное место для засады. Это надо иметь в виду.

А вот что такое «течеи», Еврений так толком и не узнал: его проводник иногда называл течеями суженные речушки, а иногда высохшие ерики.

Но Евгения, главным образом, интересовало другое: как ориентируются старожилы, пробираясь по нашей глухомани. Теперь он это знает. Хотя объездчик все время и твердил об ериках, хмеречах и течеях, но сам не раз путался в их лабиринте и ориентировался днем по вершинам гор, а ночью по звездам. Кстати, ни картой, ни компасом местные старожилы не пользуются.

Евгений меня заверил, что через месяц, если мы останемся в этом районе и не будем сиднем сидеть в своем лагере, он будет ориентироваться не хуже, чем старые лесные объездчики.

Обсуждали с Евгением план дальнейших действий.

Прежде всего — разведка, разведка и еще раз разведка. Перед всякой, даже незначительной операцией, мы должны проводить самую тщательную разведку.

18. VIII

Сегодня — продолжение «лесного семинара». Вышло это нечаянно.

Недалеко от нас стоит гора Ламбина. Она названа так по имени какого-то грека, который когда-то выжигал здесь известь. Гора нейтральна: немцы не построили на ней своих дзотов, и партизаны не закрепили ее за собой.

Во время нашего недавнего первого «семинара» на северном склоне горы мы обнаружили в кустах у тропинки маленький родничок.

Все роднички на ближайших тропах мы берем на строгий учет: без них не прожить во время походов. На песке около этого родничка мы заметили следы. Разобраться в них не сумели, но решили узнать, кому известен этот родник и кто сюда ходит за водой. Я поручил Литвинову засесть в кусты у родника. Сегодня Михаил Денисович вернулся и привел с собой «гостя». Рассказывал Литвинов забавно:

— Пришел и залег. Лежу на животе, впереди винтовка, по бокам — гранаты. Лежу и слушаю. Тишина. День солнечный, жаркий. Лежу час, лежу другой. Ни души. Скучно. Ко сну клонит. Я даже щипать себя начал, чтобы не захрапеть. Вдруг на мое счастье птичка прилетела. Не знаю, как ее зовут, но брюшко у нее, как яичный желток. Попрыгала, повертелась, взлетела на высокую ветку и громко зачирикала. Откуда ни возьмись, налетела целая стая, уселась у воды и стала пить. Напилась и давай играть, чирикать, драться. А я рад: все-таки развлечение — не уснешь.

И вдруг ни с того, ни с сего вспорхнули и улетели. Будто ветром их сдуло. Я вспомнил лекции нашего почтенного «лесного профессора» и решил: человек идет. Замер. Даже дышать боюсь. Лежу пять, лежу десять минут. Никого. Ни птичек, ни человека.

Лежал, лежал — так истомился, Батя, что, сознаюсь, решил закурить. Только сунул руку в карман, чтобы кисет вынуть, как кусты зашевелились, показалась винтовка, а за ней какой-то субъект. Я снова так и замер. Субъект огляделся, меня не заметил, успокоился, положил винтовку на землю и начал пить. Тут я вскочил — и к нему. Надо думать, вид у меня был устрашающий. Во всяком случае субъект растерялся и позволил мне схватить его винтовку. Ну, а когда его винтовка была в моих руках, ему ничего не оставалось, как слушаться меня беспрекословно. Мы шли с ним всю дорогу и молчали. О чем он думал,— не знаю. А я дал себе слово впредь верить любой птичке. Одним словом, получите субъекта. А мне разрешите закурить. Смерть, как истосковался...

Субъект оказался угрюмым: молчал, как убитый. Глаза злые. Рожа поганая.

Евгений только-что отправил его в штаб куста: пусть там с ним возятся. Нам некогда — надо начинать работать.

А «птичий родник» все-таки следует держать под наблюдением.

19. VIII

В нашем лагере происходит серьезная переоценка ценностей...

То, что еще вчера было основным и любимым делом, без которого жизнь казалась пустой и бесцельной, отходит в сторону. Вспоминаются старые, полузабытые навыки и уменья. И люди буквально на глазах меняют свою профессию.

Взять хотя бы нашего Якова Ильича Бибикова. Почтенный директор мыловаренного завода сегодня так мастерски починил развалившиеся сапоги, что удивлению подобно.

Павел Павлович Недрига вчера подковал лошадей, чем привел в умиление строгого и взыскательного коменданта и экономa нашего лагеря, Леонида Антоновича Кузнецова. Сегодня Павел Павлович чинит сбрую.

Вчера Николай Демьянович Причина молча передал мне лист бумаги. Это была свежая, только-что принятая им сводка Совинформбюро.

— Приемник налажен, Батя. Слышимость хорошая. Жду ваших распоряжений. В любой момент милости просим слушать московские передачи.

Я уже не говорю о нашей уважаемой Евфросинье Михайловне. Она потчует нас замечательными обедами.

Лесная жизнь налажена. И надо отдать справедливость, в этом — немаловажная заслуга Леонида Антоновича.

Наш поэт и художник, как мы и предполагали с Евгением еще в Краснодаре, оказался идеальным комендантом и экономом. Установленный мною распорядок дня для него — непреложный закон. Он никому не дает никаких поблажек. Он загружает каждого нужной работой. И, быть может, именно потому, что день так уплотнен, никто не ноет, не жалуется, не стонет.

Только Геронтий Николаевич Ветлугин сегодня сказал мне с этакой ехидцей:

— Ну, просто, Батенька, — лесной санаторий. Всю жизнь мечтал о таком отдыхе: чистый горный воздух, физический труд, хороший сытный стол — и никаких треволнений. Хоть бы немца

одного показали, а то, чего доброго, забудешь, что люди где-то воюют...

Я прекрасно понимаю, что мучает нашего Герошу. Он, главный инженер-механик, — человек точной профессии. Он привык ценить время, он умеет пользоваться им, как боевым фактором. К тому же, в этом маленьком, тщедушном теле течет горячая кровь старых запорожцев. И он считает, что я слишком медлю с боевыми операциями и слишком увлечен устроением нашего быта.

Пусть потерпит — злее будет. Мое твердое убеждение: без элементарного оборудования нашей жизни в лагере немыслима серьезная боевая работа.

21. VIII

Вчера наши вернулись с первой крупной диверсионной операции на Кубани. В дневнике отряда Евгений записал очень скупо:

«20 августа 1942 г. произвели разведку. На обратном пути устроили засаду, убили не менее 48 немцев. Добытые сведения передали в штаб куста партизанских отрядов».

Но мне хочется записать подробно...

...Цепочкой идут партизаны через лес и перелески. Обходят стороной фашистскую заставу. И снова осторожно, выслав вперед и по бокам дозоры, идут по лесу.

Подойдя к развилке дороги, Евгений оставил всех в хмеречи, а сам с двумя разведчиками еще осторожней пошел к станице.

Тихо в лесу. Только разве птица перепорхнет с ветки на ветку, да встревоженный зверек зашуршит в кустах.

Вдруг — громкий стрекот, будто кто-то в ладоши захлопал. И в ответ на стрекот — длинные очереди автоматов. Наши замирают в кустах.

Где-то в стороне все тот же стрекот и новые автоматные очереди.

Это сойка заметила людей, заволновалась, застрекотала, и фашисты бьют по кустам из автоматов.

Выстрелы смолкают.

Выждав, когда немцы окончательно успокоятся, разведчики один за другим, по-задам, проникают в станицу и собирают сведения.

Немцы накапливаются в Смоленской: они все еще лелеют мысль продвинуться по реке Афипс через станицу Крепостную на Архипо-Осиповскую и дальше — к Туапсе, Сочи, Батуми.

Пока в Смоленской сосредоточены четыреста автоматчиков, два броневика, четыре десятка автомашин. Тяжелых орудий и минометов нет: путь через горы кажется немцам прогулкой, и они надеются обойтись только легкими минометами и горными пушками.

Что же, тем лучше...

Разведчики возвращаются к предгорью. Здесь их ждет основная группа.

У развилки дорог, там, где густой лес вплотную подходит к шоссе, наша группа ложится в засаду. Выставлен в дозор сигнальщик. Отправлена в условленное место на шоссе вторая, малая, засада. Чуть в стороне — группа прикрытия на тот случай, если немцы, оправившись от первого удара, перейдут в наступление.

Лежать тяжело. Мучает жажда. Спят по очереди.

Проходит двое суток — шоссе безлюдно. Кажется, фашисты отказались от попытки перевалить через горы.

На третий день утром сигнальщик передает о приближении неприятеля.

Первым показывается броневик, ведущий разведку. На всякий случай он простреливает придорожные кусты из пулемета. За ним, чуть отстав, идут две трехтонные машины с автоматчиками.

Броневик проходит вперед. Лес молчит. В секторе первой засады появляется трехтонка.

Евгений и Геня быстро поднимаются во весь рост и швыряют гранаты. В машины летят бутылки с горючим.

Взрывы, вспышки огня, дикие крики.

Уцелевшие фашисты пытаются бежать. Их настигает у обочины пулеметная очередь.

Броневик мчится вперед. Но за поворотом дороги — завал. Броневик разворачивается. Пытаясь повернуть обратно, он застревает в заранее приготовленной яме. А тут, как видно, у немецких пулеметчиков кончилась пулеметная лента. И броневик стоит в яме беспомощный, молчаливый, накренившись набок...

Тогда вступает в бой малая засада. Бутылки с горючим летят из кустов в мотор, в башню, в смотровые щели.

Машина вспыхивает. Открыв дверцы, экипаж броневика выскакивает и падает, сраженный пулями.

Операция закончена. Надо уходить: там, впереди, со стороны Смоленской, уже слышен гул машин основного фашистского отряда и частые очереди. Но Геня будто прирос к машинам на шоссе: может быть, удастся увести хотя бы одну из них к себе, в горы. Нет, машины безнадежно изуродованы.

Евгений дает сигнал отхода. Геня с с болью в сердце разбивает моторы и догоняет своих.

22. VIII

Евгений, Еременко, Ветлугин, Кириченко — наши минные энтузиасты — возятся с толом, противотанковыми гранатами, спорят над схемами, чертежами, расчетами. Они конструируют новую автоматическую мину.

Наши мины, лишенные ограничите-

лей, похожи на пороховые бочки с горящей внутри свечой. Ну, точь в точь, как тот «пороховой заряд», которым четыреста лет назад Грозный взорвал крепостные стены осажденной Казани. Наши минеры, впрочем, утверждают, что их изобретение несравнимо лучше, чем обычные партизанские «мины с веревочкой», которые, по существу, привязывают к себе минеров в момент диверсии и применимы только там, где около места взрыва минер может скрытно лежать иногда даже несколько часов кряду.

Но «минных энтузиастов» уже не удовлетворяет наша обычная мина. Они хотят сконструировать такую мину, которая была бы безопасна при ее укладке, а рвалась автоматически от силы тяжести, переданной на нее, и была бы рассчитана на строго определенную нагрузку.

— На нашей новой мине, Батя,— уверяет меня Кириченко,— взорвется тяжелый грузовик и танк, но мотоциклист проедет над ней совершенно спокойно. И, кроме того, мы добьемся, что наши мины будут невидимы для фрицев — никакой миноискатель не обнаружит их.

Уже несколько дней наши минеры в свободные минуты возятся с конструкцией этой новой мины. Их работой очень заинтересован Геня.

Еременко пугает его:

— Помни, Геня, минер в своей жизни совершает только одну ошибку. По той простой причине, дорогой, что его разрывает на части после этой первой ошибки...

Помню, еще в Краснодаре Елена Ивановна боялась, как бы самолюбивый юноша не почувствовал себя одиноким в отряде, где ему естественно захочется быть взрослым, а к нему будут относиться, как к мальчику. Но с первых же дней Геня поставил себя так, как надо: он не лез ни к кому, не строил из себя взрослого, но и не боялся никакой работы. Товарищи относятся к нему, как мужчины к мужчине.

У него появились друзья. С Ломакиным его связывает общая страсть к автомобилю. С Геней дружат Литвинов, Луста и даже мрачный, неразговорчивый Кириченко. Я не раз наблюдал, как после обеда Геня сидит на траве рядом с Сафроновым, и они серьезно беседуют.

Но все-таки лучший друг Гени — Павлик Худоерко. Они понимают друг друга с полуслова, и на операции я постараюсь посылать их вместе.

. . . . . .

Нам нужен «язык», — по крайней мере, достаточно осведомленный немецкий ефрейтор. Но где его добудешь? Ломаем с Евгением голову и ничего придумать не можем.

— О «языке» тоскуете? — неожиданно спрашивает Михаил Денисович Литвинов.— Что же, предоставлю вам ефрейтора. Только предупреждаю: ефрейтор будет с изъяном.

— Как с изъяном, Михаил Денисович?

— Не волнуйтесь, Батя: ефрейтор как ефрейтор — с нашивками и хорошей арийской родословной. Но, к сожалению, он страдает... как бы это попристойнее сказать?.. несварением желудка...

— Да вы шутить изволите, Михаил Денисович. Где вы такого ефрейтора отыщите?

— А уж это мое дело, Батя...Дайте мне трех человек и два мешка — и у вас будет ефрейтор, а у вас, Евфросинья Михайловна, — свежие фрукты. Имейте в виду,— и в ближайшее обеденное меню смело ставьте на третье компот из свежих фруктов. Но и вы не обессудьте: фрукты будут тоже с изъяном.

Литвинов категорически отказывается что-либо объяснить. Но человек он серьезный, на ветер слов не бросает — и я даю ему трех человек и два мешка...

Литвинов уходит из лагеря поздно вечером.

23. VIII

Мы набираем темпы: одна за другой выходят наши разведывательные группы — знакомятся с обстановкой, прощупывают охрану мостов, шоссе, железной дороги, следят за передвижениями врага и попутно учатся ходить в горах, ориентироваться, наблюдать.

Пока все проходит благополучно. Но и задания у разведчиков пока скромные.

24. VIII

Литвинов свято сдержал свое слово: сегодня он привел «языка».

Это даже не ефрейтор — это обер-фельдфебель, усатый, рыжий. Но он, действительно, с изъяном: без штанов.

— У него гастрит,— улыбается Михаил Денисович,— невоздержен в пище, к сожалению. Но все-таки, хоть плохонький, а фельдфебель. А вы, Евфросинья Михайловна, примите от меня груши для компота. Правда, это не «дюшес». Это просто дичок. Но полагаю, что компот может получиться сносным. Если, конечно, сахарку не пожалеете.

— Не пожалею, Михаил Денисович. А пока садитесь, кушайте и рассказывайте.

И Литвинов рассказал, как, побывав дня три назад в разведке за Афипсом,— между Смоленской и Григорьевской,— он наткнулся на густые заросли кубанского дичка. Рядом расположилась какая-то часть горно-стрелковой дивизии, только-что переброшенной к нам из Германии (последнее ему рассказал фельдфебель по дороге). Немцы, как и следовало ожидать, набросились на фрукты и расстроили себе желудки. Очевидно, заболевание приняло довольно крупные размеры. Во всяком случае Литвинов

видел собственными глазами, как фрицы соорудили обширную многоместную уборную для рядовых и чуть поодаль, в густых кустах, — для господ офицеров. Литвинов решил, что здесь легче всего можно раздобыть какого-нибудь ефрейтора.

Так и случилось.

— А вы не боитесь, Михаил Денисович, что после компота с нами не произойдет того же, что с немцами?

— Помилуйте, Евфросинья Михайловна, давным-давно известно: что русскому здорóво, то немцу смерть...

Компот удался на славу. А обер-фельдфебель, — он оказался крупным берлинским лавочником, — был на редкость словоохотлив...

25. VIII

Агентурная разведка доносит: немецкие мотомехчасти с двумя танками должны выйти на-днях из Смоленской к морю.

Приказываю Евгению устроить засаду и разгромить головную колонну.

И снова идут наши по лесу, снова готовят сюрпризы врагу и недвижно лежат в придорожных кустах.

На этот раз ждать приходится недолго. Утром на вторые сутки сигнальщики передают:

— Приготовиться!

Первым проходит танк. Лязгая гусеницами, урча мотором, он по заведенному обычаю простреливает кусты из пулемета и пушки.

За танком мчится разведка мотоциклистов с пулеметами на прицепах.

Лес попрежнему стоит суровый, молчаливый.

Из-за поворота появляются две роты мотоциклистов-автоматчиков. В несколько рядов, идя вплотную друг к другу, они заполняют все шоссе.

Евгений быстро выдергивает флажок предохранитель противотанковой гранаты и бросает ее в голову колонны. Геня бьет гранатой в хвост. Командир первого взвода Янукевич поражает середину.

Три взрыва — сигнал. На шоссе одна за другой рвутся гранаты.

Группа уцелевших мотоциклистов, повернув машины, уходит в Смоленскую.

На шоссе выскакивают Евгений и Геня. Здесь, на прицепе подбитого мотоцикла, стоит немецкий тяжелый пулемет.

Длинная очередь разрывает воздух. Мотоциклисты падают. Машины кренятся набок и ложатся у обочины дороги.

За поворотом шоссе, там, куда ушли танк и мотоциклетная разведка, раздается глухой взрыв, а за ним частые винтовочные выстрелы. Это фашистская машина взрывается на заложенной мине, и партизаны малой засады добивают мотоциклистов разведки, срезанных проволокой, в последний момент протянутой над шоссе.

И снова тихо. Только со стороны Смоленской возникает, нарастая с каждой минутой, гул машин и непрерывное таканье пулеметов. Это немецкие автоматчики из станицы спешат на помощь своей колонне.

Машины подходят к мосту разгрома и открывают ураганный огонь по кустам. А лес попрежнему молчит. Далеко по лесной тропе цепочкой идут к предгорью партизаны...

— В операции участвовали двадцать один человек,— докладывает мне Евгений.— Подорван танк. Убито сто восемьдесят фашистов. У нас потерь нет, если не считать четырех легко раненых.

27.VIII.

Положение на фронте резко изменилось — к худшему. Наши продолжают отступать. Немцы прижимают Красную армию к перевалу в глубине гор.

Одна из намеченных ими дорог — по долине Афипса в обход Новороссийска. Надо закупорить им эту дорогу.

Теперь наша «отметка 521» уже не годится для лагеря: она слишком открыта. Надо искать новое — глухое, неприступное горное гнездо, где можно было бы обосноваться на зиму.

— Ничего, — говорит Ветлугин, — с горки разбег лучше.

Сегодня после обеда Евгений уехал верхом в горы искать место для нашего будущего лагеря.

30. VIII

Евгений пропадал два дня и вернулся только сегодня — усталый, голодный, но веселый.

Он карабкался на Карабет, лазал по склонам горы «Крепость», спускался в долины, десятки раз переходил в брод Афипс с его бесчисленными притоками — «афипсиками» — и не находил ничего подходящего: то нет близко воды, то место слишком открыто.

Наконец за Малыми Волчьими воротами, на южном склоне горы Стрепет, Евгений обнаружил то, что искал.

Завтра мы снова отправляемся в путь...

Только-что со мной говорил Геня.

— Скажи, папа, ведь это не стыдно, что мы отступаем? Мы укрепимся в горах и сразу же начнем операции. Правда? Я тебя очень прошу: в первую же операцию ты пошлешь меня. Хорошо? Только ты дай слово, папа.

— Если не будешь нужен в лагере, пойдешь на операцию.

— Нет, ты все-таки дай слово, папа.

— Запомни, Геня, раз и навсегда, чтобы больше к этому не возвращаться:

ты будешь выполнять то, что будет приказано. Ясно?..

Получилось немного резко, но так надо. Пусть знает мальчик: дом остался в Краснодаре, а здесь — война.

31. VIII

Глухое, дикое, неприступное ущелье горы Стрепет. Его склоны круты и обрывисты. Страшно даже подумать о подъеме на них, особенно в грязь и гололедицу. Скрытая узкая тропа ведет наверх, где в восьмистах метрах от подошвы лежит отлогий выступ, покрытый небольшими буграми. На плане выступ похож на гигантский вопросительный знак.

На этом-то «вопросительном знаке» мы и начинаем строительство нашего зимнего лагеря...

1. IX

Сегодня, уйдя на разведку в хутор Науменко, Геня с Павликом возвращаются с необычным подарком.

Задолго до их появления слышен скрип немазанных телег. Потом из-за поворота появляется первая пара волов. На возу восседают Геня и Павлик. У обоих в руках длинные хворостины.

Как заправские погонщики, ребята невозмутимы. Не торопясь, нарочито лениво они бьют хворостинами своих волов. При этом Геня меланхолично повторяет:

— Цоб!

Павлик вторит ему:

— Цобе!

Волы в недоумении — кого же слушать? Один хозяин приказывает повернуть направо, другой — налево. И волы неодобрительно качают головами.

К возу привязаны верховые лошади разведчиков. А на возу среди мешков с мукой жалобно стонет какая-то обвязанная веревками жалкая фигура в лохмотьях, с сине-багровым «фонарем» под глазом.

— Разрешите доложить, товарищ командир отряда. — рапортует Павлик. — Разведка хутора Науменко выполнена. Чтобы не возвращаться обратно порожняком, по дороге отбили у румын этих быков. Кстати, и одного румына прихватили: может быть, что-нибудь толковое расскажет.

— Только ты ему, папа, дай отдохнуть. — прибавляет Геня, — а то мы его малость помяли...

2. IX

Сегодня вечером Геня явился ко мне и покаялся, что они «немного начудили».

...Ребячья разведка отправляется в станицу Смоленскую. Одетые деревенскими парнями, с голубями в руках, спрятав в карманы гранаты и револьверы, они веселой гурьбой идут по улице.

На пригорке — здание штаба. Около него необычное оживление: не поймешь — то ли пьянка, то ли деловое совещание.

Прячась в кустах, ребята огородами подползают к штабу. Вдоль стены ходит часовой. Он замечает Геню на огороде, но не обращает на него внимания: мало ли ребят возится на грядках.

Часовой поворачивает за угол. Ребята бросаются к дому и швыряют в окна гранаты.

Взрывы, паника, суматоха, беспорядочная стрельба. Но парнишки уже скрылись в кусты и благополучно уходят в лес...

Что я должен был сделать? Поругать? Не за что. Похвалить? Они и так отчаянные...

3. IX

Строим лагерь всерьез, основательно и прочно. Рубим вековые деревья.

Глухое эхо несет по ущелью необычные в этих краях звуки — удары топоров, визг пилы, говор людей.

Мы строим отдельное жилье для каждого взвода, общую кухню-столовую, командный пункт, лазарет, и под крутым, почти отвесным склоном горы — помещение для дальней разведки.

Это не шалаши и не землянки. Это настоящие прочные, просторные деревянные дома, для тепла углубленные в скалу. Глиняная крыша не пропускает воды. Полы устланы досками.

В каждой из трех взводных казарм — широкие, просторные нары с тюфяками из сухих листьев, покрытые фильтротканью. Тут же столы, скамейки, пирамиды для ружей, полочки для всякой мелочи и обязательно зеркало. На столах стоят фонари «Летучая мышь» со стеклами из стеклянных банок из-под варенья и фитилями, сплетенными из ниток все той же фильтроткани.

В кухне — большая плита со вмазанными в нее котлами и духовым шкафом, русская печь для выпечки хлеба и сушки сухарей.

Бани пока не строим. Да в ней, пожалуй, и нет особой нужды. Основная часть нашего отряда всегда будет на операциях, в лагере останется человек десять, не больше, и они успеют помыться в деревянной ванне, стоящей на кухне.

Комфортабельно оборудован командный пункт: стены выложены досками, стоят отдельные кровати, большой стол, на стенах висят карты. Командный пункт соединен телефоном с казармами, с помещением дальней разведки, с главной заставой.

Николай Демьянович Причина снова

мастерит радио: у нас теперь будет двусторонняя связь.

Одним словом, жить будем так же, как у себя в Краснодаре. Единственное «осложнение» — вокруг немцы, но наш «вопросительный знак» неприступен. Сверху к нему нельзя подобраться: по крутизне едва ли рискнет спуститься даже горный козел.

Лагерь недоступен и снизу. Ущелье закрывает застава с завалами. Единственная тропка, ведущая к нам, так крута, что, взбираясь по ней, можно ставить ногу только на ребро. Два сторожевых укрепления простреливают тропку с фронта и флангов. Она же находится под огнем наших казарм. Из помещения дальней разведки можно бить по ней из пулеметов. Наконец, в любой момент в нашем распоряжении запасной выход из лагеря. Пройдя через него, мы быстро выходим в тыл наступающим.

Словом, несколько метких, выдержанных снайперов смогут долго оборонять наш лагерь даже от крупной вражеской части.

Сегодня все отдыхают — устали основательно. Особенно Евгений. Он не только руководил работой — он сам относил камни, копал землю, рубил бревна, настилал полы.

4 IX

Нам нехватает стада, — нашего собственного партизанского стада, чтобы иметь вдоволь молока, масла, заготовить мясо.

Коров, уцелевших кое-где у населения, мы трогать не можем. Остаются стада, награбленные фашистами. Но «своих» коров немцы берегут зорко. Надо перехитрить немцев и, в крайнем случае, отобрать коров силой.

Кликнул клич. Отозвались Геня и Павлик.

На рассвете, захватив с собой двух разведчиков, охотники за коровами верхами отправились искать наше будущее стадо.

Старшим на эту охоту назначили Павлика...

5.IX

Наши партизаны полюбили ходить «на охоту».

Обычно снайперы выходят парами: один с оптической винтовкой, другой с биноклем и тоже, конечно, с винтовкой.

Так было и на этот раз...

Сидоров и Власов на рассвете выходят из лагеря соседнего партизанского отряда. Они поднимаются на гору: на перевале, на скрещении двух троп, надо ждать сегодня хорошей охоты.

Внизу, в ущелье, еще клубятся белые клочья тумана, а чуть вправо, на берегу реки, расплавленным золотом уже горит на солнце желтый песок. На склоне горы нервно дрожит серебристая листва осины, карагач раскинулся пышными купами, и темным массивом стоит у расщелины густой орешник. В далеком синем небе, широко размахнув зубчатые на концах крылья, плывет горный орел, издали высматривая добычу.

Охотники подходят к развилке троп, где лежат громадные камни, поросшие серым мхом.

Сидоров садится, снимает рюкзак.

Вдруг сзади, из орешника, раздается выстрел.

У Сидорова слетает фуражка. Охотники падают на землю, прячась за камни.

Власов ждет несколько минут и осторожно, стараясь не выдать себя, медленно снимает свой заплечный мешок.

Гремят сразу несколько выстрелов. Пули ударяют о камень, срывая кусочки серого мха.

Теперь ясно: бьют из левого крайнего куста.

Быстро меняя позиции, перекатываясь через спину, охотники стреляют на вспышки в темной зелени орешника.

Судя по частоте выстрелов, в кустах по меньшей мере восемь-десять человек. Они пришли сюда значительно раньше, заняли выгодную позицию, — и наши охотники стали мишенью.

Враги длинной цепью раскинулись по кустам. От их пуль все труднее прятаться за камнями — старые позиции теперь простреливаются фланговым огнем. А уходить некуда — вокруг ровная площадка. Только внизу, на обрыве, — купа деревьев. Но до них не добежишь.

Вскрикнув, Сидоров роняет винтовку: пуля угодила ему в ногу. Власов ползет к товарищу. Резкая боль обжигает плечо. Правая рука повисает, как плеть.

Из кустов, держа винтовку на прицеле, осторожно выглядывает белобрысый немец.

Сухой винтовочный выстрел. Фриц падает, сраженный насмерть. Второй выстрел — и в орешнике кричит новая жертва.

В игру вступил кто-то третий. Он — на скале, висящей высоко над орешником.

Теперь, в свою очередь, немцы-охотники становятся дичью: со скалы их можно перебить, как кроликов.

Единственное спасение для них — в купе деревьев, что растет внизу, на обрыве.

Из кустов, пригибаясь к земле, цепочкой выбегают семеро фашистов. Со скалы вдогонку бьют семь выстрелов. Последнего пуля настигает у самой опушки. Он падает лицом вниз, широко раскинув руки.

Через несколько минут к раненым

партизанам подходит Евгений со снайперской винтовкой в руках.

— А ну-ка, показывайте, куда вас продырявили...

Сейчас Елена Ивановна ухаживает за ранеными.

6. IX

Сегодня, наконец, вернулись охотники за коровами.

Павлик коротко отрапортовал:

— Задание выполнено: сто сорок голов скота пасутся на Крымской поляне.

Потом рассказывает, как они добывали коров.

...Выбравшись из лагеря, ребята ехали, минуя дороги, прячась по кустам и рощам. Не раз встречали небольшие стада местных жителей и, поговорив с пастухами, ехали дальше.

Во второй половине дня на проселочной дороге, между хуторами Консуловым и Шабановым, появляется облачко пыли.

Хоронясь в кустах, ребята подъезжают ближе: десяток немцев гонит около двухсот коров в станицу Смоленскую. Коровы откормленные, породистые, — невозможно упустить такую добычу.

— За мной! — приказывает Павлик. И четверо всадников, стреляя наскаку, вихрем вырываются на дорогу.

Они обрушиваются на немцев, как гром с ясного неба: здесь, среди хуторов, занятых сильными гарнизонами, фашисты чувствуют себя в полной безопасности. Тем более в этот ясный солнечный день.

Половина фашистов сразу же бросается наутек. Но пятеро, вскинув карабины, почти в упор бьют по всадникам.

Пули пролетают мимо. Очевидно, от испуга у немцев дрожат руки.

Схватка длится короткие минуты. На пыльной дороге лежат пять немецких трупов. Но стадо исчезло: коровы разбежались и сейчас испуганно мычат в соседней роще.

Надо их собрать в кучу и гнать к горам. Дорога каждая минута: из ближайшей станицы обязательно выскочит погоня, — и тогда коровам уже не пастись в партизанском стаде.

Павлик приказывает двум партизанам гнать основную часть стада в сторону, противоположную горам, сделать громадный крюк и завести коров к Крымской поляне, что лежит в предгорьях, недалеко от лагеря. Сам же, вместе с Геней, прихватив для отвода глаз два десятка коров, открыто гонит их к горам.

Теперь ребята не пытаются скрываться. Наоборот, они едут в открытую, стараясь поднять как можно больше шума и пыли — только бы их заметила погоня, только бы оставила в покое основное стадо.

Фашисты на этот раз, легко попадаются на удочку: немецкие конники, вырвавшись на рысях из станицы, бросаются за Павликом.

Погоня настигает. Ребята, метнувшись в сторону, исчезают в кустах ольшанника...

Теперь у нас свое стадо. Но нам нехватает верховых лошадей.

. . . . . .

Только что вернулся из разведки Евгений.

— Подступы к мосту разведены, — докладывает он. — На улице Свободного произошла стычка. Убито восемь и ранено двадцать немцев. У нас потерь нет.

Сын протягивает мне лист бумаги. Это подробный план подходов к мосту — тропы, дороги, лощины, кусты, ломаная линия окопов, и кружочками, и крестиками помечены минометы, пулеметные гнезда и пушки. Будто весь день сидел Евгений у моста, спокойно смотрел и чертил.

На самом деле было далеко не так.

...Разведка верхами подходит к хутору Макартет спешивается, прячется в кустах. Григорий Федорович Журба, турбинный мастер и наш дальний разведчик, с револьвером и гранатой ползет к хатам.

У первой хаты — ни души. Журба тихо стучит в окно. На крыльцо выходит седобородый сгорбленный старик. Журба прикладывает палец к губам. Потом, коснувшись рукой кобуры, показывает на земле рядом с собой: молчи, дескать, иначе — смерть.

— Дедушка, скажи, где у вас немцы стоят... Не бойся, дедушка.

— Нечего мне бояться, сынок, страшнее того, что видел, не увижу, — шепчет старик. — Немцы на том конце хутора. Сейчас обедают. Но к ним не доберешься — у них караулы на крышах. Все видят, гады. Курица зашебаршит на огороде — и ту окликнут...

Старик оглядывается по сторонам.

— К нам намедни приходила разведка партизанская, хотела немцев тихо накрыть — и половина партизан осталась на месте... Уходи, парень. И своим накажи, чтобы носа не показывали к нам. И в Ново-Алексеевский не ходите и в Свободный — там то же, что и у нас. Иди, парень, пока жив. Иди...

Журба ползет обратно...

Положение сложное. Необходимо разведать подходы к железнодорожному мосту через реку Увинку. Для этого надо прощупать все хутора, что лежат по дороге к мосту, выяснить живую силу противника, добраться до моста, засечь огневые точки.

— Проверить седловку и оружие, — приказывает Евгений. — По коням!

Разведка открыто подъезжает к хутору, шпорит лошадей, во весь опор мчится по улице. И только когда она уже за околицей, вдогонку раздаются автоматные очереди...

Отъехав, переходят на шаг — берегут коней. А через Ново-Алексеевский опять проносятся вихрем...

В Свободном принимают бой. У Евгения тяжело ранена лошадь. С хода он пересаживается на коня убитого им в схватке фашистского офицера и, отстреливаясь, догоняет своих.

Уже виден мост. Но перестрелка в хуторах всполошила охрану. Немцы залегли в окопах и открыли частый огонь.

Тем лучше: они предупредительно показывают разведке все свои огневые точки.

Евгений быстро набрасывает план, засекая окопы с пулеметами и минометами.

В лагерь едут далеким кружным путем.

7. IX

Бывают минуты какого-то удивительного счастья, когда взбалмошная судьба нежданно-негаданно дарует человеку жизнь, с которой он уже простился. Такие минуты выпали на долю трем нашим разведчикам.

Дней десять назад я приказал им пойти в разведку: предстояло внимательно изучить движение немцев на шоссе и железной дороге, установить закономерность в этом движении, выяснить характер перевозимых грузов.

Дело кропотливое и долгое: предстояло около недели просидеть в кустах у шоссе и железнодорожного полотна, внимательно слушать, смотреть и записывать.

Сутки потратили разведчики, чтобы дойти до пункта наблюдения и отыскать удобное место — глухое, скрытое от глаз обходчиков и караулов и в то же время позволяющее видеть все, что делается на шоссе и полотне дороги.

За четверо суток собрали богатый материал. Уже четко вырисовывалось расписание движения поездов по железной дороге, уже ясна была закономерность следований машин по шоссе, уже можно было твердо установить время смены караулов, постов, обходчиков. Оставалось только кое-что уточнить. И вот тут-то разведчики допустили ошибку.

Слов нет, тяжело сутками лежать на одном месте, быть каждую минуту начеку, отказаться от курева, питаться всухомятку и пить воду из лужи, к которой можно подползать только ночью и то с великой осторожностью. И разведчики решили на последние сутки переменить место наблюдения и занять новый пункт, почти у самой лужи: дни стояли нарядкость знойные, солнце пекло немилосердно, мучила жажда и хотелось быть поближе к воде.

Надо думать, немцы заметили ползущих разведчиков. Около полудня наши услышали собачий лай. Немцы с собаками прочесывали местность, окружая кольцом разведчиков...

Уйти из кольца уже невозможно, — и наши отползают в густые заросли терна. Колючки рвут одежду, в кровь царапают тело.

Громадные злые овчарки бросаются к терну,.. и останавливаются: ничто не заставит собаку войти в этот жалящий кустарник. И псы мечутся у терна, рычат, заливаются истошным лаем. В кусты, низко пригибаясь к земле, входят пятеро фашистов.

Выстрел. Один из фашистов падает. Остальные убегают обратно.

Пять раз немцы пытаются прорваться в терн. И всякий раз разведчики подпускают их почти вплотную, — надо экономить патроны, — и бьют наверняка. Все пять атак отбиты, в шестую немцы итти не решаются. Голоса у терна затихают. Но кольцо попрежнему плотно сжато: то справа, то слева слышится глухое ворчанье овчарок и тихий приглушенный разговор.

Через час раздается скрип телеги — и в зарослях терна с воем и скрежетом рвется первая мина. Фашисты обстреливают квадрат за квадратом.

Рвутся мины. Меняют места разведчики. Вся одежда изодрана, кровоточат царапины, колючки глубоко вонзаются в тело. Разведчики метким выстрелом снимают минометчика. Но через несколько минут снова визжит и воет мина.

Обстрел длится три часа. Уже ранены два разведчика. Они неподвижно лежат в кустах, сжимая гранаты и ожидая смерти.

Осколок вонзается в правую руку третьего разведчика — он не сможет теперь бросить даже своей последней гранаты.

Наступают сумерки. Обстрел неожиданно прекращается. Сейчас немцы пойдут прочесывать терн.

Тишина. Все дальше и дальше удаляясь от зарослей, слышатся голоса и собачий лай.

Не может быть, чтобы немцы ушли. Они где-то здесь, рядом, в засаде.

Около часа раненые прислушиваются. Тихо вокруг. Только заливаются лягушки у лужи, обещая на завтра такой же знойный солнечный день, и трещат цикады в кустах.

Разведчики медленно выползают из терна. На опушке зарослей ни души.

Разведчики ползут дальше. Уже позади осталась открытая поляна. Впереди спасительный глушняк, кабанья тропа, родные предгорья.

Двое суток идут раненые в лагерь, все еще не решаясь поверить в свое спасение.

Как объяснить, — почему их выпустили немцы? Быть может, фашисты решили, что разведчики убиты, и отложили поиски трупов до утра? А может быть немцев спешно вызвали по тревоге в станицу?..

Что бы там ни было, — наши живы. Они улыбаются товарищам, солнцу, деревьям и горды тем, что через весь ужас обстрела и обратного пути пронесли залитые кровью листки своих записных книжек.

. . . . . .

Сегодня был свидетелем удивительного зрелища.

На полном скаку Степан Игнатьевич Веребей вырывается из кустов к табуну награбленных фашистами лошадей, ловко бросает аркан и на глазах у растерявшихся немцев спокойно уводит лучшего коня.

Словно никогда не был Степан Игнатьевич директором мыловаренного завода в Краснодаре, а всю жизнь провел в прериях Техаса, охотясь за мустангами, и сошел к нам в отряд со страниц романов Майн-Рида...

Слов нет, это дерзко и красиво. Но слишком кустарно. Геня с Павликом просятся пойти за лошадьми.

— Это, папа, будет не так эффектно, как у Степана Игнатьевича, — говорит Геня, — но зато мы сразу приведем целый табунок.

Я дал разрешение.

9. IX

Вернулись Геня, Павлик и Гончаров. Им повезло: у хутора Макартет группа фашистских конников спешилась и ушла на бахчу за арбузами. Коноводам стало скучно, и они разбрелись по хатам. Только шесть молодых немцев остались сторожить лошадей. Закусывая, они разлеглись на траве.

Бесшумно подползают ребята, прячась в бурьяне. Без выстрела, финскими ножами, снимают коноводов и угоняют лошадей.

К заставе подъезжают торжественно. Впереди Павлик. За ним, связанные уздечками по-двое, послушно идут тридцать две лошади. Сзади, в облаке пыли, сияющий Геня...

. . . . . .

Сегодня в ночь Геня отправляется в новую разведку.

С ним идут его друзья — такие же, как он, ребята из соседних партизанских отрядов.

Это не первая самостоятельная разведка наших «малышей». Частенько, переодевшись деревенскими парнишками, Геня с приятелями уходят в станицы, занятые немцами. Гене разведка дается легко: к этому оборванному чумазому пастушонку обычно не пристают фашистские патрули, на хуторах его привечают и скрывают сердобольные женщины, и всюду находятся у него друзья среди ребятишек.

Вначале, горячо поспорив с ними о голубях и рыбной ловле, он посылает их послушать разговор у комендатуры, обегать все дворы и подсчитать машины. Потом вместе с ними разбрасывает листовки, выкрадывает последние немецкие газеты, относит «Правду» подпольщикам.

Но на этот раз разведка предстоит ответственная: немцы стягивают крупные силы в Георгие-Афипскую, подготовляют переброску их к Новороссийску и зорко следят за всеми, кто появляется в станице...

. . . . . .

Елена Ивановна беспокоится. Но послать взрослых было бы более рискованно.

Вчера третьему взводу, под командованием Сафронова, было приказано пробраться между Крепостной и Смоленской, выяснить огневые точки врага и устроить засаду. О дороге мы знали только то, что сказал Сафронову местный житель.

— Сначала будет хмеречье, потом ерик. Пройдя по ерику, найдешь течею. Ну, а дальше — с богом...

Слов нет — этого маловато. Но Сафронов все-таки должен был выполнить приказание. А он не сумел, — бесцельно промучил взвод и сегодня вечером уныло вернулся на командный пункт.

Завтра поведу взвод сам.

11.IX

Нас считали в лагере погибшими: слышали артиллерийскую стрельбу, разрывы мин, пулеметные очереди и решили, что третьего взвода не существует. А мы живы и здоровы. Только жестоко устали: путь был нелегкий...

Мы вышли с командного пункта еще затемно. Пересекли добрый десяток старых черкесских дорог, встретили бесчисленные ерики, хмеричи, течеи и забрались, наконец, в такой лабиринт, из которого, казалось, выхода нет.

Подсказало чутье: свернул по одному из ериков, как две капли воды похожему на остальные, и не ошибся.

Шли шесть с половиной часов. Мучила жажда. Выручал дичок: мы уничтожили бесконечное количество яблок и груш.

Наконец, впереди заблестела лужа.

Вода была грязная и сильно пахла креозотом.

По всем признакам мы были вблизи от немецких огневых точек.

Половину взвода оставил у лужи, с остальными осторожно двинулся дальше.

Кусты поредели. Взяв с собой Слащева и Сафронова, выполз на опушку.

Впереди, метрах в пятидесяти, на краю леса, расчищенное место, а на нем какие-то странные бугры и ямы. Вгляделся внимательно. Оказывается, кочующая батарея: наблюдательный пункт, резервы прислуги и окопы с замаскированными тяжелыми орудиями.

Тщательно занес все на бумагу и вернулся к своим. Сафронова отправил обратно к луже с нашими рюкзаками, а сам, с тремя разведчиками и пулеметчиком, пополз вперед.

Ерик кончился. Впереди открытая поляна. Приказал двум разведчикам ползти вперед и найти шоссе, к которому нам предстояло подобраться.

Разведчики скрылись. Отполз в сторону и стал наблюдать.

Справа — сильно прореженный лес. Кучи хвороста сложены аккуратными рядами. Около куч шалаши из свежих веток, через поляну тянется полевой провод к какому-то странному возвышению. А слева — стога сена, сложенные совсем не так, как принято у нас на Кубани.

Возвращаются разведчики. Докладывают, что нашли шоссе, а на третьей поляне, в шалаше, видели телефонный аппарат и двух немцев-мотористов. Порывались их захватить врасплох и отобрать аппарат, но во-время удержались: рядом находилась немецкая застава.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что разведчики ошиблись, приняв проселочную дорогу за шоссе...

Отдохнув, отправились дальше: шоссе надо было найти во что бы то ни стало.

Путь труден: редкие лески с вырубленными кустами и открытые поляны. Хуже трудно придумать.

Первыми ползли Гончаров и Ломакин.

Гончаров полз прекрасно: перебирая только пальцами рук и ног, он был невидим в траве. У Ломакина получалось плохо: он сильно вскидывал заднюю часть тела, припадал головой к земле, ничего не видел перед собой, но сам был виден весь. Одним словом, был удивительно похож на страуса, который, спрятав голову под крыло, уверен, что его никто не видит...

Через поляну переползли один за другим, в шахматном порядке, и снова начали наблюдать. Оказалось, что кучи хвороста в разреженном леске — замаскированные тяжелые пулеметы и 47-миллиметровые пушки, а стога сена — полевые батареи.

Снова все тщательно нанес на бумагу.

Впереди, метрах в двухстах, за высоким забором виднелась молочная ферма.

Взял Гончарова и осторожно пополз: надо было разузнать, что делают немцы на ферме.

Подобрались к самому забору. Неожиданно тявкнула собака и залилась пронзительным лаем. Из ворот выскочили немцы.

Мы с Гончаровым замерли.

Немцы постояли, посмотрели и, обругав собаку, ушли.

Но лишь только они скрылись, проклятая собака опять заметалась на цепи. На этот раз выскочила целая толпа фашистов. Они долго смотрели по сторонам и, поспорив, снова ушли.

Подобраться к ферме немыслимо.

Сгущались сумерки. Мы тронулись в обратный путь. Теперь ползти было легче: в темноте даже спина Слащева не была видна.

К луже вернулись около полуночи. Нас угостили прекрасной холодной водой: рядом с лужей отыскали родник.

Спать мне не пришлось: проверял караул, следил, чтобы никто не храпел во сне, обдумывал план завтрашнего дня. Решил во что бы то ни стало заглянуть на молочную ферму.

На рассвете поднялись мокрые от росы, позавтракали всухомятку и отправились искать шоссе.

У дикой груши оставил взвод, приказав лежать и прикрыть нас огнем в случае тревоги. А сам, с Гончаровым и Слащевым, пополз дальше.

Благополучно пересекли проселочную дорогу, углубились в лесок и осторожно выползли на опушку: перед нами, метрах в семидесяти пяти, лежало шоссе.

Три часа наблюдали за шоссе — ни души. Только пробежала немецкая связная собака — доберман-пинчер, дублированный фокстерьером. Устраивать засаду на пустынном шоссе было бессмысленно.

По ту сторону шоссе меня заинтересовал лесок — он был неестественно густ. Решил подобраться к нему и выяснить, в чем дело.

В леске стояли противотанковые орудия и тяжелые пулеметы. Это была немецкая огневая засада.

И это все занес я на бумагу.

Строго говоря, пора было возвращаться обратно. Но молочная ферма не выходила из головы. Решил опять попытать счастье.

До забора дополз благополучно. Даже на забор залез. Но лишь только занес ногу, чтобы перебраться на крышу соседнего сарая, как неистово загоготали гуси.

На гусиный гогот выскочили немцы. Я приник к забору. Мучительно хотелось стать маленькой козявкой, заползти в щель и переждать тревогу...

Немцы меня не заметили. Почему — не знаю. Успокоились и гуси. Только цепная собака минут десять сердито ворчала.

Вернулся к своим. Поползли дальше. И лишь только перевалили через проселочную дорогу, как из-за поворота нежданно появилась рота немецких автоматчиков. Они шли на ферму, как всегда четко отбивая шаг, высоко вскидывая длинные ноги.

Мы недвижно лежали в кустах, хотя чертовски подмывало швырнуть в них гранату и сбить их самодовольную спесь.

К дикой груше вернулись благополучно. Товарищи, как и в прошлый раз, напоили нас вкусной водой: около груши они наткнулись на новый родник.

Всласть напившись, отправился к роднику. На влажном песке увидел свежие отпечатки немецких ботинок и рядом наши следы. Решил спешно уходить: сюда с минуту на минуту могли пожаловать немцы.

И вдруг с грохотом разорвался артиллерийский снаряд. За ним второй, третий...

Подал сигнал отхода. Отправил вперед Гончарова — он должен был вести отряд напрямик, по еле заметной тропе, что взбегала на крутой подъем.

Итти было тяжело: ногу можно ставить только на ребро. А вокруг рвались снаряды: это била та самая батарея, что была замаскирована в леске.

На половине подъема Сафронов опустился на землю.

— Не могу. Сердце сдало. Идите. Мне все равно пропадать.

Приказал взводу двигаться дальше, а сам присел рядом с Сафроновым. И вдруг увидел: с двух сторон, окружая нашу горку, бегут немецкие автоматчики, а связисты сзади разматывают телефонный кабель.

Поднял на ноги Сафронова, и, поддерживая его, спустился со взводом в ерик.

Стрельба прекратилась — артиллеристы потеряли нас из виду. Все повеселели. Сафронов улыбнулся.

Но в воздухе послышался характерный рокот: над ериком, почти касаясь брюхом верхушек деревьев, летел «Мессершмитт». Он увидел нас, дал две очереди, сбросил дымовые ракеты, еще пустил три очереди и ушел вперед. И снова заговорили немецкие пушки, сделали несколько десятков выстрелов и замолчали.

Мы шли быстро. Пот лил градом. Мучительно хотелось пить. Но надо было вырваться из мешка, занять сильную позицию и, если придется, принять бой.

Мы остановились у дефиле: по бокам поднимались крутые отроги гор, между нами и немцами лежала открытая поляна.

Дал взводу пятнадцатиминутную передышку. Люди напились воды из родника и повеселели. Недомогание Сафронова как ветром сдуло: он стоял передо мной собранный, подтянутый, брови нахмурены, губы плотно сжаты.

Заняли боевые позиции: справа — часть взвода под командованием Сафронова, слева — группа бойцов со старшиной Тарасовым, в центре — пулеметчик Федосов. Я лег рядом с пулеметом.

Ждать пришлось недолго. Минут через двадцать в кустах мелькнула фигура немецкого автоматчика. Он вышел на поляну, огляделся. Поляна молчала. Он подал знак. На поляну со всех сторон вылезли десятки фрицев.

Они шли спокойно — их обманула тишина.

Я подал сигнал. Пулеметчик резко дал первую короткую очередь вправо, вторую — влево и длинную — в середину. Грохнул залп наших карабинов, забили короткие очереди автоматов...

Немцы заметались в панике, рванулись было вперед, потом, теряя убитых, откатились в кусты.

Я приказал занять запасные точки.

Противный воющий свист наполнил воздух: немецкие мины рвались у камней, за которыми мы только-что лежали.

Из-за прикрытия я наскоро подсчитал потери врага: убито тридцать два, в траве корчилось около семидесяти раненых.

Заговорила немецкая батарея: немцы переносили огонь в глубь дефиле.

Поздно. Мы уже вышли из зоны обстрела и знакомыми тропами вернулись к своим.

У нас потерь нет. Только все тело ныло от усталости и неудержимо хотелось спать.

Я отправил со связным свои записи в штаб куста и растянулся на кровати...

Геня благополучно вернулся из Георгие-Афипской и коротко доложил: «разведанные».

Сведения очень важны — переправил их командованию.

. . . . . .

Елена Ивановна успокоилась...

Только-что Литвинов, уходя в очередную разведку, улыбаясь, сказал Янукевичу:

— Пока, Виктор Иванович. Я — на комбинат...

Это шутка. Но это значит: наша лесная жизнь, наша опасная партизанская работа вошла в плоть и в кровь наших горожан, стала такой же обычной, как их недавняя работа в Краснодаре...

. . . . . .

У нас несчастье: после вчерашнего дождя подмокла добрая половина наших запасов рассыпного тола.

Кузнецов винит в этом себя. От этого не легче: тола у нас мало и достать его трудно.

Наши минеры решили выбросить подмокший тол. Но тут вступился Кириченко. Он болен (Елена Ивановна делает ему массаж), передвигается на костыле, сидит в лагере и просит разрешения «поколдовать с толом».

Пусть колдует: он так влюблен в минное дело, так остро переживает потерю, что отказать ему невозможно.

Хотя едва ли у него что-нибудь выйдет...

12. IX

В нашем лесу живет старый дед пасечник. Его охотно посещают все: и немцы, занимающие соседние хутора, и партизаны с предгорий, и разведчики, посланные с поручением к партизанам. Пасека лежит на глухой лесной поляне, вдали от хуторов и проезжих дорог, а мед у деда янтарный, душистый и сладкий...

Несколько дней назад мы ждали к себе посланцев от командира Н-ской части Красной армии. Ждали и не дождались. Дело не терпело отлагательств,— и Евгений сам отправился через линию фронта.

Вернулся он мрачный. Оказывается, двое бойцов-разведчиков были посланы к нам — и пропали. Их путь лежал через пасеку. Есть основание полагать, что они заглянули к деду полакомиться медом.

Надо было проверить, были ли бойцы у деда, отыскать их трупы и отомстить убийцам.

Вчера группа дальней разведки под начальством Евгения верхами отправилась в путь.

Пасечник с Евгением — старые знакомые. На столе под развесистым черноклёном появляется миска с медом и ломти свежего ноздреватого белого хлеба.

Дед говорит отрывисто, сердито:

— Правильно, были у меня два бойца. Ели мед. Как нагрех — слышу топот. Бойцы — в кусты. А один, чернявый такой, шепнул: «Когда проводишь гостей, дедушка, — свистни: уж больно мед у тебя сладкий...» Приезжают верхами германцы. Человек десять. Нажрались — и обратно. Подождал немного, вытер стол после поганых и думаю: сейчас свистну парням. Вдруг — выстрелы, шум в лесу, суматоха. Потом все затихло. К вечеру пошел по тропке. У сухого тополя — знаешь, у того, что у развилки стоит, его еще прошлым летом грозою пожгло,—трава примята. А в кустах вот это лежит.

Дед кладет на стол выгоревшую на солнце красноармейскую пилотку.

— Вот тебе и сладкий мед, будь он неладен, — продолжает дед. — Да ты поторапливайся, Евгений Петрович: проклятые грозились сегодня снова приехать. Неровен час, и с тобой то же приключится.

Евгений возвращается к своим... Закончив приготовления, партизаны ложатся в кустах у сухого дуплистого тополя.

Ждать приходится долго. Вокруг роем носятся пчелы, жужжат, кружатся над головой. Воздух полон тонким ароматом душистого цветочного меда. Жарко. Геня уже два раза отползал к соседнему ключу и приносил воду. Сейчас он лежит весь мокрый рядом с Евгением: то ли нечаянно сорвался в яму, то ли нарочно выкупался.

Наконец, слева, со стороны хутора, на тропинке появляются два немецких верховых, а немного погодя к тополю подъезжает основное ядро кавалеристов.

Первым бросает гранату Евгений. За ней летит вторая, третья. Лошади поднимаются на дыбы, сбрасывают седоков. Партизаны бьют из карабинов тех, кто пытается уйти.

Услышав выстрелы, передовой разъезд, пришпорив коней, мчится вперед, к пасеке. Но у самой опушки его встречает завал. Резко рванув влево, кавалеристы бросаются в кусты и, не удержавшись, летят вниз, в глубокий крутой овраг. Их на лету бьет из карабина Геня...

Кириченко все возится с подмокшим толом: рассыпал его на железный лист, что-то подмешал к нему и сейчас подсушивает смесь на костре.

Около него стоит Кузнецов.

— Колдуете, Николай Ефимович?

— Как видите, товарищ комендант.

— Что-нибудь наколдуете?

— Полагаю. Хотя, должен вам заметить, уважаемый Леонид Антонович, — исправлять чужие ошибки иногда бывает довольно трудно...

Кузнецов с виноватым видом отходит.

Кириченко ворчит: он никак не может простить бедному коменданту подмоченный тол.

13. IX

Геня и Павлик лежат в дозоре.

Томительно тянутся долгие часы. Рассвело. Ослепительно ярким золото-розовым шаром поднялось солнце из-за гор. Блестит роса на траве. В лесу неумолчно щебечут птицы — встречают новый день и оживленно, взволнованно обсуждают появление незваных гостей.

Неожиданно в птичий гомон врывается новый звук. Он еле слышен. Трудно

разобрать, что это. Может быть, лошадиный топот?

Геня слушает.

Нет, это моторы гудят. Далеко, далеко. Но не поймешь сразу — в воздухе ли, над горами, или на дороге от Ново-Дмитриевской.

Гул становится все явственнее...

— Павлик, беги к Евгению, — шепчет Геня. — Танки подходят к Афипсу.

Евгений сидит на дереве. Оттуда в артиллерийский бинокль видна вся дорога, как на ладони.

— Янукевич, будить всех! Приготовиться к бою!

Сжимая в руках гранаты, люди замирают в придорожных кустах.

Уже четко слышен лязг танковых гусениц и тяжелых машин.

Вдруг пулеметная очередь разрывает тишину. Глухо ухает пушка. Пролетает снаряд, срезая ветви, в щепы разбивая стволы деревьев: фашистская колонна, войдя в лес, для верности бьет по кустам.

Первым, как всегда, проносится мимо танк. За ним, в облаке желтой пыли, идет тяжелая машина с автоматчиками. Стоя в кузове вплотную друг к другу, они бьют по кустам бессмысленно, глупо, без цели.

А дальше еще и еще машины — с боеприпасами, с автоматчиками, с продовольствием.

Неожиданно, хотя этого ждут каждую секунду, взрыв потрясает землю. Это там, впереди, взорвался, наконец, головной танк.

А колонна по инерции несется дальше. Перед засадой вырастает второй танк. Евгений, чуть приподнявшись, швыряет в него гранату и снова припадает к земле. Пытаясь развернуться, танк с разбитой гусеницей оседает в канаву, загораживая дорогу. На него с хода наскакивает ближайшая машина и вспыхивает ярким пламенем.

Летят бутылки с горючим, рвутся гранаты, не умолкая бьет наш пулемет.

На дороге мечутся тяжелые машины, давя колесами раненых. Они ищут выхода из огненного кольца. Но выхода нет. Всюду гранаты, взрывы, столбы огня и меткие пули партизанских карабинов...

В шум боя врывается новый звук: фашистский танк, шедший в хвосте колонны, рванулся по кустам в тыл партизан.

Наперерез танку бросается Геня. Он бежит в открытую, не сгибаясь, не прячась.

Фашисты замечают его. Танк посылает короткие пулеметные очереди. Но пули летят мимо: продираясь сквозь молодой лесок, танк на буграх кренится из стороны в сторону.

Геня бежит. Он совсем рядом с танком. Пулемет бьет длинной очередью. Геня швыряет противотанковую гранату и быстро прячется за дерево.

Машина останавливается, резко обрывая огонь.

Геня ждет.

Проходят секунды — и танк оживает. Дуло пулемета опять поворачивается к Гене.

Кошкой бросается Павлик к другу и, рванув его за руку, падает с ним на землю.

Первая прямая очередь проносится мимо.

Уловив перерывы в очередях, Павлик швыряет гранату под башню с пулеметом. Танк затихает.

А по лесу один за другим уже несутся сигналы отхода — резкие отрывистые свистки Евгения: подошла вторая фашистская мотоколонна, и немцы, огромным полукругом охватывая место схватки, пытаются сжать в кольцо партизан. Но уже вступает в бой группа прикрытия. В лесу рвутся гранаты, и наши стрелки сдерживают автоматчиков.

Основная группа нападения выходит из кольца. И снова цепочкой быстро идут партизаны по кабаньим тропам, переходят вброд извилистые капризные реки, поднимаются на горы, спускаются с крутых обрывов.

Отряд возвращается на стоянку в Крепостную. Геня с трудом снимает плащ. Плащ весь в крови. Елена Ивановна бросается к сыну. Вдоль плеча рана, неумело перевязанная индивидуальным бинтом...

Геню ранило еще до его схватки с танком. Наскоро перевязав себя, он бросился в бой. Потом начался отход. Рана кровоточила. Мучительно болело плечо. Кружилась голова от потери крови. Но Геня никому не сказал о своей ране: сзади били фашистские пулеметы, и возня с ним могла бы задержать товарищей. Стиснув зубы, он наравне с другими переходил реки, карабкался на кручи.

Я пишу все это вовсе не для того, чтобы показать, каким героем был мой сын. Откровенно говоря, его поступок никого из нас не удивил, потому что в нашем отряде свято соблюдается партизанское правило: нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах не обременять своей персоной товарищей, и скорее умереть, но не помешать друзьям быстро и точно закончить операцию.

Геня выполнил это правило. Вот и все.

. . . . . .

Только сегодня, и то случайно, от одного из приятелей Гени, я узнал о его последней разведке в Георгие-Афипскую.

Оказывается, разведка прошла далеко

не так гладко, как можно было понять из краткого доклада Гени. Надо думать, он умолчал о многом, не желая беспокоить мать. К тому же он боится, как бы ему вообще не запретили ходить на опасные операции.

А дело было так.

...Как всегда, из лагеря ребята выходят ночью. Итти по шоссе опасно — и они отправляются по проселочной дороге, что ведет с предгорий на равнину.

На рассвете подходят к хутору Рашпилев. Их останавливает румынский патруль.

Обыск. Геня нервничает. У него в одежде спрятан револьвер — маленький бельгийский браунинг. Геня нашел его еще в Краснодаре, в куче железного хлама, два месяца возился с ним, где-то раздобыл патроны и теперь гордится своим револьвером, который, действительно, бьет неплохо.

Обыск проходит благополучно. Начинается допрос. Допрашивает румын, сносно говорящий по-русски.

— Куда идете?

— Из Ново-Алексеевки. Мы гоняли туда скот по приказу господина коменданта.

— Кто такие?

Ребята, перебивая друг друга, называют фамилии и даже смешные прозвища станичников Георгие-Афипской, уверенно описывая дома, вспоминают ребятишек и обрушивают на румын такую груду мелочей и подробностей, что начальник патруля, махнув рукой, приказывает пропустить их.

В Георгие-Афипскую входят осторожно, стараясь не попасть на глаза полицейским, и пробираются к друзьям.

К вечеру все выяснено: какие части прибыли в станицу, сколько танков, машин, пулеметов, какие калибры орудий, где расположен склад боеприпасов. Геня даже заходит на железнорожную станцию и бродит по путям, наблюдая, как грузятся составы.

Из станицы выходят в сумерки. Идут тихо, чутко прислушиваясь к каждому шороху.

У табачного сарая под Смоленской раздается громкий окрик:

— Стой!

Ребята шарахаются в сторону. Но уже поздно: два полицейских, лежавших в засаде, направляют на них дула винтовок.

— Кто такие? Откуда? Почему шляетесь по ночам? Зачем уздечки?

Ребята пытаются вывернуться: у них-де пропали лошади, лошади эти немецкие, они искали их всю ночь, не нашли, а теперь боятся итти домой — без коней в станицу возвращаться не велено.

Полицейских это не убеждает.

— Руки вверх!

Геня, незаметно зажав в правой руке свой маленький револьвер, подходит первым. Резко опускает руку и в упор бьет из браунинга в полицейских.

Навалившись, ребята отбирают у них оружие и бросаются в кусты.

В станице поднимается тревога. Стреляют часовые, у околицы бьет дежурный пулемет. Пули свистят над головой, а ребята несутся стрелой, падают, поднимаются, снова падают и снова бегут цепочкой, стараясь в темноте не терять друг друга.

Розовеет восток. Из предутреннего тумана вырисовываются кусты, станица, далекие горы.

Погоня настигает.

Геня резко поворачивает влево, к Афипсу.

С разбега ребята бросаются в реку. После недавних дождей Афипс ревет и клокочет, неся с собой коряги и камни, и кружит в водоворотах.

Ребята плывут саженками. В кровь сбивая ноги об острые края коряг, вылезают на противоположный берег и ныряют в кусты. Вслед им несутся автоматические очереди.

Низко пригнувшись к земле, Геня кружит в густом прибрежном ивняке и уверенно ведет ребят к далекому темному лесу.

Поднимается солнце. Тают туманы. Где-то далеко впереди сияют снеговые вершины.

Выстрелы смолкают: немцы не решаются вплавь переправиться через бурный Афипс, и, постреляв минут двадцать по кустам, уходят в станицу.

Ребята выжимают мокрую одежду и кружным путем к вечеру возвращаются в лагерь.

Только-что получена радиограмма из штаба куста: кочующая батарея, огневая засада на шоссе, тяжелые пулеметы в роще — все, что обнаружили мы во время «прогулки» к молочной ферме, — накрыто бомбами нашей авиации.

14. IX

Недалеко от нашего лагеря на горе Стрепет лежит Кабанье озеро. В густых прибрежных зарослях кабаны протоптали тропы. Наши охотники часто ходят сюда бить диких свиней.

Часть отрядного стада — восемь коров и десяток лошадей — пасется у Кабаньего озера.

Все здоровые мужчины ушли на операции, женщины заняты по хозяйству. Елена Ивановна, прихватив с собой раненного в руку товарища, гонит стадо на пастьбу.

Одна из лошадей поднимает голову и настораживается. На том берегу озера раздается испуганное хрюканье — и громадный кабан с размаху плюхается в воду.

Елена Ивановна со своим спутником быстро падают в траву.

В камышах, откуда выбежал кабан, появляются две фигуры: полувоенная форма, винтовки подмышкой, гранаты за поясом. Намётанный глаз Елены Ивановны сразу же определяет: враги.

Незнакомцы осторожно огибают озеро.

— Стой! Руки вверх! — раздается из травы.

Первый быстро вскидывает ружье, но тотчас же падает с перебитым пулей плечом. Второй послушно поднимает руки.

Под дулом своего карабина Елена Ивановна ведет пленных в лагерь. Всю ночь их допрашивает Евгений. Наутро он подходит к матери, крепко обнимает ее и говорит:

— Если бы ты только знала, мама, каких матерых бандитов ты поймала!

Они оказываются крупными немецкими диверсантами, посланными из Краснодара в предгорья для убийства руководящей верхушки партизанских отрядов и в частности — Бати.

Оказывается, это имя прочно прижилось ко мне.

О неведомом Бате говорят между собой краснодарцы, когда слух о наших диверсиях доходит до них. Под именем Бати я известен немцам. Они не знают моей настоящей фамилии. Во всяком случае, на-днях мы получили точные сведения, что жена и дочурка Евгения в Краснодаре живы и здоровы.

. . . . . .

Сегодня отличился Дакс.

Командование куста мне строго-настрого запретило одному выходить из лагеря, но на этот раз я ослушался. Взять с собой было буквально некого: большинство ушло на операции, остальные спали непробудным сном, только-что вернувшись из разведки.

Я захватил с собой Дакса и пошел в Крепостную.

Дакс вел себя безукоризненно: ступал неслышно, никуда не отбегал, на птиц не гавкал и даже ежика, выскочившего у него из-под носа, оставил в покое, хотя и страшно хотелось погнаться за ним.

На опушке прогалины Дакс неожиданно остановился и еле слышно заворчал. Я приник за кустом.

Прошло минут пять. Дакс стоял, как изваяние. Только чуть дрожали его черные влажные ноздри.

Послышался шорох. На прогалину вышли трое немцев. Увидев овчарку, они щелкнули затворами карабинов.

Шерсть на спине Дакса поднялась дыбом. Он умоляюще посмотрел на меня. Я кивнул головой.

Прыжок был так стремителен, что я даже не уловил, как Дакс отделился от земли и повалил переднего фашиста, вцепился ему в горло.

От неожиданности немцы растерялись. Я приказал им бросить оружие. Они послушно подняли руки.

Я бросился к тому, что лежал на земле: на нем были ефрейторские погоны, и он мог нам пригодиться. Но с ним все было кончено. Дакс перегрыз ему горло.

Пришлось вернуться в лагерь. Дакс шел за пленными. Стоило одному из них замедлить шаг или на мгновение остановиться, — Дакс грозно рычал. И немцы не шли, — немцы почти бежали.

Дакс до сих пор не может успокоиться. Он лежит рядом со мной, время от времени поднимает голову и сердито ворчит. Он знает: враги рядом, надо быть на-чеку..

. . . . . .

Кириченко обратился ко мне со странной просьбой:

— Батя, нет ли у вас рваного носка?

— Да зачем вам, Николай Ефимович?

— Опыт хочу один сделать: скучно без работы сидеть. Только вы не спрашивайте — пока секрет.

Носок дал. А сейчас Геня рассказал мне, что Кириченко уже успел выпросить рваные носки и у него, и у Евгения, и у Литвинова.

Что-то мудрит наш Николай Ефимович..

15. IX

Самая высокая гора в нашем районе — Афипс. За ее вершиной, лысой, как колено, прекрасное высокогорное пастбище.

Взобраться на него чрезвычайно трудно: крутизна, ущелья, глубокие расселины. Но овладеть им заманчиво: эта горная неприступная крепость командует над дорогой, ведущей к Черному морю, в тыл нашей войсковой группировки под Новороссийском.

Недавно агентурная разведка донесла: немцы зарятся на лысину Афипса — они хотят использовать ее для посадки транспортных самолетов и высадки воздушного десанта.

Надо опередить их во что бы то ни стало.

С первого взгляда это кажется простым и легким: на «лысине» должна быть крупная партизанская застава. Но нам дорог каждый человек — мы широко разворачиваем диверсионную работу, и люди у нас буквально на вес золота. Решено поэтому соединить полезное с приятным: перегнать на вершину Афипса часть нашего стада и пастухам поручить пасти скот и охранять «лысину». Пастухами на «лысину» посланы: инженер Леонид Федорович Луста, токарь Алексей Иванович Припутнев и

газовый мастер Ефим Федорович Луговой.

. . . . . .

Хороша картошка под Ставропольской — удивительно хороша: крупная, чистая, рассыпчатая. И лук хорош: фиолетовый, сладкий. А главное — вымороченными лежат картофельные поля: почти всех жителей немцы угнали в глубокий тыл. Зря гниет в земле картофель. А у нас в лагере его нет и в предгорьях достать его невозможно. К тому же там и чеснок можно найти: его нехватает в нашем рационе.

Но горе в том, что немцы зорко берегут эту картошку: стоят караулы на картофельном поле, а рядом — дзоты. Взять ее придется, очевидно, с боем. Но ничего не поделаешь. Наш уважаемый шеф-повар уже давно ворчит:

— Без картошки — обед не обед.

И решено картофель, лук и чеснок добыть во что бы то ни стало.

Сложная операция — заготовка картофеля в партизанских условиях. Сложная и опасная. План заготовки разрабатывается основательно. Прежде всего, наши разведчики выясняют, на каких участках картофель особенно хорош, где стоят немецкие караулы, как расположены дзоты, по каким направлениям возможны удары немцев и достаточно ли удобны дороги для нашего отхода.

Отряд «картофельников» разбивается на три группы.

Первая группа — пулеметчики и стрелки должны залечь в засаде и взять на прицел амбразуры дзотов и пути движения немцев к картофельному полю. Второй группе, — в нее входят гранатометчики и автоматчики, — придется ждать немцев непосредственно у поля. Наконец, картофелекопатели обязаны без выстрела снять часовых, быстро и бесшумно выкопать картофель и доставить его в условленное место.

Ночь операции выдается наредкость удачной: не видно ни зги.

Первыми выходят гранатометчики и автоматчики — им нужно кружным путем пробраться в засаду. Минут через сорок двигаются пулеметчики и стрелки. И только после этого трогаются картофелекопатели.

Тишина. Небо покрыто облаками. На востоке, на изорванной по краям полосе неба, на минуту вспыхивают синие звезды и снова исчезают за тучами. Тявкает спросонья собака в станице. И снова темно и тихо, будто живой души нет на этих широких картофельных полях.

Неожиданно доносится еле слышный шорох... Это наши снимают немецкий караул.

Полчаса томительного ожидания — и Малышев, тяжело дыша, приносит первый мешок картошки. За ним бегут еще несколько человек с тяжелой ношей. Причина раздобыл лук и с гордостью кладет мешок у моих ног.

— Получайте, Батя. Не лучок — сахар.

Еще час такой работы, — и мы будем обеспечены надолго.

Но вот тут-то и происходит непредвиденная заминка: немцы в неурочное время решают проверить свой караул на картофельном поле. Из станицы выходит четверо солдат. Наша засада пропускает их, условным сигналом сообщив об этом картофелекопателям.

Это так некстати, что двое из наших, перепутав от неожиданности, куда надо двигаться при тревоге, нос к носу сталкиваются с немцами.

Короткая автоматная очередь — и четверо фрицев падают мертвыми, так и не успев сделать ни одного выстрела. Но тотчас же на вспышку автомата из левого немецкого дзота ударяет пулемет. Он бьет бешено, не жалея патронов. А справа уже бежит к полю целый взвод фашистов.

Наша засада подпустила их вплотную, швыряет гранаты. Освещенные вспышками разрывов, отчетливо видны перепуганные лица немецких солдат. Наши дают несколько очередей из автоматов и быстро меняют позицию.

С воем и скрежетом разрывается на месте схватки немецкая мина. Минометы бьют с двух сторон. Не смолкает тяжелый пулемет... И новые группы фашистских солдат спешат к злосчастному картофельному полю.

Бой разгорается не на шутку. Сейчас уже нечего думать о заготовке, — надо уходить.

Особенно тяжело приходится нашей засаде пулеметчиков: немцы нащупали их и стараются взять в клещи.

Наши быстро отходят к лесу, часто меняя позиции и продолжая отстреливаться. Им удается вывести из строя вражеский пулемет. Но попрежнему воют, визжат и рвутся мины, и все теснее сжимается кольцо.

Немцы преграждают нашим отход к лесу.

Но тут фашисты допускают ошибку: группа немецких солдат, занявшая тропинку в горах, выдает себя одиночными вспышками выстрелов.

Мы неслышно подползаем к ним и бросаемся с гранатами.

Брешь пробита. Дорога свободна, и наши пулеметчики быстро отходят в горы. Кружным путем, неся на себе тяжелые мешки, почти бегом отступают остальные.

Мы возвращаемся в лагерь на рассвете.

Евфросинья Михайловна не спит. Она нетерпеливо развязывает мешки и нео-

жиданно обрушивается на бедного Причину.

— Вы за чем ходили, Николай Демьянович?

— За картошкой, уважаемая Евфросинья Михайловна.

— А принесли грязь. Любуйтесь!

В мешках, действительно, много земли.

— Извините, Евфросинья Михайловна, но нам немцы немного помешали.

— Я не знаю, кто вам помешал, но из грязи обеда не сваришь — грязь несъедобна, Николай Демьянович...

Сегодня на обед нам подается жареный картофель, щедро сдобренный луком. Все просят прибавки.

Причина подходит к Евфросинье Михайловне и, улыбаясь, говорит:

— Вы маг и волшебник: из грязи — такое блюдо! Позвольте еще тарелочку.

— Уж вы меня простите, Николай Демьянович: я сгоряча. Сами понимаете — очень хотелось угостить вас как следует. Кушайте, дорогой...

. . . . . .

Сегодня Евгений вернулся из разведки и положил предо мной старый массивный крест: серебро потускнело, на перекладине отчетливо видна круглая вмятина, будто пуля на взлете смяла серебро.

— Ну, папа, могу тебя поздравить: наших друзей прибывает. Вчера в Смоленской окликнул меня старый дед — седой, как лунь, борода по-пояс. Ввел меня в хату, снял с иконы этот крест и протянул мне. «— Знаю, парень, неверующий ты. Но слышал — крепко бьешься за свободу, за счастье, за волю казацкую, как бились деды наши в Запорожской Сечи. Бери, не брезгуй: из Сечи пришел он на Кубань, добрые казаки ходили с ним в бой, и тот, кто нес его на груди, никогда не срамил в бою родной Кубани. Бери крест и помни, крепко помни, парень: если больше жизни, крепче отца с матерью, жарче зазнобы своей любишь ты волю, народ свой, землю свою родную, — сохранит этот крест тебя от измены, предательства, позорного плена. Бери, — знаю, кому даю...»

— Я взял, папа: грех было бы обидеть такого старика...

16. IX

Дорога, что идет мимо хребта Карабет, огибая гору Саб, — место глухое: тенистые кедры спускаются по крутому ущелью, и густая ольха подходит к самой обочине.

Этот пункт облюбовали немецкие разведчики. Осторожно пробираясь кустами, ходили здесь и связные партизан.

Первое время у горы Саб было мирно и спокойно.

Недавно все резко изменилось: один за другим начали исчезать связные наших соседей. Их находили убитыми в ольшанике у дороги. Убийца был метким и бережливым стрелком: он поражал свою жертву первой и единственной пулей. Здесь явно орудовал матерый немецкий охотник-снайпер.

Его искали, пытались перехитрить, заманить в ловушку — он был неуловим.

Иногда после таких облав казалось, что фашистский снайпер прекратил охоту. Но на следующий день у горы Саб раздавался одиночный выстрел — и на тропинке у обочины падал партизан, сраженный пулей в голову.

Вчера мои ребята решили во что бы то ни стало найти охотника...

Погожий солнечный день. По тропинке у дороги медленно идут Евгений и Геня. Они прислушиваются к каждому шороху. Внимательно осматривают кусты и деревья. Ищут на тропинке хотя бы след охотника: пустую гильзу или отпечаток подошвы, подбитой гвоздями с широкой шляпкой.

На дороге тихо и безлюдно. Только где-то далеко за горным кряжем глухо ухают пушки, да весело перекликаются в лесу иволги.

Братья поворачивают обратно. Они идут той же тропой. Но теперь они разделились: Геня идет впереди, настороженно всматриваясь в кусты, Евгений — чуть поодаль от него следит за деревьями.

И снова никого на этой глухой, будто заколдованной тропе...

Чуткое ухо Евгения ловит еле слышный шорох. В густой кроне кедра шевелится ветка. Появляется дуло снайперской винтовки. Она медленно поворачивается вслед за Геней.

Евгений быстро опускается на колено и бьет по кедру.

С дерева падает оптическая винтовка. За ней медленно, будто неохотно отрываясь от густой и спасительной зеленой кроны, тяжело сползает на землю тело убитого снайпера.

. . . . . .

Из штаба куста партизанских отрядов прислан ко мне для личной охраны комсомолец Валерий. Он широкоплеч, у него хорошее открытое лицо и пухлые детские губы. Он очень похож на Геню.

17. IX

С Лустой случилось несчастье: его украли на «лысине» Афипса. Надо записать все по порядку...

... Стоит один из тех ясных ласковых дней, когда суровая дождливая осень еще не вступила в свои права, но солнце уже не печет, как прежде, а небо по-летнему высокое и голубое.

Далеко заполдень. Мы с Евгением сидим в столовой лагеря и обсуждаем план очередной диверсии.

Телефонный звонок.

— Говорит застава... С Лустой не-

счастье... Сейчас у вас будет пастух — он все расскажет.

К летней столовой подбегает Припутнев.

— Батя, Лусту украли... Мы пасли скот. Ночью напали неизвестные. Человек пятнадцать. Мы с Луговым отстреливались, пока были патроны. Потом спрятались в стоге сена. Грабители схватили Лусту, — он стоял в карауле,—и вместе с ним увели девять коров. Что за люди— в темноте не разобрали. Знаю только, что говорили по-немецки и по-русски. На рассвете мы перегнали скот на базу соседнего отряда, а я поспешил сюда.

— Геня, Мусьяченко, Павлик — по коням! — приказываю я. — Александру Дмитриевичу Куцу взять трех бойцов и догонять.

Быстрым аллюром лошади выносят нас по лесной дороге из лагеря. Впереди Мусьяченко,—он лучше всех знает дорогу. За ним Геня, за Геней — я, сзади нас прикрывает Павлик.

Извиваясь, дорога идет между купами деревьев и отвесными обрывистыми скалами. Рядом течет Афипс — несколько раз переправляемся вброд.

У Малых волчьих ворот попадаем в большую воду. Убавив рысь, вытянув вперед шеи, спотыкаясь о скользкие камни на дне реки, кони выносят нас на высокий берег.

— Стой, ребята! Что за пожар?

Из кустов выходят моряки в тельняшках. Это четверо наших друзей, матросов-партизан соседнего Архипо-осиповского отряда, возвращаются из глубокой разведки.

— Мы с вами, — заявляют моряки, узнав о похищении Лусты. — Любопытно узнать, кто это добрых людей по ночам крадет. Но пеший конному не товарищ. До встречи!

Снова широкой рысью мчатся кони. Уже осталось позади древнее черкесское кладбище, смешанный лес — и перед нами Большие волчьи ворота.

Будто сказочный великан громадным мечом рассек на-двое гору. В темном ущелье ревет Афипс. Узкая тропа, — на ней не разъехаться двум всадникам, — тесно жмется к отвесной скале. Над головой висят каменные глыбы. Знаменитое «Пронеси, господи» Военно-грузинской дороги в подметки не годится Большим волчьим воротам.

За воротами густой темный лес. Я никогда не видал таких деревьев-великанов. Сосны нашей Центральной России рядом с ними кажутся мелкой порослью.

Дорога становится все круче. Усталые лошади идут шагом. Спешиваемся и ведем лошадей под уздцы.

Спускаются сумерки. А тропа все круче, все извилистее.

Неожиданно из кустов прямо на нас выскакивают огромные злые лохматые кавказские овчарки: мы добрались, наконец, до пастбища соседнего отряда.

Рассказ Лугового не дает ничего нового: все попрежнему так же загадочно и таинственно.

Наскоро выпив по кружке горячего чая, закусив ломтями кукурузного хлеба, снова уходим в темноту.

Ночь безлунна. Не видно даже крупа лошади, идущей в двух шагах передо мной. Ориентируемся по слуху. Под ногами рытвины, ямы, камни, отвалы упавших деревьев.

Переваливаем через гору Афипс. Начинается спуск. Идем медленно, держа лошадей под уздцы.

Перед нами крутой, почти отвесный обрыв. Под ним — пастбище, где прошлой ночью похитили Лусту. Но в эту кромешную тьму спускаться немыслимо.

Решаем заночевать. Ложимся тут же, на земле, подстелив одеяла и выставив караул.

Меня будит Геня:

— Папа, вставай, — светает.

Осторожно спускаемся с обрыва. Иногда приходится ползти на карачках. Наши горные лошади съезжают на заду.

Наконец, мы на месте происшествия. Ясно видна помятая трава, но крови нет — Лусту взяли живым.

Внимательно рассматриваем следы. Их много на траве, на песке, на влажной глине у ручейка — отчетливые, ясные отпечатки подошв, подбитых гвоздями с широкой шляпкой.

— Немцы, — уверенно говорит Мусьяченко.

У ручья следы исчезают. Будто здесь грабители поднялись на воздух, захватив с собой и Лусту, и коров.

Снова лазаем по кустам, вдоль ручья, у обрыва—ничего. Но Мусьяченко не отчаивается:

— Найдем. Быть того не может, чтобы следов на земле не оставили.

Поиски длятся добрые полчаса. Геня нервничает:

— Папа, они никуда не ушли. Они где-то здесь, в кустах.

С обрыва скатывается камень. За ним второй, третий.

Мы быстро ложимся в густую высокую траву. Неужели Геня прав, и грабители тут, рядом?..

Но сверху раздается знакомый треск цикады: это наши дают знать о себе. И через несколько минут на поляну спускается четверо моряков и трое партизан во главе с Куцем.

Они встретились за Большими волчьими воротами. Наши ехали верхом. Моряки, положив на лошадей оружие и заплечные мешки, бежали рядом, держась за стремена.

Снова начинаются поиски следов. И снова никакого результата.

— Нашел, — кричит, наконец, Мусьяченко.

Он стоит на берегу ручья. У его ног еле заметные следы. Он смотрит на них и говорит уверенно, будто читает раскрытую книгу:

— Войдя в ручей, грабители долго шли по воде, чтобы сбить нас с толку. Здесь они вышли на берег. Их примерно человек пятнадцать. Ходить по-партизански, — след в след, — не умеют. Среди них идет Луста — вот отпечаток его сапог. Ступает уверенно и твердо — не ранен, значит, наш Леонид Федорович.

— Ну, теперь все в порядке! — радуется Геня.

— Не очень. Эта тропа идет к Холодной Щели. Если они доберутся до нее, — их оттуда не выкуришь: они перебьют нас, как куропаток, — я хорошо знаю эту проклятую Щель.

Решаем: моряки идут по следам; Куц во главе трех партизан сворачивает влево, чтобы закрыть дорогу грабителям в Улановку; моя группа, справа огибая тропу, должна определить врагов и закупорить вход в Холодную Щель.

Застоявшиеся кони берут с места быстрым наметом.

Мчимся уже около двух часов. Кони начинают намокать. Моя рыжая лошаденка вся потемнела от пота и тяжело дышит.

Мы вырываемся, наконец, на открытую поляну, со всех сторон окаймленную кустами. Вдали перед нами — узкий проход в ущелье, заросший орешником.

— Холодная Щель! — кричит Мусьяченко.

Мы мчимся через поляну. Я вижу, как Геня на полном скаку придерживает лошадь, внимательно всматриваясь во что-то темное на тропе: на желтом песке в открытой кобуре лежит револьвер.

— Вперед, Геня! Вперед! Ловушка!

Геня резко бросает коня в сторону.

Слева из-за камней старой черкесской крепостицы грохают выстрелы. Пули жужжат над головой. Геня, чуть задержав лошадь, прикрывает меня своим телом.

Мы карьером несемся вперед. Пули по-прежнему жужжат. Враги явно бьют по всадникам — им нужны наши кони.

В орешнике, у подхода к Щели, соскакиваем на землю и кладем лошадей. Умные кони замирают, вытянув ноги и спрятав головы за камни. Мы ложимся за брюхо лошадей и по очереди бьем на вспышки выстрелов в темных кустах на той стороне поляны.

Перестрелка длится минут пятнадцать. Слева вспыхивает частая оружейная стрельба. Это подошла группа Куца и, решив, очевидно, что мы попали в беду, ринулась в атаку.

Огонь становится все яростнее. Под защитой кустов часть врагов подползает к нам все ближе и ближе. Силы слишком неравны, чтобы принимать открытый бой. Надо попробовать перехитрить грабителей. И я приказываю своим «умирать» по очереди.

Первым прекращает стрельбу Павлик. Его «труп» лежит за брюхом лошади. Но его карабин попрежнему обращен в сторону врага, палец на курке, и Павлик не спускает глаз с кустов.

Вторым «умирает» Мусьяченко, за ним — Геня, и, наконец, «умираю» я.

Враги бьют несколько минут. Мы молчим.

Из кустов выглядывают два немца и тотчас же исчезают. Потом снова вылезают и медленно идут к нам, временами припадая за камни.

Мы попрежнему лежим неподвижно. Только моя рыжая лошадь дрожит мелкой дрожью.

Немцы приближаются. Между нами всего лишь пятьдесят метров. Павлик еле заметным движением пододвигает к себе карабин. Я глазами приказываю ему замереть.

В кустах гремят новые выстрелы и раздается громкое «ура»; это выходят в бой моряки.

Немцы испуганно прячутся за камни. Потом один из них приподнимается, внимательно оглядывает наши «трупы» и кричит своим:

— Здесь все кончено. Вперед, за мной!

Отстреливаясь, немцы выскакивают из кустов. За ними бегут матросы. Левее, наперерез немцам, спешит группа Куца.

Мы попадаем в тяжелое положение. Стрелять мы бессильны — можно попасть в своих. Лежать «трупами» и пропускать врагов в Холодную Щель — бессмысленно.

— Ложись! — кричит своим Павлик, широко размахнувшись гранатой.

Появление оживших мертвецов производит ошеломляющее впечатление. На несколько секунд немцы замирают, как вкопанные, сбившись в кучу.

В их гуще рвется граната Гени. Третьей рвется «лимонка» Мусьяченко. Последней летит моя граната.

Уцелевшие немцы бросаются к кустам. Геня и Павлик, припав на колени, бьют по ним из карабинов.

Только четырем немцам удается спрятаться в кустах. Но матросы, выхватив ножи, уже бегут за ними...

Мусьяченко почти не ошибся, когда считал следы у ручья: их было шестнадцать — двое предателей и четырнадцать матерых фашистов-диверсантов. Судя по найденным у них документам, они пришли в предгорья, чтобы из-за угла пере-

бить командование наших партизанских отрядов.

Очевидно, они предполагали обосноваться в горах надолго и решили обзавестись своим стадом. Поэтому и навестили наше пастбище. Лусту же, надо думать, захватили, как «языка», надеясь получить от него нужные сведения...

Но где же Луста?

Мы внимательно осматриваем кусты, мы лазаем по окрестным скалам, мы находим наших коров, — испугавшись выстрелов, они разбрелись по кустам. Но Лусты нет. И спросить о нем не у кого: моряки перестарались и не оставили в живых ни одного диверсанта.

Мы собираемся в обратный путь. Здесь, у Холодной Щели, остаются Павлик и Геня: они должны обшарить каждый кустик, но Лусту найти живым или мертвым. Цепочкой пересекаем поляну. И вдруг справа, у скалы, появляется фигура.

— Леонид Федорович! — кричит Геня.

Молодежь бросается к Лусте. Он спускается к нам медленно, тяжело опираясь на плечо Павлика.

Оказывается, немцы учинили ему допрос «с пристрастием», стараясь выпытать сведения о партизанах, но ничего не добились и отложили разговор до следующего раза. А тут разгорелась схватка, немцам стало не до него, и ему удалось отползти в кусты, перепилить об острый край скалы ремни, связывавшие руки, освободить ноги и спрятаться в глухой расщелине. Но здесь, после мучительного допроса, он потерял сознание и пришел в себя, услышав на поляне знакомые голоса...

Сейчас Леонид Федорович в лагере. За ним ухаживает Елена Ивановна. Ефросинья Михайловна понесла ему какое-то особое блюдо.

— Это его любимое.

Ей видней: она прекрасно изучила наши вкусы и счастлива, когда удается приготовить что-нибудь.

18. IX

Геня ходит туча тучей. Я его понимаю: он так мечтал о собственной боевой машине, она была уже в руках — и вдруг...

Все началось с горы Вышки.

Эту гору мы ненавидели.

Каждое утро, на заре, на ее вершину поднимались немецкие наблюдатели. Оттуда им было видно буквально все — поляны, предгорья, дороги, кусты. И стоило нам появиться на глухой, казалось бы, неприметной кабаньей тропе, как по сигналу с Вышки по кустам начинали бить минометы, и машины с автоматчиками мчались из ближайшей станицы.

Гора Вышка была для нас бельмом на глазу, и Евгений решил навестить ее.

Взяв Геню, двух снайперов, стрелковое прикрытие и захватив на всякий случай ручной пулемет Дегтярева, Евгений ночью отправился «в гости».

К Вышке подошли до рассвета и залегли в кустах.

На востоке побелел горизонт. Поднялся и растаял туман. За горой показалось солнце.

В бинокль отчетливо видно, как через кусты к Вышке идет группа фашистских наблюдателей. Подходит к подножью горы и скрывается в дзоте.

Братья лежат тихо, внимательно наблюдая в бинокль.

Из дзота выходит немец. Спокойно, не спеша, поднимается по лестнице, и, остановившись на краю площадки, потягивается и зевает.

Евгений передает бинокль Гене и берет снайперскую винтовку.

Выстрел.

Растопырив руки, болтая в воздухе ногами, наблюдатель сползает вниз по лестнице. К нему бросается его напарник и падает рядом с ним. Такая же участь постигает и остальных немцев из дзота.

Евгений ждет.

Обескураженные молчанием Вышки, немцы посылают связных.

Низко пригибаясь к земле, трусливо озираясь по сторонам, фашисты осторожно поднимаются по тропе на гору. Но никто из них не возвращается обратно.

Евгений попрежнему ждет.

Из станицы выезжают машины — они битком набиты автоматчиками.

Одна из машин случайно натыкается на стрелковое прикрытие партизан и открывает огонь. В ответ из кустов бьет в упор пулемет Дегтярева. Машина круто поворачивает и уходит в станицу. На дороге остаются трупы фашистов.

Вдали раздается характерный лязг гусениц — это фашистская танкетка идет в атаку на партизан.

Евгений, оставив прикрытие в кустах, быстро ползет с Геней к обочине, — туда, где дорога делает крутой поворот.

Танкетка подходит все ближе и ближе. В окуляр винтовки на секунду попадает смотровая щель водителя. Евгений спускает курок. Танкетка вздрагивает, теряет управление, сходит с дороги, ударяется о дерево, останавливается.

Тишина.

Медленно поднимается стальной колпак. Над люком — испуганное лицо пулеметчика. Геня бьет из карабина. Стальной колпак с шумом захлопывается.

И снова тишина.

Братья, чуть подождав в кустах, подбегают к танкетке и, порядком повозившись, открывают, наконец, колпаки.

Каждый вытаскивает «своего». Водителю пуля угодила в переносицу.

Геня ныряет в люк. На месте водителя он чувствует себя, как дома. Здесь все точь-в-точь так, как сказано в справочниках из отцовской библиотеки и как видел он на танкодроме в Краснодаре.

Геня пробует мотор, рычаги — все в порядке.

Наконец-то сбылась его заветная мечта: у него настоящая боевая машина!

Геня не в силах ждать.

— Женя, можно сейчас туда... в Смоленскую?

Евгений решается: оттаскивает мертвых немцев в кусты, залезает в люк, проверяет пулемет — и танкетка, с трудом выбравшись на дорогу, круто развернувшись, полным ходом идет в станицу, занятую немцами, благополучно минует заставу и останавливается у крыльца штаба.

Геня дает продолжительный сигнал. Из дверей выскакивают офицеры. Геня медлит несколько секунд — пусть побольше соберется офицеров! — потом открывает люк, встает во весь рост и, крепко выругавшись по-немецки, снова быстро садится на свое место водителя, захлопывает колпак и резко бросает танкетку в толпу.

С минуту длится избиение немцев у крыльца их штаба: мечется танкетка, давя своими гусеницами растерявшихся фашистов, бьет, не умолкая, пулемет Евгения. Но из окна уже летит первая граната. За ней вторая, третья, четвертая. Пули цокают о броню танкетки.

Евгений переносит огонь на окна.

— Геня, полный вперед!

Танкетка мчится по улицам, поливая из пулемета и давя обескураженных фрицев. Уже видна околица. Сейчас Геня вырвется из станицы на дорогу, в кусты, — а там ищи ветра в поле. Но из заставы длинной очередью ударяет тяжелый немецкий пулемет.

Бронебойная пуля пробивает бак. Танкетка вспыхивает. От едкого дыма перехватывает дыхание. Загорается одежда. Но Геня не может расстаться с танкеткой. Он увеличивает скорость до предела: быть может, ветер собьет пламя.

Пламя вспыхивает еще ярче.

— Стоп, Геня! — приказывает Евгений.

За околицей братья быстро открывают люки. Они катаются по земле — тушат горящую одежду.

— Скорей, Геня! Скорей! — торопит Евгений.

Но Геня медлит. Он оглядывается назад. На дороге пылает его танкетка, его заветная, желанная, боевая машина, и черный фашистский крест коробится от огня...

Через час им одним знакомыми тропами братья приходят в условленное место, где еще ночью был намечен сбор.

Рассказывать некогда. Партизаны быстро идут в горы. А за ними, в кустах, там, где еще недавно лежала партизанская засада и валяются на дороге трупы немецких автоматчиков, воют и рвутся фашистские мины...

Возвращаясь из Крепостной, слышу сильный взрыв в нашем лагере. С опаской взбираюсь наверх. Меня встречает сияющий Кузнецов.

— Что случилось?

— Батя, тол спасен!

Подхожу к обрыву и вижу: в мой собственный рваный носок (все дырки у носка крепко-накрепко перевязаны шпагатом) Николай Ефимович Кириченко насыпает какое-то снадобье, вставляет капсюль с бикфордовым шнуром, поджигает его и, размахнувшись, как римский пращник, швыряет носок под скалу.

Оглушительный взрыв, столб дыма, земли, осколков камней.

Николай Ефимович улыбается:

— Одни отбросы, Батя: тол, подмоченный комендантом и забракованный нашими «мудрецами», и ваш носок. Ничего больше. Если вы считаете, что это дело стоящее, я попрошу вас отдать приказ, чтобы сегодня к 23.00 мне были сданы все старые носки. Все до единого. Я начиню их толом — и у нас будут новые сильнодействующие гранаты типа РНК, что значит рваный носок Кириченко».

. . . . . .

Трудно сказать, кому досталось больше при переходе на гору Стрепет — Гене или его машине. Во всяком случае грузовик требовал почти генерального ремонта. Геня с Павликом двое суток не отходили от машины — разбирали, стучали молотками, что-то подвинчивали, смазывали и горячо спорили друг с другом. В короткие минуты отдыха о чем-то шептались и весело смеялись.

На третьи сутки Геня доложил дежурному по летнему лагерю Ельникову (нас с Евгением в этот день не было в лагере), что машина готова и ее надо немедленно проверить на ходу.

Ельников дал разрешение неохотно — у нас было плохо с горючим, — и строго-настрого приказал Гене не увлекаться и как можно скорее пригнать машину обратно.

— Я только до Планческой*, — уверял Геня. — Кстати, прихвачу с собой Павлика. Женя приказал ему взять у Слащева обер-фельдфебеля, пойманного Литви-

* Планческая — наша промежуточная база.

новым и перебросить его через линию фронта...

Машина шла прекрасно. Мотор работал безукоризненно.

Добрую половину дороги за баранкой сидел Павлик: Геня решил сделать его своим заместителем.

В Планческой Павлик предъявил Слащеву приказ Евгения о выдаче ему обер-фельдфебеля.

Решили, что Геня подбросит Павлика с пленным до Крымской Поляны, а оттуда уже один поведет машину в лагерь.

До Крымской Поляны доехали благополучно.

Выбрав укромное место, Геня остановил машину, весело переглянулся с Павликом и предложил немцу:

— Steigen sie aus. Es ist Zeit Tualet zû machen!*.

Затем Геня крепко связал ему руки и, вынув из рюкзака вату и широкий бинт (все это под каким-то предлогом было заблаговременно запрошено у Елены Ивановны), начал перевязывать голову немца. Забинтовал и руки, — так, чтобы не было видно веревок.

Через несколько минут маскарад был закончен. Геня добросовестно запеленал почти всю обер-фельдфебельскую голову, нахлобучил на немца пилотку и отошел в сторону — полюбоваться на дело рук своих. Потом объявил немцу, что его переправят через линию фронта и сохранят жизнь. Но, что бы ни случилось в дороге, он должен молчать, как мертвый. Иначе — первая пуля достанется ему. Для бо́льшей убедительности Геня показал немцу револьвер...

Обер-фельдфебель, испуганно косясь на черное дуло, утвердительно закивал головой и пытался что-то сказать. Но его челюсти были так крепко стянуты, что раздалось лишь глухое мычание.

— Wunderschon! — улыбнулся Геня и, открыв дверь кабины, галантно пригласил: — «Bitte, nemen sie Platz»**.

Машина тронулась. Вечерело. На фоне закатного неба темными силуэтами стояли горные вершины.

Неожиданно сзади раздался шум нагоняющей автомобильной колонны. Уходить было поздно, да и некуда. Геня затормозил...

К машине подошел немецкий ефрейтор, начальник колонны. Он решил справиться, что за люди едут на грузовике, и для верности вынул револьвер из кабуры. Но, увидев забинтованного обер-фельдфебеля, успокоился и снова спрятал револьвер.

Геня объяснил по-немецки, что везет раненого в госпиталь: господин обер-фельдфебель пострадал во время пожара, когда русские бомбили станицу, рана серьезная, и врач просил его не беспокоить.

Начальник колонны внимательно оглядел ребят. На них были замасленные комбинезоны и безрукавки из овчины, какие носили и наши, и немецкие механики. Раненый сидел спокойно. Ефрейтор не нашел ничего подозрительного и приказал колонне двигаться дальше.

Геня пристроился к хвосту, в полном неведении относительно того, что же будет дальше...

Опытный слух Гени уловил перебои в моторе одной из задних фашистских машин.

Машина остановилась. Колонна продолжала двигаться и снова исчезла за поворотом.

— Приготовь гранаты, — шепнул Павлик.

У испорченной машины возились два фашиста. В кузове лежали какие-то бочки.

— Горючее, — радостно шепнул Геня.

— Тот, что справа, — мой, — шопотом ответил Павлик. — А ты займись левым: он потоньше...

— Ну, что у вас? — спросил Геня, подходя к машине.

Но, очевидно, от волнения он допустил какую-то грубую ошибку в немецком языке. А может быть фашисты уловили явный русский акцент. Один из фашистов потянулся было к автомату.

Геня наотмашь ударил его по голове «лимонкой» без запала. То же проделал со своим немцем Павлик. Оба фашиста упали замертво...

Когда на следующий день я пришел в летний лагерь, Ельников возмущенно доложил мне, что Гени до сих пор нет. что мальчики, очевидно, катаются, забыв о необходимости экономить горючее, которое у нас на исходе.

Примерно, через час раздался знакомый гудок Гениной сирены. Мы с Ельниковым вышли навстречу.

Первым ко мне подошел Павлик и протянул расписку в том, что пленный немецкий обер-фельдфебель доставлен по назначению.

Геня, стараясь сдержать улыбку, официально доложил:

— Машина опробована—она в полном порядке. По дороге случайно нашли горючее: его хватит нам по крайней мере на год... Прикажите разгружать, Георгий Иванович?

. . . . . .

Вчера лысину Афипса посетили незваные гости. Сейчас они у нас — их привел Луста.

По его рассказу, дело было так.

Жаркий полдень. Коровы лежат в тени под деревьями и жуют жвачку. Не-

---

* Прошу выйти. Время заняться туалетом.

** Прекрасно. Займите места.

далеко от них вытянулся в траве Луста.

Неожиданно в кустах раздается шорох, — и на поляну выходит неизвестный. Сбоку у него «парабеллум», на шее бинокль, на поясе две гранаты, за спиной короткий немецкий карабин, в руках «Лейка».

Неизвестный не замечает ни коров, ни Лусты. Он выходит на поляну, оглядывается, несколько раз щелкает фотоаппаратом. Вслед за ним из кустов появляются еще двое — они снаряжены так же, как первый.

Теперь Лусте ясно, что это за птицы. Одному вступать с ними в бой бессмысленно, но и пустить невозможно. И Луста решает заманить их к старикам, что вместе с ним пасут скот.

Оставив в кустах винтовку, сняв с себя все, что может выдать в нем партизана, Луста смело выходит к пришельцам — будь, что будет.

Встреча наредкость дружеская — взаимные приветствия, осторожные тактичные расспросы: незнакомцы спрашивают о партизанах, Луста — о дороге в Смоленскую.

К сожалению, пришельцы не могут показать дороги в станицу. Но и Луста ровно ничего не знает о партизанах: он идет издалека, очевидно, заблудился, хотел бы поскорей добраться до места и очень голоден. Он рад, что встретил добрых людей: здесь, на поляне, он видел двух стариков — они пасут скот. Один он не решился подойти к ним: кто знает, что это за люди. Но вчетвером ему не страшно. Тем более, что старики как будто собираются сбежать.

Незнакомцы осторожны и недоверчивы. Пошептавшись, решают: Луста поведет одного из них к старикам, а двое останутся ждать.

На худой конец и это неплохо.

Луста ведет своего спутника кружным путем, нарочно громко рассказывая ему всякие небылицы о своих злоключениях в дороге. Но спутник неразговорчив — и Луста начинает насвистывать марш из «Веселых ребят». У него договоренность со стариками: этот марш — сигнал об опасности.

Старики радушно встречают гостей.

Ну, конечно, они готовы все рассказать о партизанах. Но уж таков горный обычай: надо сначала накормить гостей, а потом говорить о деле.

Вначале незнакомец держится настороженно. Но старики так гостеприимно возятся с котелками у костра, что он успокаивается.

Луста вызывается пригласить остальных.

— Передай им, что их зовет Иван,— говорит незнакомец.

И вот, у костра сидят все трое пришельцев. Старики угощают их кашей, чаем, кукурузным хлебом. Идет обычная неторопливая беседа о погоде, о трудном пути, об урожае.

Луста незаметно становится за спиной «Ивана». Старики, продолжая угощать дорогих гостей, занимают ту же позицию за двумя другими «Иванами». В руках у них сучковатые пастушечьи палки.

Луста наотмашь бьет гостя по голове. То же проделывает и соседний старик. Оба гостя беззвучно падают у костра.

Но у второго старика заминка. То ли он промахнулся, то ли голова у его «Ивана» оказалась слишком крепкой, но гость повалил старика и схватил за горло. Только второй удар Лусты заставляет его быть более послушным..

Вчера вечером гостей со скрученными назад руками привели к нам на Планческую. Всю ночь мы возились с ними: обыскивали, проявляли пленки их фотоаппаратов, допрашивали.

Они оказались немцами-диверсантами, прошедшими специальную школу. Наша агентурная разведка не ошиблась: их послали на лысину Афипса разведать посадочную площадку для воздушного десанта.

Расстреливать наших гостей жалко — это слишком крупные персоны. Завтра мы переправим их через линию фронта в разведывательный отдел ближайшей дивизии. И завтра же надо непременно договориться с соседями и организовать на пастбище сводный караул партизанских отрядов.

Лысина Афипса должна остаться за нами.

20.IX

Нам срочно понадобились пропуска в Краснодар. Надо переправить туда группу наших диверсантов. Пропуска должны быть с печатью и подписью станичного атамана. Атаман живет на далеких Мианцеровских хуторах.

Мы долго думали, как добыть эти пропуска, прикидывали так и этак — и ничего придумать не могли.

Случайно, прибежав навестить мать, Геня познакомился в ее «госпитале» с молодым пареньком, партизаном соседнего отряда: он был тяжело ранен, Елена Ивановна спасла ему жизнь, и он теперь души в ней не чаял.

Ребята разговорились. Оказалось, парень был родом из Мианцеровских хуторов, на хуторах живет его дед, старый кузнец Вакула, и парень не знает, как передать деду весточку о себе..

Геня прибежал ко мне с сияющими глазами.

— Папа, я достану пропуска, самые

настоящие пропуска, с печатью и подписью атамана.

И Геня поведал мне свой план...

На другой день в сумерки Геня пришел к деду Вакуле. Старый кузнец встретил его сурово.

— Зачем к ночи пожаловал, парень?

Геня передал ему привет от внука: рассказал, что он жив, что вчера уже начал ходить и дней через десять думает сам проведать деда.

Вакула от радости не знал, куда усадить Геню.

— За такую весточку, парень, проси у меня, что хочешь: ничего не пожалею.

Они проговорили всю ночь, до вторых петухов.

Рано утром, когда первые дымки показались над трубами хат, по хуторской улице медленно шел дед Вакула. Он заходил из хаты в хату, навещал своих старых товарищей, таких же, как он, почтенных седобородых стариков, беспеша, обстоятельно говорил с ними и шел дальше. Внимательно слушали старики деда Вакулу: был кузнец самым почтенным казаком на хуторах, и слово его было законом.

После обеда к канцелярии атамана потянулись старики. И первым вошел к атаману дед Вакула.

— Месяц назад ты говорил, атаман: немцы приказывают нам ехать в Краснодар вести продукты на базар. Тогда боязно нам было, не знали, что к чему. А теперь поговорил я со стариками и решили мы съездить в город кой-что продать. Так уж будь добр — выдай нам пропуска да не поленись и удостоверения написать, что мы с хуторов.

Атаман не верил своим ушам: сам дед Вакула, этот своенравный, упрямый старик, собрался ехать в Краснодар. Теперь за кузнецом потянется весь хутор. И атаман с радостью начал подписывать пропуска.

На следующий день старики отправились в путь по дороге в Краснодар. Но лишь только они доезжали до второго перекрестка, как сворачивали своих коней и останавливались у домика бригадира полевого стана, стоящего в гуще фруктовых деревьев.

Там их ждал старый кузнец. Они отдавали ему атамановы пропуска и удостоверения.

— Получай, Вакула. Только на кой ляд понадобились тебе эти окаянные бумажки?

— Вот что, казаки. Вы знаете меня не один десяток лет. Ну, так верьте мне, на хорошее, святое дело пойдут эти бумажки. А вот на какое дело,—сказать пока не могу. И не потому, что не верю вам, а потому, что слово дал молчать. И вы молчите. Поживите здесь денька два-три — и по домам. Дома ни гу-гу, были, дескать, на базаре в городе, расторговались — точка. Ну а продукты... продукты нашим партизанам подарим. Как ваша думка на этот счет, старики?..

Сегодня Геня принес мне десять пропусков. К Мианцеровским хуторам только-что ушли наши лошади за подарками, собранными дедом Вакулой.

. . . . . .

Агентурная разведка донесла: немцы сооружают дзоты по хребту горы Пшола. Как расположены они, много ли их, достаточно ли они мощны, чтобы обратить на них серьезное внимание, — никто толком не знает, немцы берегут эту тайну.

Решено разведать дзоты, нанести их на карту и сделать соответствующие выводы.

В нашем отряде почти все заняты на операциях — и на разведку отправляется человек двадцать из соседнего Павловского отряда. Их ведет Евгений. Вместе с ним отправляются Валерий и Геня.

Долго обсуждаем маршрут.

Первый вариант: свободный от немцев далекий обходный путь по горным кручам. Но Иван Тихонович, павловский партизан, местный старожил и страстный охотник на кабанов, не советует. Путь невероятно тяжел — крутые, почти отвесные подъемы, ущелья, пропасти. Дороги нет — есть козьи тропы: по ним с трудом пройдет даже он, опытный охотник.

Второй вариант несравнимо легче, но опаснее: придется пробираться буквально под самым носом у немцев.

Мы все же выбираем его.

Сегодня ночью разведчики уходят.

21.IX

Пишу на Планческой.

Вчера мы вышли сюда из лагеря. Шли впятером. Впереди меня Павлик и Валерий.

Солнечный осенний день. Лес в праздничном багряном уборе: яркие кисти рябины, желтый клен, лиловая листва осин.

Тропинка вьется вдоль реки Афипса. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды. В белой пене кружатся, мелькают желтые листья. Они похожи на играющих рыб. Птицы носятся над водой и, обманываясь, жалобно кричат.

Мы спешим — сворачиваем на узкую кабанью тропу, по перекату переходим вброд Афипс и забираемся в густые заросли кустов.

Спускаются сумерки. Из туманно-сизой глубины ущелья тянет сыростью.

Мы спешим — надо дотемна притти в Планческую.

Павлик, ведущий нашу цепочку, кричит цикадой. Что случилось? Подхожу: на тропе небольшой мешок.

Павлик осторожно щупает его.

— Мука!

Наклоняюсь: сквозь материю явно прощупываются мелкие крупинки.

— Неужели сахарный песок?

Валерий разворачивает мешок.

— Батя, соль! — радостно кричит Валерий. — И до чего же кстати.

Действительно, кстати: в последнее время у нас в предгорьях острый недостаток соли.

Валерий подносит щепотку ко рту. Я резко бью его по руке:

— Брось!..

В Планческой отдаю соль Михаилу Денисовичу Литвинову: он — химик.

Литвинов долго возится с ней и пожимает плечами:

— Ничего не пойму — соль, как соль.

Мешок попрежнему под строгим запретом, хотя охотников на него много.

22.IX

... В лагерь из Планческой ухожу с Павликом.

Опять Афипс, багряная листва лесов, гортанные крики птиц над рекой.

Нам не хочется переходить вброд — и мы решили обойти перекат козьей тропкой.

Круто свернув влево, карабкаемся через бурелом по взгорью.

Отвесная скала, как башня старого замка, далеко врезается в реку. Под скалой — глубокий омут. У подножья — нагромождение камней.

Мы, как козы, прыгаем с камня на камень: я — впереди, Павлик — в нескольких шагах сзади.

Сумерки. Шумит река под ногами. От нее тянет сыростью. Поднимается ветер. Он дует с моря — завтра будет дождь.

Неожиданно спереди раздается выстрел. За ним — автоматная очередь.

Я прижимаюсь к камням. Выглядываю: Павлик бьет по кустам на скале.

В кустах что-то шуршит. Ударяясь о выступы камней, падает в реку карабин. За ним, беспомощно раскинув руки, вниз головой сползает тело человека.

Оно рядом со мной. Я пытаюсь схватить его, но труп скользит вниз и исчезает в омуте. На камнях остается только бурое кровяное пятно.

Ко мне подбегает Павлик.

— Вы, Батя, в сорочке родились: опоздай я ударить на долю секунды, плавать бы вам в реке — он целился в вас... Но там еще кто-то. Не шевелитесь.

Павлик ползет на скалу. Он громадного роста, ему приходится сгибаться в три погибели, прячась за кусты, но он ловок и силен — ползет все выше и выше и скрывается за большим камнем на вершине.

Я ползу за ним — надо помочь Павлику.

Скала крута. В кровь царапая руки об острые камни, взбираюсь, наконец, на верх.

В кустах, у глубокой расщелины, слышен глухой шум борьбы. По земле катается клубок человеческих тел. Враг ухитрился схватить Павлика за горло. Собрав последние силы, Павлик бьет его головой о камень.

Враг потерял сознание. Брызгаю ему на лицо из фляжки. Дрожат веки, медленно раскрываются глаза. Он ничего не понимает. Потом, внимательно вглядевшись в меня, зло бросает:

— Батя... Жив, проклятый...

Павлик, скручивает ему руки за спиной, и мы гоним его на Планческую..

Сегодня, ползая у нас в ногах, вымаливая жизнь, он сознается: его завербовали в Краснодаре, отправили в предгорья и приказали живым или мертвым доставить Батю и без Бати не возвращаться.

Он и не вернулся: его поставили у ямы от корневища поваленного бурей дуба и расстреляли.

. . . . . .

От Евгения ни слуху ни духу.

Не случилось ли чего-нибудь с ребятами?

Мучает мысль и о Валентине: когда-то мы о нем что-нибудь узнаем.

24.IX.

Только-что из разведки вернулся Кириченко. Приложив руку к козырьку, официально рапортовал:

— Ваше приказание, товарищ командир отряда, выполнено: разведка проведена, «разведанные» доставлены... На обратном пути была обнаружена группа румын, примерно, человек двадцать. Она рассеяна мною двумя гранатами типа РНК...

25.IX

Тайна проклятой соли, наконец, выяснилась.

Сегодня я встал на рассвете. Смотрю — мимо пастух гонит наше стадо. Я зову Павлика.

— Возьми щепотку соли и дай вон тому бычку с желтыми пятнами, что идет с краю, около коровы с обломанными рогами. Дай так, чтобы пастух не видел. А пастуху скажи, что, дескать, Батя боится за этого бычка: глаза что-то у него снулые — следить за ним надо.

Пастух смеется.

— Снулые... Да бычок такой, что мы на выставку его повезем, когда война кончится.

Вечером ко мне приходит пастух. Он явно смущен:

— Подох бычок, Батя. Упал на землю, пена изо рта — и конец. Ума не приложу — такой здоровый. И как ты, Батя, заметил, что он заболел?..

Разослал эстафеты по отрядам: бойтесь отравленной соли, задерживайте всех подозрительных.

. . . . . .

Только-что вернулись Евгений, Геня и Валерий. Их трудно узнать: обросшие, поцарапанные, в рваной одежде, с провалившимися, воспаленными глазами.

Евгений рассказал:

...К утру отряд подходит к хребту Пшеда и ложится в кустах. Здесь происходит неожиданная встреча: наш дозор обнаруживает группу партизан соседнего отряда — они пришли сюда, чтобы ночью захватить «языка».

Решено действовать вместе.

В полдень Евгений с Иваном Тихоновичем выползают на опушку: где-то здесь должны быть таинственные дзоты.

Стоит жаркий солнечный день. Впереди далеко расстилается степь. В бинокль отчетливо видны белые хаты хуторов, тополя. Чуть в стороне стоит гряда невысоких заленых холмов. И все это тает в струях знойного марева.

Никаких признаков дзотов.

Еще и еще раз внимательно вглядываются разведчики. Бинокль переходит из рук в руки.

— Зря прогулялись, Иван Тихонович. Ровнехонько ничего.

— Что-то мне эти холмики не нравятся: уж больно они зелены.

Евгений еще раз осматривает холмы. Ничего подозрительного: кусты орешника, высокая трава, полевые цветы. Правда, кусты растут густо. Но почему, собственно, они должны расти редко.

— Не бывает так на самом деле, Евгений Петрович. Не бывает. К тому же полюбуйтесь на тот куст, что стоит слева, — он пожелтел раньше срока.

— Мало ли почему он мог пожелтеть, Иван Тихонович...

— И я про то же говорю: мало ли почему желтеют кусты. Взять хотя бы такой случай: пересадили его неудачно, вот он и пожелтел.

Целый час разведчики не спускают глаз с холмов. Холмы попрежнему безлюдны — ни дымка, ни человека.

— А все-таки надо пощупать холмики, Евгений Петрович: желтый куст меня очень смущает, незачем ему желтеть раньше срока. Незачем...

Решено ночью разведать холмы.

План операции прост.

Холмы расположены подковой, обращенной своим створом к горам. Решено, что Евгений берет с собой Валерия и его группу ребят из Павловского отряда, — таких же, как Валерий, десятиклассников, и ползет внутрь подковы. Бросает гранату. Если холмы оживут, — подождут немного и выяснят: достаточно ли сильны эти дзоты. Если не очень сильны, — уничтожат собственными силами. А если штука серьезная, — не ввязываясь в драку, отойдут и сообщат, куда следует.

Иван Тихонович со своей группой прикрывает отход. Отряд наших соседей огибает холмы и, если понадобится, ударяет с тыла.

Все это надо проделать до восхода луны.

Вечером первыми уходят наши соседи. Минут через сорок трогается Евгений.

Ночь темная, но контуры холмов все же видны. Евгений со своими ребятами вползает внутрь подковы.

Тишина. Какая-то сонная пичужка выпорхнула из-под ног. Прошуршал маленький зверек в кустах. И опять тихо.

Нет, Иван Тихонович явно ошибся — холмы пусты.

И вдруг совсем рядом раздается громкий испуганный окрик:

— Halt*.

Грохает выстрел. За ним второй, третий. Справа длинная очередь пулемета. Ей вторят слева еще два пулемета. И в довершение всего со свистом взвивается в небо ракета.

Светло, как днем.

Евгений с ребятишками прижимаются к земле: хорошо еще, что трава здесь высокая, густая.

Пулеметы продолжают бить. И одна за другой в небе рвутся ракеты.

Нечего и думать штурмовать дзоты. Надо уходить. Но уйти нельзя — пули не дают даже головы поднять. Особенно безумствуют пулеметы, что стоят в дзотах по краям подковы — они закрывают выход из западни.

Валерий ползет к правому пулемету, пользуясь короткими мгновениями кромешной тьмы между вспышками ракет, и швыряет гранаты.

Пулемет замолкает. Почти одновременно грохает взрыв слева: это Иван Тихонович пытается пробить дорогу Евгению.

В ответ на взрывы тотчас же оживают новые огневые точки немцев. Уже бьет добрый десяток пулеметов и даже 47-миллиметровые пушки.

Евгений с ребятами в огненном мешке. Сейчас поднимается луна, — и немцы перебьют их, как куропаток. Хорошо еще,

* Стой!

что соседи, обошедшие подкову, не ввязываются в бой: они смогут незаметно уйти.

Пулеметы неистовствуют. Рядом с Евгением громко вскрикивает Сидоренко — голубоглазый веселый мальчонка — и затихает. А ракеты все рвутся и рвутся в темном небе и ослепительным светом озаряют эти проклятые холмы.

Жить осталось недолго.

И вдруг — бывают же в жизни минуты неожиданного счастья! — стрельба стихает. Последний раз взвивается в небо ракета. Последний раз тявкает дежурный пулемет.

Медлить нельзя. Пусть эта тишина — ловушка, но надо попытаться вырваться из мешка.

Евгений с ребятами ползет обратно. Невероятно трудно тащить труп Сидоренко. Но таков уж закон в отряде: не оставлять врагу даже трупа товарища.

Евгений каждую минуту ждет какого-нибудь сюрприза. Но дзоты молчат.

Уже остался позади створ подковы, уже Иван Тихонович обнимает Евгения, а тот все еще не может понять, почему же выпустили их немцы, почему подарили им жизнь.

Финскими ножами быстро роют могилу для Сидоренко и молча закапывают товарища.

Поднимается луна. Отряд цепочкой уходит в горы.

Иван Тихонович мрачен: только он один знает, каким тяжелым будет их путь по козьим тропам.

. . . . . .

. . . . . .

...Они устали так, что, казалось, нет бо́льшего счастья, как лечь навзничь и лежать, лежать недвижимо, вытянув тяжелые, как свинец, ноги, широко раскинув натруженные руки...

Позади остался тяжелый бой у подковы дзотов и страшный переход по горным кручам. Они шли высоко по горам. Многим этот путь оказался не по силам. Пришлось спуститься ниже, на пологий склон и лечь здесь, на невысокой горке, среди лесной поляны. Вокруг стояли старые разлапистые сосны. Пряно пахли в густой траве какие-то большие розовые цветы. И ласково пела река внизу.

Люди спят. На высокой столетней сосне сидит Валерий. Перед ним, как на ладони, далеко, до самого края небес, лежит родная кубанская земля. Белыми пятнами белеют станицы в неоглядной гущине садов. Над ними, как острые казацкие пики, поднимаются в горячее небо пирамидальные тополя. И все это трепещет в призрачном мареве знойного полдня.

Только сейчас Валерий почувствовал, как мучительно устал. Уснуть бы. Но спать нельзя: внизу, у реки, должны быть немецкие засады, и Евгений Петрович строго-настрого приказал смотреть и слушать.

Пахнет смолой, лесом, солнцем. Щебечут, перекликаются лесные птицы на деревьях. Поет река.

Валерий дремлет. В голове — обрывки воспоминаний...

... Вот он сидит на берегу с удочкой Вода реки гладкая, тускло-серебристая Течение ее почти неуловимо — она как бы застыла, прикрытая мглой жаркого дня. Дрогнул поплавок. И он замер. А струи бегут и бегут, и ласково колеблют маленький красный поплавок. В воде, пронизанной солнцем, видно, как стая рыбок подходит к наживке. Они все ближе, ближе... И вот уже нет рыбок, нет поплавка, нет реки. Валерий сидит на парте. Контрольная по алгебре: задача на бином Ньютона — та самая, что была в апреле, несколько месяцев назад. Длинные ряды букв...

Неожиданно над головой застрекотала, захлопала крыльями сойка.

Валерий насторожился.

Тишина. Поет река. Спокойно перекликаются птицы...

Зря заволновалась непоседливая птица — только дрему спугнула.

Но не сидится сойке: Валерий опять слышит негромкий стрекот, трепыханье крыльев...

На той стороне поляны чуть шевелится куст шиповника. Отодвигается ветка, — и в густой сочной зелени появляется лицо немца: белесые глаза, нос в веснушках, выцветшие брови.

Валерий осторожно поднимает карабин, кладет дуло на сук, ловит на мушку врага — он не промахнется.

Немец до пояса высовывается из куста и зорко осматривает поляну. Снизу он не может заметить партизан.

Он смотрит минуту, другую. Подает знак. На поляну выползает пятеро фрицев.

Дальше медлить нельзя. Валерий быстро спускается с сосны и крадется по траве.

— Евгений Петрович, на поляне немцы!..

— Буди всех. Только тихо. И — в цепь...

Недвижно лежат партизаны в траве. Справа, чуть поодаль от них, за стволом древней сосны — Евгений. Он приготовил гранаты, вложил в них запалы, вынул патроны из запасной сумки — дело обещает быть жарким.

Один за другим выползают немцы из кустов. Их уже около ста. Пригнувшись к траве, они медленно идут, широким полукругом сжимая небольшую горку на поляне, где лежат партизаны.

Наши ждут. Немцы все ближе. Нервы

напряжены. Уже кое-кто нетерпеливо оглядывался на Евгения: когда же, наконец?

Евгений поднимает автомат — это условный знак — и ружейный залп разрывает тишину.

Немцы откатываются назад. В траве, в кустах шиповника страшно кричат раненые, пытаясь отползти к своим.

Новая атака — и новая неудача.

На этот раз немцы молчат около часа. Молчит и горка на поляне.

Вздрагивают кусты. Ящерицами ползут фашистские санитары — оттаскивают раненых.

Горка молчит.

Еще один томительный час. Все тихо. Птицы успокоились и снова весело щебечут на деревьях. Поет река...

И опять появляются немцы на поляне. Теперь они идут спокойно, во весь рост: они решили, что партизаны ушли в горы.

Залп, как огненный хлыст, хлещет по немецкой цепи. Фашисты в панике бегут к кустам. И опять кричат раненые в траве.

Неожиданно справа ударяют сразу два пулемета. Они бьют длинными очередями по горке, срезая пулями пушистые метелки трав и розовые пахучие цветы. Уже стонет первый раненый партизан — у него раздроблено плечо. Пули свистят над головой. Еще на несколько миллиметров опустит пулеметчик ствол — и как ножом срежет партизанскую цепь.

— Валерий, бери троих — и к пулеметам, — приказывает Евгений.

Валерий отползает в сторону. За ним цепочкой ползут его одноклассники. С ними — Геня. Они ныряют в низкие кусты шиповника. Колючие шипы вонзаются в тело, рвут одежду, цепляются за патронную сумку — мешают ползти. Дальше идут острые камни. Снова кусты шиповника. И, наконец, густая трава.

А пулеметы продолжают бить по горке. Надо спешить.

До пулеметов остается шагов тридцать. Ребята вскакивают и бросают гранаты. Четыре взрыва сливаются в один. Пулеметы замирают.

Ребята быстро ползут по траве. Им наперерез уже бежит группа немецких автоматчиков. Но тут снова оживает горка на поляне: массированным огнем Евгений прикрывает своих смельчаков...

Наступает вечер. Догорает заря. Плавятся в лучах вечернего солнца стволы сосен. За рекой все залито красным, оранжевым, синим светом, а сзади, на горе, стоит мерный ельник, острый, точеный.

Тишина. Но немцы здесь, рядом. Широкой полковой залегли они вокруг лесной поляны и прижали партизан к горе.

Отряд в мешке. И выхода из этого мешка нет...

Четвертые сутки лежат партизаны, — четвертые сутки без воды.

Все так же щебечут птицы на деревьях. Пряно пахнут цветы. Во мраке стоят далекие хутора. Поет река под горой. И от этого тихого журчания струй путаются мысли и еще мучительнее, еще острее становится жажда.

Но воды нет. Три раза пытались смельчаки спускаться к реке: пулеметные очереди накрывали их у самых кустов. Как нарочно, — ночи лунные и светлые, как день. И сейчас люди недвижно лежат под соснами. Играют солнечные блики на траве. И все так же, словно дразня и насмехаясь, поет река.

Утром Евгений нашел в дупле старой лиственницы маленькую лужицу затхлой, темно-коричневой воды. Он намочил в ней платок и дал раненым несколько капель.

Сейчас нет даже этой воды. Люди лежат недвижно в траве и смотрят, как плывут по синему небу легкие белые облака. Хотя бы дождь, — маленький, короткий дождь... Даже шопотом сказанное слово вызывает острую, режущую боль. Мутится рассудок. Некоторые бредят. А река все поет и поет за поляной.

— Иду, Евгений Петрович. Лучше от пули умереть, чем этак мучиться.

Иван Тихонович надевает на пояс несколько фляжек.

— Я беру с собой Николая, — мы с ним вместе лет десять на кабанов ходили. Авось...

Расчет у Ивана Тихоновича прост: после полудня, отобедав, немцы, разморенные едой и солнцем, едва ли будут зорко охранять подступы к реке.

С края поляны Евгений видит, как ползут к воде охотники. Они уже на середине пути. Осталось каких-нибудь сто метров до кустов у реки.

Люди на поляне замерли. Ждут, нервничают.

— Евгений Петрович, как?

— Ползут, ползут...

С Николаем какая-то заминка. Иван Тихонович возвращается. Минуты две он лежит рядом с Николаем, потом ползет один. Николай остается: надо думать, выбился из сил. Или, может быть, у них родился новый план...

— Ну, как наши?

— Скоро будет вода.

— Скорей бы...

Иван Тихонович исчезает в кустах у реки. Сейчас он набирает воду...

Автоматная очередь. Трое немцев, выскочив из густой травы, бегут туда, где должен быть Иван Тихонович.

Евгений вскидывает винтовку. Передний немец падает, раскинув руки. Но тотчас же по горке начинают бить пулеметы.

Евгений прижимается к земле. Жужжат пули — не дают поднять головы. В коротких перерывах между очередями слышится глухая возня у реки, голоса, крики.

Когда пулеметы смолкают, Евгений видит: далеко, по лугу, немцы ведут к станице охотников. Плетнев еле передвигает ноги. Его бьют прикладом, он падает. Потом снова поднимается и, хромая, идет вслед за Иваном Тихоновичем.

Евгений возвращается к своим. Его ни о чем не спрашивают. Все ясно...

Спускается вечер. Над рекой поднимается сизый туман. Сверкают серебристые зубья гор. Темный лес сонно покачивает мягкими вершинами елей. Тают во мгле камни скал. Поет река.

— Я пойду, Евгений Петрович. Возьму с собой Геню и пойду.

Это говорит Валерий. Он держится лучше всех — только глаза ввалились и покраснели.

В распоряжении Валерия и Гени один короткий час темноты — от захода солнца до восхода луны.

Надежды мало: в это время немцы особенно бдительны. Это — последняя попытка. Если ребята не добудут воды, надо уходить в горы: быть может, кто-нибудь и сумеет добраться до лагеря. Лучше смерть в горах, чем здесь, в мышеловке.

Евгений ждет.

Тишина.

И вдруг в той стороне, куда ушли Валерий с Геней, воют мины.

Конец...

Надо собираться, поднимать людей, — тех, кого еще можно поднять...

В глазах у многих безразличие. Они двигаются, как манекены. Что если сейчас немцы бросятся в атаку? И неужели эти измученные люди смогут пройти тяжелый путь по горам?

Стрельба затихает. Где-то в лесу незнакомо крикнула ночная птица.

Сигнал?

Нет, ждать помощи неоткуда.

И снова тишина. Только река все поет и поет под горой...

Автоматная очередь. Вторая, третья. Потом сухие выстрелы карабина.

Так, значит, живы! Живы!

Выстрелы уходят все дальше и дальше от поляны и замирают в горах.

Полная луна поднимается над горой, лунный свет ложится на голые вершины деревьев и освещает круглый камень, похожий на бритый череп горца.

Хрустит сухая ветка. За камнем мелькает тень и пропадает.

Немцы!

Евгений вынимает гранату.

И вдруг раздается еле слышный треск цикады — такой родной, близкий, знакомый! Неужели? Нет, не может быть. Надо взять себя в руки — впереди тяжелый путь. Надо спасти, во что бы то ни стало спасти этих двадцать обреченных людей.

Снова трещит цикада, словно настойчиво требует ответа.

Евгений отвечает.

Кусты у камня раздвигаются — и залитый лунным светом вырастает Валерий.

— Простите, Евгений Петрович: заблудились мы, когда от немцев отстреливались. Услышал голоса — решил проверить. Получайте.

Валерий протягивает флягу с водой. За ним стоит Геня. Они оба мокры с ног до головы: не утерпели — выкупались. За поясами полные фляги.

И совершается чудо.

Каждому Евгений дает несколько скупых глотков, — но люди оживают. Будто и не было этих страшных, мучительных дней без воды, без надежды...

Бесшумно, цепочкой партизаны уходят в горы. Мягко шумит лес верхушками деревьев. Тянет сыростью от ущелья. Сияет луна.

. . . . . .

Евгений так и не смог связно рассказать, как шли они по горам. Он помнил только крутые, почти отвесные подъемы, горячее солнце, затхлую воду в дуплах, гибель двух товарищей, сорвавшихся в пропасть, — радость, когда он понял, наконец, что лагерь близко.

— Обедать, Евгений Петрович, обедать, дорогой, — хлопочет Евфросинья Михайловна. — Но вы не сердитесь — много я вам не дам: вредно сразу. Зато завтра... завтра требуйте все, что угодно.

— Иду, Евфросинья Михайловна. Только пришлите ко мне связного...

Евгений отсылает в штаб куста донесение с координатами подковы немецких дзотов.

За обедом он говорит мне:

— Папа, нам пора переходить на железную дорогу — рвать поезда. На-днях в штабе куста я намекнул об этом. Отнеслись холодновато: до сих пор, говорят, на Кубани не было еще ни одной железнодорожной диверсии. Я не настаивал. Правда, мы могли бы в любой момент взорвать поезд «веревочкой», как рвал Валентин в Белоруссии. Но я мечтаю, чтобы у нас на Кубани первый фашистский поезд взлетел на партизанской, совершенной, автоматической мине. А конструкция этой мины нам никак не дается. Но мы ее все-таки сконструируем и будем рвать поезда...

— И знаешь, папа, о чем я мечтаю. Здесь, в предгорье, в нашей лесной глухомани, организовать минно-диверсионную школу. Соседние отряды пошлют

в нее своих лучших, самых отважных партизан. Они вернутся в свои отряды опытными минерами. Наперекор всему, в тылу у немцев будет работать наш минный партизанский вуз...

26.IX

Около полудня над горами пролетают наши самолеты. Ухают глухие взрывы. Многоголосым эхом отвечают им горы.

Получен секретный приказ от командования куста партизанских отрядов: выйти в тыл станицы Смоленской на дорогу Смоленская-Георгие-Афипская-Ново-Дмитриевская-Северская, заминировать три моста, на обратном пути осмотреть мост на дороге Северская-Смоленская, минирование которого поручено смольчанам, произвести обычную разведку до Георгие-Афипской.

Это — наша первая крупная минно-диверсионная операция на шоссе.

Разрабатываем маршрут, распределяем роли. Минирование поручено второму взводу под командованием Ветлугина.

Завтра отправляемся через Крепостную и Топчиеву щель на гору Ламбина.

27.IX

Сегодня в лагере получены радостные вести.

Прежде всего, от командования куста партизанских отрядов пришла радиограмма:

«Указанные вами огневые точки («подкова») авиация разбомбила — их больше не существует. Примите глубокую благодарность от командования РККА».

А второе: Иван Тихонович и Николай живы.

Они спаслись чудом.

Их привели в станицу и заперли в старый сарай.

Вечером в соседнюю хату немцы притащили девушку-партизанку — ее поймали у околицы.

Начался допрос. Наши охотники слышали все до последнего слова: в стенах сарая зияли щели, а дверь в хату была открыта.

Девушка молчала. Ее били шомполами, ломали руки, жгли железом. Девушка не проронила ни слова.

Около полуночи допрос кончился. Девушку куда-то увели. В хате началась попойка.

Прислонившись к стене сарая, Плетнев почувствовал, что одна из нижних пластин шатается. Целый час трудились друзья, но пластину все-таки вытащили. Вылезли в дыру. Часового не было: то ли он пьянствовал вместе с другими, то ли просто отлучился на минуту.

Как выбрались охотники из станицы, — уму непостижимо. Три дня плутали, наткнулись на партизанскую разведку и добрались к своим.

30.IX

Только-что рапортовал командованию о выполнении приказа...

... С горы Ламбина спускались медленно: вокруг немцы, и наши здесь впервые. Ориентировались по карте и по компасу, изредка влезая на деревья и проверяя направление.

Около трех часов дня подошли к мостам и залегли в кусты: день для нашей работы — неподходящее время.

Около полуночи приступили к минированию.

Люди чертовски устали. Но минирование прошло блестяще: четко и быстро. Уж на что Геронтий Николаевич строг и придирчив, но и он, проверив мины, должен был признать, что работа безукоризненна.

Еще в темноте отползли далеко в кусты.

На рассвете показалась на шоссе тяжелая семитонная машина с немецкими автоматчиками.

Следили за ней в бинокль. Она казалась маленькой, почти игрушечной, наполненной крошечными солдатиками.

С наблюдательного пункта мост был отчетливо виден: около него стоял старый бук, расщепленный молнией, а перед ним густой кустарник, закрывающий шоссе.

Машина скрылась за кустами. По расчетам она должна была пройти их в несколько секунд. Но время тянулось бесконечно медленно. Казалось, прошла минута, другая. Машины нет.

Мелькнула мысль: быть может, ночью мы обронили что-нибудь у подхода к мосту, немцы заметили, остановили машину. Сейчас они обнаружат мину, обезвредят ее...

Машина снова на шоссе. Она взбегает на мост, и кверху взмывает столб пламени, земли, взлетают части моста и машины. Только через несколько секунд докатывается глухой раскатистый гул.

Еще не успел рассеяться дым от взрыва первой машины, когда на втором мосту взлетел на воздух второй грузовик.

В Смоленской и Ново-Дмитриевской поднялась тревога. Уже слышен был шум моторов идущих на помощь машин.

Наши быстро начали отходить к горам.

Примерно через полчаса раздался третий взрыв. Его несколько раз повторили горы, — звук его был как-то особенно высок и резок. Это взорвалась бронемашина на третьем мосту...

Возвращаясь обратно, минеры Ветлугина осмотрели мост на дороге Смоленская-Северская. Смольчане сплоховали: взрывы пощипали только крайние балки.

Ветлугин исправил ошибку — минировали мост вторично.

После полудня на нем взорвался фашистский броневик.

Общий результат: четыре взорванных моста, шестьдесят убитых немцев. Раненых сосчитать не удалось.

Ветлугин горд: это — его работа.

. . . . . .

Ночью из лагеря выходят семь человек. С ними Дакс. Группа держит путь в глубину гор, туда, где на далеком высокогорном шоссе стоит мост — крутая каменная арка, переброшенная через глубокое ущелье. Агентурная разведка донесла, что в ближайшие дни по шоссе через мост должны пройти горно-егерские части фашистов.

Уже давно осталась в стороне тропа, и Карпов, прекрасно знающий горы, уверенно ведет группу напрямик к перевалу.

Люди цепляются за кусты, за ветви деревьев. Подтягивают друг друга за руки. Отдыхают через каждые сто метров. На коротких привалах Евгений неизменно торопит:

— Пошли, товарищи. Быстро.

До вершины хребта остается пятьдесят метров. Но полтора часа карабкаются люди по этим последним отвесным каменным плитам, вонзая в расщелины финские ножи и подтягивая друг друга на веревках, как бы по лестнице из ножей, вставленных в расщелины скал.

Подъем кончился. Внизу диким нагромождением скал лежит Кавказ. На юго-западе блестят на солнце снеговые вершины. А где-то там, далеко на севере, в туманной дымке лежит родной Краснодар.

Люди, связанные друг с другом длинной веревкой, ползут по камням перевала. Здесь не растет даже мох. Скользкие темные плиты отполированы дождями и ветром. Их острые гребни режут ноги. Внизу чернеет провал ущелья.

Дакс, временами жалобно взвизгивая, жмется к ногам Евгения. На привалах смотрит на хозяина умными печальными глазами и виновато лижет руку.

Два часа длится этот тяжелый путь. У Гени мучительно ноет недавняя рана на спине. Но он не может, не смеет отставать — он сам упросил брата взять его в горы. И когда Евгений тревожно оглядывается на брата, Геня спокойно улыбается.

Начинается спуск. Он тяжелее подъема. В сумерках трудно найти опору для ног. Помогают оголенные корни деревьев, — как змеи, они вьются в расщелинах скал.

Наконец-то относительно ровная горная дорожка. Короткий получасовый отдых — и снова в путь

Наступает ночь. Где-то совсем рядом шумит горная речушка. В лесу назойливо кричит горная сова — пышная рыжая птица с хитрым лицом кошки и острыми серыми ушами...

...На рассвете выходят на дорогу. Из-за далеких хребтов ослепительно брызжет встающее солнце и гонит по горам голубые тени. В соседнем ауле, по ту сторону горы, слышны далекие голоса и тявканье собак.

На день надо скрыться, исчезнуть, провалиться сквозь землю.

В стороне от дороги стоят густые заросли «держи-дерева». Лучшего пристанища трудно найти. Даже кавказская овчарка не посмеет забраться туда: при малейшем движении острые шипы колючек глубоко вонзаются в тело.

Прорубая топориками узкий проход, отряд располагается на отдых в густых зарослях. Геня ложится в дозоре. Карпов и братья Мартыненко уходят в разведку.

Вечереет. Первыми начинают темнеть далекие вершины. Блекнут тона. Коричневые, зеленые, серые краски стираются, тухнут, синеют — и уже легким, призрачным фиолетовым силуэтом стоят горы на фоне закатного пурпурного неба. С востока ползут сумерки. В их синей мгле исчезают рощи, сакли соседнего аула, нагромождение камней у дороги. И над зарослями «держи-дерева» спускается темная южная ночь.

Возвращаются разведчики. Карпов докладывает:

— Мост совсем рядом. Дорога подходящая. Встретил старого приятеля из соседнего аула. Он подтвердил, что, быть может, даже завтра утром по мосту пройдут крупные мотомехчасти немцев. Явились, значит, во-время. Только бы не опоздать. Приятель обещал помочь.

Отряд выходит из зарослей. С высокого обрыва смутно видна каменная арка моста и крутой поворот шоссе у выступа горы.

По эту сторону арки, около поста с «грибком» от дождя, ходят два часовых. Они медленно делают десять шагов в одну сторону, медленно поворачиваются, медленно проходят назад...

По другую сторону арки стоит казарма караула. Надо думать, — оттуда на фоне скалы должны быть видны силуэты часовых у «грибка».

— Карпову и братьям Мартыненко снять часовых, — приказывает Евгений, — но так, чтобы для караула по ту сторону моста часовые оставались живы всю ночь. Понятно? Как только часовые исчезнут, обоим Мартыненко приступить к минированию моста. Недриге, Козмину и тебе, Геня, заложить мины на шоссе.

Три тени ползут по обрыву и замирают у начала арки моста.

Томительно тянутся минуты.

Часовые подходят к «грибку».

Резко, как камни из пращи, Сергей и Данило бросаются на часовых. Левой рукой крепко зажимают рот. Правая рука

привычным движением вонзает финский нож под ложечку — так на Кавказе охотники добивают раненого зверя.

Часовые беззвучно оседают. Быстро сдернув с них шинели, Мартыненко сбрасывают трупы с обрыва. Рокот реки заглушает шум падения...

Накинув на себя шинель и взяв в руки винтовку, Карпов медленно прогуливается у поста. Вторая шинель висит на перекладине «грибка», и ночной ветер чуть колеблет ее полы.

Сергей и Данило быстро закладывают мины вначале каменного настила моста и внизу у основания арки.

Через полчаса к мосту подползает Евгений и проверяет работу. Мины заложены правильно, соединены детонирующим шнуром, тщательно замаскированы. Сделано чисто и аккуратно.

Три мины на шоссе тоже заложены. Но четвертая, — самая большая, — та, что должна лечь у крайнего выступа дороги, — нелегко дается. Обливаясь потом, Геня долбит ножом крепкий камень. К нему на помощь приходят братья Мартыненко. Но у Гени уже все готово — и он отползает в дозор.

Через несколько минут Дакс, ощетинившись, тихо ворчит. Почти тотчас же раздается треск цикады: Геня предупреждает об опасности.

Двое фашистских горных егерей идут по шоссе.

Евгений приказывает Недриге и Козмину приготовиться к бою.

Повторяется то же, что было у «грибка»: мгновенно левая рука зажимает рот, правая вонзает нож. Трупы егерей летят с обрыва.

Вся группа, прячась в кустах, быстро взбирается на скалу. С нее днем будет отчетливо виден крутой поворот шоссе, мост, казарма караула...

Перед рассветом внизу начинается суматоха: исчезли часовые, и только на перекладине «грибка» висят их серо-зеленые шинели.

Пропавших ищут на шоссе, на склоне обрыва — и не находят: река уже давно унесла их трупы.

К рассвету поиски прекращаются. Новые часовые боязливо оглядываются по сторонам. Но никому из фашистов не приходит в голову внимательно осмотреть мост и дорогу: они убеждены, что в их горное гнездо не могут пробраться партизаны, а тем более минеры.

Из-за поворота на шоссе медленно выползает арба, запряженная парой буйволов. Невозмутимые, равнодушные ко всему на свете, буйволы подходят к месту, где Геня заложил свою мину.

У Гени захватывает дыхание: неужели эта проклятая арба раньше времени подорвет его мину, на которую ушла добрая половина тола, принесенного всей группой?

Пронесло!

Так же неторопливо, не обращая внимания на погонщика, что сидит на дышле и бьет их длинной хворостиной, буйволы въезжают на мост и скрываются за поворотом по ту сторону каменной арки.

Часа через два на шоссе раздаются гудки, и колонна грузовых машин, наполненных немецкими горными егерями, появляется за выступом горы.

— Приготовиться! — приказывает Евгений.

Головная машина въезжает на мост. Сейчас она взлетит на воздух... Но машина благополучно проходит над миной.

Будто сговорившись, все поворачиваются к Евгению.

Евгений лежит бледный, как полотно...

Взрыв сотрясает воздух. Это задний скат головной машины взорвал мину на мосту. Летят вверх камни свода и парапета моста, егеря, железо, доски кузова.

Колонна затормаживает и сбивается кучей у взорванной арки. И только немного отставшая задняя машина, догоняя своих, еще спешит к мосту.

На полном ходу она подходит к крутому выступу на шоссе, огибает его — и со страшным грохотом летит с обрыва. С ней вместе сползает вниз участок дороги.

Почти одновременно, там, где сгрудились машины, рвутся одна за другой последние три мины. Они сбрасывают грузовики под откос, в пропасть, поднимают вверх столбы мелкого щебня.

Уцелевшие егеря мечутся по шоссе. Некоторые пытаются спастись в кустах обрыва. Но партизаны бьют их на выбор. И егеря падают в пропасть, разбиваясь на острых камнях.

Геня уже на шоссе. Лежа за камнем, он с малой дистанции расстреливает фрицев. А с вершины скалы длинными очередями бьют Евгений и Карпов, поражая фашистский караул, выскочивший из казармы, по ту сторону моста.

Через несколько минут все кончено. Мост взорван. На шоссе обрушилась скала и вместе с полотном шоссе сползла вниз, в пропасть. У моста лежат трупы, исковерканные машины, груды камня.

Евгений подает сигнал отхода: в соседнем селении поднялась тревога, забегали люди, вдоль по шоссе бьет фашистский пулемет.

Старой дорогой, через перевалы, через горные кручи, сбивая в кровь ноги на острых скользких камнях, возвращается в лагерь цепочка минеров-диверсантов. А сзади высоко в небо поднимается густой черный дым. Это приятель Карпова сдержал свое слово и в суматохе поджог казарму горных егерей и дом коменданта в ауле...

2.X

На лысину Афипса новое нападение: вчера туда рвались немецкие горные егеря. Наш караул вел себя безукоризненно — атака отбита.

На защиту «лысины» подкинули еще несколько человек.

. . . . . .

Заболел Евгений. Елена Ивановна заставляет его принимать какие-то порошки. Евфросинья Михайловна приготовляет ему особые блюда.

Он сразу осунулся, побледнел. Но удержать его в постели невозможно.

— Потом отлежусь, мамочка. Сейчас нельзя — время уж очень горячее...

3.X

Валентин погиб. Я узнал об этом вчера ночью...

Вечером вся наша семья собралась в лагере. Спать не хотелось. Даже больной Евгений вышел послушать тишину ночи.

Над нами была чистая полоса неба. Она походила на синюю реку. Текла она тихонько над землей, окутанной ночью, и плыли в ее гладких волнах яркие звезды.

— В такую ночь мне особенно хочется мечтать, Женя, — тихо говорил Геня. — Я люблю мечтать. Вначале мне казалось, что стыдно мечтать сейчас, когда люди сражаются и умирают. А потом я заметил: чем больше я мечтаю, тем лучше на душе. Потому что мечтаю о том, что будет после нашей победы. Знаешь, о чем я мечтаю, Женя? Кончится война. Я брошу все — лопату, рыбную ловлю, голубей, — только бы стать инженером. Таким, как ты, Женя. И я сконструирую такую машину. Вездеход... И поеду по всей стране... Но ты смеешься надо мной, Женя?

— Нет, я не смеюсь, братишка. Я ведь тоже мечтаю, Геня. Только более скромно, чем ты.

Нет, я никуда не уеду из моей родной Кубани: я слишком люблю ее землю, ее небо, ее людей. После победы мы вернемся в Краснодар. Меня встретит Маша и моя маленькая дочурка. Я снова буду работать на комбинате. У меня много замыслов, Геня. Некоторые из них еще очень сырые. Но это ничего: после войны мы будем жадны к творческой работе...

И еще мечтаю, что моя дочурка будет ботаником. Обязательно ботаником. Я хочу, чтобы уголок этой кавказской глухомани дочурка перенесла в Краснодар, чтобы сталь и мрамор колонн были увиты хмелем и плющем, чтобы в скверах буйно росли кусты орешника, и среди моря невиданных цветов, выращенных моей девочкой, стояли бы памятники не только вождям и прославленным воинам, но и лучшим механикам, бетонщикам, рыбакам, садоводам и, может быть, даже литературным героям — тому же Тилю Уленшпигелю, Робину Гуду, «Матери» Горького, испанскому гидальго Дон-Кихоту Ламанчскому и нашему славному запорожскому казаку Тарасу Бульбе.

После войны и победы мы вернемся домой, переполненные жаждой творческой работы, святым чувством товарищества, большой человеческой теплотой. И с бо́льшим правом, чем когда бы то ни было, мы скажем словами Горького:

«Превосходная должность — быть на земле человеком!»..

Елена Ивановна подходит к ребятам.

Она обнимает их и рядом с ними кажется такой маленькой.

— Сознайся, мама, ты, ведь, тоже мечтаешь?

— Ну, конечно, мечтаю... — улыбается она, — о том, как буду сидеть старушкой в Краснодаре, у памятника Тараса Бульбе и няньчить ваших ребятишек...

— Наших и Валентина, мама.

— Нет, мне не придется няньчить ребят Валентина...

— Почему?

— Валентин погиб... В день нашего ухода из Краснодара, без вас ко мне зашел на минуту его друг. Он рассказал, что по ту сторону Керченского пролива Валя прикрывал своим пулеметом отход наших частей. Осколком мины ему раздробило плечо. Он упал. Унести его было невозможно. К нему подбежали немцы. Вот все, что известно о Валентине...

— Но почему ты тогда не сказала об этом?

— Может быть, я ошибалась, Конечно, ошибалась... Но я боялась, как бы смерть Валентина не подточила вашей воли к борьбе.

Евгений подходит к матери и нежно целует ее руку.

Елена Ивановна молчит. Потом садится рядом с сыновьями и говорит:

— Я хочу рассказать вам одну историю — я читала ее незадолго до нашего ухода в горы и до сих пор не могу забыть...

...Это было давно. Очень давно.

На маленьком греческом островке жила рыбачья семья: отец, мать и трое взрослых сыновей.

Враг напал на остров — он хотел поработить их родину.

В первой же битве на острове погиб отец. Но сыновьям с матерью удалось уйти на корабле.

Они продолжали борьбу. Они топили вражеские суда. Они не знали страха. Рядом с сыновьями сражалась мать. И скоро слава о семье отважной «пиратки» (так назвали ее враги) уже гремела по всему Эгейскому морю.

Однажды большой вражеский флот окружил ее корабль. Выхода из кольца

не было. Ей предложили сдаться, обещав жизнь и свободу ей и ее сыновьям.

«Пиратка» гордо отклонила предложение.

Ее корабль прорвался к самому большому вражескому судну и смело взял его на абордаж.

Разгорелся последний жестокий бой.

Сыновья дрались, как львы. Но силы были неравны. Мать видела, как один за другим, разя врага, погибали ее дети.

Герой Советского Союза Евгений Игнатов.

Старший сын, схватив горящий фитиль у пушки, швырнул его в пороховой погреб. Раздался взрыв. «Пиратка» погибла, счастливая и гордая за своих сыновей...

— К чему ты это рассказала, мама?

— Вы хорошо мечтали, ребята. Я, не задумываясь, отдала бы свою жизнь, чтобы вы с победой вернулись домой. Но я не вольна в вашей жизни и смерти. И если вам все же суждено умереть, я хочу видеть смерть моих сыновей не в плену, не под пыткой, а в бою, с оружием в руках. Так, как умер Валентин. И я буду горда и счастлива. Если только может быть счастлива мать, потерявшая детей...

4.X

Евгений, Кириченко, Ветлугин и Еременко сидят на траве под густым разлапистым ясенем. Друзья горячо спорят о нагрузке, передаваемой паровозом через рельс, о законах вибрации, о коэфициенте трения и о минимальной закраине между минным зарядом и стыком рельса.

Если бы на минуту убрать ясень и часового, что стоит чуть поодаль в кустах, если закрыть глаза и только слушать — все это скорее походило бы на техническое совещание инженеров в научном институте, чем на собрание партизан в дикой глуши кавказских предгорий...

Речь идет о нашей новой, мощной, усовершенствованной железнодорожной мине, изобретенной и сконструированной, наконец, Евгением, Кириченко и Ветлугиным.

Это — «волчий фугас», сочетание тола и противотанковых гранат. В ней нет никаких веревочек. И ее должен рвать не минер, а сам паровоз. В то же время легкая автодрезина, обычно пускаемая немцами в разведку перед поездом, должна пройти благополучно над миной. Весь секрет в тяжести, передаваемой через рельс на минный заряд...

Впрочем, пока все это — только теория: нигде, никогда и никто еще не рвал так железнодорожных поездов. И поэтому Евгений сейчас так придирчиво проверяет каждый расчет, каждую схему: малейшая ошибка может сорвать всю операцию.

А речь идет о первой на Кубани минной железнодорожной диверсии.

Дело в том, что донесения агентурной разведки упорно говорят: на станцию Георгие-Афипская немцы пригнали добрые две трети подвижного состава с дороги Краснодар—Новороссийск, сосредоточили тяжелые автомашины, и в ближайшие дни начнут крупные перевозки к Черному морю — под Новороссийском идут горячие бои.

Задуманная операция с новой миной должна определить всю дальнейшую работу нашего отряда. То, что было до сих пор, — пройденный этап. Теперь должна начаться новая «эра»: железнодорожные диверсии, широко разветвленная сеть филиалов, применение новой усовершенствованной автоматической мины.

Евгений мечтает сам заложить первую мину и увидеть, как впервые на Кубани взлетит на воздух фашистский поезд.

Не знаю, удастся ли это. Он еще очень слаб после болезни. Но разве его удержишь?

5.X

Разрешение на железнодорожную диверсию получено. Сегодня поздно вечером отряд минеров отправляется в путь. В нем четырнадцать человек. Евгений, конечно, идет.

Гени нет в лагере. Он на Планческой — возится с запасными частями к автомобилю, мастерит печи на зиму и ждет, ког-

да Бибиков кончит шить ему русские сапоги — первые высокие сипоги за всю его семнадцатилетнюю жизнь.

Это хорошо, что Геня не пойдет с нами; операция слишком рискованная...

Наша первая остановка — в Крепостной.

6.X

Пишу в Крепостной.

Всю ночь ехали проторенной, не раз исхоженной дорогой.

Евгений ехал на линейке — он еще очень слаб. Он сидел бледный, исхудавший, с темными кругами под глазами, с высокой температурой, но, как всегда, настороженный, собранный, внимательный.

Около двух часов ночи сзади неожиданно раздалось знакомое причмокиванье — сначала отрывистое и резкое, потом протяжное и длинное. Это кто-то из своих подошел к нашей колонне: его окликнули — он ответил.

Потом приглушенные голоса, торопливые шаги — и передо мной вырос Геня.

— Отец, ты не имеешь права не брать меня. Мы заключили с Женей договор ходить на все операции вместе...

Что я мог ему ответить? Правда, он явился без рюкзака в грязном белье и грязной верхней одежде — так у нас не полагается выходить на операцию, — но он смотрит на меня умоляющими глазами, за спиной у него материнский карабин...

— Хорошо, Геня, — пойдешь с нами...

Сейчас Ветлугин спешно заканчивает изготовление ящиков для автомобильных мин. Эти мины — тоже новость в нашей, да и вообще в партизанской практике. Принцип их устройства тот же, что и паровозной мины: они взорвут тяжелый грузовик, но над ними спокойно проедет крестьянская телега. И что особенно важно, — никакой фашистский миноискатель не обнаружит нашей мины: в ней только дерево, тол и ни грамма металла.

Вечером начнется перегрузка: все, что на подводах — семидневный запас продуктов, патроны, гранаты, мины — распределены по рюкзакам. На каждого придется добрых тридцать килограммов.

Ночью предстоит тяжелый переход.

7.X

Все тело ноет, будто по нему молотили тяжелыми цепами.

Я долго не забуду этого перехода.

Ночь. Небо покрыто низкими рваными тучами. То и дело срывается дождь. Он сечет опавший лист, камни, хлещет о стволы деревьев.

Закутанные в плащи, мы кажемся друг другу таинственными фантастическими фигурами. Идем цепочкой, сплошь и рядом держась за рюкзак переднего.

Как всегда, я иду с Геней. Его мешок, наскоро сшитый из светлого материала, — мой единственный ориентир в этой непроглядной тьме.

Движемся медленно, осторожно, беззвучно. Дороги переходим, шагая в один след, задом наперед, чтобы сбить с толку тех, что завтра утром обнаружат отпечатки наших подошв. Вдоль железнодорожного полотна пробираемся через густой кустарник: немецкие караулы у

Герой Советского Союза Геннадий Игнатов.

мостов время от времени освещают степь яркими ракетами.

Всегда внимательный ко мне, Геня на этот раз особенно заботлив: на привалах подает рюкзак, поправляет лямки, помогает взбираться на крутые склоны.

Под утро подходим к хутору Коваленков.

Всем досталось порядком. Особенно Евгению — у него все еще высокая температура. Тяжело и Янукевичу: Виктора Ивановича мучает кашель, а кашлять в походе нельзя, и он, бедный, изжевал весь рукав своей телогрейки...

9. X

Двое суток разведчики Евгения сидят на высоких деревьях, лежат в кустах, прячутся в ямках и внимательно следят за шоссе, за дорогой, за железнодорожным полотном. Нам надо знать буквально все: как и когда сменяются караулы, как часто ходят дозоры, каково расписа-

ние поездов и есть ли какая-либо закономерность в движении автомашин по дороге.

Разведчики, сменяясь, наблюдают, слушают, записывают. А наша основная группа, отдыхая днем, по ночам спускается к воде и снова бесшумно бродит по кустам, рощам, колючему терну, меняя место ночлега.

Наконец, сегодня вечером Евгений докладывает: удобнее всего рвать на четвертом километре от Северской — там дорога, шоссе и железнодорожное полотно близко подходят друг к другу. Автомашины идут только днем. Поезда регулярно проходят четвертый километр в восемь часов утра и в четыре часа дня.

Тем лучше — ночь свободна. Значит, надо подойти к полотну в полночь, быстро закончить минирование и до утра отойти в горы.

Сейчас оправляемся в путь — закладывать мины.

Все как-то особенно собраны, подтянуты, молчаливы. Так бывает перед решающим тяжелым боем.

10.X

Ребята мои погибли. Писать не могу...

12.X

Я отчетливо помню каждую деталь этой страшной ночи.

Вечер. Мы идем к месту диверсии. Впереди — дальняя разведка во главе с Евгением, по бокам — дозоры, сзади — арьергард автоматчиков.

Пройден последний лес. Перед нами открытое поле. За ним — железнодорожное полотно с высокими тополями по бокам, а за полотном шоссе и дорога.

Вокруг ни души. В темном высоком небе ярко горят звезды. Сзади, как призраки, стоят далекие фиолетовые горы.

Неожиданно над Георгие-Афипской, а затем и над Северской вспыхивает белый свет. Его сменяет зеленый, потом красный. Они перемежаются, гаснут и снова загораются. В этой последовательной смене цветов — определенная закономерность. Но разве отгадаешь, какое важное сообщение передают по линии фашисты своим световым телеграфом?

Гелиограф работает минут пятнадцать. И снова темно и тихо вокруг. Как гигантские часовые, стоят тополя вдоль линии. Где-то далеко раздается еле слышный свисток маневрового паровоза.

Евгений встревожен:

— Надо торопиться.

Вперед выходит разведка. Она ищет проходы в терне и пропадает в темноте ночи.

Вскоре у полотна начинает квакать лягушка: это Евгений докладывает, что путь свободен.

Осторожно подходим к краю насыпи. На руках поднимаем на шпалу переднего. Он втаскивает остальных так, чтобы они не коснулись ногою песка насыпи. Тем же способом спускаемся вниз.

Группа прикрытия уходит в кусты. Занимают свои места дозоры. Минеры приступают к работе.

Через час все должно быть кончено...

Помню, Геня вместе с Янукевичем финским ножом выкопал ямку на профилированной дороге, землю выгреб на разостланную стеганку, а лишнюю, собрав в шапку, унес в глубину кустов.

Геня стоит перед Янукевичем и передает ему минный ящик. Тот заряжает его взрывателем и осторожно опускает в землю. Геня тщательно маскирует ямку.

Закинув карабин за плечи, Геня, веселый, оживленный, носится по дороге, закладывая мины и выполняя распоряжения Янукевича.

Он пробегает мимо меня к железнодорожному полотну. Там работают Евгений и Кириченко.

Уже вырыта ямка под рельсовым стыком, уже уложены в нее две противотанковые гранаты, и Геня, подбежав, успевает добавить свою, третью.

— Пусть и меня фрицы вспомнят на том свете, — смеется Геня.

Под шпалу рядом с гранатами ложатся головые шашки. Кириченко выдергивает флажок предохранителя, снимает накладку. Евгений маскирует полотно, отделывая насыпь «под елочку».

Мина на полотне почти готова. Остается выдернуть последнюю шпильку у предохранителя. Но это должен сделать один минер, когда все отойдут в степь. И Кириченко с Евгением спешат на профилированную дорогу. Там что-то не клеется: грунт слишком плотен — трудно рыть ямки для минных ящиков.

Я жду, когда на дороге все будет закончено.

Все идет так, как было задумано.

Ночь тихая, теплая. Сияют звезды над головой. Недвижно стоят тополи у дороги. Где-то далеко раздается собачий лай и смолкает. И снова тихо. Только в кустах шуршит Геня — относит туда последний грунт с дороги.

Минировать шоссе не будем: оно слишком разбито, и немцы почти им не пользуются. Закончим минирование профиля — и домой, в горы.

Со стороны Георгие-Афипской возникает еле слышный звук. Быть может, самолет летит на ночную бомбежку?..

С каждой секундой шум становится отчетливее, яснее. С ним переплетается второй звук. Они сливаются, нарастают. Они все ближе...

Поезд!

Из-за поворота, набирая ход под уклон,

на всех парах идет тяжелый состав. А рядом с ним, по шоссе, мчатся броневики.

Так вот о чем говорил своими огнями проклятый гелиограф.

Что делать? Уходить в горы? Но в «волчьем фугасе» на полотне еще не снята шпилька у предохранителя. Шоссе свободно. Немцы вырвутся на него. Они зажмут нас в клещи...

Мимо меня стрелой проносятся сыновья. Заряжая на бегу последние две мины, они спешат к шоссе. Быстро минируют обе колеи и выскакивают к полотну.

Паровоз уже рядом. Вырывается пламя из поддувала. Гремят буфера.

Ребята бросаются к поезду... Разве можно в этой кромешной тьме найти крошечную шпильку предохранителя...

Нет, они задумали другое: у них в руках противотанковые гранаты. Они бросят их, — и от детонации взорвется «волчий фугас».

Я бегу за детьми...

Поздно.

Одна за другой рвутся две гранаты. И тотчас же со страшным оглушительным грохотом взрывается «волчий фугас».

Сразу становится жарко и душно, как в бане. Взрывная волна, будто ножом, срезает крону могучего клена, стоящего передо мной, и отбрасывает меня назад.

Я вижу, как лопнул котел паровоза, как паровозные скаты летят выше тополей, как, падая под уклон, вагоны лезут друг на друга, разбиваются в щепы, погребая под собой немцев.

Новый взрыв. Это летит на воздух броневик на шоссе. Объезжая его, ярко вспыхнув фарами, рвется второй.

Взрывы следуют один за другим. Мины кар'жат машины на профиле, разбрасывая искалеченные трупы немецких автоматчиков.

Пылает взорванный поезд, грохочут мины, истошно кричат раненые фашисты.

Я бросаюсь к железной дороге.

У полотна, освещенный заревом пожара, лежит под обломками мертвый Евгений. Его уносят друзья.

Я ищу Геню. Он чуть поодаль, в кустах.

Беру на руки еще не остывшее тело. Теплая кровь заливает руки. Несу его через минированный профиль.

Молча финскими ножами роем неглубокую яму: кладем в нее ребят, забрасываем землей. А над головой срывая листья, уже жужжат пули: уцелевшие немцы пришли в себя и крутой дугой охватывают кустарник.

Отряд быстро выходит из-под удара.

Я стою у могилы, стараясь замаскировать этот маленький холмик.

Неожиданно передо мной вырастает Павлик Сахотский. Схватив за руку, быстро тащит прочь из кустов: немцы сжимают дугу.

Идем по степи. Вокруг ни куста. Над головой вспыхивают осветительные ракеты. Падаем на землю и замираем.

Ракеты тухнут. Мы поднимаемся и снова быстро идем. И снова над нами загораются ракеты, и мы опять приникаем к земле.

Сзади раздается рев моторов: немцы заметили нас и бросили вдогонку вездеходы и автомобили. Слепя фарами, они подходят все ближе и ближе.

Янукевич ложится на землю. Остальные быстро идут дальше. Вездеход почти рядом. Под гусеницы летит противотанковая граната. Машина кренится на бок, останавливается.

Оправившись, немцы снова преследуют нас. Вслед за Янукевичем ложится Кириченко. Новый взрыв — и второй искалеченный вездеход замирает на месте.

Мы круто сворачиваем влево. Под ногами вспаханная целина. На ней окончательно застревают фашистские автомашины. Взбешенные немцы открывают ураганный огонь.

Теперь мы забираем вправо. У табачных сараев станицы Смоленской, — здесь недавно Геня уложил из своего маленького револьвера двух полицейских, — бросаемся вперед, низко пригибаясь к земле, пересекаем дорогу и выходим из обстрела.

А за нами разгорается бой: это фашисты, отчаявшись взять нас живьем, открыли стрельбу. Их пули бьют по немецкой заставе у Смоленской. А та, отвечая, бьет по своим.

На рассвете подходим к предгорью, останавливаемся на отдых. Но над головами с ревом проносятся германские самолеты, делают широкий круг и ястребами парят в воздухе, ища партизан.

Вытянувшись цепочкой, глухими тропами уходим на передовую стоянку под Крепостной...

Я пишу и мне все кажется — сейчас ко мне подойдет Евгений, заглянет через плечо и весело спросит:

— Ну, папа, куда пойдем завтра?..

Как сказать Елене Ивановне?

12. X

Я сделал так, как посоветовал мне Геронтий Николаевич: сказал Елене Ивановне, что ребята тяжело ранены и случайным самолетом из Шабановки отправлены в Сочи.

Елена Ивановна молча, пристально посмотрела мне в глаза — и поверила..

Разведка, посланная к месту взрыва, еще не вернулась.

. . . . . .

Вечером подал Елене Ивановне записку — якобы радиограмму из Сочи: Геня

безнадежен, у Евгения состояние тяжелое.

Ночью Елена Ивановна, взяв автомат и гранаты, ушла в Шабановку, хоть и знала, что путь лежит через хутора, занятые немцами: она хотела узнать подробности.

Ее догнали далеко от нашей стоянки и едва вернули.

На ее лице, на красных воспаленных веках, на волосах, сбившихся под белым платком, словно еще теплится дыхание ребят. Мне кажется, она боится спугнуть его и молчит.

Ее любимцы, — Слащев и Сафронов, — издали следят за ней.

Тянуть больше нельзя — надо сказать правду.

14. X

Сегодня передал Елене Ивановне новую «радиограмму» о смерти ребят.

Она долго молча перечитывала записку. Потом бережно сложила ее, спрятала в патронташ. Она напрягла всю свою волю, но слезы крупными каплями текли из глаз.

Наши понимают: пока лучше не говорить с ней, не трогать ее.

Когда она смотрит на меня, мне кажется,— в ее расширенных глазах, запавших под широкий лоб, еще живет облик Гени...

14. X

Вернулись, наконец, разведчики.

Два дня они были у места взрыва — сидели на высоких стогах сена у скотофермы и наблюдали в бинокли.

Паровоз и двадцать пять вагонов разбиты вдребезги. Из-под обломков неслись крики и стоны. На шоссе лежали обломки двух броневиков. Чуть поодаль — две взорванные автомашины.

Через несколько часов после взрыва немцы пустили к Северской тяжелую машину, груженую боеприпасами. Машина прошла пятьдесят метров — и взорвалась. Грохот был страшный. Немцы бросились врассыпную.

Приехали саперы и с миноискателями прошли весь профиль. Ничего не нашли. Снова пустили машину. И снова она взорвалась.

Тогда фашисты еще раз проверили шоссе, частью его перекопали и пустили автомашину с колхозниками из Афипской. Машина чудом прошла благополучно. Но следующая за ней машина с немецкими автоматчиками взлетела на воздух.

Немцы пригнали наших военнопленных и приказали им перекапывать весь профиль. На минах взорвалось несколько человек. Но когда фашисты снова пустили по профилю машину, — она подорвалась на последней мине, заложенной Геней и Янукевичем.

По подсчетам разведчиков, только одних трупов немцы вывезли не меньше пятисот. Сколько было раненых и покалеченных, установить не удалось.

— И вы знаете, Батя, — сказал один из разведчиков, — когда рвались последние мины, нам временами казалось, что это Евгений Петрович и Геня, лежа в могиле, мстят врагу...

Елена Ивановна резко поднялась...

Ее окружили Слащев, Сафронов, Янукевич, Ветлугин, Кириченко.

— Мы знаем, Елена Ивановна, — вашему горю нельзя помочь. Но с этих пор вы — наша мать, и мы все — ваши дети.

— Спасибо, родные. Я постараюсь быть вам матерью. А сейчас я скажу вам то же, что сказала недавно моим ребятам. Я прошу судьбу: когда придет время умирать, пошли моим любимым смерть гордую и чистую, спаси их от плена, предательства, пытки... Пусть умрут в открытом бою, среди своих, с оружием в руках. Дай умереть так, как умерли мои ребята. И дай им отомстить за моих сыновей...

(Окончание следует.)

К СОРОКАЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА

А. П. ЧЕХОВ

Творческий портрет

В. ЕРМИЛОВ

★

ВСТУПЛЕНИЕ

В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Эти слова Астрова из «Дяди Вани» были записаны в дневнике московской школьницы Зои Космодемьянской, в числе самых дорогих для нее мыслей. Так Антон Павлович Чехов участвовал в формировании души народной героини, чей образ войдет в века, как образ человека, в котором все было прекрасно, образ русской девушки, бессмертное воплощение духовной красоты и силы русского народа.

Как же случилось, что писатель, которого некоторая часть современной ему критики склонна была считать поэтом «хмурых людей», выразителем эпохи давящих, свинцово тяжелых, переходных восьмидесятых годов, эпохи «малых дел», певцом тоски и отчаяния русской интеллигенции того времени; писатель, которого иные из его современников упрекали даже в неясности, а то и в отсутствии «общей идеи», в «объективизме»,—как случилось, что этот писатель вошел в нашу героическую эпоху в качестве ее современника? И не «малые дела», а небывалые подвиги мужественных, сильных людей переплетаются с его именем!

Только наша эпоха смогла по-настоящему прочесть Чехова и понять все его значение для русской и мировой культуры, почувствовать и освоить особенности его художественного метода и стиля, определить и своеобразие чеховской поэзии, и ее кровную связь с коренными традициями русской литературы. В чем же заключаются главные, наиболее характерные особенности стиля и художественного метода А. П. Чехова?

Слова Астрова о том, что «в человеке должно быть все прекрасно», могут быть поставлены эпиграфом ко всему чеховскому творчеству. В них заключен лейтмотив, сокровеннейшая и глубокая суть всех образов и картин Чехова, всех созданных им произведений.

Чехов, как никто другой, с особенной силой подчеркнул единство красоты и правды, прекрасного и нравственного.

НАЧАЛО ПУТИ

Чехову был присущ пафос социального воспитания, утверждения и отрицания, любви и ненависти, — не в меньшей мере, чем Толстому, Щедрину, Некрасову, Горькому и другим могучим русским трибунам человечности. Воспитанный в школе русской литературы, Чехов был верен ее традициям, в том числе ее воспитательной традиции. Даже, казалось бы, совсем беззаботные, самые ранние, сверкающие молодым, беспечным, солнечным юмором, рассказы Антоши Чехонте, печатавшиеся в тогдашних юмористических журналах, удивляют нас своей ясно выраженной социальной тенденцией. Вот рассказы Чехова, двадцатилетнего юноши, например, «Письмо к ученому соседу», которым открывается собрание сочинений (изд. 1931 г). Оно считается обычно просто «шалостью пера», беззлобной юношеской шуткой.

«Письмо» пародирует стиль тупого и дикого помещика-мракобеса, хвастающего своими якобы научными запросами и интересами; будучи полон самодовольства и фальшиво-самоуничижительной «скромности», автор письма, обращаясь к своему ученому соседу по имению, на все лады поносит себя самого, уверенный в том, что адресат воспримет все эти самоуничижительные характеристики только как своеобразные «красоты слога». Внутренний юмор рассказа, сатирическое его жало заключается в том, что автор письма, сам того не подозревая, совершенно точно определяет своими «саморугательствами» самого себя. «Невежда», «дикий череп», «нелепая головешка», «грошовый ум»— все эти образцы «кокетства» являются вместе с тем характеристиками автора письма: Антоша Чехонте с юношеским простосердечием радуется такой возможности обругать «старого негодника», отнюдь не являющегося просто безобидным дураком; нет, это—один из злобных душителей всякой науки: «не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят!»— раздраженно заявляет он по поводу дарвиновской теории, дико отразившейся в его «грошовом

уме». Да, такие, как он, действительно, «не терпели» подлинной науки!

Это — вечный враг Чехова, впоследствии представший в его рассказах в многочисленных разновидностях пришибеевщины, — в частности, в образе «печенега», с его не менее «диким черепом», или помещика Рашевича из рассказа «В усадьбе», этой «жабы», с его крепостнически-«расовыми» теориями и призывом открыть «крестовый поход» против разночинца, «кухаркиного сына».

Вспомним такие шедевры двадцатилетнего Чехова, как рассказ «За яблочко», в котором говорится о том, как помещик заставил влюбленных крестьянского парня и девушку высечь друг друга за яблочко, сорванное в барском саду, и тем самым навсегда «засек» в них живую человеческую душу,—и мы ясно увидим, что уже в самых ранних, юношеских своих рассказах Чехов начал великую борьбу всей своей жизни, — борьбу со всеми силами мракобесия, унижения человеческого достоинства, пошлости, рабства. Но эту борьбу он вел своими способами, отличными от прямого социального «проповедничества» Толстого, Достоевского, от лирической патетики Гоголя, грозной, резкой сатиры Щедрина, гражданской лирики Некрасова. Чеховский социальный пафос был скрыт или под покровом светлого юмора, или, в рассказах более зрелого периода, в выработанных Чеховым приемах наружно «бесстрастного», строго-объективного повествования. Присмотримся внимательнее к этому наружному «бесстрастию».

ХУДОЖНИК И ЕГО ОБРАЗЫ

Разберем один из рассказов еще молодого Чехова — «Враги» (1887 г.)

В рассказе изображаются горе земского врача Кирилова и горе барина Абогина: пересечение двух несчастий составляет драматический узел рассказа.

У Кирилова, пожилого человека, умер от дифтерита его единственный ребенок, шестилетний мальчик. У Абогина сбежала с любовником жена: она притворилась смертельно больной, услала мужа за врачом, а сама тем временем покинула дом.

Кирилов подавлен и ошеломлен своим несчастьем, все его мысли и движения автоматичны, он не в состоянии ни думать, ни говорить. Когда появившийся в его квартире Абогин умоляет его поехать спасать «умирающую» к нему в имение, верст за пятнадцать, Кирилов сначала даже не понимает, о чем идет речь. Затем он объясняет Абогину, что никак не может поехать, потому что только что умер его мальчик и больная жена не может остаться одна в квартире. Но Абогин умоляет его «совершить подвиг». Наконец Кирилов соглашается. Когда они приезжают, обнаруживается коварная измена madam. Обманутый супруг потрясен. Он «вопит»:

«— Низость! Подлость, даже чего не придумал бы, кажется, сам сатана! Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутом, тупым клоуном, альфонсом! О, боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!»

Кирилов, все еще находящийся в забытьи, видит, что его не ведут к «больной» и до него как бы откуда-то издалека начинает доходить смысл слов Абогина. Кирилов постепенно, медленно выходит из своего состояния автоматизма.

«Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами...

— Позвольте, как же это? — спросил он, с любопытством оглядываясь. — У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... Сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... И что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи!»

Абогин не слушает Кирилова, он продолжает «вопить», ругать себя «колпаком», рассказывает Кирилову тайны своей любви. И Кирилов окончательно выходит из оцепенения. Он испытывает чувство человека, глубоко и тяжело оскорбленного.

«— Зачем вы все это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! — крикнул он и стукнул кулаком по столу. — Не нужны мне ваши пошлые тайны, чорт бы их взял! Не смейте вы мне говорить эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?

Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачем вы меня сюда привезли? — продолжал доктор, тряся бородой. — Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйтесь гуманными идеями, — играйте (доктор покосился на футляр с виолончелью)— играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью! Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания!

— Позвольте, что все это значит? — спросил Абогин, краснея.

— А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, а вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и мозетонами, ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!

— Вы с ума сошли! — крикнул Абогин. — Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и... и...

— Несчастлив, — презрительно ухмыльнулся доктор. — Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шелопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!

Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в

жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого...»

Перед нами как будто бы вполне «беспристрастный» рассказ о том, как два интеллигентных человека, под влиянием горя, тяжело и незаслуженно оскорбили друг друга. Обе стороны как будто в совершенно равном положении друг перед другом, у обоих героев весьма весомые и, казалось бы, одинаково-человечные мотивировки горя. У одного умер единственный ребенок, другой цинично, грубо обманут любимой женщиной, для которой он пожертвовал всем: служебной карьерой, музыкальными способностями, порвал со всей своей родней. Более того, Кирилов ведь явно неправ, обвиняя Абогина в том, что тот привез его для участия в пошлой истории. Приглашая Кирилова, Абогин был искренно убежден в том, что жена его опасно больна!

Но, однако, все это, по сути дела, — лишь внешний слой рассказа, и «неправота» Кирилова — тоже только внешняя, только формальная неправота. Подлинная глубина, настоящая поэтическая суть рассказа обнаруживается при анализе художественной конкретности, сцепления образов и деталей. Эта художественная сущность становится ясной уже при сопоставлении двух следующих картин. Первая изображает горе Кирилова.

«Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица, лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую еще не скоро научатся понимать и описывать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине. Кириллов и его жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то, в свое время, прошла их молодость, так теперь вместе с этим мальчиком уходило навсегда в вечность и их право иметь детей.»

Вторая картина изображает горе Абогина. Он убедился в бегстве жены и вернулся в гостиную, где ожидает Кириллов.

«У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости, тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были искажены отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли».

В горе Абогина нет человеческой красоты, нет «лиризма», нет никакой поэзии. И сразу становится ясным, что слова Кирилова о том, что Абогин не имеет права на «несчастие», потому что и капуун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив, — что эти слова выражают чувства самого автора и что художник целиком на стороне Кирилова. Красота человеческих чувств у Кирилова, Абогина — горе только «отвратительно искажает».

Кирилов некрасив, угрюмоват, «утомлен жизнью и людьми», в то время как Абогин красив: у него облик не то изящного дилетанта, не то «свободного художника»; подчеркивается, что он похож на льва. Замечательно, что именно это сходство со львом как раз усугубляет впечатление пошлости, которое читатель начинает испытывать от Абогина уже с момента его появления в квартире доктора. Кирилов и его жена в горе «молчали», «не плакали», а Абогин «продолжал вопить». И эта деталь тоже говорит о том, что Чехов, с его сдержанностью и отвращением к крикливому выражению эмоций, всеми своими чувствами на стороне Кирилова. Когда Абогин умоляет Кирилова поехать к нему, — «Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры...» Слова, которыми рассказывает Абогин о бегстве жены, тоже «неуместно цветистые» и затасканные; и читатель чувствует, что Кирилов, с точки зрения самого автора, имел полное право сказать, что эти слова оскорбляют его.

Мы видим, что перед нами не рассказ о том, как два интеллигентных человека оскорбили друг друга, а рассказ о том, как было оскорблено человеческое горе пошлостью.

Так постепенно разоблачается «красота» Абогина: она оказывается только внешней. Как только дело дошло до его кровных жизненных интересов, так и обнаружилась с особенной ясностью пустота, ничтожность всей его жизни.

Право на все человеческие чувства имеют только люди, так или иначе связанные с трудом. Кирилов говорит от имени «всех вообще рабочих», за ним читатель чувствует массу рядовых русских людей труда, с их чувством собственного достоинства, с их врожденным презрением к барству и паразитизму.

Мы видим, что тема рассказа решается в категориях красивого и некрасивого. Именно у людей труда—поэзия, красота жизни. Художник внушает читателю отвращение к внешней красоте, мнимой «поэтичности». Читатель чувствует, что она оскорбляет что-то глубоко человеческое, опошляет подлинную красоту. И мы видим, что хотя Абогин, приглашая Кириллова был искренно убежден в том, что он зовет врача к больной, — все же с большой, морально-эстетической точки зрения он «не имел права» вовлекать Кирилова в пошлую, некрасивую атмосферу всей той ничтожной жизни, в которой Абогин живет, «не имел права» требовать подвига от Кирилова!

И, конечно, вовсе не случайно, что несчастье Абогина оказалось на поверку пошлым фарсом: нельзя ждать ничего человечески серьезного, подлинно-драматического от пустой жизни Абогиных с их женами и любовницами! Просить у Кирилова «подвига» для того, чтобы распахнуть перед ним двери в эту ничтожную жизнь, — какая это, в самом деле, профанация человеческих чувств!

Нет такой художественной детали в рассказе, которая не воздействовала бы на читателя в том направлении, в котором решается тема, ни

одного штриха, который мог бы иметь самодовлеющее значение, независимое от идеи рассказа. Вот, например, Кирилов, ожидая Абогина в гостиной, сидит в кресле и разглядывает «свои обожженные карболкой руки. Только мельком увидел он ярко-красный абажур, футляр от виолончели, да, покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам Абогин».

Эти, как бы невзначай, мимоходом брошенные штрихи, конечно, не случайны: и обожженные карболкой руки трудового человека, столь чужие в этой гостиной, и чучело волка, неожиданно похожего на Абогина, самое сближение Абогина с образом сытого волка, — все это очень ясно раскрывает сущность чеховского, строго «объективного» метода. Этот метод никак не исключает субъективности художника, — наоборот, мы видим, насколько ясны и определенны симпатии и антипатии поэта, как последовательно, шаг за шагом, автор внушает симпатию к своему подлинному герою и презрение к его антиподу: мы ясно чувствуем, что враг Кирилова является и врагом самого Чехова. Но вся эта с у б ъ е к т и в н о с т ь целиком слита с о б ъ е к т и в н ы м изображением жизни.

Рисуя своих наиболее ненавистных врагов, Чехов был беспощаден: он стремился до конца обнажить их ч у ж д о с т ь ч е л о в е ч е с к о м у, низводил их к животным. Например, Наташа в «Трех сестрах», это воплощение пошлости, предстает в образе «шаршавого животного», вызывая у зрителя и читателя чувство органического отвращения. Такое же отвращение, невзирая на ее внешнюю красивость, вызывает у читателя Аксинья из рассказа «В овраге» — один из наиболее ярких в русской литературе образов звериной сущности кулачья. «У Аксиньи были серые наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное; зеленая, с желтой грудью, с улыбкой она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову...»

Теми же методами, с тем же ударением на эстетическом моменте, Чехов вел и свою непосредственно идеологическую борьбу, разоблачая враждебные ему идеи. Вспомним, например, рассказ «Огни» (1888 г.). Чехов ведет в нем борьбу против реакционных, пессимистических идей, находивших распространение у части интеллигенции в 80-х годах: это идеи бренности всего земного, бесцельности и бессмысленности жизни, под прикрытием которых можно было оправдать любую подлость, любое ренегатство. Герой рассказа, инженер Ананьев, так характеризует это «мышление»: «Тогда,—говорит он,—в конце семидесятых годов, оно начинало входить в моду у публики и потом, в начале восьмидесятых, стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше 26 лет, но я уж отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что все обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце... что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что все вздор и чепуха и что ну его все к черту!»

Инженер Ананьев, зрелый человек, с большим жизненным опытом, много думавший, хорошо понявший из собственной жизненной практики бесчеловечность этого «мышления», говорит студенту Штенбергу, соблазненному его ложной «красотой», о пагубности этих «идей» для жизни. В подтверждение он рассказывает эпизод из своей молодости, когда он тоже увлекался подобной «философией» и под ее влиянием совершил, по его словам, «зло, равносильное убийству».

Как-то он приехал на несколько дней в свой родной город, где вырос и учился, и встретился с молодой женщиной, которую знал еще гимназисткой 15—16 лет: ее звали тогда «Кисочкой», и он «был по уши влюблен» в нее в те годы. «Кисочка» сохранила и сейчас всю свою душевную прелесть и чистоту, но она глубоко несчастлива: как и многим другим тогдашним хорошим девушкам, ей пришлось выйти замуж в этом маленьком провинциальном городке за грубого, ничтожного человека, и вся ее жизнь стала несчастьем, она «как в яме», по ее словам. Она рада встрече с человеком из столицы, студентом, с другом юности, он для нее— воплощение всего передового, честного, умного, она смотрит на него с наивным обожанием, обращенным даже не столько к нему, собственно, сколько к тому хорошему, идейному, чистому, о чем она всегда мечтала. А у него на уме только адюльтер. И так как «нет ни правых, ни виноватых на этом свете», и все вообще «суета сует», то он считает вполне возможным в увлечении надавать «Кисочке» обещаний о том, что он «пойдет с ней на край света» и т. д. Для нее этот роман — переворот в жизни, смелый шаг разрыва с мужем, приобщение к разумной, светлой жизни. Он же, соблазнив «Кисочку», трусливо, как вор, садится в поезд, чтобы уехать из города. Но в вагоне, с наступлением ночи, когда он «один на один остался со своей совестью», перед ним встал образ обманутой женщины и он уже ясно осознавал себя убийцей. Чтобы заглушить муки совести, он прибегнул к своим привычным «спасительным» идеям, но на этот раз они не только не «помогли», а, наоборот, Ананьев впервые отдал себе отчет в их бесчеловечной сущности, в «ненормальности» всего этого «мышления». «Нормальное же мое мышление, как мне теперь кажется, началось только с того времени, когда я принялся за азбуку, то-есть, когда совесть погнала меня назад в N., и я, не мудрствуя лукаво, покаялся перед «Кисочкой», вымолил у нее, как мальчишка, прощение и поплакал вместе с ней...»

В бараке, в степи, на постройке железной дороги, где инженер Ананьев ночью рассказывает эту историю, находятся кроме него студент Штенберг и лицо, от имени которого автор ведет весь свой рассказ. Они много спорят между

собою на философские темы, однако — заканчивает рассказчик, уезжающий утром от своих собеседников, — «многое было сказано ночью, но я не увозил с собою ни одного решенного вопроса,и от всего разговора, теперь, утром, у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ «Кисочки».

Огни, — то ли из окон бараков, то ли еще из каких-то построек, светящиеся темной августовской ночью в степи, — играют важную поэтическую роль в рассказе. «Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью и о ней знали только огни, ночь и проволоки...» Инженеру кажется, что огни «похожи на человеческие мысли... Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то — далеко за старостью...»

«Ничего не разберешь на этом свете!» — думает рассказчик.

Да, ничего не разберешь на этом свете, если будешь пытаться только одними словами, рассуждениями, отвлеченными логическими схемами разгадывать тайну жизни, о которой знают «только огни», да ночь, да проволока телеграфа... Не слова сами по себе, а только такие слова, которые выражают самое жизнь, вытекают из нее, могут внушить те прочные убеждения, какие есть у Ананьева. А жизнь, подлинная жизнь, — вот она, в образе «Кисочки», с ее реальными страданиями и обманутыми мечтами! И если не студент Штенберг, то читатель убежден этим конкретным о б р а з о м, самою жизнью.

Пафос социального воспитания, столь явный в рассказе, несколько затушеван этим мотивом: «Ничего не разберешь на этом свете!» Быть может, Чехову казалось, что и его рассказ не «осветил», «не прояснил ночи», но несомненно, что всей своей поэтической сущностью рассказ прояснял темную ночь восьмидесятых годов, разоблачал все безобразие претендовавших на «красоту», а на деле, с простой человеческой точки зрения — в равной мере безнравственных и уродливых, реакционных идей, враждебных жизни.

Тайна жизни, зарытая, подобно кладам счастья, где-то глубоко под землей (рассказ «Счастье»), в сущности, проста, как все мудрое: это тайна человечности, красоты, когда «все в человеке прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». К этой чистой, прекрасной жизни, к будущему, достойному человека, тянутся все мысли множества русских людей, тянутся, как огни «куда-то к цели, по одной линии...»

Так, в итоге чеховских рассказов, у читателя оставались, как «на фильтре», с а м и о б р а з ы во всей их жизненной правде и силе,—образы, воспитывавшие в читателе чувство красоты: не той ложной красоты, которая якобы может существовать где-то в стороне от общественной морали, от социальной правды,— а красоты самой этой морали, самой правды. «Правда и красота правят миром» — в этих словах одного из чеховских героев (из рассказа «Студент») и выражался морально-эстетический кодекс Чехова: п р а в д а к р а с о т ы и к р а с о т а п р а в д ы.

Это и было той «высшей точкой зрения» художника, о которой говорил Горький, нежный и мудрый друг Чехова. В статье 1900 года (по поводу рассказа «В овраге») Горький писал: «Его (Чехова; В. Е.) упрекали в отсутствии миросозерцания... Нелепый упрек!» Горький подчеркивал, что Чехов «овладел своим представлением жизни» и освещает ее «с высшей точки зрения».

Чехов в высокой мере владел искусством разоблачения мнимой красоты, обнажения безобразия под покровом внешне «поэтичного» и обаятельного. Классический пример этого — образ Ариадны (из рассказа «Ариадна»), «очарование» которой прикрывало хищное паразитическое животное. В этом отношении Чехов, несомненно, являлся гениальным учеником Толстого. Вспомним, например, столь «поэтичную», безупречно, классически красивую Элен из «Войны и мира», жену Пьера Безухова: как зловеще обнажаются под этой маской глупость, хищничество, бездушие!

Но Чехов был художником поэтического у т в е р ж д е н и я в той же мере, как и художником разоблачения. В его произведениях отрицательным персонажам почти всегда противостоят персонажи, выражающие так или иначе позицию самого автора. Если гоголевским Чичиковым, Ноздревым, Плюшкиным противостоит лишь «невидимый» лирический образ правды и красоты, оттеняющий их безобразие, то чеховским «мертвым душам» непосредственно противостоят бесчисленные Кириловы, выступающие во многих и разнообразных вариантах. Зрелость, полновесность художественного утверждения сказывается и в полной ясности, продуманности, последовательности м о р а л ь н о - э с т е т и ч е с к о г о к р е д о чеховских положительных героев.

МОРАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ГЕРОЯ

Как никто другой в мировой литературе до Горького, Чехов явился вдохновенным поэтом труда. Все его творчество — светлая песня, мечта о труде творческом, утверждающем красоту и счастье родины. Только русская литература смогла поставить и решить эту тему, которой боялись даже самые гениальные художники других народов, не решаясь подойти к этой сложной и противоречивой, обоюдоострой теме в условиях классового общества. Русские писатели воспевали не трудолюбие мещанина, видящего в труде лишь средство борьбы за существование; для русского писателя труд является основой всего человеческого, всей морали и эстетики, и тема труда в нашей литературе была связана с мечтой о будущем, о труде сво-

бодном. В этих особенностях нашей литературы нашли выражение лучшие свойства русского национального характера, богатырское трудолюбие народа, его творческая одаренность. И не случайно, именно русская литература, устами Чехова и Горького, пропела торжественный гимн во славу труда!

Только труд, с точки зрения чеховских героев, создает человеческую красоту. Всевозможные Ариадны, Абогины и прочие внутренно некрасивы, прежде всего, именно потому, что они чужды и враждебны труду. Доктор Астров говорит о жене профессора Серебрякова, Елене Андреевне:

«Она прекрасна, спора нет, но... ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой — и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей, за нее работают другие. Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою».

Это говорит Астров, который чувствует, что он способен увлечься Еленой Андреевной. Астров, для которого, как и для всех других чеховских героев, такое огромное значение имеет красота. «Что меня еще захватывает, — говорит он о причинах своего увлечения Еленой Андреевной, — так это красота. Неравнодушен я к ней». Однако красоту Елены Андреевны он воспринимает, как неполноценную, порочную, он видит в ней нечто нечистое. «Мне кажется, что если бы вот Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день. Но ведь это не любовь, не привязанность...»

Ложная, нечистая «красота» не может внушить глубокого, подлинно-человеческого чувства! Красиво то, что служит творчеству, созиданию, движению вперед. Страстно влюбленный в красоту родной земли, в ее леса и сады, тоскующий оттого, что леса вырубают хищнически, не затем, чтобы на месте этих истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, встали заводы, фабрики, школы, — ненавидящий разрушение, всем сердцем преданный творчеству, — Астров, несмотря на свое увлечение Еленой Андреевной, угадывает в ней врага. Когда он делится с нею своими заветными, дорогими для него мыслями о необходимости бороться против разрушения красоты родной земли, — он вдруг прерывает свой взволнованный рассказ и говорит холодно: «Я по лицу вижу, что это вам неинтересно». И в ответ на ее реплику: «Но я в этом так мало понимаю», он подчеркивает: «И понимать тут нечего, просто неинтересно».

«Прекрасная» Елена Андреевна не способна даже «заинтересоваться» темой Астрова, темой красоты! Что же представляет собою ее «красота»? Не ясно ли, что и это, как у Абогина, у Ариадны и других, — в сущности, только профанация настоящей красоты! Потому-то и в самом «ухаживании» Астрова за Еленой Андреевной вдруг так ясно пробивается неуважительный, поезоительный оттенок, мало вяжущийся с обликом Астрова. Он хорошо понимает, что его роман с Еленой Андреевной мог бы быть, в сущности, лишь опошлением настоящего чувства, — потому-то и появляются в его обращении с ней даже какие-то фатовские интонации: «хищница милая, не смотрите на меня так, я старый воробей»... Он понял ее, и уже хорошо знает, что она — хищница, «красивый, пушистый хорек» — и ничего больше! И он прекрасно понимает, что других интонаций в ухаживании за Еленой Андреевной и не требуется. И в самом деле: несмотря на то, что ее как будто шокирует эта неожиданная презрительная интонация, все же, однако, она вполне поддается его ухаживанию! И если бы она не уехала со своим мужем, то ясно, что между нею и Астровым разыгрался бы «роман», который Астрову не дал бы ничего, кроме некоторого внутреннего разрушения — разрушения чего-то очень важного и красивого. И Астров даже рад ее отъезду.

«Да, уезжайте,—говорит он ей... (В раздумье.) Как будто бы вы и хороший, душевный человек, но как будто и что-то странное во всем вашем существе. Вот вы приехали сюда с мужем, и все, которые здесь работали, копошились, создавали что-то, должны были побросать свои дела и все лето заниматься только подагрой вашего мужа и вами. Оба — он и вы — заразили всех нас вашею праздностью. Я увлекся, целый месяц ничего не делал, а в это время люди болели... Итак, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение... и я убежден, что если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное».

Астров — творческая, поэтическая натура. Он окрылен мечтой о светлом будущем родины, страстной влюбленностью в труд, для него характерна глубокая преданность трудовому долгу. Астров—отнюдь не только «мечтатель»: нет, это настоящий работник, большого практического размаха; читатель и зритель угадывают в нем огромный, бьющий из каждой его жилки творческий талант и неутомимую энергию. Если обаяние Елены Андреевны рассеивается, как дым, и превращается в свою противоположность, в отвращение к пустой, внешней красоте, то обаяние Астрова исключительно глубокое и прочное.

Обаятельность героев мировой литературы зиждилась на различных морально-эстетических основаниях. Для Чехова ценность человека определяется прежде всего его отношением к труду. Разумеется, речь шла не просто о верности трудовому долгу, — кстати, столь характерной для чеховских героев, — или о стихийном, почти биологическом выполнении извечных трудовых процессов: подобные мотивы нередко встречались в мировой литературе. Речь шла о труде, внутренно протестующем против своего закрепощения, обессмысливания, разрушения творческого начала. Речь шла о труде, стремящемся служить созиданию, устремленном к завтрашнему дню родины, к таким формам ее жизни, при которых только и может полностью раскрыться благородная, глубоко человечная природа труда. Эта мечта выражена, в частности, в «Трех сестрах», — мечта о том времени, когда «будет работать каждый», будет поко-

чено с самим делением людей на трудящихся и паразитирующих.

Герои Чехова умеют находить чудесные слова для выражения своей влюбленности в труд. Вот, например, рассказывает инженер Ананьев:

«...тут недалече живет казенный лесничий Иван Александрыч. Хороший такой старичок. Когда-то он где-то был учителем, пописывал что-то; чорт его знает, кем он был, но только умница замечательная и по части философии собаку съел, читал он много и теперь постоянно читает. Ну-с, как-то недавно встретились мы с ним на Грузовском участке... А там как раз в это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, как не специалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному мастеру нужно меньше минуты; рабочие были в духе и работали действительно ловко и быстро, особенно один, подлец, необыкновенно ловко попадал молотком в головку гвоздя и вбивал его с одного размаха, а в рукоятке-то молотка, чуть ли не сажень, и каждый гвоздь фут длиной. Иван Александрыч долго глядел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: «Как жаль, что эти замечательные люди умрут!» Такой пессимизм я понимаю...»

Такой «пессимизм» хорошо понимал и Горький. Можно ли проще и человечнее сказать о красоте труда и трудовых людей!

Вся правда, весь смысл, все счастье жизни для чеховских героев заключены в труде. Поэтичность, обаятельность юной Ирины, одной из трех сестер, связана прежде всего с этой ее мечтой, и драма ее жизни, ее юности определяется крахом мечты. С детской непосредственностью, вызывающей нежность не только Чебутыкина, — «птица моя белая», — говорит он ей, — но и зрителя, и читателя, — Ирина рассказывает о своей мечте: «Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романыч, я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторг. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге...»

Однако мечта о творческом труде не осуществляется в жизни Ирины. Мы встречаем ее во втором действии разочарованной, повзрослевшей, усталой. «Чего она так хотела, о чем мечтала»,—именно этого и нет в ее работе. «Труд без поэзии, без мысли», — тоскует Ирина.

Тоска о труде, проникнутом поэзией, вдохновленном радостным сознанием его пользы для народа, свойственна всем любимым чеховским героям. Тоске по творческому труду посвящена повесть «Моя жизнь». Герой ее, потомок длинного интеллигентского рода, сын архитектора, глубоко чувствует всю н е и н т е л л и г е н т н о с т ь, автоматичность, бездушие того умственного труда, на который обречена была масса средней интеллигенции. Он порывает со своей средой, становится маляром и испытывает радость физического труда, с тем, однако, чтобы тут же со всею остротою ощутить и его горечь, придавленность, униженность. Да, нужно было «перевернуть всю жизнь» родины, как говорит один из чеховских героев («Невеста»), для того, чтобы восторжествовала радость труда! «Крепостного права нет,—говорит герой повести «Моя жизнь», выражая мысли Чехова,—зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей так же, как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным»... «нужно, чтобы сильные не порабощали слабых, чтобы меньшинство не было для большинства паразитом или насосом, высасывающим из него хронически лучшие соки...»

И герои чеховских произведений все яснее чувствуют, что то время, когда «будет работать каждый», не так уже далеко от них. Чем ближе к девяностым, а особенно к девятисотым годам, тем все сильнее и глубже звучит в творчестве Чехова мотив захватывающего предчувствия близости счастья, столь мощно выраженный в знаменитых словах, прозвучавших в «Трех сестрах».

«Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь двадцать пять—тридцать лет работать уже будет каждый человек — каждый!»

Художник, обладавший поразительной социальной чуткостью, русский демократ- «разночинец», Чехов смог сказать пророческие слова и вместе с великим «буревестником» — Горьким чувствовать дыхание надвигающейся бури!

Это предчувствие близости великой перемены составляет одну из глубоко своеобразных черт в облике чеховского героя.

Обостренное чувство красоты, столь присущее герою Чехова, вместе с тем является и столь же острым чувством п р а в д ы. Малейшая фальшь, отступление от правды заставляет чеховского героя страдать, как от физической боли.

«Тля ест траву, ржа — железо, а ложа — душу», — это постоянное присловье старика-маляра из повести «Моя жизнь» выражает главное в мыслях и чувствах всех любимых Чеховым героев его произведений. Больше всего ненавистна им ложь — во всем, в личной жизни, так же, как в общественной. Они умеют видеть ложь и там, где она выступает под маской правоты. Напомним только один, но зато поистине гениальный художественный штрих, равный по своей силе художественным штрихам Толстого. Гимназист Володя (рассказ «Володя»), страдающий за пошлость своей матери, когда-то богатой женщины, прокутившей состояние и играющей жалкую

роль приживалки у богатых родственников, слышит, как она рассказывает жильцам, соседям по квартире, таким же беднякам, как и она сама с ее сыном, о своей знатной родне.

«Ведь Лили Шумихина моя родственница..,— говорила она. — Ее покойный муж, генерал Шумихин, приходится кузеном моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольб...

— Maman, это неправда! — сказал раздраженно Володя. — Зачем лгать?

Он знал отлично, что maman говорит правду: в ее рассказе о генерале Шумихине и урожденной баронессе Кольб не было ни одного слова лжи. Но, тем не менее, все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем.

— Вы лжете! — повторил Володя и ударил кулаком по столу с такой силой, что задрожала вся посуда и у maman расплескался чай.—Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Все это ложь!»

И в самом деле, несмотря на то, что мать Володи рассказывает сущую правду, тем не менее, все то, что она говорит, это — ложь, потому что она умалчивает о главном: о том, в каком унизительном положении находится она в обществе генералов и баронесс; ложь— потому что в ее положении, стараться делать вид, что она продолжает жить всей этой богатой светской жизнью, «подделываться» под эту жизнь — значит еще больше унижать себя; ложь — потому, что вся ее жизненная позиция лжива, и ее хвастовство знатной родней, хотя оно и соответствует действительности, укрепляет ложь всей ее жизни. И Володя чувствует это всем своим существом. Мы видим здесь, в сущности, то же самое, что и в рассказе «Враги», в котором внешняя неправота Кирилова означает его внутреннюю правоту.

Это обостренное чувство правды и лжи, определившее значение русской литературы, как с о в е с т и ч е л о в е ч е с т в а, составляет одну из коренных черт чеховского героя

Точно так же беспощадны все любимые герои Чехова и к самим себе. Они не прощают себе никаких отступлений от своего морально-эстетического кодекса, совесть у них — не снисходительная, сговорчивая, покладистая совесть, подобная складному аршину, а беспощадная, чуждая каким бы то ни было сделкам и послаблениям. Характерно, что Чехов, для того, чтобы подчеркнуть эту беспощадность, избрал нарочито грубый образ сторожа Никиты из «Палаты № 6», жестокого, тяжелого человека, неумолимого в выполнении того, что кажется ему его долгом. «Совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его покалодеть от затылка до пят», — таков образ совести у Чехова. Это — та самая совесть, которая заставляет Астрова страдать при мысли о его умершем пациенте, Ананьева гонит в тот провинциальный городок, где он обидел «Кисочку», — это та самая совесть, которая не позволяет чеховским героям ни на минуту забыть об обездоленности трудовых масс, заставляет постоянно слышать их голос, как слышится он в завывании метели следователю Лыжину из рассказа «По делам службы»: «Мы идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу. Мы не знаем покоя, не знаем радостей, мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей... У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем...»

Беспредельно правдивый, трудовой русский человек, ненавидящий ложь, мракобесие, пошлость, влюбленный в человеческий разум, труд и науку, жадно рвущийся к завтрашней жизни, к торжеству правды и красоты — таков герой Чехова. Глубокий демократизм, высокая этическая требовательность, творческая одаренность, мечта о близком прекрасном будущем родины отличают его.

«КАК БОГАТА РОССИЯ ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ!»

«Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!» — писал Антон Павлович в письме к сестре М. П. Чеховой.

Свое глубокое убеждение в том, что его родина безгранично богата замечательными, одаренными людьми, Чехов сумел выразить всем своим творчеством.

В самом деле, какое множество образов хороших русских людей длинной вереницей развертывается перед нами в его произведениях! Доктор Астров и его приятель «дядя Ваня», этот большой ребенок, герой незаметного повседневного тяжелого труда, жертвующий всей своей жизнью, своим личным счастьем, даже не непосредственно для науки (одаренный человек, он сам, несомненно, мог бы быть полезным деятелем!), а для того, чтобы дать материальную возможность работать профессору Серебрякову, которого он — пусть ошибочно! — считал большим ученым. Соня, его безропотная помощница в самоотверженном труде. Учитель заводской школы (из рассказа «Учитель»), чахоточный, изможденный, умирающий человек, талантливейший педагог, вызывающий благодарное восхищение и всей среды своих товарищей, и учеников своим отношением к педагогической работе, как вдохновенному творчеству. Доктор Дымов, мужественный и сильный человек, чья душевная мягкость, деликатность лишь подчеркивают его железную волю, богатырскую неутомимость в труде. В отличие от Абогина, Дымов к р а с и в и глубоко человечен в своем горе: ему изменила жена, которую он любит со всею силою большой, цельной и чистой натуры. Жене Дымова, «попрыгунье», посвятившей всю свою жизнь поискам «интересного человека» и ничего не понявшей в Дымове, он представляется «молчаливым, безропотным, непонятным существом, обезличенным своею кротостью, бесхарактерным, слабым от излишней доброты». А когда он умирает, заразившись дифтеритом от мальчика, у которого высасывал через трубочку дифтеритную пленку, один из его коллег, врач Коростелев, говорит о нем: «Умирает, потому

что пожертвовал собой. Какая потеря для науки! — сказал он с горечью. — Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды подавал он всем нам! — продолжал Коростелев, ломая руки. — Господи боже мой, это был бы такой ученый, которого теперь с огнем не найдешь...

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то. — Добрая, чистая, любящая душа. Не человек — а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами...»

Жена Дымова не заметила, что тот «интересный человек», поисками которого она занималась всю свою жизнь, жил рядом с ней. Она проглядела, «пропрыгала» главное, не поняла красоты и силы Дымова, не сумела увидеть необыкновенное в обыкновенном.

Во всем облике Дымова читатель угадывает черты большого русского ученого, типа Сеченова, Мечникова, Пржевальского: «таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно» — писал Чехов. Он удивительно верно чувствовал национальный характер людей этого склада, повседневный героизм их исполинского труда, их беспредельную скромность, нравственную силу, несгибаемое упорство в достижении цели, благородную любовь к родине и народу. Создавая образ Дымова, Чехов вложил в него свое восхищение и преклонение перед типом русского ученого. Чехов и сам, по всему складу своего характера, своего художественного метода, своего исследовательского отношения к жизни и к работе художника, больше чем кто бы то ни было из писателей, приближался к типу русского ученого.

Образы «хороших русских людей» бесконечно разнообразны и богаты у Чехова. Родственен Дымову, но отличен от него ясно выраженной художественностью всей натуры, тем артистизмом, который так пленяет нас в Астрове, молодой ученый, химик, преподающий в средних учебных заведениях, — Ярцев (из повести «Три года»), с его влюбленностью в Россию, в русских людей, в талантливую русскую молодежь. Работая чуть ли не круглые сутки, Ярцев сохраняет свое постоянное радостное чувство восхищения одаренностью, внутренним богатством русского народа. Он так говорит об этом Лаптеву:

«...как богата разнообразная русская жизнь. Ах, как богата! Знаете, я с каждым днем все более убеждаюсь, что мы живем накануне величайшего торжества и мне хотелось бы дожить, чтобы самому участвовать».

Ярцева радует молодежь.

«Хотите верьте, хотите нет, но, по-моему, подрастает теперь замечательное поколение. Когда я занимаюсь с детьми, особенно с девочками, то испытываю наслаждение. Чудесное поколение!

Ярцев подошел к роялю и взял аккорд. — Я — химик, мыслю химически и умру химиком. — Но я жаден, я боюсь, что умру ненасытившись, и мне мало одной химии, я хватаюсь за русскую историю, историю искусств, педагогию, музыку! Как-то летом ваша жена сказала, чтобы я написал историческую пьесу, и теперь мне хочется писать, писать... Я вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто хочется жить, мечтать, надеяться...»

За русскую историю Ярцева заставляет «хвататься» его страстная влюбленность во все русское. Он мечтает написать пьесу из русской истории, потому что, как говорит он своему другу, Косте — «в России все необыкновенно талантливо, даровито и интересно». И Ярцев, и его друг Костя, интеллигент из разночинцев, «кухаркин сын», — оба они беспредельно любят родину. «И Ярцев, и Костя родились в Москве и обожали ее. Они были убеждены, что Москва замечательный город, а Россия — замечательная страна... свою серенькую московскую погоду они находили самой приятной и здоровой».

Чеховские герои вовсе не думают о своей славе, о том, что они сделают нечто «особенное» или «великое»: их влечет творчество, радость труда.

Богатейшие источники одаренных, «хороших русских людей» Чехов видел в народе. Стремление к правде во что бы то ни стало он считал самым характерным свойством русского человека из народа. Известно, что Чехов был чужд какой бы то ни было идеализации тогдашней деревенской жизни, и вся горькая правда этой жизни, с ее нищетой, пьянством с горя, дикостью, зверской разнузданностью кулачья встает перед нами со страниц таких произведений, как «Мужики», «Новая дача», «В овраге» и др. Но тем сильнее проступало в чеховских картинах деревни преобладавшее надо всем, прокладывавшее себе дорогу сквозь тьму могучее стремление русского человека к правде. Сколько образов чистоты, душевной прелести видел Чехов в русском крестьянстве! Достаточно вспомнить обаятельные образы Липы и ее матери из рассказа «В овраге», объездчиков из повести «Степь», старика Родиона из «Новой дачи», плотника Костыля («В овраге»), о котором Горький писал, что это—«человек мудрый и милый, как малое дитя». «Кто трудится, кто терпит, тот и старше», — говорит он, высказывая в этой наивной форме заветную мысль самого Чехова.

Чехов гордился тем, что и он сам, и его герои— простые трудовые люди. Кирилов говорит от имени «всех вообще рабочих» Вспомним также чудесный образ Полины Николаевны, преподавательницы музыки (из повести «Три года») и ее гордые слова: — «У рабочего класса, к которому я принадлежу, есть одна привилегия: сознание своей неподкупности.

право не одолжаться у купчишек и презирать. Нет-с, меня не купите!»

Быть может, ни в чем другом не проявлялась с такой силой поэзия чеховского творчества, как в многочисленных женских образах. О Чехове можно сказать словами одного из его писем, что в его произведениях «живут души прекрасных женщин». Русская литература славится своими женскими образами. И, в самом деле, только она подняла женщину на такую высоту, создав женские образы поразительной душевной силы, цельности и вместе с тем женственной грации, нежности, простоты. Недаром всему человечеству дороги тургеневские женщины, некрасовские женщины! С таким же основанием можно говорить о чеховских женщинах.

Они мечтают о подвиге, жизнь кажется им оправданной только тогда, когда она отдана самоотверженному служению правде. В душе каждой из них — отблеск прекрасного будущего родины, к которому они стремятся. Их голоса музыкальны, их внешние и душевные движения изящны, безупречны. Они полны доброты, тонкого и чуткого внимания к людям, они в высокой мере владеют тем даром понимания, который является признаком творческих натур. Соня из «Дяди Вани», или Липа из рассказа «В овраге», или Ольга из рассказа «Мужики», — все они отличаются тем, что к ним не пристает грязь или пошлость окружающей жизни, и души их остаются чистыми. Недаром образ «белой птицы», чайки, порыва, стремления в прекрасную даль жизни символизирует отношение Чехова к русской женщине, к русской девушке.

И почему так любит наш современник чеховских «трех сестер»? И не только тех сестер, а и их «четвертую сестру» Аню из «Вишневого сада», и «пятую сестру» Надю из рассказа «Невеста», порывающую с мещанской средой, чтобы примкнуть к борьбе за светлое будущее родины, и Мисюсь из «Дома с мезонином», и Верочку из рассказа, названного ее именем, мечтающую, подобно Наде, скорее, немедленно примкнуть к тому миру, «где страдают и борются», к миру «больших своих домов, где ожесточены трудом и нуждой», — и многих, многих других!

Пусть иные из них ошибались во многом, а иные, как Надя, Аня, находили верные пути,— но ведь в каждой из них мы чувствуем порыв чайки — сюда, к нам, в нашу сегодняшнюю жизнь, и узнаём прекрасную душу русской женщины!

ГЕРОЙ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Образы чеховских героев отличаются тем, что в каждом из них мы ясно видим не только отдельного человека, но и всю его среду, большие социальные массивы, стоящие за каждым, целые пласты самой жизни.

Современная Чехову критика остро ощущала эту особенность его творчества, но не могла ни правильно определить ее, ни понять всю ее значительность и плодотворность. Так, например, один из критиков заявлял, что «Чехов — первый и последний русский писатель, у которого нет героев». Критик подчеркивал, что «трудно найти писателя, до такой степени согласованного со своей эпохой и средой, из которой он вышел, как Чехов. Его имя может стать нарицательным для обозначения если не всей России, то русского интеллигентного слоя конца XIX века и первых годов XX века».

Здесь неправильные формулировки смешаны с верными наблюдениями, критик ощупью подходит к своеобразию чеховского стиля, но не может «схватить» главное и дать ему определение.

Неверно, конечно, что Чехов — «первый и последний русский писатель, у которого нет героев». Чехов выделяется как раз исключительным обилием героев, глубоко индивидуализированных и отличных друг от друга! Сказать, что у Чехова «нет героев», значит грубо исказить Чехова.

Верно другое: у него нет такого героя, который был бы взят изолированно от своей среды или в противопоставлении ей. Героем Чехова была сама объективная действительность, сама жизнь страны, частицами которой являлись его персонажи.

Герой и среда — так стояла проблема во всей мировой художественной прозе. Сама среда, сама жизнь, и герой, как одно из ее проявлений, — так поставил Чехов эстетическую проблему социального и личного, массового и индивидуального. Если ограничить сравнение героев Чехова с их предшественниками пределами русской литературы, то мы не сможем не отметить, что ни Чацкий, ни Евгений Онегин, ни Печорин, ни Бельтов, ни Рудин, ни Левин, ни князь Нехлюдов, ни Рахметов еще не могли являться массовыми персонажами, отличающимися непосредственной типичностью.

Положительный герой прошлой русской литературы неизбежно вступал в конфликт со своей, непосредственно окружавшей его, узкой, маленькой социальной средой, отталкивался от нее. Отталкивание от своей непосредственной среды и давало ему возможность явиться широким типическим обобщением многих лучших свойств передового русского человека, русского национального характера. С точки зрения той среды, к которой герои прошлой литературы принадлежали по рождению, все они были исключительными, необычными людьми, по меньшей мере «странными». Вместе с тем, ни у Печорина, ни у Чацкого, ни у Рудина, разумеется, не могло быть и каких бы то ни было прямых связей с народной массой.

В эпоху Чехова для понимания невозможности жить по-старому, для понимания необходимости «перевернуть всю жизнь» страны уже не требовалось переживать трагедии «горя от ума». Все больше расширялась та демократическая среда, в которой голос завтрашнего дня уже звучал, как всеобщий, и по самим

чеховским произведениям мы можем ясно судить, насколько всё более распространенным, слышным повсюду, становился голос новой, завтрашней России. Не столько отдельная личность конфликтовала со средой в чеховских произведениях, сколько уже сама «среда», в сущности, вся Россия, вступала в решающий конфликт с враждебными ей формами жизни. И вся атмосфера чеховских произведений была атмосферой ожидания, предчувствия близкого великого торжества родины.

В этом смысле, действительно, можно сказать, что трудно найти писателя, до такой степени «согласованного» со своей эпохой и средой, как Чехов.

Для самого Чехова эти отличия его стиля были вполне осознанными и он упорно разрабатывал и совершенствовал свои приемы изображения жизни. В одном из писем к Горькому Чехов настаивает на том, что в рассказах фигуры не должны «стоять особнячком, вне массы», и хвалит крымские рассказы Горького именно за то, что в них «кроме фигур чувствуется и человеческая масса, из которой они вышли, и воздух, и дальний план, одним словом всё».

Даже в самых маленьких чеховских рассказах всегда чувствуется м а с с а, из которой вышел тот или другой персонаж, виден поток жизни, движение которого он выражает.

Характерно в этой связи и представление Чехова об отношениях художника и действительности. Никто из писателей до Чехова не мог бы так сказать о самом себе: «Я... верую в то, что каждый из нас (современных ему писателей; В. Е.) не будет «ни слоном среди нас» и никаким-либо другим зверем, и что мы можем взять усилиями целого поколения, — не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Т., не К., не Щ., не Б., не Б., а «восьмидесятые годы», или «конец девятнадцатого столетия».

«НЕЗАМЕТНАЯ» КРАСОТА

Среди героев Чехова нет «слонов и никаких-либо других зверей» — это обыкновенные люди. Одним из краеугольных камней чеховской эстетики и являлось умение найти к р а с о т у о б ы к н о в е н н о г о, ту «незаметную», будничную красоту, мимо которой прошла, не поняв ее, «попрыгунья». В одном из писем Чехов писал: «Вы и я любим обыкновенных людей»...

Этот эстетический принцип — скрытость красоты в «незаметном» и повседневном, тоже выражал глубокое убеждение Чехова в богатстве, разнообразии, талантливости множества рядовых русских людей, — подлинной, а не тогдашней «официальной» России. Принцип этот свидетельствовал о глубокой демократичности чеховского творчества, так возвышавшего бесчисленное множество «маленьких людей», подобных, например, сельской учительнице из рассказа «На подводе», с ее бесконечно тяжелой, беспросветной жизнью в глухом селе, унизительной зависимостью от кулачья, от тупого и наглого «начальства», с ее одиночеством, нуждой, обманутыми мечтами и повседневным подвижническим трудом.

Удача и счастье исторической встречи Чехова с Художественным театром и заключались в том, что этот театр понял особенности чеховской эстетики, проникновенно разгадал один из ее коренных принципов: скрытость красоты в обыденном. Замечательные художники К. С. Станиславский и В. И Немирович-Данченко перевели этот принцип на театральный язык введенным ими новым понятием п о д т е к с т а, или п о д в о д н о г о т е ч е н и я. Это и означало умение раскрыть красоту обыденного, «массового», увидеть эту «незаметную» красоту за всеми словами, внешними движениями и поступками. Тем самым русская литература и русский театр невиданно обогащали и углубляли художественное изображение жизни.

Чеховский принцип «массовости» слился с тем важнейшим принципом Художественного театра, над осуществлением которого так усердно работали К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко — с их принципом а н с а м б л я. Он сводится к тому, что любая роль в спектакле, даже состоящая всего из нескольких слов, не может рассматриваться как «второстепенная», а является полноценным художественным образом, со своим глубоким «подтекстом», со своим «подводным течением». В этом сказывался, в конечном итоге, тот же демократизм, то же чуткое внимание к рядовому, «маленькому человеку», то же уменье раскрыть значительность обыденного. Лишь при соблюдении принципа «ансамбля», «массовости» театр и может рисовать движение самой жизни, а не только создавать отдельные яркие сценические образы.

Мы можем справедливо гордиться нашим национальным театром, так глубоко понявшим гений национального писателя: и Художественный театр, и Чехов выразили в своей эстетике глубочайшие особенности русского характера, с его сдержанной, скрытой силой и красотой, столь похожей на скромную и прекрасную русскую природу.

САТИРА

Стиль Чехова чужд приемам гиперболизации, художественного преувеличения. И в изображении своих положительных героев, и в изображении отрицательных персонажей, и в своей сатире Чехов остается верен тому, что мы назвали непосредственной типичностью.

Образы мировой литературы, построенные по принципу художественного преувеличения, разумеется, представляли собою, несмотря на свою гиперболическую «исключительность», широкое типическое обобщение. Такая, например, гигантская гипербола, как образ Дон-Кихота, имела величайшее типическое значение. Дон-Кихот «типичен» и как воплощение благородства мечтаний о возвышенном служении добру, истине, справедливости, и как воплощение наивного непонимания практической, реальной жизни, поекоасподушия, не умеющего и не желающе-

го считаться с действительным ходом жизни. Но совершенно ясно, что образ Дон-Кихота никак не мог отличаться непосредственной типичностью. В его основе лежит исключительное усиление всех тех «дон-кихотских» тенденций, штрихов, черточек, которые разбросаны в жизни. Дон-Кихот — полупомешанный, повредивший рассудок чтением устарелых рыцарских романов; уже одно это делало весь его облик исключительным, резко противостоящим всему окружающему.

По принципу гиперболизации был создан целый ряд крупнейших литературных образов, в том числе «злодеев» Шекспира. В соответствии с этим принципом были созданы «Мертвые души».

И Плюшкин, и Коробочка, и Ноздрев, и Собакевич — все они являются как бы гигантскими масками, обозначающими реальное зло жизни, но взятое, если применить термин кино, в «крупном плане».

Чехов не «преувеличивает», не гиперболизирует, он заботится прежде всего о сохранении реальных жизненных пропорций. Поэтому и его «человек в футляре» не нависает зловещей маской над действительностью, подобно гоголевским персонажам; он не выступает перед читателем «крупным планом», а является лишь одной из фигур на экране жизни (кстати сказать, именно поэтому интересный кинофильм «Человек в футляре» все же неверен, учитель Беликов представлен в нем в соответствии с гоголевскими, а не чеховскими художественными принципами: в фильме он встает над всем окружающим, дан именно «крупным планом»).

Замечательная характерная черта чеховской сатиры заключена была в том, что объекты этой сатиры п р о т и в о п о с т а в л е н ы самому реальному ходу жизни, в отличие от положительных героев.

Наиболее характерные сатирические образы Чехова — унтер Пришибеев и учитель Беликов, отличаются нелепым стремлением «запретить...» самую жизнь! Оба они боятся жизни: «как бы чего не вышло!» — опасаются и тот, и другой. Пришибеев запрещает всей деревне петь песни, сидеть по вечерам с огнем, вмешивается во всё, стремясь «пресечь» любое проявление жизни. «Запрещать» и «пресекать» — никаких других отношений к действительности у Пришибеева нет! Все его поведение определяется исчерпывающей формулой: «где это в законе написано, чтоб народу волю давать?» Нужно сказать, что в тогдашнем законе это, и в самом деле, не было «написано». Потому-то и законы эти шли против самой жизни, были беззаконием...

Учитель Беликов тоже мечтал «пресечь» жизнь. Он боялся всего нового, потому что в новом и проявлялось ярче всего движение жизни, столь страшное для него.

И Пришибеев, и Беликов смешны прежде всего именно своим нелепым стремлением п р о т и в о с т о я т ь ж и з н и.

Конечно, Пришибеевы и Беликовы были не только смешны: в этих фигурах было и страшное, зловещее. И опирались они на бывшие тогда еще достаточно мощными темные силы реакции и мракобесия. И все же, по сравнению с подлинной жизнью, с силой будущего, голос которого всегда умел слышать Чехов, Пришибеевы и Беликовы были смешны и жалки!

Вспомним художественную атмосферу рассказа «Человек в футляре». В ней ясно ощущалось дыхание свежего ветра жизни, отнюдь не «попутного» для всех и всяких Беликовых. Все окружение Беликова, вся жизнь противоречит ему, враждует с ним. Уже самое сопоставление слабого, хилого «человека в футляре» с братом и сестрой Коваленко, от которых, особенно от Вареньки, так и брызжет непосредственностью и свежестью самой жизни, подчеркивало, что Беликовы, как говорится, «не жильцы» на этом свете! Повенчать Беликова с Варенькой — действительно, только в мозгу уездных дам могла зародиться от безделья такая дикая мысль, равносильная попытке повенчать мертвого с живым! Беликов внутренне мертв, он как бы живет в гробу, и смерть его воспринимается всеми окружающими с облегчением, потому что именно смерть, а не жизнь е с т е с т в е н н а для Беликова!

Смерть одного маленького Беликова еще отнюдь не означала конца б е л и к о в щ и н ы. Чехов особенно подчеркивает это. Рассказав историю сватовства Беликова, его смерти и похорон, рассказчик, учитель Буркин, коллега Беликова по гимназии, заключает:

«Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла попрежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне, не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!»

Но и самое это подчеркивание, что дело не в жалком и маленьком Беликове самом по себе, а в действительности, порождавшей Беликовых, — еще глубже обнаруживает сущность чеховского художественного метода. Как ни сильна была еще действительность, представленная «человеком в футляре», все же она была хилой по сравнению с подлинной жизнью! Напечатанный в 1898 году рассказ был овеян тем предутренним ветром, дыхание которого с такою мощью дало себя знать в пророческих словах Чехова о близкой очистительной буре. И недаром так силен страх Беликова перед жизнью!

Так, смеясь над Беликовыми и Пришибеевыми, поэзия Чехова утверждала жизнь!

Ясно, что у гоголевской сатиры не могло быть таких возможностей утверждения жизни. И поэтому знаменитый «смех сквозь невидимые миру слезы» был столь трагическим.

Чеховская сатира определялась иной исторической действительностью, и позиция художника по отношению к современной ему действительности была такова, что она не мешала ему улавливать ее тенденции. Чехов был свободен от каких бы то ни было

субъективистских предвзятых схем, реакционно-утопических влияний, которые могли бы итти вразрез с объективным ходом жизни и с правдой его художественных образов. Его творчество было по-пушкински целиком открыто для будущего, для жизни со всей ее реальностью, и его субъективные, его личные взгляды совпадали с его объективной поэтической правдой. В этом сказалось, конечно, исторически прогрессивное, материалистическое мировоззрение Чехова. И когда иные его современники обвиняли его в «объективизме», то на деле это обозначало или непонимание существа чеховского творчества, или же, как это было у субъективистских идеологов, вроде Михайловского, стремление привязать художника к своим отсталым взглядам, противоречившим жизни.

Горький прекрасно раскрыл сущность чеховской «объективности»: он видел ее в том, что все поступки, мысли, чувства, характеры своих героев, и хороших и плохих, Чехов выводит из объективной действительности, из самой жизни, из «обстановки», воспитывающей людей. Потому-то, считал Горький, выводом из чеховских произведений и являлась мысль о необходимости изменения самой действительности, порождавшей и «воспитывавшей» столько плохого, мешавшей проявлению лучших свойств народа.

Осветить так жизненное явление — писал Горький (в уже упомянутой статье) — это значит приложить к нему меру высшей справедливости. Чехову это доступно, и за это его глубоко человечный объективизм называли бездушным и холодным».

Так Горький определил те особенности художественного метода Чехова, благодаря которым сама жизнь была главным героем чеховских произведений!

ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА ЧЕХОВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В главе, посвященной той жесткой критике, которой подвергал Чехов своих героев, мы увидим, что острие этой критики было направлено, прежде всего, против недостаточности действенного, активного начала у многих из них, против неумения упорно и систематически бороться за свои идеалы. Чехов прекрасно чувствовал, что русский народ уже выдвинул могучие силы, умеющие практически бороться за светлое будущее родины. Чехов восторженно приветствовал образ нового, передового русского человека в лице рабочего-революционера Нила, героя пьесы Горького «Мещане». Он писал Горькому, что Нил «сильно сделан, чрезвычайно интересен!», и советовал «роль Нила, чудесную роль, сделать вдвое-втрое длинней, ею нужно закончить пьесу, сделать ее главной».

Чехов хотел, чтобы и хорошие, честные люди из трудовой русской интеллигенции отличались такою же активной социальной волей, цельностью, силой, какие свойственны были Нилу. Чехов чувствовал «главную роль» в жизни людей, подобных Нилу, сынов многомиллионной русской демократии. Но воплотить конкретные образы новых героев русской жизни смог только Горький — художник, непосредственно связанный с практической борьбой за счастье и свободу родины, с революционным движением русского рабочего класса. Ясно, что новый герой потребовал новых изобразительных средств, новых красок, каких не было на чеховской палитре.

Художественный метод Чехова представляет собою непосредственный творческий интерес для советской литературы, прежде всего, с точки зрения решения эстетических проблем массового и индивидуального, изображения «друзей» и «врагов», умения выразить в произведении самый ход жизни — так, чтобы за героем чувствовалась «вся масса, из которой он вышел», сама жизнь страны — «и воздух, и дальний план, одним словом, всё».

У Чехова можно поучиться его великому чувству меры, реальных жизненных пропорций, его уменью поставить враждебных персонажей в такие отношения с жизнью, при которых не затушевывались ни их субъективность, внутренние мотивы их поведения, ни их подлинная опасность, и вместе с тем утверждалась грозная для них сила жизни. Советский писатель опирается на объективную действительность, целиком служащую утверждению правды и красоты. Тем большие открыты перед ним возможности поэтического утверждения жизни! Враги, отрицательные персонажи не могут представиться советскому писателю в виде гиперболических масок, нависающих над жизнью. Советский художник хорошо знает, что «мертвые души» врагов бессильны перед законами жизни, он видит страх всех врагов победоносного советского народа перед грозной для них действительностью.

Советский художник знает, что могучая творческая активность советского народа, его субъективная воля «согласована» с научно познанными законами объективной действительности, в то время как преступная воля врагов советского народа противостоит этим законам, стремится повернуть жизнь вспять!

У советского писателя нет также оснований для гиперболического изображения положительного героя, конфликтующего со своей средой. Герой-«одиночка», отделенный от массы, не может быть героем новой литературы. Наш художник опирается на огромную, многомиллионную среду, в сознании и чувствах которой советский социалистический строй пустил глубочайшие корни, прочно вошел в повседневный быт миллионов людей. И если в нашей действительности и могут происходить те или иные конфликты между передовым советским человеком и его непосредственным окружением, как это было изображено, например, в романе Ю. Крымова «Танкер Дербент», в котором новатор-стахановец вступает в кон-

фликт с бюрократизмом и косностью заводского руководства, то ведь этот передовой человек опирается на весь народ, на государственную систему, поддерживающую новаторов! Ценность романа Ю. Крымова, одного из тех советских писателей, для которых чеховская традиция является наиболее близкой, и заключена была в том, что герой романа представлен, как один из многих советских людей; за ним видна вся наша действительность, порождающая и воспитывающая людей творческого труда. Крымов сумел раскрыть красоту повседневного, необыкновенность обыкновенного (кстати, и сам герой его романа близок по складу характера Дымову из «Попрыгуньи», да и отношения его с женой, которая сначала тоже не разгадала красоты и силы его личности, похожи на отношения Дымова с «попрыгуньей»)...

Чеховское уменье обнаружить красоту обычного, внутреннюю силу множества «маленьких», рядовых русских людей, чеховский жадный интерес и чуткое внимание к каждой отдельной человеческой личности, — все это близко и дорого советскому писателю.

В нашей жизни героизм стал массовым и, конечно, стиль нового искусства — героический стиль. И как раз для раскрытия массового, повседневного характера героизма, присущего нашей жизни, эстетика Чехова сохраняет все свое живое значение!

«ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ РУССКИЙ»

За множеством обычных людей, любовно изображенных Чеховым, читатель разгадывал облик самого художника. Чехов считал себя обыкновенным русским человеком, он вобрал в себя множество лучших свойств, прекраснейших черт русского национального характера, растворенных в рядовых русских людях. Горький рассказал в своих воспоминаниях, что Л. Н. Толстой, отношение которого к Антону Павловичу, по словам Горького, было отношением нежной влюбленности, сказал Чехову: «Вот вы — русский! Да, очень, очень русский». «И — рассказывает Горький — ласково улыбаясь, обнял Антона Павловича за плечи».

Русское представление о красоте и правде, русская сдержанная сила, своею затаенностью так часто обманывавшая самоуверенных врагов, скромность и простота отразились в Чехове с классической ясностью и глубиной.

«Во всех его действиях, особенно в его произведениях, — говорит один из современников Чехова, писатель П. Сергеенко, — так и просвечивается молодая душа русского народа, с ее поэзией и юмором... Чехов и с внешней стороны являл типичный образ русского крестьянина. В редкой деревне не встретишь крестьянина, похожего на Чехова, с чеховским выражением лица, с чеховской улыбкой. В редкой деревне нет своего Чехова в черновом виде... Чехов настолько типичен, как сын народа, что, исключивши его народность, нельзя совершенно понять его ни как писателя, ни как человека.

У Чехова и наклонности были чисто-русские, деревенские. Он любил простых людей, простоту в отношениях, простоту в искусстве».

Этот русский народный образ Чехова был очень прочным в сознании самых разных по своим убеждениям, характерам, вкусам современников Чехова.

«В лице Чехова, — писал В. Г. Короленко,— несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня».

«Было в нем, — вспоминает А. Куприн, — что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное, — в лице, говоре, в оборотах речи».

И когда критика отмечала, что имя Чехова может быть «нарицательным для России», она тоже имела в виду прежде всего эту сосредоточенность в облике Чехова коренных свойств русского человека. В их числе одним из наиболее глубоких было чувство безграничной любви к родине. Чехову свойственна была страстная до стыдливости любовь к своему народу. Очень характерна для него строгость, глубокая ответственность в выражении этого бьющего из каждой его строчки патриотического чувства. Например, изображая в рассказе «Жена» неприятного ему человека, бестактного, с тяжелым характером, Чехов в первом напечатанном варианте рассказа наделил этого героя своим чувством любви к родине, но затем существенно сократил соответствующее место в рассказе. Герой рассказа проезжает в санях по деревне, которую постиг страшный голод, и вдруг его пронизывает чувство несокрушимой мощи, величия русского народа. (Рассказ ведется от его имени).

«Глядя на улыбающегося мужика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понимал теперь, что нет такого бедствия, которое могло бы победить этих великодушных людей, мне казалось, что в воздухе уже пахнет победой, я гордился, и я готов был крикнуть им, что я тоже русский, одной крови, одной души с ними». И именно эти, самые дорогие Чехову слова: «что я тоже русский, что я одной крови и одной души с ними», были впоследствии изъяты автором. Герой рассказа не соответствовал этим словам, не был достоин их. «Бог дал мне здоровый, сильный русский мозг с задатками таланта», — говорит инженер Ананьев, выражая представление Чехова об обыкновенном русском человеке. Герой рассказа «Жена» не подходил к этому представлению.

Чехов гордился русской культурой и искусством. После посещения в Париже выставки картин, он пишет в одном из писем: «Русские художники гораздо серьезнее французских... В сравнении со здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан король».

Он мог бы сказать о себе словами своего героя (из рассказа «На пути»): «Я любил рус-

смрад злобной зависти, звериной ненависти, глупой прусской спеси и, «воспитав» из немцев народ мучителей, обрушила всю свою дикую злобу, вместе со всей техникой ограбленной Европы, на нашу родину, чтобы раздавить нас, уничтожить народы великой страны.

«И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!» (Сталин).

Миллионы русских людей, в могучей боевой дружбе с братскими народами, доказали, что, в самом деле «нет такого бедствия, которое могло бы победить этих великодушных людей». В богатырском усилии страна выдержала бешеный натиск врагов, разгромила их главные силы и гонит их прочь, в их темное логово, в могилу. И — «в воздухе уже пахнет победой!»

Только гитлеровцы, носители смерти, чуждые жизни, не понимающие ее законов, могли тешиться мыслью о возможности победить этот народ! Он столетиями вынашивал благородную мечту и осуществил ее. Непобедимым было его стремление к правде. Дети, подрастая, слушали мудрые сказки о правде и кривде и учились любить правду и ненавидеть ложь, которая «ест душу», как «тля—траву, а ржа—железо». Нельзя победить народ, добившийся торжества своей правды! Нельзя победить народ, чьи вожди носят имена: Ленин и Сталин! Нельзя победить народ, порождающий таких светлых, мудрых сыновей, как Антон Павлович Чехов.

Этот народ отстоит свой «вишневый сад» и насадит новые сады на месте погубленных, разрушенных врагами.

И небывало прекрасной будет жизнь около этих прекрасных деревьев, на этой священной земле!

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО А. П. ЧЕХОВА

В 1904 году, весной, я жил в Москве в Леонтьевском переулке. Узнав, что рядом со мной поселился Чехов, я послал ему рукопись моей поэмы «Прокаженный», с просьбой дать о ней отзыв. Ответ был получен через несколько дней.

Борис Садовской.

Многоуважаемый Борис Александрович!

Возвращаю Вашу поэму. Мне лично кажется, что по форме она превосходна, но ведь стихи — не моя стихия: я в них понимаю мало.

Что касается содержания, то в нем не чувствуется убежденности. Например, Ваш Прокаженный говорит:

Стою изысканно одетый,
Не смея выглянуть в окно.

Непонятно, для чего прокаженному понадобился изысканный костюм и почему он не смеет выглянуть?

Вообще в поступках Вашего героя часто отсутствует логика, тогда как в искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает.

Желаю Вам всего хорошего.

А. Чехов.

28 мая.

„ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ“

А. МАКАРОВ

★

Борьба народных масс под руководством Ем. Пугачева в 1773—1775 гг. оставила глубокие следы в русской истории. Пугачев фигура столь же поэтическая, как и Разин, но еще более значительная и глубокая. Крестьянская война под его руководством, несмотря на ее неудачу, была прогрессивным явлением. Она подрывала феодально-крепостнический строй. Она была ярким свидетельством внутреннего развития народа, его нераскрытых возможностей, а по справедливому замечанию Белинского — это есть несомненный признак жизненности народа.

До сих пор ни в специально исторической, ни в художественной литературе мы не имели полной и исторически правдивой картины этого знаменательного события.

Великий Пушкин гениальными штрихами набросал сложный художественный портрет Пугачева в «Капитанской дочке» и как внимательный историк попытался беспристрастно познать причины и характер движения в своей «Истории Пугачевского бунта». Но выяснить до конца «довольно запутанные происшествия», по свидетельству самого поэта, он не смог «по независящим обстоятельствам». Остальные же литераторы XIX века с легкой руки мемуаристов-дворян XVIII века рисовали великого народного бунтаря, как разбойника. «Пугачевцы» Е. Салиаса и «Черный год» Г. Данилевского изображали «пугачевщину» с крайних реакционных позиций, пошло и поверхностно. Этими своими произведениями Салиас и Данилевский лишний раз подтвердили остроумное замечание Ковалевского о таких литераторах: — Русские Вальтер Скотты очень плохо знают историю; исключение представляет граф Салиас: он совсем не знает истории. Да и всем последующим писателям, обращавшимся к Пугачеву, в досоветское и советское время, нехватало не только знания, но и чувства истории, умения проникнуть в неповторимое своеобразие эпохи.

Товарищ Сталин указывал, что большевики всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев. «Мы видели, — говорил он, — в выступлениях этих людей отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнета». Этот интерес возрастает среди народных масс Советского Союза с ростом и укреплением мощи нашего государства. Народ хочет знать свою историю, в ней он находит подтверждение своего великого назначения, в героическом прошлом стремится почерпнуть вдохновляющие примеры. Пугачевское движение по своему размаху превосходит все крестьянские восстания в нашей истории и, следовательно, с наибольшей мощью свидетельствует о силах и устремлениях народных. В нем также впервые ясно выражена тенденция разноплеменных народов России выступать сомкнутым и единым фронтом против общего врага.

Необходим был писатель, который не только желал бы откликнуться на требование времени, но и оказался бы способным взяться за разрешение столь трудной задачи. Таким писателем оказался Вячеслав Шишков. В нем счастливо сочетались все творческие возможности для освоения этой темы: он чувствует историю, мастерски изображает широкие народные картины, обладает искусством проникновения в историческую психологию крестьянских масс, свободно чувствует себя в стихии народного языка и глубоко понимает национальные черты русского народа.

Развитию этих данных, во многом определяющих писательское лицо Шишкова, в свое время способствовало его долголетнее общение с разноликим населением Сибири, в глухих уголках которой вплоть до революции сохранялся чуть ли не допетровский жизненный уклад.

Как-то Добролюбов писал, что для исторического романа необходимо, чтобы эпоха, описываемая в нем, была представлена совершенно верно, чтобы угадан был самый дух событий, чтобы писатель судил своих героев не по понятиям своего века, а по их времени, чтобы он смотрел их глазами, жил их жизнью, рассуждал сообразно с их умственным развитием. В нашем понятии в историческом романе, кроме верности эпохе, обязательно ощущение исторической связи изображаемой эпохи с современ-

ностью, с нашей жизнью. Художник должен не только уметь вообразить эпоху, но одновременно, «рассуждая сообразно умственному развитию своих героев», оставаться сыном современности и уметь разглядеть в воссоздаваемой им эпохе те тенденции, которые подготовили и сделали неизбежным рождение нового характера социальных отношений, остановить свое внимание на тех явлениях народной жизни, на тех чертах национального характера, которым предстоит развиться в будущем.

В «историческом повествовании» Вячеслава Шишкова «Емельян Пугачев» чрезвычайно широкое изображение эпохи сочетается с правильным представлением об историческом процессе.

Роман еще не закончен, но его первая книга и часть второй сами по себе являются огромной эпопеей, раскрывающей перед нами одну из волнующих страниц нашей истории. Перед взором читателя проходит во всем ее многообразии Россия второй половины XVIII века: жизнь царского дворца и сановных вельмож, славные сражения русской армии на полях Восточной Пруссии и разгром ею войск Фридриха II, жизнь казачьих станиц, быт провинциальных городов, чумной бунт в Москве, возникновение Вольно-экономического общества, работа знаменательных государственных учреждений екатерининской эпохи, первые успешные шаги «народного царя» Петра Федоровича, осада им Оренбурга, быт крепостных рабочих. Действие происходит в Петербурге, Пруссии, Бессарабии, на Дону, в Москве, на вольном Яике, в оренбургских степях, на уральских заводах. Мы знакомимся с бессчетным количеством представителей различных слоев населения России, среди которых такие исторические лица, как сам Пугачев, Екатерина, Ломоносов, архитектор Баженов, полководцы Суворов, Салтыков, драматург Фонвизин, поэт Сумароков и провинциальный ученый Рычков, государственные деятели Кирилл Разумовский, Григорий и Алексей Орловы, Никита и Петр Панины, митрополит Дмитрий Сечнев и архиепископ Амвросий и многие другие. Почти каждое из этих лиц само достойно стать героем отдельного романа.

Общественные силы эпохи, между которыми Шишков умело проводит линии разграничения, раскрываются им в их конкретных носителях, в людях. И любая, наугад выхваченная из повествования фигура, будь то неудачливый супруг Екатерины или казачок Алексея Орлова, старый бомбардир Носов или задиристый купчик-курянин Полуехтов, поражает своей жизненностью, реальностью. Каждая из этих фигур сохраняется в памяти читателя, ибо ей приданы индивидуальные черты. Немного уделено внимания императрице Елизавете, но какой запоминающийся портрет удалось создать художнику! Об этой дочери Петра широкий читатель имел одностороннее представление:

Веселая царица
Была Елисавета,
Поет и веселится...

У Шишкова мы видим, что Елизавета была дочерью Петра не только по крови, но и духовно.

Еще меньше места в романе отведено главнокомандующему Салтыкову, однако, с какой живостью воссоздан в своей неповторимой индивидуальности этот «маленький, седенький, простенький» старичок, которого пруссаки прозвали «беленькой курочкой» и который в битве при Кунерсдорфе обратился в орла, наголову разбив войска Фридриха.

Шишков внимательно присматривается к поступательному движению родной истории. Он умеет найти и отметить положительное в различных лагерях общества того времени, поэтому создаваемая им картина полнокровна и жизненна. Лучших людей той эпохи объединяет и роднит чувство национальной гордости, стремление к полной независимости родной страны от иноземных, главным образом, немецких влияний, к развитию природных дарований родного народа.

Бывший архангельский крестьянин профессор химии Михайло Ломоносов страстно критикует затхлую мудрость немецких академиков в беседе с бывшим мелкопоместным дворянином, братом могущественного фаворита Алексеем Орловым. Оба вышли из народа, собственными талантами, упорством и смелостью в дерзаниях один вознесен на вершины науки, другой к вершинам государственной власти. И этот разговор доставляет обоим большое удовлетворение. «Орлову прискучила пустая, по-французски, болтовня придворных дам и кавалеров, ему сейчас приятно было слушать, как из русских уст и на языке российском текло остроумное, обширное знание».

Молодой генерал Суворов запросто поет с солдатами задушевные деревенские песни. И у генерала, и у солдат одна русская душа; смахивая непрошенную слезу, Суворов говорит окружающим: «Ой и добры же слова в песне, ребята-.. Не слова, а жемчуг, бриллиантозые бусинки. Берегите, братцы, старину!»

Архитектор Баженов, показывая архиепископу Амвросию свой проект Кремлевского дворца, вдохновляясь, произносит целый панегирик русскому зодчеству:

«— Да! Не похвалясь скажу,—ежели бы все оное осуществить, сия сказка русская, русский гений воспарил бы на крыльях. Довольно нам ходить на поводу иностранцев. Эти Ламоты, Шлютеры, Фростенберги и тутти кванти. Мы обязаны преклоняться пред их гением, но у нас и отечественные зодчие достойны быть увенчаны лаврами бессмертия. Взять строителя собора Николы Морского в Петербурге. Чевакинского или Казакова, Ухтомского, братьев Яковлевых, Мичурина, Квасова... Да вот недавно граф Строганов показывал мне рисунки своего крепостного парнишки, лет двенадцать ему, Андрюшки Воронихина... Талант!.. Или взять дивный храм Василия Блаженного... Кто строил? Барма да Постник, неведомые русские люди сотворили, шатровую форму деревянных церквей они перевели на камень и словно резцом изваяли из камня сие чудо всенародное, в центре — храм, и к нему впри-

тык — восемь столповых церквей, восемь дивных башен, а всего совокупно девять храмов. И откуда взяли мысль? Такая сказка только во сне могла пригрезиться. Гений русский, гений русский!»

В этой русской гордости родным, русским нет и следа национальной заносчивости. Все полезное, передовое русский ум стремится перенять, освоить и развить на пользу отечеству.

Многие представители тогдашнего общества изображены в романе, как люди культурные, почитающие просвещение. Показательна в этом отношении сцена разговора самоуверенного немчика Петра III с митрополитом Дмитрием Сечневым. Для Петра бородатый священник, стоящий перед ним, — дикарь и варвар, которого царь вздумал приобщить к западной культуре тем, что предлагает ему обрить бороду и переодеться в пасторское платье. Свои нелестные мнения о русском духовенстве он высказывает в его присутствии одному из придворных на немецком языке:

— Я понимаю по-немецки, государь,—скромно замечает Сечнев.

Петр переходит на французский язык, продолжая зубоскалить, и снова обрезан почтительной репликой Сечнева:

— Я понимаю по-французски, государь.

Любовь к родине, гордость ее военной славой и стремление к государственной славе раскрыты в действиях героев. Именно патриотическое чувство лежит в основе борьбы всех представителей многослойного городского общества против немецкого засилья, которое стремится утвердить в России Петр III.

Образ незадачливого голштинского князька, тупоумного и заносчивого, которому свалился в руки русский престол, показан Шишковым без какого-либо окарикатуривания, Шишков раскрывает нам тот, казалось бы, необъяснимый факт, почему имя деспота, который и знать не хотел русского народа, получил добрую славу среди крестьян и простонародья. Знаменитые акты об освобождении монастырских крестьян и превращении их в государственных, о беспрепятственном возвращении раскольников, об отмене соляного налога на самом деле были делом рук окружающих царя русских людей — Никиты Панина и других, которые выдавали эти авансы народу, чтобы укрепить в народе доброе имя нового царя и тем самым упрочить свое собственное положение. Сам же Петр, механически подписывая подсовываемые ему бумаги, не был способен выдумать ничего, кроме анекдотических приказов: «Истребить всех собак. Петр» или «Стрелять по воронам в городе. Петр».

Заключенный им мир с Пруссией глубоко оскорбил все слои русского общества, — начиная от вельмож, купечества и духовенства и кончая бесправным солдатом. Когда с тупоумным самодовольством Петр III хвастается Разумовскому, что битый русскими Фридрих произвел его в генерал-майоры прусской службы, с какой горькой и убийственной иронией отвечает ему бывший пастух, ставший гетманом Малороссии:

— Вы можете с лихвой отомстить ему, государь: в отместку произведите его в русские фельдмаршалы.

Свержение Петра показано Шишковым, не просто как дворцовый переворот, не как результат борьбы придворных партий, а как дело общегосударственной важности, которого требовали национальные интересы страны.

Яркими красками рисует Шишков сложный образ Екатерины Второй, во всех действиях которой мы видим ее большой ум и недюжинные организаторские способности. Государственный талант Екатерины сказался прежде всего в том, что ею были правильно угаданы тенденции, являющиеся определяющими в развитии современной ей России. Писатель рисует царицу такой, какою она была в действительности: властолюбивой умницей и талантливой актрисой, чрезвычайно практичной. Шишков показывает ее содействие развитию торговли и промышленности: ее попытки просветительного порядка, но ни на минуту не забывает, что она, пресловутая «казанская помещица», — первая рабовладелица среди рабовладельцев тогдашней России. При первых же сигналах, угрожающих ее самовластию, она без сожаления отказывается и от мечтаний о третьем сословии, и от других вольнолюбивых затей. В интимной беседе с Григорием Орловым, превосходно изображенной Шишковым, царица на вопрос, что сталось бы с ней, если бы она дала свободу крестьянству, погрозив пальцем, лукаво говорит:

«— Боюсь, Гришенька, что тогда помещики успели бы повесить меня прежде, чем освобожденные мною мужички прибежали бы спасать меня».

Образ Екатерины дан писателем широко и полно. Ее положительные и отрицательные черты познаются нами в живых сценах, полных художественной выразительности: в поведении Екатерины у гроба Елизаветы, в объяснении ее с графом Паниным, в приеме послов и других эпизодах, даже в такой прелестной, полной глубокого комизма сцене, как изъяснение на русском языке двух «закоренелых патриоток», двух Екатерин: царицы и Дашковой.

Эпопея «Емельян Пугачев» — произведение большого художественного размаха, глубоко патриотичное по духу, расширяющее наши представления не только об одном из значительнейших событий родной истории, но и об особенностях русского национального характера.

По мере развертывания повествования все больший и больший удельный вес в нем начинают занимать народные массы, эта движущая сила истории. Писатель рисует восстание Пугачева, как неизбежное и в то же время, как всякое чисто крестьянское движение, исторически обреченное. Но он не ограничивается показом только внешних сторон событий. Показывая исторические причины крестьянской войны, вызванной усилением эксплоатации народа в XVIII веке, он раскрывает при этом характерное для русского народа стремление перестроить жизнь на справедливых началах и осозна-

ние в народе потенциальных сил для этого. Исконная мечта эта жила в нашем народе, как мы знаем, не напрасно.

Многомиллионные разноликие слои простого народа отражены в романе в образе многочисленных представителей казачества, крестьянства, рабочих уральских заводов, солдат, воинов армии Пугачева, его полковников и приближенных. И казак Чика-Зарубин, и каторжник Хлопуша, и перебежавший дворянин Шванвич, вожаки татар, башкир, киргизов и многие другие нарисованы с тою же пластичностью, как и представители придворных кругов, но с большей любовью и проникновенностью.

Над ними возвышается грандиозная фигура Емельяна Пугачева — выдающегося народного вождя, человека железной воли, безграничного мужества и непоколебимой стойкости. Он является центральным действующим лицом романа.

Читатель проходит вместе с Пугачевым его сложный жизненный путь по дорогам бескрайной родины. Картинами детства Емельяна, ребячьими играми в «Запорожскую сечь» начинается роман. Потом мы видим Пугачева, молодого казака, проходящим военную школу в битве при Гросс-Егерсдорфе и в других сражениях, хорунжего Пугачева, — восхищающимся в далекой Бессарабии простотой Суворова. Здесь, в Бендерах, впервые Пугачев слышит о своем внешнем сходстве с Петром III. Медленно и плавно разворачивается действие романа, временно образ Пугачева уступает место развернутой картине эпохи, но в конце первого тома он появляется вновь и уже занимает основное место в романе. Мы видим его в родной станице атаманом, посланным с челобитной в Петербург, бегство его из Моздокской тюрьмы, жизнь в Стародубском раскольничьем скиту, в скиту игумена Филарета, пленником казанской тюрьмы, гостем на Таловом умете, где он объявляет себя государем Петром III, и вот он уже под именем Петра Федоровича Третьего— грозный вождь народного восстания — Емельян Иванович Пугачев.

«Волею народа он есть и действует».

Характер Пугачева дан писателем в его становлении. В битвах на полях Восточной Пруссии формируется отважный и волевой характер Пугачева. Писатель наделяет героя живой сметкой, гибким и ясным умом. Молодой казак вживается в войну, она становится его стихией.

«Пугачев жил весь в битвах. Жажда подвига, отваги, мечта о лихих наездах охватила его всего. Он мало думал о доме, о родных и совсем не думал о смерти. Он сжился с боевой обстановкой и чувствовал себя в ней, как рыба в море».

В бою он испытывает первое ощущение свободы и эта вновь обретенная стихия становится необходимой ему, как воздух. Вольной птицей перелетает он, куда его тянет удаль.

На поле сражения Пугачев — не механический исполнитель чужой воли, не просто солдат, он всем сердцем болеет за успешный исход всего боя, всюду вносит свою инициативу. В Гросс-Егерсдорфской битве он по личному почину скачет к Румянцеву и Фермору за подкреплением, и своевременный подход этих войск решает успех битвы.

В Пугачеве-воине мы видим те же черты самостоятельности и сознательности действий, проявляющиеся ныне с такой силой на полях Великой Отечественной войны, в делах советских воинов, которыми, как и их великим предком, движет чувство любви к своему отечеству.

В Пугачеве рано просыпается сознание человеческого достоинства, неотъемлемое для каждого русского человека.

«— У тебя, чтоб быть ахвицером, кишка тонка. Это дело господское, — говорит Пугачеву старый бомбардир Павел Носов. — А мы с тобой, Омелька, в подлом сословии родились. Голытьба мы.

Емельян перестал мурлыкать песню, положил ружье, уставился задумчивым взором в пространство, над переносицей то ложилась складка, то расправлялась. Дыхание становилось прерывистым, в груди вскипела горечь.

— Это, какое такое подлое сословие? —спросил он сквозь зубы...

— Мы подлого звания с тобою, Омелька. Голытьба мы. И вся армия, что свою кровь льет, такожде подлого званья. Не люди мы.

— А кто же?! — вскричал Пугачев и ударил себя в грудь».

Возложив на себя обязанности народного вождя, Пугачев проявляет себя блестящим военачальником, организатором и администратором. Его уменью вести свою роль, лавируя между подводными рифами и течениями, — ибо и в его стане, может быть, больше, чем при дворце, идет борьба различных интересов, — может позавидовать сама Екатерина. Но ему, сыну народа, дано также то, что не дано хитроумной императрице, — понять душу простого народа, явиться выразителем его чаяний и стремлений. Государственные акты, которые издает Пугачев в ответ на законодательные акты царицы, полны глубокого смысла. Он умеет правильно расставить военные силы, учесть потребность в вооружении, оценить роль уральских мастеров пушечного дела и привлечь их на свою сторону. В книге мы не раз видим Пугачева в столкновении с самыми различными людьми и невольно поражаемся уменью этого человека всегда найти верный тон.

Со своими солдатами он разговаривает по-суворовски метко:

«— Детушки! — прокричал он с коня. Звонкий его голос был слышен даже в хвосте растянувшегося на версту воинского обоза. — Детушки! Верные мои казаки! На мою императорскую армию измыслила поднять руку заблудшая жена моя, царица Катерина. Она выслала супротив меня генерала своего, бездельника, немчуру тонконогого Кара. А нуте-ка, детушки, задайте этому Кару жару. (Казаки заулыбались). Да такого жару задайте этому Кару, чтобы оный Кар и каркать позабыл, чтобы чихать смешался. (Казаки по всем рядам захохотали)».

Когда приводят к Пугачеву роту сдавшихся в плен гренадеров, он сразу смекает, что для психологии солдата, имеющего свое представление о царе, встреча их с распростертыми объятиями прозвучала бы фальшиво, и встречает их грозной отповедью:

«— Так-то вы, сукины дети, несете военную службу, так-то регул исполняете? В дороге дрыхнете, как дохлые собаки, ружья не заряжены, едете без всякой остроги. Дисциплины не знаете, сукины дети! А еще гренадерами зоветесь... — Пугачев говорил выразительно и строго, потрясал кулаком, притопывал, а сам по-хитрому косился на казаков и башкир, на все свое воинство. — Да вас всех смерти предать надо!

По спинам гренадеров прошел ледяной холодок, один по одному они опустились на колени. А весь народ повернул головы в сторону часовни, где темнели страшные виселицы, затем снова все уставились на грозного царя...

Гренадеры сняли шапки, прижали их к груди и, кланяясь, выкрикивали:

— Винимся, ваше величество, винимся! А супротивничать мы не хотели по уговору, от того от самого и ружья бросили.

Пугачев предвидел такой ответ, он сразу сложил гнев на милость, поднял руку и проговорил:

— Встаньте, детушки, бог и я, государь, прощаем вас!..»

Поведение Пугачева, столь тонко играющего свою роль, поражает даже его приближенного Падурова, знающего, что Пугачев самозванец. Он владеет искусством привлекать на свою сторону открытых душою, честных людей — от дворянина Шванвича до веселых оренбургских бабенок, арестованных за расхищение сена, с которыми Пугачев говорит языком простого «мужицкого царя».

Новый образ Пугачева возникает перед нами в романе. Это не случайный выскочка, вытолкнутый на историческую арену стечением обстоятельств, не марионетка в руках зажиточной части казачества, как трактовалась эта личность некоторыми историками. Это поистине выдвинутый народом талантливый политический деятель, воплотивший в себе крестьянскую волю и ум.

Его представления о том, в чем истинная сила государства, отличаются большой широтой. Его армия многонациональна, и будущее государство он видит, как свободное не только от господ, но и от национальных различий.

Казацким бородачам, недовольным приветливым отношением «царя батюшки» к «нехристям» — татарам, башкирам, киргизам — Пугачев строго разъясняет:

«— Как есть мы единая, всем державная Россия, то и предлежит быть в ней всякому сущему племени единый учет и порядок. Я допряма вам, детушки, толкую: тако и в писании сказано: «Славят Всевышнего все племена и народ». А всевышний, как и царь земной, один на всех, вроде пастыря в стаде. Мотри же, — добавлял он строго, — у нас в стане никаких чтобы межусобиц, никаких раздоров не было промеж себя. Нам окаянствовать не к лицу, детушки, а надобно жить купно со всеми. По какому хошь пальцу вдарь топором, всей руке больно... Для руки все пальцы одинаковы, такожде для государя вашего — все народы...»

Не разрушителем, а созидателем поднимается в романе Шишкова колоссальная фигура Пугачева. Он истинный представитель русского крестьянства, он пришел не разрушать, а строить. Это подчеркивается писателем, например, в описании жизни пугачевского лагеря.

«По дороге тянулся большой крестьянский обоз с бревнами. То здесь, то там, между старыми жилищами, на огородах и главным образом в поле, не одна сотня мужиков наскоро рубила себе избы.

Тут же, на стройках, копошились бабы, они доили коров, кормили овец, свиней...

Возле кустарника работало две новых кузни. Бежавшие от господ крестьяне-кузнецы подковывали казацких лошадей, делали для мужиков острые, в виде рогатин, копья или оковывали толстым железом концы закомелистых березовых дубинок.

— Это тебе лучше сабли ошарашит! — смеялись крестьяне, пробуя дубинки. — Взмахнешь — мокренько!

Всюду костры, дымки, говор, смех, визг пил, стук топоров. Там вздымали верхний венец, поухивали: «Раз-два, еще разок! Раз-два, матка идет! Раз-два, подается! Пошла-пошла-пошла!»

Шванвич, шагая к себе, с удовольствием присматривался к этому живому, деятельному бытию. Фаддей Киселев хотя и хмурил для порядка рыжие щетинистые брови, но тоже посматривал по сторонам одобрительно, а в серых, глубоко посаженных глазах поблескивали искорки восторга. «Вот она Расея!.. Расея зашевелилась с краю, мужичок показать себя хочет!»

Правильное изображение созидательной души нашего народа, утверждающего на земле жизнь, — одно из несомненных достоинств романа Шишкова.

Не меньшим достоинством является и то, что многогранный образ Пугачева не идеализирован писателем. Шишков сохраняет за героем и детское простодушие, наивность и прочие непосредственные черты мужицкой натуры. Пугачев способен и по-детски радоваться успеху своих войск, и прельщаться знаками оказываемого ему внимания, испытывать и чувство самодовольства и простодушно, и неумело лукавить в мелочах. Замечательно живо и естественно изображена в романе сцена с клавесином, который привозит Хлопуша.

«Пугачев указал на красиво сделанную из ясеневого, с резьбой, дерева неизвестную ему вещь:

— А это что за оказия такая? Стол не стол, кресел не кресел.

— Музыка это, — буркнул в бороду Хлопуша и поднял крышку.—Вот ежели по энтим клапанам вдарить, музыку можно вырабатывать.

— Не учи, — важно сказал находчивый Пугачев, придвинул стул, сел за инструмент, вы-

пятил губы, сделал лицо елико возможно одухотворенным и с силой ударил по клавишам двумя пятернями враз. Инструмент подпрыгнул, встряхнулся, струны испустили душераздирающий разнотонный звук, Пугачев, как ребенок, засмеялся: «Я ведь во дворце игрывал на этой штуковине-то. Почасту игрывал, да вот забыл.. Бывало, тетушка Елизавета сама меня учивала и за уши не раз трепала, как где собьюсь... — И Пугачев, закусив нижнюю губу, опять что есть мочи забрякал по клавишам.

— Ты ногой-то, ногой-то, батюшка, орудуй, притопывай помалу, по приступке-то, — неожиданно проговорил Хлопуша, указывая корявым пальцем на нижнюю педаль.

— Учи, учи!.. Не смыслю я с твое-то, — ощетинился на Хлопушу Пугачев и притопнул по педали: педаль чуть не хряснула. — Сия музыка зовется... зовется... Тьфу ты чорт!.. Трасмордас, что ли, забыл.

— Уж вот нет, батюшка, ваше благородие!— опять ввязался верзила. — Она называется — клавесин. А играть на ней надо вот так. Пустика, батюшка. Ты, я вижу, ни хрена не смыслишь.

Пугачев хотел обругать верзилу и оттолкнуть его, однако, недовольно попыхтев через ноздри, он уступил Хлопуше место. Тот засучил рукава, откашлялся, отплюнулся, скривил рот и заиграл...

...Ах ты, сволочь!—не то в восторг и похвалу, не то в порицание выкрикнул Пугачев. Откудова знаешь?»

Такие сцены не только не умаляют любви читателя к герою, но делают эту любовь человечной и искренней. Тем большее удивление и уважение вызывает этот человек, умеющий подняться высоко над самим собой.

Шишков показывает читателю, в чем, по его мнению,секрет успеха Пугачева, сила его воздействия на народные массы.

«Пугачев любил народ, и народ отвечал ему тем же, — народ восторгался им и боготворил его.

И вот безмолвным воздействием народа Пугачев как бы приподнят над землей, и он уже не он, не простой, безвестный казак Емельян Пугачев, а некто другой, ему неведомый и странный. И уже какая-то непонятная ему сила начинает руководить им, он весь во власти этой животворящей, неиссякаемой стихии. Тут разом открываются живые родники души его, и, засверкав, летят в толпу пламенные слова, сами собой возникают нужные жесты самовластия, жесты всепокоряющей, несокрушимой воли.

Наступает минута радостного ликования, душевная атмосфера толпы доведена до высокого накала: вождь и народ — одно.

Так пробудившаяся подсознательная сила всегда в нужную минуту овладевала Пугачевым, помогала ему быть то мужицким царем, то строгим судьей, то бесстрашным воином, она позволяла ему, как одаренному актеру на сцене, перевоплощаться в тот или иной образ и жить другой жизнью».

Образ Пугачева еще не закончен, как не закончен и весь роман. Читателю, с неослабным интересом прочитавшему напечатанные главы, предстоит еще стать свидетелем многих, полных жизненного трагизма сцен: более близкого знакомства двух замечательнейших личностей эпохи—Пугачева и Суворова, и обещанной писателем встречи спасенного когда-то Пугачевым в бою Петра Панина с его спасителем. Пугачев узнает спасенного им, но не узнает Панин Пугачева и отпустит «разбойнику» полновесную дворянскую пощечину. Много, много интересного предстоит увидеть читателю впереди.

Роман Шишкова по-праву сможет занять место среди лучших русских исторических романов. Еще рано говорить об особенностях формы романа в целом, но можно и сейчас сказать, что и в этом смысле он является значительным достижением автора. В нем Шишков, сохранив положительные стороны своей писательской манеры—живописную свежесть образов и пейзажа, узорный язык — освобождается от многих существенных недостатков, присущих его прежним произведениям, где щедрость языка нередко граничила с неряшливостью, повествование велось сбивчиво и неровно. Огромное полотно эпопеи развертывается непринужденно, переходы плавны, архаичность языка выдержана в меру. На полном дыхании творит писатель образы, которые по заложенной в них живописной силе, по изобразительной мощи являются торжественными славословиями русскому духу. Они созданы вдохновением и талантом поэта, насквозь русского, пламенно любящего родину, знающего жизнь и творческие силы и возможности родного народа.

„МОРСКАЯ ДУША"

Заметки о творчестве Л. Соболева

В. ЩЕРБИНА

★

I.

«Морская душа» — книга рассказов Леонида Соболева — вышла в свет на втором году Отечественной войны. Главный герой книги — советский военный моряк, отзажно сражающийся с врагами родины.

«Морская душа» — книга в высшей степени современная. Она современна и по теме, и по чувствам и мыслям, в нее вложенным.

Советское государство недавно учредило военные ордена и медали Ушакова и Нахимова. В связи с этим крупнейшим событием в истории наших вооруженных сил усиливается интерес к тому, что написано о флоте в советской художественной литературе.

Наша страна — великая сухопутная держава. Но она вместе с тем и великая морская держава. Ее берега омывают два океана и тринадцать морей. Мореплавание с древних времен — излюбленное занятие русских. Это — замечательная школа воспитания человека, развивающая в нем твердость, решительность, храбрость, силу характера.

К изображению морской жизни русских писателей привлекали не только чувства, вызванные красотой моря, жаждой познания, увлекательные сюжеты, яркость жизни людей флота, но и важнейшие государственные идеи, рожденные всей историей нашей родины. Исторический жребий народа во многом зависел от морских сражений. Идея господства России на прилегающих морях не плод мысли хитроумных дипломатов. Это насущная потребность существования нашей страны, выдвинутая всем ходом исторической жизни, созревшая и укрепившаяся в народных массах. И все великие деятели русской истории осуществляли эту идею в своей государственной деятельности. С постоянным упорством государства, враждебные России, старались оттеснить ее от морских берегов, в глубь степей и лесов. И с неослабным постоянством и энергией выдающиеся правители России боролись за жизненно необходимые ей морские пути. Еще Иоанн Грозный стремился отвоевать захваченные исконно русские берега Балтийского моря. Петр Великий «прорубил окно в Европу». Созданный в дальнейшем Черноморский флот открыл нашей стране исстари принадлежавший ей путь «из варяг в греки». Опять Русь стала хозяином в «русском море». Вся история войн и дипломатической борьбы связана с существеннейшим для русских вопросом безопасности своих морских границ и путей. Государственный разум народа выразился и в любви и способности русских людей к морю и морскому делу. И русские писатели не прошли мимо этой важнейшей области деятельности русского народа. Широко известны «Матросские досуги» В. Даля, «Корабль Ретвизан» Григоровича, «Фрегат Паллада» Гончарова, морские рассказы и повести флагмана русской морской литературы К. Станюковича, «Севастопольские рассказы» Л. Толстого.

Еще больше усилилось государственное значение морского могущества для Советского Союза.

В речи на Первой Сессии Верховного Совета Союза ССР товарищ В. М. Молотов заявил:

«Мы должны считаться с тем, что страна наша большая, что она омывается морями на громадном протяжении, и это нам всегда напоминает о том, что флот у нас должен быть крепкий, сильный. У могучей советской державы должен быть соответствующий ее интересам, достойный нашего великого дела, морской и океанский флот».

Флот всегда играл большую роль в самые напряженные, переломные моменты исторического существования страны, когда ей приходилось сталкиваться в войне с врагами, посягавшими на ее могущество и независимость, или же в переломные общественные эпохи. Поэтому все значительные произведения о флоте являются вместе с тем и произведениями о Рос-

сии, о важнейших событиях в ее истории — историческими художественными памятниками.

Наша морская литература обогащена советскими писателями. Удельный вес военно-морской литературы в наше время по сравнению с прошлым несоизмеримо вырос. Нельзя сейчас полно представить советскую литературу без таких произведений, как «Капитальный ремонт», «Морская душа» Соболева, «Севастополь» Малышкина, «Цусима» Новикова-Прибоя, «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского, «Оптимистическая трагедия», «Мы из Кронштадта» Вс. Вишневского, «Гибель эскадры» А. Корнейчука, «Десант» Э. Фурманова, повестей и рассказов Б. Лавренева, С. Диковского, Л. Соловьева.

Высказывалось мнение, что морская художественная литература не может развиваться в ведущем потоке мировой литературы. Слишком своеобразной, замкнутой и отдаленной казалась жизнь властителей моря. Слишком узким представлялся корабельный мир для того, чтобы в нем вместить глубину вопросов, занимающих человечество. Поэтому произведения морских писателей часто воспринимались как в высшей степени увлекательная, но обособленная область литературы, стоящая в стороне от столбовой дороги развития мирового искусства. Высказанное мнение справедливо лишь в отношении писателей, которые ограничились исключительно воспроизведением занимательных сюжетов, отодвинувших на второй план главную задачу искусства — познание человека, его характера. Жизнь искусства убеждает в том, что сила и значительность литературы способны проявиться в воспроизведении любой области действительности. Все дело в талантливости, идейности, правдивости и силе чувства. Белинский, разбирая романы Фенимора Купера из морской жизни, причисляет их к величайшим созданиям мирового искусства, не уступающим историческим романам Вальтер-Скотта.

Наша военно-морская литература не является каким-то обособленным видом, а несет в себе характерные особенности всей русской литературы.

Количественно она во многом уступает, например, английской, но ее своеобразные черты, рожденные особенностями развития и характера нашего народа, выдвигают ее на одно из первых мест. Западно-европейские маринисты главное внимание обращали на занимательность сюжета и описание яркого морского быта. У русских писателей реализм изображения морской жизни дополнен чрезвычайным вниманием к человеку, его душе, неугасаемой любовью к нему. Эта черта выдвигает русскую морскую литературу на особое место среди маринистских произведений всей мировой литературы... Описание событий и подвигов озарено светом гуманных общественных идеалов, которые в такой степени не были присущи даже крупнейшим зарубежным реалистам.

Общественная и реалистическая направленность русской литературы перешла в произведения советских писателей о моряках и развита как важнейшая ее черта.

II

Л. Соболев — офицер советского флота — один из виднейших наших морских писателей. Его книги пользуются большой популярностью.

Литературная деятельность и биография Л. Соболева тесно связаны с советским Военно-Морским Флотом. В 1918 году Соболев закончил морское училище в Петербурге.

С тех пор до 1931 года беспрерывная военно-морская служба, главным образом, штурманом на боевых кораблях Балтийского флота: на миноносце «Самсон», учебном судне «Комсомолец» и линкоре «Октябрьская революция».

Группа собственно морских русских писателей в прошлом была невелика. Сейчас их круг расширился. Флот все более и более рождает своих литераторов. В их числе и Соболев. Все произведения Соболева связаны с морем. Море, корабль — это его привычное место, повседневность его интересов. Здесь Соболев, как у себя дома. Ему известны тонкости корабельной жизни, техника, система управления, своеобразие речи моряков, особенности профессионально психологического склада. Все это трудно постигнуть без знания среды, без долголетней службы во флоте.

Соболев видел кризис старого флота и многие моменты строительства советского Военно-Морского Флота, рост его кадров. Это дало Соболеву большой материал, легший в основу его произведений. На обсуждении романа «Капитальный ремонт» в редакции журнала «Знамя» автор говорил: «Надо было пройти самому весь путь флота (я застал его в 1918 году гардемарином морского училища)— от разрушения царского флота, от последнего боя на Кассарском плесе в октябре 1917 года, через ледовый поход из Гельсингфорса, через измену Красной горки, английские торпедные катера и бомбы, надо было пережить вместе с ним муки рождения нового Красного Флота, ощутить на себе весь трудный путь кораблей и людей от первого похода «Океана» в 1922 году до ворошиловского «отлично» на маневрах 1930 года, — чтобы впитать в себя знания и ощущения, положенные в основу книги».

Первая напечатанная вещь Соболева — рассказ «Полезная привычка». Он опубликован в журнале «Краснофлотец» (1926 год). С тех пор начинается постоянное сотрудничество в газете «Красный Флот» и журнале «Краснофлотец», где Соболев вел отдел юмора. Виды его литературной работы в тот период весьма разнообразны. Соболев с 1927 года широко известен во флоте как автор юмористических «крокодило-сатирического» типа обозрений на темы текущей жизни Балтики. В это же время было напечатано несколько его рассказов. Из них более заметен «Сахар» (впоследствии переделанный и известный под названием «Летучий голландец»). В нем повествуется об офицерах русского Балтийского флота в эпоху империалистической войны 1914—18 годов. Автор еще только вырабатывает свой писательский почерк. На рассказе отразилось влияние

литературной школы Киплинга. Однако рассказ «Сахар» обратил на себя широкое внимание превосходным знанием материала.

Этот период литературной работы Соболева характерен деятельным участием в военно-морской прессе. Начинают находить пока еще очень несовершенное и отрывочное литературное выражение впечатления, накопленные раньше за годы учения, революции, гражданской войны. Будущий писатель еще только пробует свои силы в самых различных видах литературы.

Накопленный писателем жизненный и литературный опыт направлял его к более крупным художественным задачам. Эпизодические зарисовки уже не удовлетворяют Соболева. В 1928 году Соболев заканчивает большой рассказ «Историческая необходимость». Он имел серьезное значение в последующей литературной биографии автора. Работа над рассказом привела к выводу о необходимости расширения «творческого плацдарма». Созрело решение писать роман.

Работу над романом Соболев начал с 1929 года. Родился «Капитальный ремонт». Герой рассказа «Сахар» боцман Нетопорчук вошел в роман одним из действующих лиц, но уже не первостепенного значения, так как творческий план произведения несоизмеримо расширился и общая задача его изменилась. В это время Соболев работал помощником начальника оперативного отдела на Балтике. Роман писал по ночам в свободные от дежурств часы. Произведение это принесло автору широкую известность. Известно оно в Европе и Америке. В английском переводе роман озаглавлен «Надвигающийся шторм»; в Америке напечатан под заглавием «Романов». Так переименовано название броненосца «Генералиссимус Суворов».

III

«Капитальный ремонт» — повествование о русском военно-морском флоте накануне мировой войны 1914—1918 гг. Почти все действие в романе сосредоточено на линейном корабле «Генералиссимус граф Суворов-Рымникский», даже скорее на его верхней (офицерской) палубе. Берег, то-есть Петербург, изображается, поскольку он попадает в сферу наблюдения офицеров и матросов, отправляющихся туда в отпуск. Все герои романа принадлежат к экипажу линкора. Однако, роман «Капитальный ремонт» есть вместе с тем и произведение о предреволюционной России, о кризисе самодержавия перед первой мировой войной. На материале из жизни русского военно-морского флота автор ставит важнейшие общественные вопросы, касающиеся исторического существования всей страны. На ограниченной площадке линкора писатель сумел показать основные общественные противоречия эпохи, гнилость царского режима. Публицистические авторские отступления, объяснения ставят происходящее на корабле в общую историческую перспективу, объясняют связь его со всем совершающимся в стране.

«Капитальный ремонт» мыслился автором, как большая эпопея, захватывающая период от канупа империалистической войны до наших дней. В соответствии с этим материал разбивался на три тома: царский флот, период от февральской революции до Брестского мира и восстановительный период.

В настоящее время роман еще не закончен. Кроме вышедшего в свет первого тома, написана часть второго тома. Но и первая книга «Капитального ремонта» представляет значительный литературный интерес.

Соболев великолепно нарисовал типы предреволюционного морского русского офицерства. Некоторые из офицеров навсегда связали свою судьбу с самодержавием и порвали все связи с народом, как, например, лейтенант Греве, мичман Веткин, капитан второго ранга Шиянов. Их ненавидят матросы, давшие им за жестокость обидное прозвище — «драконы».

В русской армии и русском флоте не было единой офицерской среды. Офицерам, чутким к жизни, любящим солдата, противостояли бездушные отсталые люди, ставившие свои кастовые и корыстные интересы выше народных. Первая группа офицеров росла на воинских заветах Суворова, Кутузова, Нахимова. Вторые представляли военную реакцию в России. Особенно резко она проявилась со времени императора Павла I — большого поклонника устава прусской армии Фридриха II. Так называемое гатчинское «экзерциргаузное» направление получило большую силу. Все последующее время вплоть до 1917 года в среде офицеров русской армии и флота наблюдалась борьба этих течений. Соболев в лице Веткина, Греве, Шиянова вывел живых представителей воинской реакции, «гатчинцев» флота. Суть их в реакционности воззрения во взгляде на матроса, как на бездушный механизм. Кастовость реакционного офицерства выражалась и в стратегической доктрине. «Флот сражается на море, он владеет морскими просторами и не может считаться с армией», — это был флотский непререкаемый символ веры.

Наиболее резким проявлением идейной опустошенности многих офицеров — персонажей «Капитального ремонта»—является снижение в них гражданских и индивидуальных черт. Разложение их сознания сказывается прежде всего в том, что они перестали чувствовать себя русскими людьми, сыновьями своего отечества. Широта воззрения и смелость действия подменены у них мелочностью и пошлостью мыслей и чувств. Присущие лучшей части русского офицерства принципы чести, долга, храбрости, личного примера у них заменены карьеризмом, жадностью, устрашением. Все это признаки духовного падения. Среда Веткиных, Граве и Шияновых опустошающе действовала и на некоторых неплохих по своим задаткам людей.

Николай Ливитин не самый отрицательный персонаж в романе Соболева. По существу, он человек мужественный, который не дрогнет перед лицом опасности в бою. В нем много напускного. Иногда он на себя даже на-

говаривает лишнее. Но окружающая среда заставляет его рядиться в одежды безверия. О двойственности Николая Ливитина брат говорит:

«— Слушай, Николай! Я не понимаю: или ты издеваешься от нечего делать, или у тебя очередной надрыв высокой души, и ты хамишь все направо и налево!. Точно я не знаю, что ты честный человек и прекрасный офицер!.. Точно я не знаю, что у тебя глаза горят, когда ты мечтаешь всадить снаряд в «Мольтке» или в «Дейчланде»! Чего ты ломаешься, скажи на милость?

Умный и энергичный человек, лейтенант Николай Ливитин, не находя настоящего приложения своих сил, ко всему относился цинически. Он хорошо понимает обреченность монархической системы, но не имеет никакого желания жертвовать своим привилегированным положением. «Мы на вулкане живем — учит он восторженного юнца, гардемарина Юрия Ливитина. — ..Наше дело стрелять, да помирать, когда прикажут».

Юрий Ливитин еще только усваивает первые уроки жизненной «мудрости». В нем еще много юношеской непосредственности, искренности и свежести. Личность его только формируется.

Люди в «Капитальном ремонте», каждый в отдельности, имеют свою биографию, свой характер, свои интересы, свою среду. Они все по-разному переживают события. Они наделены индивидуальностью, поэтому художественное воплощение идеи разоблачения самодержавия и отрицательные стороны старого флота не повисают в романе на непрочной нитке рассудочной отвлеченности, а выражено в живых образах.

Восторженная натура Юрия Ливитина не может примириться с бездушием Веткиных, карьеризмом Греве и циничными рассуждениями брата. Он носит в себе живые человеческие задатки, которые, можно думать, в дальнейшем, в последующих книгах романа выведут его на верную дорогу. Путь этот, конечно, не может быть прямым и гладким.

Общая картина флота, показанная Соболевым в романе «Капитальный ремонт», характеризует обреченность исторически изжившего себя самодержавия и всего того, что связано с ним. Название романа носит в себе символическое значение. Нужен капитальный ремонт, перестройка всего общественного строя России. Назревает революционный протест в массе матросов. К нему присоединяются наиболее передовые офицеры. Один из них, как, например, бывший студент, революционер Тишенинов, последовательно, с честью пройдут трудности революции, испытания гражданской войны. Противоположностью Тишенинову является инженер-механик Морозов, колеблющийся и неустойчивый представитель худшей части интеллигенции — говорунов и неспособных к действию людей. Такие офицеры, завоевав в первый период революции руководящее видное положение, в дальнейшем, как известно, оказались лишь «рыцарями на час», временными союзниками революционного народа.

Живое и интересное изложение Соболев в своем романе соединяет с тонкостью характеристик. Действие романа еще далеко не завершено: оно заканчивается вступлением России в войну. Несмотря на это, мы можем уже мысленно продолжить судьбу героев романа, представить их поведение в новой исторической обстановке — революции, гражданской войне. Писатель здесь превосходно выполнил основную художественную задачу исторической беллетристики — живое внутреннее обоснование действий своих героев — участников исторических событий. В этом отношении произведение Соболева отличается неоспоримыми достоинствами.

Соболев ярко и рельефно показал, как отживавший царский строй оковывал творческие силы русского народа. Царизм стал препятствием к дальнейшему усилению военной оборонной мощи России. Бездарность самодержавия, мешавшего дальнейшему развитию страны, писатель воплощает в ряде художественных эпизодов романа «Капитальный ремонт». Такова сцена, когда перед самым объявлением войны обнаруживается ненужность на линкоре громоздкой парадной грот-мачты, «эйфелевой мачты», как иронически назвали ее офицеры. Пришлось срочно ее срезать. В этом эпизоде проявляется много казенщины и нераспорядительности в руководящем военно-морском аппарате.

Только революция дала возможность России итти вперед. Таков вывод из картины, нарисованной Соболевым. Так же думают подлинные патриоты — лучшие офицеры и передовые матросы — герои романа «Капитальный ремонт».

Соболев великолепно показал отрицательное в царской России. Образы и картины романа выразительны. «Капитальный ремонт» написан ярким и точным языком. Драматический материал удачно освещается то жестоким сарказмом, то тонкой иронией или мягким юмором. Все в произведении подчинено одной задаче — художественно осмыслить, почему должен погибнуть царский режим, почему был нужен «капитальный ремонт».

Соболева одушевляло чувство ненависти к отрицательным сторонам прошлого, испортившим многих людей, могущих принести большую пользу. Чувство это было сильное, но одностороннее художественное выражение, что привело к ущемлению «военного качества». Соболев сам в известной степени показал понимание этого, когда говорил:

«Царский флот действительно был обречен на военное поражение, как военное воплощение обреченной политической системы. Но одновременно этот же флот был боеспособен: он представлял собой собрание военных кораблей, обслуживаемых сильными и смелыми людьми. Это они, матросы, в меру возможностей, предоставленных им нелепым и бюрократическим управлением морского генерального штаба, проявляли примеры личной храбрости, выдержки и героизма в боях с сильнейшим противником в Балтийском море. Доста-

точно вспомнить хотя бы активные минные постановки под немецкими берегами, потопление одиннадцати немецких миноносцев при налете их на Балтийский порт, операции подводных лодок, работу минной дивизии, особого полудивизиона эсминцев, работу тральщиков. Здесь создавались будущие кадры командиров гражданской войны, здесь закладывался фундамент будущих героических матросских отрядов, здесь таились корни будущей героики речных флотилий.

Вместе с тем и передовой состав флотского офицерства делал все, что мог, в противовес рутине генерального штаба. Так создана после Цусимы наша теория артиллерийской стрельбы. Так расцвело у нас минное дело, которому в течение всей войны учились у нас англичане. Так в короткий срок на голом месте была создана в Балтике служба наблюдения и связи, блестяще поставлено радиодело и расшифровка германских кодов и (не будем забывать, что о выходе германской эскадры в утро ютландского боя английское адмиралтейство получило свое сведение от нас).

Все это оказалось необходимым осветить в романе, чтобы понять в дальнейших его томах причины, по которым к началу Октябрьской революции уже были созданы сплоченные кадры Красного Флота, изумившие мир победами».

«В первом томе романа,—добавляет автор,— из этого единства противоположностей я намеренно взял лишь одну сторону»—негативную.

В среде русского офицерства всегда хранились традиции воинского долга и чести. Они, правда, не всегда получали правильное направление, и все-таки являлись большой силой. И в прошлую мировую войну традиции воинской чести и долга помогли русской армии и флоту хорошо выполнять свои воинские обязанности. Цели и задачи империалистической войны были чужды русской армии и флоту, но они добросовестно выполнили свой долг. Смело сражались русские моряки в мировую войну 1914—1918 гг. Русские моряки потопили немецкие крейсеры: «Бремен», «Принц Адельберт», Фридрих- Карл», «Газалле», «Ундине», «Альбатрос», 18 миноносцев и десятки других кораблей. Только в одну ночь ноября 1916 года на русских минах подорвалось и погибло семь германских миноносцев.

Роман «Капитальный ремонт», несмотря на выразительный исторический колорит, большое привлечение документальных данных, превосходный язык, мастерство образов и описаний, не во всех своих творческих элементах одинаково убедителен.

То, что описано в романе Соболева из жизни, то верно и выдержало испытание временем. Правдива и сейчас — через десять лет после выхода романа в свет — читается с интересом собственно беллетристическая часть «Капитального ремонта». Это то, что писатель наблюдал во флоте перед войной 1914—18 годов собственными глазами. Материал этот продуман и прочувствован писателем. В искусстве лишь то жизненно, что искренно и правдиво. Изображая свои личные наблюдения, им пережитые, Соболев держится свободно и непринужденно. Этого нельзя сказать о некоторых публицистических отступлениях «Капитального ремонта», подчиненных «конструктивной» ограниченности первого тома романа.

IV

Очерки и рассказы, включенные в книгу «Морская душа», написаны Соболевым в течение последних лет. В них повествуется о различных эпизодах из жизни людей нашего Военно-Морского Флота. Рассказывается о первом поколении советских моряков, о первых шагах в новой обстановке командиров, пришедших в советский флот из среды старого морского офицерства. Веселые рассказы капитана второго ранга В. Л. Кирдяги уступают место описанию сражений балтийцев с финской военщиной. Жизнь людей флота запечатлена в разнообразных и талантливых зарисовках. Но центральное положение в книге занимают очерки и рассказы, написанные в дни Великой Отечественной войны. Эти лучшие, наиболее сильные страницы горячо волнуют читателя. Их воздействие объясняется тем, что писатель ярко запечатлел высокий взлет человеческого духа в боевом подвиге.

Соболев ищет и находит материалы для «Морской души» в могучем океане народного героизма. Во время обороны Одессы и Севастополя он был непосредственным свидетелем этих героических событий отечественной истории. Это были дни, наполненные величайшим напряжением. В такие критические моменты исторической жизни народа с особой глубиной и рельефностью раскрывается душа человека и наиболее полно проясняется истинная сущность людей. Рассказы «Морской души» трогают нас не только умелым изображением событий, но, главным образом, тем, что автор запечатлел человека в зените его душевной жизни. Это картина самой жизни. Поэтому образы «Морской души» вышли убедительными и правдивыми.

«Морская душа» по характеру материала распадается на две половины. В первой представлены общие наблюдения автора. Здесь рассказы и очерки представляют собой не воспроизведение конкретных фактов, а обобщения той или иной сферы авторского опыта. Во второй — изображаются определенные подлинные события. В разделе книги «Из фронтовых записей» не только факты, но и все фамилии подлинные («Неотправленная радиограмма», «Поединок», «Страшное оружие», «Привычное дело», «И миномет бил», «Воробьевская батарея», «Матросский майор», «В старом равелине», «Последний доклад»).

Первоначальные стимулы, толкнувшие Соболева к форме короткой зарисовки, еще в большей степени подтверждают впечатление от них, как о живых не выдуманных эпизодах реальной действительности. Когда писатель был в осажденной Одессе, то сначала он предполагал писать простые корреспонденции в газеты. Но в тяжелых условиях осени 1941 года заметки во-

время не доходили. Сама обстановка заставила Соболева писать более долговечные, нежели газетные заметки, вещи. Понятно в данном случае обращение к форме художественного очерка и рассказа. Отсюда началась современная серия рассказов «Морская душа».

Моряки Соболева типичны для нашего флота. В патриотическом благородстве их подвигов легко также узнать и наших солдат, сражающихся на суше, и самоотверженных людей тыла. Прежде всего это советские люди, борющиеся за родину.

Условия трудной и суровой морской службы закаляют и обостряют в моряках общие черты русских людей — смелость, товарищество, стремление сразиться с врагом, презрение к смерти, удаль, широту натуры, отзывчивость. Соболев пишет об этом: «Корабль, где люди живут, учатся, спят, бьются в бою и гибнут рядом — локоть к локтю, сердце с сердцем,— необыкновенно сближает людей, связывает их прочной личной привязанностью и создает из них монолитный коллектив. И это свойство моряков — быть в коллективе, гордиться именем своего батальона, как именем корабля, — сказывается и в окопе, и в атаке, и в разведке». На воспитательные свойства морской службы в свое время обратили внимание Григорович и Гончаров.

В своих героях Соболев прежде всего ищет эти черты русского человека, и только после этого — моряка, его военную специальность. И стремление Соболева особо отличить людей моря не мешает успешному выполнению общей задачи. Значение рассказов Соболева гораздо шире морской темы. Читая о подвиге рулевого Щербахи («Последний доклад») или о самоотверженности моряков-артиллеристов («Воробьевская батарея»), невольно вспомнишь о Гастелло, Зое Космодемьянской, Матросове, двадцати восьми гвардейцах-панфиловцах и других им подобных.

Рассказы и очерки книги «Морская душа» внешне не связаны: каждое произведение существует само по себе. Но книга Соболева, составленная из отдельных произведений, отличается органической целостностью: отдельные рассказы, в нее входящие, воспринимаются как главы одного произведения. Силу этого сцепления нельзя объяснить только единством темы, хотя и это имеет большое значение.

Персонажи книги — матросы и офицеры линкоров, крейсеров, миноносцев, тральщиков, катеров-охотников, подводники, морские летчики, морские пехотинцы — люди превосходных военных и человеческих свойств. И несмотря на обилие фамилий и эпизодов, различие возраста, военных званий и частных склонностей, перед нами всегда по существу один и тот же человек. Везде действует один и тот же типичный герой. Он воплощает в себе высокие моральные качества «морской души», объединяющие книгу, создающие целостность произведения. В различных эпизодах и ситуациях раскрываются различные стороны этого излюбленного Соболевым характера. Именно это единство героя делает книгу «Морская душа» целостной. Горький писал: «Мы знаем, что люди разнообразны: этот — болтлив, тот — лаконичен, этот—назойлив и самовлюблен, тот — застенчив и неуверен в себе... Писатель имеет право, взяв любое из качеств, углубить, расширить его, придав ему остроту и яркость, сделать главным и определяющим характер той или иной фигуры». Как уже говорилось, Соболев в основу своих художественных образов большей частью берет людей и события из реальности. Но он оставляет в стороне частные индивидуальные особенности каждого. Писатель художественно фиксирует только типические для всех них, создавая единый характерный — типический образ.

Создать художественный тип — задача нелегкая даже для очень квалифицированного писателя. Заслуга Соболева — что он достиг этого.

У Соболева действуют простые, но в то же время яркие и сильные, беспредельно преданные своей родине советские люди. Общие духовные свойства своих героев Соболев объединяет в понятии «морская душа», самые сокровенные черты которой он раскрывает. Пояснение, данное Соболевым к названию своей книги, есть одновременно и характеристика главного ее героя. Пояснение это следует привести:

«Шутливое и ласковое прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический...

Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара.

Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.

Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен, — именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым,—это быть смелее, хитрее и быстрее врага.

Морская душа—это стремление к победе...».

Товарищ М. И. Калинин говорил: «Своей

защитой Ленинграда, Севастополя, Одессы, Северного побережья Советского Союза наши моряки завоевали признание всего советского народа, как стойкие, храбрые, мужественные борцы. В беззаветной борьбе за родину балтийцы, черноморцы, моряки Северного флота и речных военных флотилий сыграли свою роль в обескровливании, задержке и, в конечном счете, в приостановке продвижения фашистских войск. Матросская тельняшка и бескозырка стали страшными для врага».

Со страниц книги возникают один за другим скромные внешне и яркие в делах люди. Они прочно запоминаются, врезаются в память. Запоминается и веселый капитан Кирдяга и разведчик Татьян; Федя с наганом, матросский майор, разведчик Михаил Негреба. За исключением нескольких неудачных рассказов, сразу веришь картине, никогда не сомневаешься в ее реальности.

Рисунок Собоева всегда прост и даже иногда кажется скуповатым. Писатель стремится к тому, чтобы в книге не было лишних слов. В первоначальных вариантах рассказы Соболева написаны обычно в ярко романтичном плане. Дальнейшая работа над ними состоит в их приближении к земле. Писатель стремится к тому, чтобы каждое слово, положение было оправдано. Соболев — сторонник сочетания романтического чувства с реалистической точностью описаний.

Книга «Морская душа» романтически приподнята так же, как, в самом хорошем смысле этого слова, полна романтики жизнь военных моряков. Рассказы Соболева подчас кажутся необычайными, но они правдивы, как сама действительность, где много происходит необычного, превосходящего многие старые представления.

Правда о подвиге романтична. Литература героического эпоса, знаком которого отмечены рассказы и очерки Соболева, немыслима без романтики, активной, полезной. Необходимость героической романтики в литературе всегда отстаивал Горький — «романтизма, пафоса творчества, дерзости воли и разума». Наша литература, говорящая о сильных деятельных людях, защищающих родину, развивает эту черту. «Морская душа»—одно из ярких произведений последнего времени, где героический элемент эпоса современной борьбы нашего народа выражен наиболее сильно. Даже в тех рассказах, где сюжет основан не на боевом эпизоде, а рисуется борьба с морской стихией, романтическое начало очень сильно. И чем правдивей и точней рассказывает о труде моряков писатель, тем сильнее впечатление у читателя. Например, рассказы «Все нормально», «Своевременно или несколько позже», «Грузинские сказки» представляют великолепные картины суровой романтики боевых походов подводных лодок.

Россия всегда отстаивала свое существование своими силами. Отсюда в русском человеке выработалось чувство собственного достоинства и спокойствие в моменты опасности, когда кажется есть от чего растеряться и потерять голову.

В рассказе «Ночь летнего солнцестояния» отражены эти духовные свойства. Показаны переживания советских моряков и их действия в ночь под двадцать второе июня 1941 года, в первые часы Великой Отечественной войны на море. Рассказ проникнут большим внутренним напряжением.

Есть в книге Соболева и неудачные вещи — «Голубой шарф», «Парикмахер Леонард», «Невеста», «В лесу», «Волшебный крысолов». Отличаются они надуманностью сюжетов, бледностью и невыразительностью образов. Но не они определяют лицо книги.

V

Образ человека у Соболева представляет собою целостный характер, отличающийся единством и своеобразием. Из всей сложности поступков и черт людей писатель выделяет определенные стороны, как основные. Но что составляет самое главное в их характере? Это главное — общее в «Морской душе» — можно определить одним словом: героичность. Каждый художник видит действительность со своей точки зрения. Соболев не только показывает художественные картины, захватившие его героической стороной военной морской жизни, но и подчеркивает, выделяет ее в сопровождающих публицистических высказываниях.

В какой бы форме ни проявлялась героика, она определяет главное свойство очерков и рассказов «Морской души». И успех книги Соболева во многом обусловлен тем, что он запечатлел важнейшее явление в жизни нашей страны. Можно много говорить о творческих недостатках отдельных рассказов, о преимуществах по сравнению с ними произведений других писателей, но несомненной заслугой Соболева является то, что он последовательно представил в «Морской душе» ведущую тенденцию советской литературы. Сам характер деятельности и чувствований нашего народа в годы Великой Отечественной войны рождает преобладание героической темы и героических характеров. Мелкие люди и мелкие страсти, камерные отношения и чувствования сразу отошли в тень, померкли в свете зарева гигантских исторических событий, решающих на многие годы судьбы народов. Иногда в том или ином произведении современной литературы выскакивают на сцену какие-то жалкие гомункулусы, уродцы — плод болезненного «я», слепых к окружающему. Но в блеске сражений они поспешно исчезают. Никто и никогда не может пренебрегать хорошими и благородными интимными чувствами. Но и на них тоже отражается в наши дни свет героизма. В центр литературы, созданной в дни войны, становятся активные героические характеры. Вокруг них уже объединяются другие образы. В воплощении героики наших дней самые крупные творческие вершины предстоит взять в будущем. Но направление литературы уже определилось. И важная тенденция ее выра-

жена в «Морской душе». Тенденция эта в высшей степени важна и благородна. Другие художники показывают благородный характер нашего народа иначе, иными художественными средствами, во множестве иных ярких образов. Но среди этих образов люди «Морской души» резко выделяются своим своеобразием и надолго остаются в памяти.

Соболев обычно не воспроизводит будни войны в том смысле, как, например, они изображаются в романе М. Шолохова «Они сражались за родину». Шолохов повседневно находится со своими героями и в тяжелом многодневном походе, не изобилующем никакими примечательными происшествиями, и в часы острой боевой схватки. Писать о боевых буднях трудно, так как для этого нужно знать героя во всех деталях натуры, личной биографии, характера и мышления. Соболев же с большой силой запечатлевает только одну точку жизни человека, правда, наиболее яркую, показывающую максимум возможностей данного человека — в боевом подвиге.

В книге представлены все поколения советского Военно-Морского Флота. Полон внутреннего драматизма и в то же время большой духовной чистоты рассказ «Топовый узел». Трогательна любовь старого капитана к своему кораблю — старенькому буксиру. Эта маленькая лирическая повесть, написанная очень просто и безыскусственно, отличается непосредственностью и правдой. Выполняя задание командования в войне с белофиннами, старый капитан гибнет смертью храбрых, пережив свой корабль на две с половиной минуты.

Молодое поколение моряков, воюющее в современной войне, еще выше подняло знамя воинского долга. Один из наиболее увлекательных и ярких в книге — рассказ «Грузинские сказки». Подводная лодка попала в труднейшее положение. Пока она шла в глубине, поверхность Балтийского моря над ней покрылась ледяным панцырем. Кончается запас энергии и воздуха. Начинается напряженнейшая борьба людей с природой. Писатель настолько выразительно нарисовал переживания команды, что мы как бы физически ощущаем гнетущую тяжесть ледяного покрова, усилия маленького подводного корабля. Самообладание командира и экипажа выводит их к чистой воде.

Некоторые образы из книги Соболева прочно остаются в сердцах читателей. Особенно рельефны фигуры раздела «Из фронтовых записей». Записи Соболева предельно лаконичны. Они с наибольшей наглядностью проясняют своеобразие всего цикла «Морской души». Под Севастополем мы встречаем моряка Федю в одной из автомашин, везущих подкрепление в город. По колонне открыли огонь прорвавшиеся немецкие автоматчики. С одного грузовика соскакивает неизвестный моряк и бросается в бой.

«В первые минуты его видели впереди: размахивая своим наганом, он что-то кричал, оборачиваясь, и молодое его лицо горело яростным восторгом атаки. Кто-то заметил потом, что в руках его появилась немецкая винтовка и что, наклонив ее штык вперед, он ринулся один, в рост, к пулеметному гнезду.

Теперь, найдя его здесь, возле отбитого им пулемета, среди десятка убитых фашистов, краснофлотцы поняли, что сделал в бою безвестный черноморский моряк, который так и вошел в историю обороны Севастополя под именем «Федя с наганом».

Фамилии его не узнали: документы были залиты кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.

Знали только одно: он был моряком. Это рассказали сине-белые полоски тельняшки, под которыми кипела смелая и гневная морская душа, пока ярость и отвага не выплеснули ее из крепкого тела».

Надолго запечатлевается образ старшины второй статьи Щербахи, рулевого, ведшего катер сквозь смертельный обстрел («Последний доклад»). Картина сделана Соболевым с большим мастерством. По содержанию очерк «Последний доклад» — простая газетная фронтовая заметка. И вместе с тем это в пределах очеркового жанра шедевр:

«С берега, вероятно, казалось, что на середине реки росла какая-то странная передвигающаяся рощица белоствольных деревьев. Светлые и зыбкие, возникающие из воды и медленно опадающие, они прорастали на пути маленького катера, и пышные, сверкающие водяной пылью их кроны осыпались металлическими плодами.

Это был ураганный минометный и артиллерийский огонь с обоих берегов по узкости реки. Катер, пробиравшийся в этом лесу всплесков, метался вправо и влево.

Но порой рощица светлых зыбких деревьев прорастала у самого катера, иногда сразу с обоих бортов. Это было накрытие. Тогда вода обдавала катер обильным душем, и вместе с водой на палубу падали осколки, грохоча и взвизгивая. После одного из таких накрытий рулевой не ответил на команду, и командир, подумав, что тот ранен или убит, хотел обернуться к нему. Но катер выполнил маневр, командир понял, что все попрежнему в порядке, и продолжал командовать рулем. И хотя рулевой снова не повторял команды, катер послушно выполнял малейшее желание командира и мчался по реке зигзагами, лавируя между всплесками.

Наконец, водяные рощи стали редеть. Только отдельные всплески преследовали катер. Потом и они остались за кормой, впереди распахнулся широкий и мирный плес. Катер выскочил из обстрела, и на реке встала тишина, показавшаяся командиру странной.

И в этой тишине он услышал за собой негромкий доклад:

— Товарищ командир... управляться не могу...

Он с трудом обернулся... Рулевой всем телом повис на штурвале. Лицо его было белым, без кровинки, глаза закрыты. Руки еще держали штурвал, и, когда он медленно пополз по нему, падая на палубу мостика, эти руки повернули штурвал. Катер резко метнулся к берегу.

Командир перехватил штурвал и крикнул с мостика, чтобы рулевому помогли.

Когда его подняли, он был мертв. Нога его была разворочена осколками, и вся палуба у штурвала была залита кровью.

Это было на катере 034. Рулевым его был старшина второй статьи Щербаха, черноморский моряк».

Многочисленные высказывания Горького направлены против сильного пристрастия литераторов к изображению посредственности, серых, заурядных людей. Моряки Соболева, яркие и смелые, противостоят такой посредственности. Но не являются ли они — легендарные герои — людьми исключительными, редко встречающимися, особенными? Ведь герой «исключительный», или, как принято говорить, «эксцентрический» так же далек от реальной жизни, как неинтересна посредственность. Нет, автор запечатлел очень важную особенность героизма в современной Отечественной войне. Особенность эта отмечена во многих крупных произведениях советской литературы нашего времени. Героизм представлен свойством борющейся народной массы. Поэтому подвиги сделались повседневностью нашего времени, нормой поведения бойца. Героические поступки персонажами Соболева воспринимаются как нечто обычное. У наших воинов сильно развито чувство личного достоинства. Но это не заставляет выпячивать свое я, а проявляется в большой отзывчивости и великом сознании долга. Героический подвиг, самопожертвование совершаются не в состоянии самозабвения или из молодечества, а вследствие гражданского вдохновения и сознательной готовности пойти на смерть во имя жизни родины.

Наводит на глубокие размышления судьба героев Воробьевской батареи, оборонявшей Севастополь. Когда все офицеры и матросы были ранены и все орудия подбиты, то они вызвали радиограммой огонь на себя, чтобы уничтожить немцев, ворвавшихся на батарею. И автор заканчивает повествование о славных артиллеристах словами:

«Четыре часа подряд била по командному пункту исторической батареи двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков,— людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы».

Фронтовые записи, за исключением двух эскизов, повествуют о моряках, сражающихся на суше, главным образом около Севастополя. Соболев на море чувствует себя гораздо свободнее, чем на сухопутье. Его «сухопутные» рассказы беднее морских деталями обстановки и психологическими чертами.

Морская обстановка вызывает у Соболева образы более многосторонние, более богатые психологическими чертами, деталями внешней обстановки. В этой сфере творческое зрение писателя обострено, образы пластичны и выпуклы. Художественная изобретательность наиболее действенна и эффективна. По-новому он воспроизводит картины морской стихии, морского боя. Более новы и оригинальны положения.

Превосходный рассказ «Держись, старшина» отличается выразительностью и занимательностью сюжета. Здесь, в отличие от фронтовых зарисовок Соболева главное внимание обращено на внутренний мир героя, а не только на передачу внешних событий. Такая трактовка присуща большинству морских рассказов книги и зависит, очевидно, от лучшего знания автором корабельного, нежели сухопутного армейского быта. Тринадцатый час команда подводной лодки дышит воздухом, отравленным парами бензина. Драгоценное горючее в балластных цистернах доставлялось в осажденный Севастополь. Наверху ясный день, вражеские самолеты. Значит—надо лежать на грунте и ждать наступления темноты. Сладкий запах бензина поочереди погружал людей в бесчувственное состояние. Держатся из команды только два человека — командир подводной лодки и старшина. Наконец, бред овладевает и командиром. Несколько раз он ловит себя на бессознательном стремлении повернуть моховичек и всплыть на верную гибель.

Потрясает поведение матросов, которые неподвижно лежали, стараясь сберечь силы. Бесчувствие победило их. И только глаза — неподвижные, уже без мысли,—были упрямо открыты, словно они «хотели этим показать командиру, что до последнего проблеска сознания они пытались держаться и что они ждут только глотка свежего воздуха, чтобы встать снова по своим боевым местам». Командир, потеряв несколько раз сознание, передает командование старшине: «Держись, старшина... Выдержи... лодку тебе отдаю... людей отдаю... На часы смотри, выдержи, старшина». Начинается беспримерная борьба одного человека с одуряющей стихией, с обезумевшим от паров матросом, пытавшимся открыть люк. Наступает ночь. Открыв люк, старшина падает в обморок. Вода начинает заливать лодку. Действие бензиновых паров еще продолжается. Нужно следить за всеми людьми, вынести их на воздух. И опять нечеловеческие усилия воли выправляют положение. Старшина выполнил то, что свыше человеческих сил: подводная лодка и люди спасены.

Общая тема воинского долга, выдержка воли и мужества звучит в рассказе сильно и по-новому...

Образы книги Соболева усиливают патриотические чувства, гордость за наше историческое дело. Образы героических моряков у Соболева, несмотря на иногда интимный тон автора, — величественны. Писатель рассказывает о них просто и задушевно, как о дорогих и близких ему людях. Федя с наганом, отважные минометчики, матросский майор, рулевой Щербаха, артиллеристы батареи Воробьева, защитники старого равелина — простые люди. Но своими делами они причислили себя к легендарным героям, великим и в победе и в смерти.

пряжением, заставляет воспринимать прекрасное зрелище моря с другой—суровой военной стороны. Море у Соболева не только красиво, но и суровая стихия, которую надо побеждать.

Писатель применяет смелые новаторские приемы, рисующие эту борьбу. Психологический элемент он сочетает с познавательным восприятием природы. Общее внимание в данном отношении обратил на себя рассказ «Все нормально».

Простое и повседневное в жизни подводного корабля действие — всплытие — дано писателем всесторонне в плане картин большого искусства. Вообще — рассказ в описательной части представляет выдающееся явление в нашей литературе о флоте. Морской пейзаж в нем имеет целью показать реальную обстановку боевой деятельности моряков. Он оттеняет трудности, стоящие на пути подводной лодки, и силу человека в борьбе с ними. Эти два плана—картины морской стихии и борьба людей—все время смещаются. Однако описание природы, быта и обстановки у Соболева преследуют служебную цель — более глубокого прояснения героики советского человека. Так построена вся книга «Морская душа».

Читатель открывает в «Морской душе» своеобразный мир, находящий самый живой отклик в каждом. В этом уголке нашей жизни много своего, присущего только морякам, рожденного особыми условиями морского быта; на воде и на суше всегда выделяется человек в матросской бескозырке с черными ленточками, вьющимися на ветру. Матросская отвага и удаль близки всем советским людям. Поэтому так родны для всех нас герои «Морской души».

Соболев пишет о моряках, любуясь ими. Он сохранил верность своей главной теме, с которой сроднился в течение своей писательской жизни.

Писатель ограничивается небольшим числом решающих черт и поступков героя. Вместо того, чтобы добиваться полной передачи всех чувств и переживаний героев, Соболев дает скупые, но выразительные штрихи, предоставляя читателю дополнить образ своим чувством и воображением.

Каждый очерк и рассказ проявляет какую-либо частность характера советского человека, но не дает всех его черт в целостном законченном виде. Воображение и память читателя сводят в конце-концов все эти черты и свойства к единому ведущему образу книги. Но этот образ надо индивидуализировать. Такой принцип изображения не вызывает особых замечаний по отношению к очерковой части книги. Но, конечно, рассказы выиграли бы еще больше, если бы черты морской души были творчески завершены, воплощены в героях с ярко выраженной личной индивидуальностью и мышлением.

То же самое интересное явление можно наблюдать и в способе Соболева изображать внешность своих героев. Нарисовать портрет человека—это большое искусство. Можно несколькими штрихами разбудить воображение читателя и добиться живого восприятия облика героя. Часто же подробнейшее описание всех деталей лица, фигуры, костюма, манеры держаться не приведет к успеху: получается лишь несвязное перечисление признаков. Соболев идет по первому пути. Внешний портрет его занимает очень мало в расчете на то, что сам читатель заполнит пробел. Внешность большого количества действующих лиц книги нам совершенно неизвестна, как и другие их индивидуальные особенности. Но писатель постарался дать свое общее представление о внешности героя. Он направляет работу читательского восприятия, создавая некий общий ориентир внешнего облика военного моряка. Речь идет не только о морской военной форме, — тельняшке, кителе,— придающих человеку своеобразный облик. В общей характеристике «морской души» есть слова о том, что это—«удивительное обаяние, веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффективности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. Соболев эскизно набросал общий облик военного моряка, как отправной пункт для работы читательского воображения. И оно само дорисовывает себе портрет героя, сообразуя его с другими индивидуальными чертами.

VIII

Советская художественная литература последнего времени уделяет особенно много внимания значению нравственного элемента в войне. Рассказы и очерки Соболева в этом отношении представляют значительный интерес.

«Политические вопросы тогда только могут служить содержанием поэзии, когда они вместе и вопросы исторические и нравственные».

Белинский в этих словах высказал глубокую мысль, имеющую самое непосредственное отношение к искусству военного времени.

Война, затрагивающая все стороны народного существования, освещает ярким светом, показывает по-новому многое, считавшееся слишком общим и известным. На некоторое время в литературе такие темы оттесняются другими. Война выдвинула на первый план вопрос о роли морального состояния народа и войск. Этот вопрос возник столетия назад. Немного найдется в мировой истории крупных государственных деятелей или полководцев, сознательно пренебрегших моральным духом своих войск. Еще Наполеон говорил, что «на войне три четверти успеха зависит от нравственного элемента и лишь одна четверть от материальных условий».

Известный русский военный публицист генерал Драгомиров, фундаментально исследовавший проблему морального фактора в военном деле, отмечает в этом отношении своеобразие русской школы военного искусства. После Петра Первого русская военная наука была умножена суворовской «наукой побеждать». Резко проявился военный гений русского народа. Одной из специфических черт его стало невиданное до тех пор внимание к воинскому духу.

Уважение к воину, его нравственному состоянию — национальная черта русского военного искусства. Она, начиная с древности, развивается в сочинениях и деятельности Петра Первого, Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Макарова, Брусилова. Нужно сказать, что внимание к простому человеку, его душе—вообще свойство, присущее русскому гению во всех областях его проявлений и в философии, и в литературе, и в науке. Военное искусство России по-своему тоже отражает общие черты русского национального духа.

Генерал-лейтенант Драгомиров, характеризуя вечно юный и неизменный дух суворовской «науки побеждать», противопоставляет ее прусской казенной системе.

«Суворовских гениальных воззрений, этой логики, выработанной в боях, современники не могли оценить, ибо они были увлечены внешними приемами фридриховского воспитания армии, мертвящее влияние которых известно всякому... В системе Фридриха, — говорит далее Драгомиров, — все размерено на вершки и дюймы — от подъема носка и до длины косы; система эта не только не требует от военного человека нравственной самостоятельности, а, напротив, считает ее вещью совершенно излишней, если не вредной в его ремесле».

В книге Соболева моряки живут только интересами войны. Писатель хорошо передал патриотизм и доблесть всего советского народа, подчиненность его деятельности единой цели победы.

«Война является такой вещью, что может быть и в большей и в меньшей степени войной», — писал Клаузевиц. В замечаниях на книгу Клаузевица Ленин опровергает его мнение, что, чем сильнее мотив войны, чем больше она охватывает все бытие, тем «больше война кажется чисто военной, менее политической». Ленин держится иной точки зрения. Ленин отмечает решающее влияние характера политической цели на ведение войны. Естественно, такая точка зрения подчеркивает роль в войне *политико-морального фактора*, то-есть того, что в военных сочинениях принято называть нравственным элементом. Ленин в своем замечании на указанное положение книги Клаузевица еще раз подтвердил и продолжил старую положительную традицию русского военного искусства, основанную на уважении к солдату и его психологии. «Защита у нас прекрасна, — писал Горький в статье «О Красной Армии», не только потому, что у нее хорошие штыки, но, главное, потому, что ее вооружили непобедимой правдой».

Герои Соболева обаятельны и выделяются своими великолепными нравственными качествами. Высота их духа умножает их силы, обеспечивает победу зачастую над превосходящим численностью и техникой врагом. Рассказ «Батальон четверых» — интересен прежде всего ярким воспроизведением силы боевого товарищества. В немецко-румынском тылу выбрасывается десантная группа моряков-парашютистов. Краснофлотец Михаил Негреба, взорвав румынский штаб, находит в кустах тяжело раненного товарища. Тот не может двигаться. Во вражеском окружении положение Леонтьева кажется безнадежным; он просит себя застрелить. Чувство дружбы побеждает у Негребы мысль о безнадежности попытки пронести Леонтьева через линию фронта. Товарищество побеждает и чувство самосохранения, «хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходилось расставаться из-за другого, и сжимала его сердце». Соболев не показывает эти размышления как какой-то мучительный внутренний процесс. Чувства воинской дружбы на много сильнее личных соображений. Вскоре к Негребе присоединяются еще три моряка, и они, вместе отбиваясь от врагов, вынесли раненого. По-другому они поступить не могли. И вполне оправданно и естественно звучат слова краснофлотца Перепилицы, который сам удивлен своей живучей силой: «Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота. Батальон, слушай мою команду: шагом... арш». Здесь нет самохвальства; перед нами, как живые, встают во весь рост прошедшие сквозь огонь и опасности четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробираться сквозь сотни врагов».

Невольно вспоминаются великолепные слова Тараса Бульбы из повести Гоголя, звучащие гимном боевому товариществу народов нашей страны.

Соболев в лице Негребы и его товарищей нарисовал славных защитников Севастополя. Он ничуть не погрешил против истины. Жизнь дала образцы еще более потрясающего героизма наших солдат и матросов. Разве подвиг рядового Матросова и других героев, собственным телом закрывающих амбразуры вражеских дотов, не определен нравственной силой патриотизма? Наша литература изобразила много эпизодов, которые навеки войдут в историю, как проявление нравственной мощи советского человека. Все это могут сделать только люди с огромной нравственной патриотической силой. Эта сила придает простым людям способность совершать то, что кажется свыше человеческих возможностей. «Один в поле не воин»—учит старая пословица. И один становится воином, когда в нем говорит мощь народного духа. Тогда он перестает быть одиноким, так как его в такие минуты поддерживает чувство всего народа.

Соболев, оттеняя значение нравственного элемента в войне и его высокое развитие в наших моряках, воплощает в образах превосходные морские традиции, идущие от Ушакова и Нахимова. Отрадно, что писатель здесь следует за лучшими образцами русской советской и старой классической литературы. Нахимов — отец матросов — секрет победы видит в постижении духа народной гордости. Адмирал Макаров в классическом труде «Рассуждения по вопросам морской тактики» в главе «Общие соображения о необходимости изучать нравственный элемент» приводит слова Нахимова, сказанные одному молодому офицеру: «... нужно иметь более героизма и более

обширный взгляд на жизнь, а в особенности на службу... Вы помните Трафальгарское сражение? Какой там был маневр, вздор-с! Весь маневр Нельсона заключался в том, что он знал слабость неприятеля и свою силу. И не терял времени, вступая в бой. Слова Нельсона заключаются в том, что он постиг дух народной гордости своих подчиненных и одним простым сигналом возбудил запальчивый энтузиазм в простолюдинах, которые были воспитаны им и его предшественниками. Вот это воспитание и составляет основную задачу нашей жизни... Страх подчас хорошее дело, да, согласитесь, что ненатуральная вещь несколько лет работать напропалую ради страха. Необходимо поощрение сочувствием: нужна любовь к своему делу-с, тогда с нашим лихим народом можно такие дела делать, что просто чудо!»

После этого Макаров добавляет:

«Примеры из русской истории. Не один, однако же, Нельсон умел поднимать дух на военных судах; мы имеем у себя пример, еще более выдающийся, в великом основателе русского флота императоре Петре I. Ему пришлось самому научиться, как корабли строить, и научить тому же своих подданных. Потом надо было вдохнуть душу в это еще безжизненное тело и с ним вырвать победу у столь опытных мореходцев, как шведы. Лучший пример найти трудно, но случай этот был исключительный и беспримерный. Тут император создал флот и своим присутствием и участием в нем поднял его дух. Тактике приходится брать случаи, стоящие ближе к обыкновенной обстановке.

Мы точно так же могли бы взять пример поднятия духа на русском флоте и даже в самую недавнюю пору, а именно перед Крымской войной. Это поднятие духа выразилось Синопским сражением и доблестной защитой Севастополя. Мы знаем, что состояние духа моряков Черноморского флота было в то время выше всяких похвал. Лица, создавшие Черноморский флот, сделались уже достоянием истории, но история еще недостаточно охарактеризовала главные причины подъема духа, а это заставило нас взять пример в иностранных флотах, которые имели больше морских войн, чем мы».

Для всех офицеров и матросов из «Морской души» типичны высокие понятия о воинской чести и воинской дисциплине. Для освещения этих вопросов рассказы Соболева дают богатейший материал. Воинская дисциплина и честь наших военных моряков и солдат не сокрушают их личную волю. Так в «Солдатской памятке» для офицеров генерала-лейтенанта Драгомирова приводится глубокая и верная мысль, что дисциплина, сокрушающая волю, не есть дисциплина, ибо последняя есть сознательное поведение. Воинская дисциплина есть строгое соблюдение порядка, установленного законами и воинскими уставами. А для достижения этого требуется сильная и развитая воля, способная преодолеть страх смерти. Персонажи Соболева отличаются сильными волевыми характерами, для них воинская дисциплина превыше всего. Чрезвычайно интересен в этом отношении рассказ «Все нормально».

Высокая честь корабля прежде всего воплощена в многовековом символе — корабельном флаге. Всегда в самые тяжелые моменты флаг родины должен реять над кораблем. Спустить флаг — значит потерять свою воинскую честь. Традиции цементируют, укрепляют воинские чувства. Глядя на корабельный флаг, моряк в море вспоминает о родине, и твердость заполняет его душу. Соболев в рассказе «Все нормально» приводит замечательный факт:

В жестокий январский шторм всплывает на поверхность наша подводная лодка — «малютка». Всплывать в такой шторм—«это все равно, что с завязанными глазами пытаться вскочить на бешеную лошадь: в последний момент всплытия лодка теряет остойчивость, и любая волна может ее прикончить». Но всплыть нужно, чтобы перезарядить аккумуляторы. На мостик выходит один человек — командир подводной лодки. Поминутно обдаваемый ледяной волной, он твердой рукой управляет кораблем, направляя его вразрез волне. Но первое, что он делает, поднявшись на палубу, он поднимает на мостике флаг, маленький, мокрый флаг. Никто флага не видит, кроме самого командира. Но именно ему важно видеть перед собой этот флаг в «те долгие часы, которые он собирался провести здесь один, оберегая лодку от стихии и от возможного врага».

Командир чуть ли не замерзает, но он не сходит вниз. Он готов пожертвовать собой, но во что бы то ни стало стремится выполнить боевое задание, и он добивается своего.

Рассказ «Все нормально» отличается богатством пейзажных и бытовых зарисовок, сделанных мастерски. Он богаче многих других рассказов книги и психологическим содержанием. Но рассказ «Все нормально» наводит на раздумья, относящиеся и ко всем другим произведениям Соболева, включенным в книгу «Морская душа».

Общая высокая оценка книги Соболева не может лишить права указать на существенный ее недостаток, присущий многим нашим произведениям художественной литературы на военную тему. Самое уязвимое место рассказов Соболева—это изображение интеллектуального облика героев. Герой Соболева живет уже готовыми, хотя очень хорошими истинами. В нем нет широты и разносторонности мысли, нет ее постижения.

От нашей литературы надо требовать правдивого воспроизведения высокого духовного уровня современного советского человека. Однако этого нельзя добиться увеличением в произведениях остроумных и глубокомысленных разговоров или размышлений. Еще Дидро устами одного из своих действующих лиц говорил: «Господа, вместо того, чтобы при каждом отдельном случае наделять остроумием своих героев, поставьте их лучше в такое положение, которое даст им, что требуется». Дидро возражает против одной крайности в характеристике умственного облика людей, когда изобилие слов оказывалось бесполезным вследствие бездейственности персонажей. Но есть и

противоположная точка зрения, тоже малосостоятельная вследствие своей односторонности. Она представлена в образе весьма хорошего и активного человека, но выведенного художником почти бессловесным и не проявляющим той высоты мысли, которая ему реально присуща.

Реальная ценность героических персонажей Соболева уже проявляется в самих положениях, в подвигах. Обыденные повседневные рассуждения Соболев не приемлет. Он считает, что здесь нужен пафос мысли. И сам берет на себя задачу передать мысль героев от своего лица. Но до конца выполнить эту задачу писателю без активного участия самого героя невозможно, так как в искусстве требуется не изложение формул, а показ в картинах живого процесса мышления.

Большинство сюжетов «Морской души» строится на теме самопожертвования во имя родины и выполнения воинского долга. Способность к самопожертвованию — это уставное требование к воину Красной Армии и Флота. Даже в военно-теоретической литературе разбирается вопрос о духовных предпосылках общих формулировок дисциплины, долга. А от художественного произведения это требуется не в меньшей степени. Можно здесь обратиться к упомянутым выше «Рассуждениям о морской тактике» адмирала Макарова. Несмотря на научно-тактический характер этого труда, в нем есть замечательные страницы о воинской психологии, суждения о способности моряка к самопожертвованию. Макаров пишет:

«Выражение, что мысль погибнуть с честью нужно в себе питать, дабы с ней свыкнуться, имеет глубокое значение. Всякое живое существо в силу инстинкта боится смерти, но человеку дана воля, чтобы побороть в себе этот инстинкт. Более того, человек с древних времен стремился побороть в себе опасение за свою жизнь, и военная доблесть, в которой пренебрежение к смерти есть главное, давно уже была в наибольшем почете.

... Каждый военный человек действительно должен воспитать в себе сознание того, что ему придется пожертвовать свою жизнь. Когда он подумает об этом серьезно в первый раз, то, вероятно, побледнеет и почувствует, как кровь в нем начинает стыть. На второй раз эта мысль не произведет уже на него столь тяжелого впечатления, а впоследствии он с ней свыкнется...

В иных условиях находятся военные действия на море: большое сражение может последовать совершенно без предварительной подготовки, и тот флот, на котором личный состав еще в мирное время освоится с мыслью погибнуть с честью, тот флот, повторяем мы, будет иметь большое нравственное преимущество над противником».

Адмирал Макаров здесь живо объясняет нам психологические основы поведения и готовности к самопожертвованию военного моряка. Соболев живо нарисовал воинскую традицию в действии, но не поставил перед собой задачу многосторонне раскрыть ее духовные предпосылки.

Принципы военной доблести прочно вошли в сознание нашего народа, который передавал их из поколения в поколение. Их придерживаются и умножают бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота на фронтах Великой Отечественной войны, сознание которых обогащено идеями социалистического патриотизма.

Социалистическая революция положила начало новому человеческому духовному складу. Она отразилась и на национальном характере людей и других народов Советского Союза. То новое, чем обогатилось сознание нашего народа за четверть века после 1917 года, во всей полноте проявилось во время Великой Отечественной войны. Война помогла более ярко выразиться мужеству и доблести. Это не могло пройти незамеченным внимательными писателями. Изменения в психологическом складе, в характере мышления и чувствований отразились в советской литературе. Цельность и определенность характеров — типическая черта советской литературы эпохи Отечественной войны — ощутимо выражены в рассказах Л. Соболева. На примерах советских моряков писатель рисует наиболее резко проявившиеся в Отечественной войне очень важные черты характера советских людей.

Главное своеобразие книги Соболева в остроте восприятия фактов войны. Писатель запечатлел важнейшую особенность русского человека — способность в критическую минуту к духовному взрыву — нечеловеческому напряжению всех сил, уменью сделать больше, нежели это кажется возможным рассудку. На этом построено большинство очерков и рассказов книги «Морская душа». Именно в такой момент наивысшего проявления человека его и зарисовывает писатель.

Всякие виды литературы нужны — и очерк, и рассказ, и роман. Главное в том, чтобы литературное произведение помогало борьбе народа, укрепляло его духовные силы, повышало патриотическую гордость, национальное самосознание, запечатлевало замечательные качества людей, проявившиеся в нынешней Отечественной войне. Искренность и правдивость писателя внесли в рассказы и очерки Соболева горение настоящего искусства.

БИБЛИОГРАФИЯ

РАССКАЗЫ К. ТРЕНЕВА*

★

Однотомник К. Тренева составлен из его донских, преимущественно, рассказов и пьесы «Любовь Яровая». Наиболее ранняя дата рассказов относится к 1909 году, позднейшая к 1934 г. Отсутствие динамически развивающегося сюжета в рассказах давало повод писать об их бессюжетности, называть их очерками. Вопрос об определении жанра здесь имеет узко формальное значение. Существенно то, что в донских рассказах, несмотря на отсутствие напряженного действия, показаны с большой зоркостью и умением разнообразные человеческие характеры, картина дореволюционной России. Пластичность и реальность человеческих образов у Тренева сопутствует углубленному способу видеть мир. Тренев рассказал в автобиографии о своей манере работать: «Пока я не изваяю образ, пока он не встанет передо мною с такой ясностью — зрительной и слуховой, — что нет различия между реальным и воображаемым, я не могу переносить его на бумагу». Тренев тяготеет к большим жанровым картинам, к крупным мазкам, к чистым и простым тонам. Художественная конкретность, присущая Треневу, распространяется и на беглую зарисовку, иногда на какую-нибудь подробность в обстоятельно и медлительно выписанной картине старой России, которая развернута в его лучших рассказах.

На ярмарке поет квартет слепцов. «Все грубые звуки ярмарочной суеты... мягко тонут в его широком, стройном потоке:

Ой, тяжко мне душе с телом расставатися,
До Христа на суд зъявлятися,
Бо великий грех душа творила,
Не по правде святу землю делила
Да чужую ниву душа закосила.

(«На ярмарке», 1912)

Описание квартета слепцов и песня только деталь в общей картине, но она освещена особым смыслом: мотив неправедного дележа земли — это лейтмотив рассказа «На ярмарке». Впрочем, его можно расслышать во всех рассказах Тренева. «В Ярмарке» словно сосредоточена вся тяжесть крестьянской жизни в царской России: произвол купцов, опекаемых полицией, которые скупают зерно за бесценок у крестьян, все виды обмана и насилия, применяемого чиновниками, полицией, правящими тунеядцами. Рассказ кончается взрывом народного возмущения. Так разрешается здесь тема неправедного дележа земли.

В рассказе «На ярмарке» нет фабулы — в строгом смысле этого слова, нет борющихся и развивающихся по ходу действия героев. Главный герой рассказа—народная толпа. Но Тренев умеет в массовой жанровой картине найти и осветить нужный образ, раскрыть его характерность, иногда сделать его художественным обобщением. Например, в колоритном образе Охрима, в «неуклюжей душе» которого живет огромная, но приглушенная народная сила, есть черты детские. Черты большого ребенка, которого легко обмануть, есть и в доверчивом, комически общительном деде Терешке.

Те же мотивы слышны и в рассказе «Затерянная криница». Существуют две «нивы»: огромное поместье, которое охраняет от крестьян верховой черкес с арапником, а рядом с поместьем — крестьянские земли, сожженные засухой. «От хутора до самого горизонта узкой полосой тянулось крестьянское поле, с обеих сторон сдавленное морем волнующихся панских нив; порезанное на сотни желтобурых, зеленых четырехугольников-наделов, поле казалось все в заплатах, как старая мужичья свитка, как то сказочное крестьянское горе».

Чтобы спастись от голодной смерти, крестьяне прибегают к последнему средству — розыскам «чудодейственной криницы». По преданию, если расчистить эту криницу,—прольется дождь. Розыски напрасны, детская вера рухнула: «бесследно где-то затерялось на земле то место, за которое небо пощадило бы землю».

Издевательство помещичьих слуг вызывает крестьянский бунт. Горит поместье. Земля восстала: «не дождавшись от неба дождевых туч, подняла к нему горячие черные тучи».

* К. Тренев. Избранное. «Советский писатель». М. 1943 г.

Тренев раскрывает собственническую жадность в образах «куркулей» — деда Качки и его сына Сереги («Мокрая балка»). Жадность к земле, земле «такой, что есть хочется»,—по выражению Сереги,—принимает характер одержимости. Законопослушный и верноподданный Серега восстает против закона, идет на бунт, когда царский закон отнимает у него землю для попа-торгаша.

Хозяевам деревенской жизни — «куркулям», лавочнику, сотскому, священнику, — Тренев противопоставляет кучку людей, не принимающих такую жизнь. Наиболее сознательно это неприятие у бедняка Бадая. Он объездил с семьей всю Россию в поисках «лучшей жизни», и у него свои взгляды на закон земной и закон небесный. Его жизнь—воплощение «крестьянского горя». Когда его спрашивают, почему он семь лет не говел, он отвечает: «Я, братуха, каждый день с семьей говею. У бога каждый день праздник, а у Бадая каждый день пост. В четвертом годе, как зазимовал я в оренбургском степу с одним мешком муки, к рождеству двое деток с голодухи и помри... Схоронил я их в снегу. Жинка голосит, да до снегу припадает, как та чайка при битой дороге, а я говорю: разговляйтесь же, детки, там — у бога за столом, а мы тут обождем».

Но этот будущий бунтарь погибает случайной и бессмысленной смертью. Наивный мечтатель, так же не приемлющий действительности, художник Чекалка за «неблагонадежность» попадает в тюрьму по доносу Сереги, который мстит Чекалке за уход к нему Ганны.

Ганна (для нее представление о воле связано с любовью к Чекалке) только смутно чувствует несправедливость жизни: «Почему это все святое лежит спрятанное под землей да запечатанное, — думает она, слушая рассказы о святых мощах, — а злое по земле гуляет и никто его не спрячет и не запечатает?»

К той же группе слабых, смутно еще протестующих против несправедливости людей, принадлежит и брат Сереги — Тихон. Для него воля выражается в стремлении к христианской благости.

Но Ганна и Тихон получают освобождение, возможность уйти из семьи только после ее распада, когда настоящий глава семьи — Серега — попадает в тюрьму за «бунт» — за отказ признать священника хозяином земли.

И Чекалка, и Ганна, и Тихон — мечтатели, уходящие от действительности в мир поэзии и праведности; каждый из них понимает его по-своему, для каждого из них он равно недосягаем.

С большим искусством и силой показал Тренев жизнь русской дореволюционной деревни: ее социальную структуру, быт и внутренний мир. Тренев писал о себе: «Изображаю только то, что хорошо знаю». В большой мере именно глубокое знание делает столь убедительными образы Тренева, диалог, описания. Особенно радует чистый, простой и гибкий русский язык. Радует и ощущение того, что в рассказах Тренева, в творчестве нашего современника—советского писателя, ощутима преемственность русского классического реализма.

Однако сборник избранных сочинений Тренева был бы не полон без его сатир. Изображая преимущественно русский уездный город, Тренев почти всегда возвращается к нескольким типам, характерным для всей царской России. Это лавочник, чиновник, полицейский. Тренев разнообразит и индивидуализирует представителей этих социальных категорий, и все же можно говорить о каком-то обобщающем типе. Лавочники Кузя Федотович из «Мокрой балки» и Быкадоров из рассказа «По тихой воде» различны и в то же время как бы дополняют друг друга.

Острее всего противоречие между паразитирующими «столпами общества» и народом раскрыто в рассказе из эпохи империалистической войны 1914—1918 г. «По тихой воде». Разница между подлинным защитником родины и мелкими хищниками и тунеядцами раскрывается в противопоставлении: раненому казаку Янушкину, третьепалубному пассажиру шкурников и обывателей — пассажиров первого класса, мирно играющих в преферанс и злословящих. В негодовании казаков, едущих на пароходе, которые требуют от капитана, чтобы он высадил компанию преферансистов, оскорбивших раненого, в этом негодовании уже чувствуется нарастание социального протеста.

В сатирическом, почти гротескном (гротеск вообще мало свойствен Треневу) рассказе «Заблудились» лицемерие и подлость разоблачают себя перед лицом близкой смерти. Землевладелец Косенко и отец Емельян, попав в метель, считают себя погибшими. Они теряют власть над собой и занимаются саморазоблачением.

Но самый блестящий образец треневской сатиры — это «Самсон Глечик». Фигура учителя городского училища Глечика, мракобеса и карьериста, который запугивает и шантажирует окружающих доносами и шпионством,—этот страшный и гнусный образ ничтожества, упивающегося властью, сделан с подлинным мастерством.

Донские рассказы Тренева насыщены большим материалом, которого с избытком хватило бы не на одно большое эпическое произведение.

Из произведений, написанных после Октябрьской революции, напечатано несколько рассказов и пьеса «Любовь Яровая». Рассказы эти тоже можно отнести к сатире. Они написаны в годы коллективизации, когда крестьянские земли перестали походить на «заплатанную крестьянскую свитку», превратившись в единый цветущий массив. Коллективизация была продолжением борьбы за справедливое и разумное отношение человека к земле. Она положила конец власти земли — собственности над человеком. Но еще оставались люди, сохранившие старое, собственническое отношение к земле. В своих рассказах Тренев обнажает сущность приспособленцев и собственников, пытающихся извлечь для себя выгоду в любом положении.

В сборнике избранных произведений Тренева

особенно рельефно выступает рассказ, сам по себе мастерски написанный, который сегодня звучит по-новому сильно. Это рассказ «Здесь жил Антон Чехов» о... немцах.

В 1934 г. Тренев посетил курорт Баденвейлер в Шварцвальде, где скончался А. П. Чехов. Результатом этого посещения явился упомянутый рассказ, в котором продолжается традиция русских писателей, писавших о Германии. Широкая и свободная от канонических литературных приемов, ясная и острая, не чуждающаяся публицистики и иронии, манера письма Тренева в этом рассказе в некоторых местах напоминает очерки Герцена о Западе.

Два мотива объединены, как в фокусе, освещающем идейный и политический смысл рассказа. В июле 1914 г., за двадцать лет до приезда Тренева, в печальное десятилетие со дня смерти Чехова, «его друзьями, во главе с врачом, на руках которого умер Чехов, прибита над окном отеля дощечка с надписью на немецком языке «здесь жил писатель Антон Чехов в июле 1904 г.» Если бы только — жил... он здесь умер. Но этого слова нельзя писать на курорте, да еще на стене коммерческого отеля. Тогда же и теми же почитателями Чехова был поставлен в парке бронзовый бюст Антона Павловича, а через двадцать дней вспыхнул пожар мировой войны и добрые баденвейлерские патриоты поспешили бросить в огонь чеховский бюст, перелив его на пушку».

В эти же дни безработный и многосемейный Франц Шредер совершил незначительную кражу. Он был осужден на восемнадцать лет каторги. За «благонравное поведение» его должны были освободить досрочно через десять лет. Но баденвейлерские граждане (все те же истонемецкие патриоты) обратились с петицией «по начальству». Они умоляли не освобождать преждевременно Франца: «Преступник вернется в среду честных людей, скомпрометирует курорт, и это разорит неповинных граждан». Петиция была уважена: Шредер отсидел на каторге восемнадцать лет. И так как, вернувшись в Баденвейлер, он отказался покинуть город по требованию баденвейлерских лавочников и содержателей отелей, то его с семьей подвергли бойкоту, карой молчанием. Автор застал эту семью в Баденвейлере на положении «немых граждан».

Так с двух сторон показывает Тренев физиономию «истого немца», с удивительной стойкостью сохраняющую свое тупое кровожадное выражение от времен Бисмарка до Гитлера, до наших дней. Животные той же породы, что и «баденвейлерские патриоты», бросившие в огонь, чеховский бюст в 1914 г., изуродовали таганрогский домик Чехова в 1941 г.

В рассказе «Здесь жил Антон Чехов» с тонкой проницательностью и иронией показано гнездо фашизма. В то же время дыхание Чехова, присутствующее в рассказе, в авторских ремарках, в оценках автора, наблюдениях и стиле, напоминает о благородстве, широте и гуманности русской культуры.

Те же традиции живут и в одной из популярнейших советских пьес — «Любовь Яровая». Черты благородства в героине пьесы исторически преемственные, наследственные черты. Участница Октябрьской революции Яровая — наследница той русской демократической интеллигенции, к которой принадлежит и сам автор и у которой всегда был один путь с народом, общие с ним задачи. Ничто не может оттолкнуть Яровую от народа. Она так же естественна, чиста и пряма в своей общественной деятельности, как и в личных отношениях. В этом одна из причин успеха этого образа у артистов и у зрителей.

Однотомник избранных сочинений Тренева бесспорно составлен удачно. Книга дает представление о Треневе-художнике. В своем кратком введении, где удается историческая характеристика Дона, Тренев рассказывает о поисках народом на Дону земли и воли, воли и правды, свободы и счастья. К. Тренев пишет: «Я глубоко и на всю жизнь люблю свою родину — Дон, где я провел детство, юность и зрелые годы... Должно быть, Дон стоит такой любви...» Чувства любви и ненависти живут в прекрасных рассказах Тренева. Любовь к родине с ее великой культурой будит ненависть к осквернителям родной земли. И было бы неправильно и со стороны автора, и со стороны критики сводить творчество Тренева только к донской теме. Дореволюционная донщина с ее характерным укладом, нравы и язык донского крестьянства и казачества в изображении Тренева сохраняют значение образной исторической характеристики и сейчас. Но широта и разносторонность, с какой разработана автором тема, далеко выводят произведения за рамки «областной» литературы. «Избранное» Тренева — весомое доказательство огромных и разнообразных возможностей советской литературы.

М. Надеждина

★

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА — ХРАНИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ*

Великая Отечественная война, которую ведет советский народ с гитлеровской Германией, выявила перед всем миром неисчерпаемый источник нравственных и материальных сил нашей страны. Горячий патриотизм, объединяющий все народы нашего Союза, проявляется в разнообразной и всемерной помощи тыла Красной Армии.

Творческий труд советского народа направлен также на создание новых культурных ценностей. Эта работа не прекращалась в Советском Союзе все время нынешней войны. Одним из многочисленных участков такой созидатель-

* Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. 1862 — 1942. Восемьдесят лет на службе науки и культуры нашей родины. М. 1943.

ной работы является Библиотека имени В. И. Ленина в Москве. Об этом рассказывается в только-что вышедшей из печати книге под названием «Государственная библиотека СССР имени Ленина».

В статье «80 лет Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина» Н. Н. Яковлев излагает историю перевода в 1862 году из Петербурга в Москву Румянцевского музея и его библиотеки, а также — развития и роста последней. Основой Библиотеки послужило собрание книг и рукописей просвещенного русского вельможи XVIII века Н. П. Румянцева. В 1862 году в Библиотеке было 28 512 книг и около 1000 рукописных единиц. Через 55 лет, в 1917 году, Библиотека имела немногим больше миллиона томов. Хотя Библиотека находилась на государственном бюджете, но рост ее совершался главным образом благодаря пожертвованиям и безденежному обмену. Царское правительство отпускало в первое время на содержание Музея и его библиотеки 2 280 р. в год. Постепенно ассигнование увеличивалось, но щедрость опекунов просвещения при царизме не могла перерасти к концу XIX столетия суммы в 35 000 р. «Недостаток средств и заброшенность сделались, по словам историка Библиотеки, хроническим недугом».

Советское правительство с первых своих шагов стало уделять большое внимание библиотечному делу и особо Румянцевской библиотеке. С апреля 1918 года начался бурный рост культурных учреждений нашей страны, которого не приостанавливали даже тяжелые условия нескольких последующих лет. «Через 25 лет после Великой Октябрьской социалистической революции книжный фонд Библиотеки достиг почти 9 600 000 книг и свыше 2½ миллионов листов рукописей» (стр. 7).

Государственная библиотека Советского Союза вышла на первое место во всем культурном мире. Из многочисленных фактических данных, подкрепляющих это заявление, достаточно привести лишь несколько цифр из сравнительной таблицы по нашей Библиотеке и по другому, величайшему в мире книгохранилищу — Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне (данные относятся к 1941 году). Библиотека СССР: книжный фонд — 9 200 000, число посещений — 826 400, количество выдач — 4 000 000. Библиотека Конгресса США: соответственно — 9 019 000, 400 000 и 2 300 000.

Содержание других статей рассматриваемого сборника определяется их заглавиями: Н. Я. Горбачевская — «Роль фондов и каталогов библиотеки в развитии науки и культуры СССР», Е.Н. Коншина — «Рукописные фонды библиотеки и их научное значение», А. С. Зернов — «Старопечатные книги, как исторические памятники русской культуры», Б. И. Ковальский — «Библиографическая работа Библиотеки и ее задачи в дни Великой Отечественной войны», И. И. Минц — «Документы Великой Отечественной войны, их собирание и хранение», П. И. Карклин — «Библиография Великой Отечественной войны» и др.

Значительный интерес представляет написанная хорошим литературным языком статья ученого секретаря Библиотеки М. М. Клевенского «Культурные связи Библиотеки с заграницей». Несколько небольших выдержек из нее показывают роль и значение Библиотеки имени В. И. Ленина. «Начатое в нищенских размерах еще в 70-х годах прошлого века иностранное комплектование достигло за годы советской власти значительного размаха... Покупка книг за границей и книгообмен дают возможность советской науке использовать богатый и разнообразный опыт в интересах нашей родины. Библиотека, в свою очередь, снабжает иностранные научные учреждения советской книгой, знакомя иностранных ученых и широкие круги интеллигенции с культурой народов СССР в ее разнообразных проявлениях... С 1936 по 1941 г. Библиотека импортировала в СССР 186 7 томов, экспортировала 214 563 советских изданий. В 1940 г. Библиотека поддерживала связи с 50 государствами мира... За полтора года войны Библиотека получила из 20 стран 18 000 и выслала в эти государства 8 400 книг и журналов» (стр. 201 и 209).

Библиотека включилась также в международный абонемент: высылала во временное пользование книги для читателей в Лондон, Манчестер, Вашингтон, Мадрид и др. городов, получала из разных стран книги для советских читателей.

В связи со своим юбилеем Библиотека имени В. И. Ленина получила много приветствий, в числе последних — от Британского музея, крупнейших советских библиотек и научных учреждений.

Внешнее оформление книги довольно скромное, но несколько хорошо выполненных иллюстраций на вкладных листах украшают ее. Среди них — портрет В. И. Ленина и два его автографа; снимок с основного здания Библиотеки — знаменитого творения гениального В. И. Баженова — Пашковского дома; снимки с различных помещений и нового здания Библиотеки; снимок с 1-го листа Архангельского евангелия 1092 г.; снимки с автографов Герцена, Рылеева, Лермонтова и др.

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 29/VI-44 г.
А7884. 15¼ печ. листов. Тираж 30.000. За... 1496.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.